

東

ВСЕВОЛОД

ОВЧИННИКОВ

САКУРА



И

Как постичь
«грамматику
жизни»
народа...

ДУБ



Всеволод ОВЧИННИКОВ

САКУРА И ДУБ

Ветка сакуры

Корни дуба



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
О 35

Компьютерный дизайн обложки Андрей Фerez

Подписано в печать 29.05.15.
Формат 84x108 1/32 Усл. печ. л. 31,9.
Доп. тираж 2000 экз. Заказ № 3972.

Овчинников, Всеволод Владимирович

О 35 Сакура и дуб / Всеволод Овчинников. — Москва: Издательство АСТ, 2015. — 605, [3]с. — (Овчинников: Впечатления и размышления о Востоке и Западе).

ISBN 978-5-17-085048-8

Всеволод Владимирович Овчинников — журналист-международник, писатель, много лет проработавший в Китае, Японии, Англии. С его именем связано новое направление в отечественной журналистике — создание психологического портрета зарубежного общества.

Творческое кредо автора: «убедить читателя, что нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка».

«Ветка сакуры» и «Корни дуба» — были и остаются поистине шедевром отечественной публицистики. Поражающая яркость и образность языка, удивительная глубина проникновения в самобытный мир английской и японской национальной культуры увлекают читателя и служат ключом к пониманию зарубежной действительности. В 1985 году за эти произведения автор был удостоен Государственной премии СССР.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© В. В. Овчинников, 2005
© ООО «Издательство АСТ», 2015

САКУРА И ДУБ

ОТ АВТОРА

Наиболее счастливая, но и наиболее трудная судьба выпала двум из моих пятнадцати книг. Это — «Ветка сакуры» и «Корни дуба», впервые опубликованные в журнале «Новый мир» в 1970 и 1980 годах.

Их можно считать воплощением творческого кредо автора: убедить читателя, что нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться лишь на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка. Проще говоря, прежде чем судить о зарубежной действительности, надо постараться понять, почему люди в других странах порой ведут себя иначе, чем мы.

Попытка проанализировать национальный характер, дабы объяснить незнакомую страну через ее народ, была новшеством для нашей тогдашней публицистики. Но дело не только в своеобразии замысла. И не только в том, что «Ветку сакуры» впервые опубликовал Александр Твардовский, когда выход каждого номера его «Нового мира» становился событием в духовной жизни страны.

Хотя оба эти обстоятельства, безусловно, усилили вызванный книгой резонанс.

Главной причиной популярности «Ветки сакуры», наверное, стало другое. Читатель воспринял это произведение как призыв смотреть на окружающий мир без идеологических шор. Самой большой в моей жизни похвалой стали тогда слова Константина Симонова:



— Для нашего общества эта книга — такой же глоток свежего воздуха, как песни Окуджавы...

Но именно поэтому «Ветка сакуры», а десять лет спустя — «Корни дуба» вызвали нарекания идеологических ведомств. Им досталось по полной программе: приостанавливали подготовку к печати, рассыпали набор, требовали изменений и сокращений. Пришлось кое в чем пойти на компромиссы.

В Японии «Ветка сакуры» стала бестселлером. Даже англичане, скептически относящиеся к попыткам иностранцев разобраться в их национальном характере, встретили «Корни дуба» весьма благосклонно. Однако это укрепило не позиции автора, а его критиков. Дескать, идейные противники нашей страны не случайно ухватились за эти писания, ибо присущая им идеализация капиталистической действительности, отсутствие классового подхода льет воду на их мельницу. Таков был официальный вердикт для обеих книг. Лишь в 1985 году после неоднократно отклоненных представлений, диалогия «Сакура и дуб» была удостоена Государственной премии в области литературы.

В этом издании восстановлен изначальный авторский текст. Кроме того, Японский фонд, который занимается углублением взаимопонимания с зарубежными странами, в 2000 году пригласил меня на три месяца в страну, «чтобы обновить ВЕТКУ САКУРЫ, которая была бестселлером как в России, так и в Японии». Это позволило мне написать ряд новых глав, а также обновить устаревшие за 30 лет цифры и факты.



ВЕТКА САКУРЫ

Рассказ о том,
что за люди
японцы





СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

За тонкой раздвижной перегородкой послышались шаги. Мягко ступая босыми ногами по циновкам, в соседнюю комнату вошли несколько человек, судя по голосам — женщины. Рассаживаясь, они долго препирались из-за мест, уступая друг другу самое почетное; потом на минуту умолкли, пока служанка, звякая бутылками, откупоривала пиво и расставляла на столике закуски; и вновь заговорили все сразу, перебивая одна другую. Речь шла о разделке рыбы, о заработках на промысле, о кознях приемщика, на которого им, вдовам, трудно найти управу.

Я лежал за бумажной стеной, жадно вслушиваясь в каждое слово. Ведь именно желание окунуться в жизнь японского захолустья занесло меня в этот поселок на дальней оконечности острова Сикоку. Завтра перед рассветом, что-то около трех часов утра, предстояло выйти с рыбаками на лов. Я затеял все это в надежде, что удастся пожить пару дней в рыбацкой семье. Но оказалось, что даже в такой глуши есть постоянный двор. Меня оставили в комнате одного и велели улечься пораньше, дабы не проспать.

Да разве заснешь при таком соседстве! Я ворочался на тюфяке, напрягал слух, но смысл беседы в соседней комнате то и дело ускользал от меня. Никто в моем присутствии не стал бы говорить о жизни с такой откровенностью, как эти женщины с промысла, собравшиеся отме-



тить день полочки. Но, пожалуй, именно в тот вечер я осознал, какой непроницаемой стеной еще скрыт от меня внутренний мир японцев. Была, правда, минута, когда все вдруг стало понятным и близким, когда охмелевшие женские голоса стройно подхватили знакомую мелодию:

...И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел огонек...

Как дошла до них эта песня? То ли мужья привезли ее из сибирского плена, прежде чем свирепый шторм порешил рыбацкие судьбы? То ли эти женщины овдовели еще с войны и от других услышали эту песню об одиночестве, ожидании и надежде? Снова звякали за перегородкой пивные бутылки; то утихала, то оживлялась беседа. Но я уже безнадежно потерял ее нить и думал о своем. Конечно, вдовы — везде вдовы. Но люди здесь не только иначе говорят: они по-иному чувствуют, у них свой подход к жизни, иные формы выражения забот и радостей. Смогу ли я когда-нибудь разобраться во всем этом?

Еще в детстве я читал, что вечерний Париж пахнет кофе, бензином, духами. А попробуй-ка описать, чем пахнет по вечерам бойкая улица японского города! На углу переулка, сплошь светящегося неоновыми рекламами питейных заведений, примостилась старуха с жаровней. На углях разложены растробом вверх витые морские раковины, в которых булькает что-то серое. Рядом с плоской вяленой каракатицей и еще какой-то пахучей морской снедью пекутся в золе неправдоподобно обыденные куриные яйца. В двух



шагах — знакомая еще по Пекину машина, которая перемешивает каштаны в раскаленном песке. А вот напоминающий о пионерских кострах запах печеной картошки. Он исходит от сложного сооружения, похожего на боевую колесницу. Там тоже жаровня с углями, а над ней, как туши на крюках, развешаны длинные клубни батата: выбирай и любуйся, как при тебе их будут печь. Из кабаре «Звездная пыль» выпорхнула женская фигура. Примостившись на краешке какого-то ящика, чтобы не измять серебристого газового платья с немислимым вырезом на груди и спине, девушка, по-детски жмурясь от удовольствия, торопливо ест дымящуюся картофелину. А старуха-торговка тем временем заботливо прикрывает чем-то ее оголенные плечи — то ли от вечернего холода, то ли от взоров прохожих.

Был сегодня на фестивале популярных ансамблей и вынес оттуда незабываемое впечатление о том, что видел и слышал не столько на сцене, сколько в зале.

Создатели самых модных, самых ходовых пластинок состязаются здесь в каком-то немислимом темпе. Солистка еще только берет финальную ноту, еще не видно конца неистовствам ударника, как движущийся пол уже уносит оркестрантов за кулисы и тут же выкатывает следующий ансамбль, который также играет вовсю, но уже что-то свое. Новоиспеченные кумиры года сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Ни секунды передышки от барабанной дробы и аккордов электрогитар. Но шумовые каскады, низвергающиеся со сцены, ничто в сравнении со взрывами неистовства, от которых ежеминутно сотрясается зал. Никогда не думал, что можно с таким исступлением визжать и топтать ногами на протяжении двух часов под-



ряд. Неужели это те самые японские девушки, которые слывут образцом грациозности и сдержанности, безукоризненного контроля над проявлением своих чувств? Вот толпа совершенно обезумевших поклонниц кидается к сцене, расталкивая друг друга. Какая-то девица протиснулась вперед с гирляндой цветов, но никак не может дотянуться до певца. Тот великодушно делает шаг к самому краю рампы и слегка нагибается. Но в тот самый момент, когда поклоннице наконец удастся набросить цветы ему на шею, в гирлянду впиваются десятки рук. Заарканенный кумир теряет равновесие и падает прямо на толпу своих визжащих поклонниц, которые, словно стая хищных рыб, начинают буквально рвать его на части, чтобы заполучить хоть какой-нибудь сувенир.

Досыта насмотревшись подобных сцен, я пополнил перечень не объяснимых для меня парадоксов Японии еще одним пунктом. Казалось бы, столь падкая на крайности западной моды японская молодежь уже полностью отошла от нравов и обычаев старшего поколения. И тем не менее когда приходит пора свадьбы, каждая японская девушка вновь превращается в образец кротости, смирения и покорности. Став невестой, она как бы вновь присягает законам предков. Проявляется это не только в том, что вопреки какой бы то ни было моде ее наряд и прическа будут такими же, как у красавиц, которых когда-то изображал на своих гравюрах Утамаро¹. Куда важнее, что эта верность заветам старины проявляется в покорности родительской воле. Ведь то самое поколение, за вкусами которого столь пристально следят и капризам которого своекорыстно потворствуют производители грампластинок, владельцы телестудий,



¹ Утамаро Китагава (1753–1806) — японский художник, прославившийся как создатель цветных гравюр на дереве.

кинотеатров, домов моделей, то самое поколение, которое, казалось бы, само выбирает себе кумиров и низвергает их, — это поколение донныне продолжает мириться с отсутствием права выбора в самом важном для человека вопросе — в вопросе о том, кто станет ему спутником жизни, отцом или матерью его детей.

Тишину токийского переулка, где я живу, по утрам первыми нарушают велосипедисты. Вот остановился молочник — слышно, как звякают бутылки у него на багажнике. Через несколько минут опять кто-то затормозил. Потом еще и еще. Ну хорошо, разносчик привез молоко, почтальон — газеты. Кто же остальные?

Однажды надо было в шесть утра ехать на вокзал. Решил захватить с собой газеты. Вышел к почтовому ящику — он еще пуст. Но как раз тут из-за угла лихо вырулил велосипедист, затормозил и протянул мне «Иомиури».

— А где же остальные газеты? — удивился я. — Мы ведь выписываем еще «Асахи» и «Майнити».

— Не беспокойтесь, они сейчас подъедут, — улыбнулся паренек. — Ведь мы все начинаем развозить газеты в одно время. Раньше нельзя — соглашение!

И действительно, в переулке вскоре появилась вереница велосипедистов, каждый из них бросил в мой почтовый ящик по одной газете.

Мне еще раньше было известно, что газету компартии «Акахата» доставляют подписчикам не почтальоны, а активисты местных ячеек. Это было легко понять. Не всякий читатель коммунистической газеты хочет, чтобы его имя и адрес стали достоянием полиции. Но какой смысл коммерческой прессы — всем этим «Асахи», «Майнити», «Иомиури» — отказываться от услуг



почты и дублировать друг друга? Ради чего каждая из этих газет предпочитает иметь свою собственную систему распространения?

— Волей-неволей приходится повсюду содержать свои конторы, чтобы соперничающие газеты не перехватили подписчиков, — ответили мне.

Итак, конкуренция. Вот, казалось бы, универсальный ключ к разгадке необъяснимых явлений японской буржуазной прессы. Но так ли это? Достаточно лишь несколько раз побывать в Токио на пресс-конференциях для японских журналистов, чтобы столкнуться с еще одним парадоксом.

Хотя в зале видишь представителей самых различных органов печати, радио, телевидения, вопросы всегда задает кто-то один. Остальные лишь слушают и записывают. Там, где, казалось бы, самое время состязаться, многоликая пресса неожиданно отказывается от конкуренции и предпочитает вести диалог как бы от имени одного лица.

Вопросы согласовываются заранее и сообща принимается решение, кто будет задавать их от имени всех. В Японии существует система пресс-клубов, в соответствии с которой всякое государственное учреждение, политическая партия или общественная организация обязаны делать официальные заявления лишь всей прессе в целом, чтобы такого рода новость не могла стать монопольным достоянием какого-то одного органа печати. Ведущие газеты, радио- и телекомпании имеют своих представителей и в пресс-клубе при премьер-министре, и в пресс-клубе при командовании американских военных баз. Участие определяется здесь лишь интересом, который представляет данный источник информации.

Но как же можно выделиться среди соперников, как можно проявить какое-то своеобразие при таком сознательном



обобществлении материала, при такой стандартизации рациона, которым питаются газеты?

— Мы рассуждаем так, — объяснили мне, — лучше в десяти случаях иметь то же, что и другие, чем лишь однажды оказаться в чем-то позади всех. Конечно, система пресс-клубов обезличивает газеты, зато каждая из них уверена, что никогда ничего не прозевают...

Зашел незнакомый человек в комбинезоне и в желтой каске строителя, вручил перевязанную лентой коробку и конверт. В коробке оказался подарочный набор из трех разноцветных кусков туалетного мыла, в конверте — письменное извинение: в связи с заменой водопроводных труб в переулке придется рыть траншею и беспокоить окрестных жителей треском пневматических отбойных молотков.

После этого мы с женой опять говорили о своеобразии японской вежливости. Ничто так не гипнотизирует в этой стране на первых порах, как экзотическая учтивость. В разговорах все поддакивают друг другу, при встречах отвешивают церемоннейшие поклоны, уместные, казалось бы, лишь в исторических фильмах да на театральной сцене. Зрелище это поистине незабываемое. Заметив знакомого, японец считает долгом прежде всего замереть на месте, даже если дело происходит на проезжей части улицы и прямо на него движется автобус. Затем он сгибается в пояснице, так что ладони его вытянутых рук скользят вниз по коленям, и, застыв в таком положении, осторожно поднимает вверх лишь глаза. (Выпрямляться первым невежливо, и кланяющимся приходится зорко следить друг за другом.)

Но посмотрите вслед японцу, который, только что церемонно раскланявшись с вами, вновь окунается в улич-



ную толпу. С ним тут же происходит как бы таинственное превращение. Куда деваются его изысканные манеры, предупредительность, учтивость! Он прокладывает себе дорогу в людском потоке, совершенно не обращая ни на кого внимания. Если окликнуть знакомого вновь, он опять становится улыбающимся, предупредительным, изысканно вежливым... по отношению к вам.

Японская учтивость ограничивается областью личных отношений и отнюдь не касается общественного поведения — для каждого, кто приезжает в Японию, легче открыть это противоречие, чем докопаться до его корней.

Нередко первые впечатления о Японии бывают омрачены чувством досады. Приезжему кажется, что он опоздал, упустил время, когда еще можно было увидеть подлинное лицо этой страны. Даже сознавая, что он едет в одну из ведущих индустриальных держав, турист рассчитывает, что ее новые черты окажутся лишь парадоксальными добавлениями к чертам традиционным, что самые крупные в мире танкеры, и самые умные компьютеры, и самые быстрые поезда будут лишь контрастной ретушью на портрете экзотически живописной страны с ее женщинами в кимоно и древними храмами среди прихотливо изогнутых сосен. Вместо этого приезжий видит прежде всего самую неприглядную сторону современной цивилизации. Кажется, что хаос заводских труб, прокопченных стен и железнодорожных путей похоронил под собою подлинную, традиционную Японию. Убедившись, что образ, сложившийся по открыткам и рекламным календарям, довольно далек от реальности, иностранец вслед за этим задается вопросом: насколько же в самом деле осовременилась Япония и насколько



живуче ее прошлое? То есть в какой именно пропорции сочетается в облике страны сегодняшний день со вчерашним?

Вопрос этот не нов. Сопоставление поразительной восприимчивости к новому с самобытностью вековых традиций служит лейтмотивом всего, что пишется о Японии вот уже на протяжении целого столетия.

Поневоле напрашивается мысль, что кажущаяся податливость японской природы подобна приемам борьбы дзюдо: уступить натиску, чтобы устоять, то есть идти на перемены, с тем чтобы оставаться самим собой. Восприимчивость японцев больше касается формы, чем содержания. Они охотно и легко заимствуют материальную культуру, но в области культуры духовной им присуща уже не подражательность, а консерватизм, не восприимчивость, а замкнутость. Такая «японская Япония», почти не подверженная переменам, присутствует везде и во всем. Это как бы оборотная сторона медали.

Пока живешь в Токио, кажется, что японская зима — самое сухое и солнечное время года. Трудно представить себе, что за соседними горами, на западном побережье выпадают такие глубокие снега, что многие селения оказываются надолго отрезанными от внешнего мира.

Такова Япония во всем. После нескольких лет изучения ее жизни вдруг обнаруживаешь, что смотрел на горы лишь с одной стороны, в то время как на их противоположном склоне климат совсем иной.

Вопреки первому впечатлению, что в облике Японии сегодняшний день полностью заслонил вчерашний, незримое присутствие прошлого сказывается донныне. Словно камень, лежащий на дне потока, оно не выпирает на поверхность, но дает о себе знать завихрениями и водоворотами. Нужно,



стало быть, отдавать себе отчет и в существовании, и в происхождении этих «водоворотов».

Иначе не понять, почему ультрасовременная молодежь с ее нарочитым бунтарством проявляет покорность родительской воле в выборе спутника жизни. Иначе не понять, почему в стране, где профсоюзы славятся своей боевитостью, доньше сохранилась патриархальная система пожизненного найма. Иначе не понять, почему японцам свойственно ставить личную преданность выше личных убеждений, что порождает неискоренимую семейственность в политическом и деловом мире. Иначе не понять, почему японцы всячески избегают прямого соперничества, стремясь прикрыть его видимостью компромисса; почему сложные и спорные вопросы они предпочитают решать через посредников. Иначе, наконец, не понять, как могут совмещаться в японском характере совершенно противоположные черты: церемонность и учтивость в домашней обстановке с грубостью на улице; жесткость правил поведения с распущенностью нравов; скромность с самонадеянностью.

Японский характер можно сравнить с деревцем, над которым долго трудился садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его. Если даже избавить потом такое деревце от пут и подпорок, дать волю молодым побегам, то под их свободно разросшейся кроной все равно сохраняются очертания, которые были когда-то приданы стволу и главным ветвям. Моральные устои, пусть даже лежащие где-то глубоко от поверхности, — это алгебра человеческих взаимоотношений. Зная ее формулы, легче решать задачи, которые ставит современная жизнь.



пятьсот миль. Остров очень велик; жители белы, красивые и учтивы; они идолопоклонники, независимы, никому не подчиняются. Золота, скажу вам, у них великое обилие: чрезвычайно много его тут, и не вывозят его отсюда, с материка ни купцы, да и никто не приходит сюда, оттого-то золота у них, как я вам говорил, очень много. Жемчугу тут обилие; он розовый и очень красив, круглый, крупный; дорог он так же, как и белый. Есть у них и другие драгоценные камни. Богатый остров, и не перечечь его богатства.

Марко Поло (Италия).
Путешествия. 1298

За китайским государством на востоке во окияне-море, от китайских рубежей верст с семьсот, лежит остров зело велик, именем Иапония. И в том острове большее богатство, нежели в китайском государстве, обретается, руды серебряные и золотые и иные сокровища. И хотя обычай их и письмо тожде с китайским, однако же они люди свирепии суть и того ради многих езувитов казнили, которые для проповедования веры приезжали.

Из памятной записки для московского посла в Пекине Николая Сафария (Россия). 1675

Японцам не повезло, как не повезло героям некоторых посредственных романов нашей литературы: их изображали только одной краской — или розовой, или черной.

Сакура, то есть вишня, которая украшает множество японских вееров, кимоно и фуросики, цветет действительно розовыми цветами. Я не думаю, однако, чтобы розовой была жизнь Японии, не верю ни в умильность персонажей романов Лоти, ни в страсти «Мадам Баттерфляй». Описывая японцев, не-



которые западные авторы улыбались растроганно и снисходительно; примерно так держатся с детьми холостые мужчины, желая показать мамашам свою доброту... Для миллионов западных буржуа Японии была игрушечным миром с гейшами и с бумажными фонариками, с цаплями и драконами, с ирисами и с веерами, с хризантемами и с церемониями.

Конечно, были на Западе специалисты, хорошо знавшие искусство Японии, были художники, потрясенные старой японской живописью, но средний европеец, читатель «Мадам Баттерфляй», восхищался не японским гением, а «японщиной» — стилизацией, доходившей до безвкусицы.

Были и такие западные авторы, которых Япония возмущала. Они не раз писали, что японцы лишены какой-либо индивидуальности; мелькали стереотипные определения: «пруссаки Азии», «вечные имитаторы», «муравейник». В книгах этих авторов Япония была страной самураев, жаждущих рубить и крушить, страной харакири и пыток, коварства и жестокости, беспрекословного повиновения и дьявольской хитрости.

Конечно, в тридцатые годы нашего века японские генералы старались удесятить штаты шпионов, а полиция не жалела средств на секретных осведомителей. Но ведь это относится к политической истории страны, а не к характеру народа. Между тем авторы, рисовавшие Японию черной, уверяли, будто каждый японец рождается шпионом, нет для него более возвышенного времяпрепровождения, нежели добровольный сыск. Достаточно вспомнить, как в добродушной Италии чернорубашечники убивали детей, как в городе четырех революций картезианцы маршировали под окрик фельдфебелей, как пылали книги в стране Гутенберга, чтобы отвести всякие попытки сделать нацио-



нальный характер ответственным за злодеяния того или иного режима.

**И. Эренбург (Россия).
Япония, Греция, Индия. 1960**

По свету ходит картина Японии: мужчины и женщины в кимоно церемонно кланяются друг другу в тени пагод. Обольстительные гейши играют на древних струнных инструментах, прерываясь лишь для того, чтобы блеснуть изысканным остроумием. Маленькие застенчивые люди спешат с чайной церемонии на аранжировку цветов, в то время как на заднем плане обиженные самураи совершают над собой харакири...

Стереотипы живучи, и на то есть свои причины. В конце концов, американские бизнесмены действительно разъезжают в распластанных лимузинах, курят огромные сигары, то и дело вступают в револьверные перестрелки с гангстерами и исчезают на просторах Дальнего Запада. А разве мало англичан, которые носят котелки биржевых брокеров и складные зонтики, которые гордятся своей «жесткой верхней губой», то есть невозмутимостью и корректностью; которые выходят из своих «роллс-ройсов», чтобы играть в крикет или строить планы восстановления империи, в то время как их дамы в огромных шляпах, украшенных безвкусными цветами, ведут жаркие дебаты, требуя восстановления смертной казни через повешение или протестуя против плохого обращения с английскими собаками в Японии?

Эти картины, возможно, карикатуры. Но беда карикатур состоит в том, что они напоминают оригинал гораздо больше, чем нам (если мы являемся оригиналом) хотелось бы признать. К тому же людям вообще свойственно тяготение



к стереотипам, как ко всему привычному, устоявшемуся, непреходящему. Поэтому мы подсознательно противимся всему, что расходится с японским стереотипом. Мы отрицаем превращение Японии в перворазрядную индустриальную державу. То же самое, кстати, присуще и японцам, которые по-прежнему привержены своим кимоно, которые продолжают кланяться с изысканной вежливостью перед тем как заключить многомиллионную сделку на покупку электронно-вычислительных машин или на строительство завода-автомата, и, как в прежние времена, идут в ресторан с гейшами, чтобы подписать такую сделку.

Джордж: Микеш (Англия).
Страна восходящей иены. 1970

Каждый народ, накапливая исторический опыт, привыкает смотреть на мир под собственным углом зрения. Человек, как правило, не отдает себе отчета в том, что такой угол зрения существует, но он не в силах обойти его. И если мы поймем, как люди думают, под каким углом зрения смотрят на мир, их образ мышления, или, по выражению В. Г. Белинского, их «манеру понимать вещи», то поймем прошлое этого народа и научимся предвидеть будущее.

Т. Григорьева (Россия).
Японская художественная традиция. 1979





КАПЛИ С КОПЬЯ ИДЗАНАГИ

Когда боги Идзанаги и Идзанами по радуге спустились с небес, чтобы отделить земную твердь от хляби, Идзанаги ударил своим богатырским копьём по зыбко колыхавшейся внизу пучине. И тогда с его копья скатилась вереница капель, образовав изогнутую цепь островов. Если взглянуть на Японию с самолета, на память приходит эта древняя легенда о сотворении страны.

Островная гряда и впрямь похожа на окаменевшие капли. Или, может быть, это караван гор, прокладывающий себе путь через бескрайнюю пустыню океана? «Путь гор» — таково одно из толкований древнего имени этой страны: Ямато. Действительно, Япония — это прежде всего страна гор. Их всегда видишь на горизонте, даже находясь посреди самой большой равнины. Для большинства японцев солнце всегда поднимается из-за моря и спускается за горы. Для меньшей части — наоборот. И коль уж существует исключение из этого общего правила, то лишь для глубинных районов, огражденных хребтами от обоих побережий. Там солнце всегда встает из-за гор и за горы же садится.

Древние японцы считали горы промежуточной ступенью между небом и землей, а потому — святым местом, куда нисходят с небес боги, где поселяются души умерших предков. Люди также поклонялись горам как воплощению неведомой божественной силы, которая дремала



в их недрах, а иногда вдруг вырывалась наружу в виде пламени, грохота, каменных дождей и испепеляющих огненных рек.

Имя Ямато напоминает, что сотворение Японии еще не завершено. Капли, упавшие с божественного копья, еще не остыли окончательно. Вся эта дугообразная вереница островов из конца в конец вздулась волдырями вулканов. Вся эта молодая суша то и дело колышется, ходит ходуном из-за землетрясений. Но Страна огнедышащих гор больше известна как Страна восходящего солнца. И второе образное название Японии поэтизирует уже не время, а место ее рождения. Именно под этим именем Япония впервые дала о себе знать западному миру со страниц книги Марко Поло. В главе «Здесь описывается остров Чипингу» путешественник приводит название, которым китайцы обозначали острова, лежащие к востоку от восточного края земли. Слово, которое прозвучало для Марко Поло как Чипингу, пишется тремя иероглифами «жи-бэнь-го» (каждый из которых, соответственно, значит: солнце — корень — страна). Иероглифы «жи-бэнь» на диалектах Южного Китая произносятся как «я-пон» (такое звучание и перешло потом в европейские языки), а по-японски читаются как «ниппон» (как раз это слово и утвердилось официальным названием японского государства вместо древнего имени Ямато).

Итак, Страной восходящего солнца прозвали Японию ее соседи. Но такое имя не прижилось бы у японцев, если бы не совпало с их собственным мироощущением. Народ этот почитал Идзанаги и Идзанами не только за сотворение Японии, но и за то, что они произвели на свет дочь Аматаэрасу — лучезарную богиню солнца, культ которой составляет основу обожествления природы.



Исконная японская религия синто (то есть «путь богов») утверждает, что все в мире одушевлено и, стало быть, наделено святостью: огнедышащая гора, лотос, цветущий в болотной трясине, радуга после грозы... Амаэрасу, как светоч жизни, служит главой этих восьми миллионов божеств.

Перед любым синтоистским храмом непременно высится торий — нечто вроде ворот с двумя поперечными перекладинами. (Торий считается национальным символом Японии, так как это один из немногих образцов подлинно японского зодчества, существовавшего до чужеземных влияний.)

В своем первоначальном смысле слово «торий» означает «насест». Он ставится перед храмом в напоминание о легенде, рассказывающей, как Амаэрасу обиделась на своего брата и укрылась в подземной пещере.

Долгое время никто не мог уговорить богиню солнца выйти оттуда и рассеять мрак, в который погрузился мир.

Тогда перед пещерой соорудили насест и посадили на него петуха, а рядом поставили круглое зеркало. Когда петух прокукарекал, Амаэрасу по привычке решила, что пора вставать. Выглянув наружу, она увидела в круглом зеркале собственное отражение и приняла его за незнакомую красавицу. Это задело женское любопытство богини, и Амаэрасу вышла из пещеры, чтобы посмотреть, кто посмел соперничать с ней в красоте. Мир тут же снова осветился, и жизнь на земле пошла своим чередом.

Из подобных легенд и состоит священная книга синто, которая называется Кодзики (что значит «летопись»). В ней, однако, вовсе нет каких-либо нравственных заповедей, норм праведного поведения или предостережений против грехов.



Из-за отсутствия собственного этического учения синто, пожалуй, даже не назовешь религией в том смысле, в каком мы привыкли говорить о христианстве, исламе или буддизме.

Примитивный синто был порожден обожествлением природы. Японцы поклонялись предметам и явлениям окружающего мира не из страха перед непостижимыми и грозными стихийными силами, а из чувства благодарности к природе за то, что, несмотря на внезапные вспышки своего необузданного гнева, она чаще бывает ласковой и щедрой.

Именно синтоистская вера воспитала в японцах чуткость к природе, умение наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее многоликой красоте.

Синто не требует от верующего ежедневных молитв — достаточно лишь присутствия на храмовых праздниках и приношений за исполнение обрядов. В быту же исповедующие синто проявляют себя лишь религиозным отношением к чистоте. Поскольку грязь отождествляется у них со злом, очищение служит основой всех обрядов.

Присущее японцам чувство общности с природой, а также чистоплотность имеют, стало быть, глубокие корни.

Островное положение способствует долговечности национальных традиций. В этом смысле Японию часто сравнивают с Англией. Однако Корейский пролив, отделяющий Страну восходящего солнца от Азиатского материка, примерно в шесть раз шире, чем Ла-Манш. Для древних завоевателей это была куда более серьезная преграда. Защищенная ею, Япония никогда не подвергалась успешному вторжению чужеземных войск.

Вскоре после походов Чингисхана в Европу его внук Хубилай, монгольский правитель Китая, в 1274 году попы-



тался захватить Японию, но был отбит. В 1281 году Хубилай снова предпринял поход. На этот раз он, по свидетельству летописцев, задумал поставить поперек Корейского пролива десять тысяч судов, чтобы соединить их деревянным настилом и пустить по этому мосту монгольскую конницу. Однако этот гигантский флот был уничтожен внезапно налетевшим тайфуном, который получил в японской истории название Божественного ветра — Камикадзе.

Стране восходящего солнца долгое время удавалось быть в стороне от походов завоевателей. Впрочем, нашествие из-за морей все же произошло — за четырнадцать веков до американской оккупации и за семь веков до попыток Хубилая навести через пролив плавучий мост для своей конницы. Правда, это было нашествие идей, а не войск; причем мостом, по которому на Японские острова устремилась цивилизация Индии и Китая, послужил буддизм. Среди даров, присланных правителем Кореи в 552 году, в Японию впервые попали изображения Будды. Буддийские сутры стали для японцев первыми учебниками иероглифической письменности, книгами, которые приобщали их к древнейшим цивилизациям Востока.

Буддизм прижился на японской земле как религия знати, в то время как синто оставался религией простонародья. Сказания синто были куда понятнее народу, чем буддизм с его рассуждениями о круге причинности, то есть о том, что день сегодняшний является следствием дня вчерашнего и причиной дня завтрашнего. Средний японец воспринял лишь поверхностный слой буддийской философии, прежде всего идею непостоянства и недолговечности всего сущего (стихийные бедствия, которым подвержена островная страна, способствовали подобному мировоззрению).



Синто и буддизм — трудно представить себе более разительный контраст. С одной стороны, примитивный языческий культ обожествления природы и почитания предков; с другой — вполне сложившееся вероучение со сложной философией. Казалось бы, между ними неизбежна непримиримейшая борьба, в которой чужеродная сила либо должна целиком подавить местную, либо, наоборот, быть отвергнутой именно вследствие своей сложности.

Не случилось, однако, ни того, ни другого. Япония, как ни парадоксально, распахнула свои двери перед буддизмом. Две столь несхожие религии мирно ужились и продолжают сосуществовать. Проповедники буддизма сумели поладить с восемью миллионами местных святых, объявив их воплощениями Будды. А для синто, который одушевляет и наделяет святостью все, что есть в природе, было еще легче назвать Будду одним из бесчисленных проявлений вездесущего божества.

Вместо религиозных войн сложилось нечто похожее на союз двух религий. У сельских общин вошло в традицию строить синтоистские и буддийские храмы в одном и том же месте — считалось, что боги синто надежнее всего защитят Будду от местных злых духов. Подобное соседство приводит в недоумение, а то и вовсе сбивает с толку иностранных туристов: какую же религию, в конце концов, предпочитают японцы и как отличить синтоистский храм от буддийского? Внешние приметы перечислить нетрудно. Для синтоистского храма главная из них — торий; для буддийского — статуи. Подобно тому как в мусульманских мечетях не увидишь ничего, кроме орнаментов, в храмах синто нет изображения Аматэрасу. Про легенду о ней напоминает лишь символический насест для



петуха. Буддизм же впервые возвеличил в Японии искусство скульптуры.

Другое различие — сами подступы к святыне. Дорога к синтоистскому храму всегда усыпана мелким щебнем, в котором вязнет нога. Экскурсанты часто удивляются: неужели аллеи парка Мэйдзи нельзя было заасфальтировать? Но столь неудобный для пешеходов грунт имеет свое религиозное значение. Щебень этот заставляет человека волея-неволей думать лишь о том, что у него под ногами, и как бы изгоняет из его сознания все прочие мысли, то есть готовит его к общению с божеством. К буддийскому же храму обычно ведут извилистые дорожки из плоских каменных плит.

О религии можно, наконец, судить по поведению самих молящихся. Если, встав перед храмом, они хлопают в ладоши, значит, хотят привлечь внимание богов синто. Если же, подобно индийцам, молча склоняют голову к соединенным перед грудью ладоням — это обращение к Будде.

Когда приезжий, постепенно разобравшись в этих различиях, задает наконец вопрос, сколько же в Японии синтоистов и сколько буддистов, он слышит в ответ весьма странные цифры. Судя по ним, получается, что общее число верующих в стране вдвое превышает численность населения. Это означает, что каждый японец причисляет себя и к синтоистам, и к буддистам.

Чем объяснить такое сосуществование богов? Как могли они найти место в душе каждого японца, чтобы мирно ужиться между собой? Ответить на это можно так: благодаря своеобразному разделению труда. Синто оставил за собой все радостные события в человеческой жизни, уступив буддизму события печальные. Если рождение ребенка или свадьба отмечаются



синтоистскими церемониями, то похороны и поминовения предков проводятся по буддийским обрядам.

Новорожденного японца первым делом несут в синтоистский храм, чтобы представить его местному божеству. По истечении определенного срока, когда считается, что опасность детской смертности уже миновала, ребенка снова приводят туда же как существо, окончательно вступившее в жизнь. Обряд этот сохранился до наших дней как праздник «Семь-пять-три». 15 ноября каждого года семилетних, пятилетних и трехлетних детей всей Японии наряжают, как кукол, в яркие кимоно (девочкам к тому же румянят щеки и делают высокие старинные прически) и дарят им леденцы в виде стрел, символизирующих долгую жизнь.

Бракосочетания — также монополия синто. Весной и осенью, особенно в так называемые счастливые дни, у каждого синтоистского храма непременно увидишь молодоженов, сватов и родственников. Обычай обмахивать новобрачных зеленой ветвью, девять глотков сакэ, которые по очереди делают жених и невеста, — все это очень древний ритуал.

Синто оставил за собой и все местные общинные празднества, связанные с явлениями природы, а также церемонии, которыми полагается начинать какое-либо важное дело, например пахоту или жатву, а в наше время — закладку небоскреба или спуск на воду танкера-гиганта.

События и ритуалы, связанные со смертью, — это монополия буддизма. Похороны, поминки, уход за кладбищами — вот источники дохода для буддийских храмов, если не считать платы, которую они взимают с экскурсантов, и случайные приношения.

Единственный народный праздник, связанный с буддизмом, это «бон» — день поминовения усопших. Его отмечают в



середине лета, на седьмое полнолуние, причем отмечают весело, чтобы порадовать предков, духи которых, по преданию, возвращаются тогда на побывку к родственникам. Существует обычай поминать каждого умершего свечкой, которую пускают в плавучем бумажном фонарике вниз по течению реки.

На фоне религиозной терпимости, издавна присущей японцам, проповедники христианства предстали в весьма неприглядном виде. Сама идея о том, что обрести спасение и обеспечить себе загробную жизнь в человеческом образе можно лишь взамен отказа от всякой другой веры в пользу учения Иисуса Христа, — сама эта идея казалась японцам торгашеской и унижительной. Когда миссионеры втолковывали японцам, что их предки обречены вечно гореть в огне лишь за то, что умерли некрещеными, такие доводы скорее отталкивали, чем привлекали.

К тому же люди, от которых местные жители впервые слышали о грехе, сами показали себя далеко не безгрешными. Миссионеры, сопровождавшие европейских первооткрывателей Японии в 1540-х годах, рвались к богатствам неведомого острова Чипингу.

Япония стала известна европейцам в первой половине XVI века; первые открыли сие государство португальцы; тогда дух завоевания новооткрываемых земель господствовал над сильнейшими морскими державами того времени в высочайшей степени. Португальцы, приняв намерение покорить Японию, начали по обыкновению своему с торговли и с проповедования мирным жителям сего государства католической веры. Миссионеры их, прибывшие в Японию, сначала умели понравиться японцам и, получив свободный доступ во внутренность сей земли, имели невероятный успех в обращении новых своих учеников в христианскую



веру; но царствовавший в Японии к исходу XVI века светский император Тейго, человек умный, проницательный и храбрый, скоро заметил, что иезуиты более заботились о собирании японского золота, нежели о спасении душ своей паствы, почему и решился истребить христианскую веру и выгнать миссионеров из своих владений.

Главной, или, лучше сказать, единственной, причиной гонения на христиан японцы полагают нахальные поступки как иезуитов, так и францисканцев, присланных после испанцами, а равным образом и жадность португальских купцов; те и другие для достижения своей цели и для обогащения своего делали всякие неистовства; следовательно, и менее прозорливый государь, нежели каков был Тейго, легко мог заметить, что пастырями сими управляло одно корыстолюбие, а вера служила им только орудием, посредством коего надеялись они успеть в своих намерениях.

Но, несмотря на все это, изгнанные из Японии миссионеры в свое оправдание и по ненависти к народу, не давшему им себя обмануть, представили японцев перед глазами европейцев народом хитрым, вероломным, неблагодарным, мстительным — словом, описали их такими красками, что твари гнуснее и опаснее японца едва ли вообразить себе можно. Европейцы все такие сказки, дышащие монашескою злобою, приняли за достоверную истину. Уверенность европейцев в мнимых гнусных свойствах японцев простирается до того, что даже в пословицу вошли выражения: японская злость, японское коварство и прочее. Но мне судьба предназначила в течение двадцатисемимесячного заключения в плену сего народа удостовериться в противном.

Записки капитана В. М. Головнина
в плену у японцев в 1811, 1812
и 1813 годах (Россия)



Чем ближе знакомятся европейцы с японцами, чем пристальнее всматриваются в них, в склад и строй японской жизни, тем яснее становится им, что в лице Японии они имеют дело со страной, проникнутой совершенно своеобразным, вполне самостоятельным духом, зрелым и глубоко разработанным. Особенно поражает европейца, что на всем протяжении Японии, с крайнего севера и до крайнего юга, он встречается совершенно одинаковую форму семейного и общественного быта, совершенно одинаковый строй понятий, воззрений, наклонностей и желаний.

Г. Востоков (Россия). Общественный, домашний и религиозный быт Японии. 1904

...Я думаю о старой и новой Японии. Я знаю: то, что создается веками, не может исчезнуть в десятилетия. Как старое и новое сплелось в Японии — какими силами? Говорят, что сердцем Япония — в старом, умом — в новом. Быть может, ум и сердце японского народа идут рука об руку. Но, во всяком случае, каковы те силы, которые есть в японской старине, силы, давшие народу умение принять все новое?

Я смотрю на быт и обычаи японского народа, его этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, — тысячелетний быт и обычаи, и сознание, перешедшее уже в бытие. И то, что в Японии все грамотны, и то, как организована японская воля. И этот тысячелетний быт, создавший свою особливую мораль, не оказался препятствием для западноевропейской конституции, заводов, машин и пушек.

Борис Пильняк (Россия).
Камни и корни. 1935





РЕЛИГИЯ ИЛИ ЭСТЕТИКА?

Сосуществование богов на японской земле отнюдь не всегда было мирным. Как и в других странах, здесь известны попытки власть имущих использовать религиозные чувства в собственных целях. С начала XVII века военные правители страны — сёгуны династии Токугава — стали усиленно насаждать конфуцианство с его идеей покорности вышестоящим. Именно с той поры влияние буддизма в Японии пошло на убыль.

В 1868 году, как только правление сёгунов Токугава было свергнуто, сторонники восстановления власти микадо тут же объявили синто государственной религией и узаконили миф о божественном происхождении императора как прямого потомка богини Аматаэрасу.

Дата вступления на престол мифического отпрыска богини солнца, императора Дзимму, была официально объявлена днем основания японского государства. Мифы синто стали служить для нагнетания шовинистического угара. В 30–40-х годах XX века именно синтоистская легенда о Дзимму, якобы завещавшем Японии «собрать восемь углов мира под одной крышей», послужила японским милитаристам идейной основой для территориальных захватов под предлогом создания «великой сферы со-процветания Восточной Азии».

Итак, синто наделил японцев чуткостью к природной красоте, чистоплотностью и отголосками легенд о своем божественном происхождении. Буддизм окрасил



своей философией японское искусство, укрепил в народе врожденную стойкость к превратностям судьбы. Наконец, конфуцианство принесло с собой идею о том, что основа морали — это верность, понимаемая как долг признательности старшим и вышестоящим.

Когда буддисты из Бирмы, мусульмане из Пакистана или католики с Филиппин попадают в Токио, они прежде всего поражаются религиозному безразличию японцев. Здесь не услышишь, чтобы на Будду или других богов ссылались в своих речах государственные деятели. Если писатели или художники берутся за религиозные темы, то отнюдь не по наитию веры. Несмотря на обилие храмов, все обычные молитвы сводятся к трем фразам:

— Да минуют болезни. Да сохранится покой в семье. Да будет удача в делах.

Эти три молитвы произносятся безотносительно к какой-либо из религий, просто как житейские заклинания. Священнослужитель для японцев не наставник жизни, как, скажем, для католиков, а просто лицо, исполняющее по заказу положенные обряды.

В общем, японцы народ малорелигиозный. Не будет большим преувеличением сказать, что роль религии у них во многом заменяет культ красоты, порожденный обожествлением природы.

Нужно воочию увидеть Японские острова, чтобы понять, почему населяющий их народ считает природу мерилom своих представлений о прекрасном. Япония — это страна зеленых гор и морских заливов; страна живописнейших панорам. В отличие от ярких красок Средиземноморья, которое лежит примерно на таких же широтах, ландшафты Японии составлены из мягких тонов, приглушенных влажностью воздуха. Эту сдержанную гамму могут временно нарушать лишь какие-нибудь сезонные краски. Например, весеннее цветение азалий или пламене-



ющие осенью листья кленов. Здесь порой думаешь, что не только художники, но и сама натура — сосны на прибрежных скалах, зеркальная мозаика рисовых полей, сумрачные вулканические озера — следует общепринятым в этой стране канонам красоты.

На сравнительно небольшой территории Японии можно увидеть природу самых различных климатических поясов. Бамбук, склонившийся под тяжестью снега, — символ того, что в Японии соседствуют север и юг. Японские острова лежат в зоне муссонных ветров. В конце весны и в начале лета массы влажного воздуха со стороны Тихого океана приносят обильные дожди, столь необходимые для рисовой рассады. Зимой же холодные ветры со стороны Сибири набираются влагой, пролетая над Японским морем, и приносят на северо-западное побережье Японии самое большое в мире количество снега для этих широт.

Сочетание муссонных ветров, теплого морского течения и субтропических широт сделало Японию страной своеобразнейшего климата, где весна, лето, осень и зима очерчены чрезвычайно четко и сменяют друг друга на редкость пунктуально. Даже первая гроза, даже самый сильный тайфун приходятся, как правило, на определенный день года. Японцы находят радость в том, чтобы не только следить за этой переменной, но подчинять ей ритм жизни.

Став горожанином, современный человек во многом утрачивает свой контакт с природой. Она уже почти не влияет на его повседневную жизнь. Японец же даже в городе остается не только чутким, но и отзывчивым к смене времен года.

Он любит приурочивать семейные торжества к знаменательным явлениям природы: цветению сакуры или осеннему полнолунию; любит видеть на праздничном столе напоминание о времени года: ростки бамбука весной или грибы осенью.



Японцам присуще стремление жить в согласии с природой. Японские архитекторы возводят свои постройки так, чтобы они гармонировали с ландшафтом. Цель японского садовника — воссоздать природу в миниатюре. Ремесленник стремится показать фактуру материала, повар — сохранить вкус и вид продукта.

Стремление к гармонии с природой — главная черта японского искусства. Японский художник не диктует свою волю материалу, а лишь выявляет заложенную в нем природой красоту.

Природа страны влияет на человека не только своими отдельными элементами, но и всей своей совокупностью, своим общим характером и колоритом. Вырастая среди богатой и разнообразной природы, любясь с детства изящными очертаниями вулканов, уходящих в небо своими конусами, и бирюзовым морем, усеянным тучею зеленых островков, японец всасывает с молоком матери любовь к красотам природы и способность улавливать в ней прекрасное.

Чувство изящного, склонность наслаждаться красотой свойственны в Японии всему населению — от земледельца до аристократа. Уже простой японский крестьянин — эстетик и артист в душе, непосредственно воспринимающий прекрасное в окружающей природе. Нередко он совершает отдаленные путешествия, чтобы полюбоваться каким-либо красивым видом. А особенно красивые горы, ручьи или водопады служат даже объектом благоговейного культа, тесно переплетаясь в представлениях простолюдина с конфуцианскими и буддийскими святынями. Из этого культа красоты, основывающегося на дивном колорите всего окружающего, возникло японское искусство.

П. Ю. Шмидт (Россия).

Природа Японии. 1904



При изучении истории, литературы и фольклора можно установить два главных источника развития японской культуры, один из них — это любовь к природе и второй — скудость материальных ресурсов. Любовь японцев к природе подобна тому чувству, которое дети испытывают к своим родителям, восхищаясь ими и в то же время побаиваясь их.

Хотя культура обычно рассматривается как анти-тезис природы, главная характерная черта японской культуры состоит в том, что это культура природоподражательная, то есть построенная по образцу природы, и тем самым резко контрастирующая с культурой других азиатских стран, особенно Китая.

Сюнкити Акимото (Япония).

Изучая японский образ жизни. 1961

Благодаря своеобразному соседству синтоизма, буддизма и конфуцианства, когда ни одно из мировоззрений не превалировало над другими, не исключало их абсолютно и окончательно, в сознании японцев глубоко укоренилась идея терпимости. В их духовной жизни всегда оставалось место для диалога. Каждая система верований или взглядов рассматривались как путь — путь к вершинам мудрости, духовного совершенства, внутреннего озарения. Человек был вправе испробовать любой из таких путей. В отличие от Запада Япония почти не знала преследований еретиков, подавления каких-то плодотворных идей из-за того, что они противоречили неким священным книгам или их последующему толкованию.

Фоско Мараини (Италия).

Япония: черты преемственности. 1971





КЕРАМИСТЫ И КУЛИНАРЫ

С утра я брожу по извилистой улочке Киото, спускающейся по склону от храма Кёмидзу. На ней теснится множество гончарен и лавочек, торгующих керамикой. Здесь рождается слава того вида фарфора, который именуется «керамикой Кёмидзу».

Я брожу, вдыхая знакомый запах, рождающий воспоминания о только что вытопленной русской печи. Это дым сосновых дров смешивается с запахом обожженной глины. Запах этот напоминает не только русскую деревню. Перед глазами тут же встал китайский город Цзиндэ — родина фарфора. Косо срезанные сверху трубы на фоне голубоватых гор. Берег реки, густо облепленный джонками с каолином — сырьем для изготовления фарфора. Грузчики на бамбуковых коромыслах уносили эти белые кирпичики наверх, к гончарням и печам. А другие катили навстречу им тачки с укутанными в рисовую солому связками готовой посуды.

Можно ли было без волнения подъезжать к родине фарфора, о котором еще тысячу лет назад говорили:

Белизной подобен нефриту,
тонкостью — бумаге.
Блеском подобен зеркалу,
звонкостью — цимбалам.



В начале VII века китайский купец Тао Юй сказочно разбогател. Он пус-

тил в продажу новый, неизвестный дотоле тип керамики, выдав ее за изделия из нефрита. Белый, блестящий, чуть просвечивающий фарфор действительно напоминал этот высоко ценимый на Востоке благородный камень. Тогда же, то есть в эпоху Тан, фарфор проник в Японию, затем в Индию, Иран, арабские страны, а оттуда — в Европу.

Впервые мне довелось попасть в Цзиндэ в середине 50-х годов. Город был похож на пчелиные соты. Он состоял из замкнутых дворишков-ячеек. Каждый такой дворик действительно представлял собой первичную ячейку фарфорового производства. Все гончарни были похожи друг на друга: прямоугольник крытых черепицей навесов, а посередине — ряды кадок, в которых отмачивался каолин. Солнечный луч дробился в них, как в десятках круглых зеркал. Человек в фартуке осторожно переливал плоским ковшиком почти прозрачную, чуть забеленную воду из одной кадки в другую. Через несколько дней самый светлый слой ее вычерпывали в третью. Так достигалась тончайшая структура сырья. Под навесом работали гончары. Каждый сидел над большим деревянным кругом, широко расставив ноги и опустив руки между колен. Он то раскручивал тяжелый маховик круга палкой, то склонялся к куску фарфоровой массы, нажимом пальцев превращая его в блюдо или вазу.

От гончаров черепки поступали к точильщикам. Вооруженные лишь примитивными резцами, они доводили чашу из хрупкой полусухой глины до толщины яичной скорлупы. Выправленные черепки окунали в похожую на молоко глазурь и отправляли сушить. К полудню серые крыши Цзиндэ становились белыми. Доски с черепками клали иногда даже между крышами соседних домов, превращая переулки в коридоры. На этих же досках



И наконец обжиг — таинственный процесс, при котором глина должна обрести свойства нефрита. На искусство старшего горнового в Цзиндэ издавна смотрели как на колдовство. Проявлялось это уже с загрузки печи, с умения удачно «проложить дорогу ветру и огню». Нужно учитывать особенности каждого вида фарфора, качество дров, погоду и даже направление ветра. Впрочем, помимо знаний и опыта, тут играли роль чутье, риск, а порой и просто везенье. Недаром среди обжигальщиков ходила поговорка: «Загрузить печь — что выткать цветок; обжечь — что ограбить дом».

Я много фотографировал тогда мастеров одного из самых ранних видов росписи — цинхуа. В отличие от других она наносится лишь одним цветом, причем еще до того, как черепок покрыт глазурью и обожжен. Кисть мастера цинхуа — подглазурной росписи кобальтом — должна двигаться со строго определенной скоростью. Необоженный фарфор очень активно впитывает влагу. Нанося узор, художник видит равномерный тон. Но там, где он помедлил лишнюю секунду, после обжига окажется темно-синее пятно. Однако это же свойство черепка открывает перед виртуозным мастером и новые возможности — ускоряя или замедляя движение кисти, он может, располагая лишь одним цветом, создать узор с целой гаммой полутонов: от бледно-голубого до густо-синего. Овладеть искусством подглазурной росписи кобальтом может лишь хороший каллиграф.

...Бродя по японской улице перед храмом Кёмидзу, я на каждом шагу вспоминал мастеров китайского фарфора. Нельзя было не сравнивать эти две ветви восточного искусства. Причем волей-неволей чаще приходилось противопоставлять их друг другу, чем сопоставлять.



Порой можно было подумать, что фарфор родился не в Китае, а в Японии; что, переняв грубый примитивизм гончарен Кёмидзу, китайцы развили затем это искусство до классического совершенства. Создавая фарфор — белый, как нефрит, тонкий, как бумага, блестящий, как зеркало, звонкий, как цимбалы, — китайские керамисты сумели добиться от невзрачной глины, казалось бы, чуждых ей качеств. Нельзя было не поражаться совершенству формы, которого добивались мастера Цзиндэ при обработке необожженного черепка. Качество его перед обжигом проверяли каплей воды: если, сбегав по внутренней стенке вазы, вода проступала снаружи ровной темной полоской — обточка сделана безукоризненно. Китайские мастера были непримиримы к каким бы то ни было отклонениям от идеально правильных форм. Малейшую деформацию при обжиге они считали браком, говоря, что ваза в этом случае «потеряла тень». Подобно резьбе по слоновой кости, производившей впечатление тончайших кружев, или шелковым вышивкам, напоминавшим размашистые картины кистью, произведения мастеров Цзиндэ утверждали мысль о всевластии художника над материалом.

Японская керамика на этом фоне поначалу показала примитивной архаикой в сравнении с блистательным классицизмом. Лишь пропитавшись японским пониманием красоты, можно было по достоинству оценить ее. Чем объяснить такие особенности японской керамики, как отрицание симметрии и геометрической правильности форм, предпочтение неопределенным цветам глазури, пренебрежение к какой-либо орнаментации?

Я беседовал об этом в одной из гончарен Кёмидзу с мастером по фамилии



— Мне кажется, — говорил Морино, — что суть здесь в отношении к природе. Мы, японцы, стремимся жить в согласии с ней, даже когда она сурова к нам. В Японии не так уж часто бывает снег. Но когда он идет, в домах нестерпимо холодно, потому что это не дома, а беседки. И все же первый снег для японца — это праздник. Мы раскрываем створки бумажных окон и, сидя у маленьких жаровен с углем, попиваем саке, любуемся снежными хлопьями, которые ложатся на кусты в саду, на ветви бамбука и сосен.

Роль художника состоит не в том, чтобы силой навязать материалу свой замысел, а в том, чтобы помочь материалу заговорить и на языке этого ожившего материала выразить собственные чувства. Когда японцы говорят, что керамист учится у глины, резчик учится у дерева, а чеканщик — у металла, они имеют в виду именно это. Художник уже в самом выборе материала ищет именно то, что было бы способно откликнуться на его замысел.

— Если материал отворачивается от меня, я прохожу мимо, — заключил Морино. — Лишь если мы понимаем друг друга, я прилагаю к нему руки.

Если китайцы демонстрируют свою искусность, то изделия японских мастеров подкупают естественностью. Причем эти древние традиции не случайно сомкнулись с современной модой. В мире механической цивилизации, в мире бетона и стали человек все больше испытывает тоску по природе. Поэтому искусство, утверждающее близость к ней своим подходом к материалу, искусство, которое поэтизирует, а не отрицает огрехи материала, огрехи труда, становится очень созвучным нашей современности.

«Не сотвори, а найди и открой» — этому общему девизу японского ис-



кустства следует и такая полноправная его область, как кулинария. Когда сравниваешь японскую кухню с китайской, коренное различие в эстетических принципах этих двух народов предстает особенно наглядно.

Если китайская кулинария — это алхимия, это магическое умение творить неведомое из невиданного, то кулинария японская — это искусство создавать натюрморты на тарелке. Китайская кухня в еще большей степени, чем французская, утверждает всевластие человека над материалом. Для хорошего повара, гласит пословица, годится все, кроме луны и ее отражения в воде. Великое множество продуктов используется в самых немыслимых и неожиданных сочетаниях. Кантонское блюдо «битва тигра с драконом» своеобразно не только тем, что готовится из мяса кошки и змеи, но и сложнейшей комбинацией приправ.

Китайский повар гордится умением приготовить рыбу так, что ее не отличишь от курицы; он гордится тем, что может кормить вас множеством блюд, и вы при этом будете оставаться в полном неведении, из чего же именно сделано каждое из них.

Японская же пища в противоположность китайской чрезвычайно проста, и повар ставит здесь перед собой совсем другую цель. Он стремится, чтобы внешний вид и вкус кушанья как можно больше сохраняли первоначальные свойства продукта, чтобы рыба или овощи даже в приготовленном виде оставались самими собой. (Такие блюда, как сукияки и темпура, которыми чаще всего потчуют туристов, отнюдь не типичны для японской кухни. Первое из них заимствовано у монголов, а второе — у португальцев.)

Японский повар проявляет свое мастерство тем, что не делает его заметным, как садовник, который придает дереву



именно ту форму, которую оно само охотно приняло бы. Приготовление сырой рыбы, например, часто ограничивается умелым нарезыванием ее на ломтики. Однажды я познакомился в закусочной с человеком, который долго пытался объяснить мне знаками свою профессию. «Я повар, повар», — говорил он, стуча ребром ладони по столу, как если бы резал что-то ножом. Примечательно, что повар связывает со своей профессией именно этот жест. Японский повар это резчик по рыбе или овощам. Именно нож — его главный инструмент, как резец у скульптора.

Никогда не забуду сельский постоялый двор, где мне подали утром чашку супа, в котором плавали ломтики моркови, нарезанной как кленовые листочки. Это было напоминанием о сезоне, о золотой осени, потому что достаточно было поднять голову и взглянуть в окно, чтобы увидеть горы, покрытые багряными кленами.

Подобно японскому поэту, который в хайку — стихотворении из одной поэтической мысли — обязательно должен выразить время года, японский повар стремится подчеркнуть в пище ее сезонность.

Соответствие сезону, как и свежесть продукта, ценится в японской кухне более высоко, чем само приготовление. Излюбленное блюдо праздничного японского стола — это сырая рыба, причем именно тот вид ее, который наиболее вкусен в данное время года или именно в данном месте. Каждое блюдо славится натуральными прелестями продукта, и подано оно должно быть именно в лучшую для данного продукта пору.

В японской кухне нет места соусам или специям, которые искажали бы присущий продукту вкус. Васаби, или японский хрен, который смешивается с соевым соусом и подается к сырой рыбе, как бы служит ретушью. Не уничтожая



присущий рыбе вкус, он лишь подчеркивает его. Пример подобной комбинации — суси, рисовый шарик, на который накладывается ломтик сырой рыбы, проложенной хреном. Здесь вкус сырой рыбы оттеняется как пресностью риса, так и остротой васаби.

Универсальной приправой в японских кушаньях служит адзи-но-мото. Слово это буквально означает «корень вкуса». Назначение адзи-но-мото — усиливать присущие продуктам вкусовые особенности. Если, скажем, бросить щепотку этого белого порошка в куриный бульон, он будет казаться более наваристым, то есть более «куриным». Морковь подобным же образом будет казаться более «морковистой», а квашеная редька станет еще более ядреной. Можно сказать, что адзи-но-мото символизирует собой японское искусство вообще. Ведь его цель — доводить камень, дерево, бумагу до такого состояния, в котором материал наиболее полно раскрывал бы свою первородную прелесть. Сколь бы модернистскими ни казались современные произведения искусства, подход японского художника к материалу остается прежним.

Модернизм в японском искусстве можно кое в чем уподобить классическому японскому саду. За его кажущейся безыскусственной простотой скрыта уйма труда и уйма традиций. Именно такова, например, современная японская архитектура. Она глубоко национальна не тем, что переняла от прошлого какие-то декоративные мотивы или пропорции.

А своей верностью главной черте японского искусства — подходом к материалу.

Сколько бы ни называли Кэндзо Тангэ ниспровергателем основ, он одновременно верный наследник. Тангэ поднял современную японскую архитектуру тем, что впервые подошел к бетону так же, как древние японские строители подходи-



ли к дереву, подчеркивая прелесть каждой его жилки, каждого сучка. Отказавшись от облицовки фасада, архитектор нашел красоту в необработанном бетоне со следами опалубки.

Японцы сумели придать китайским формам искусства свой национальный характер, и не их вина, если иностранные туристы больше всего восхищаются теми памятниками прошлого, которые менее всего показательны для японского гения. В десятках английских и французских книг пагода-мавзолей сёгунов Токугава в Никко описывается как шедевр японского зодчества. Этот храм, построенный в XVII веке, громоздок, пестр, пожалуй, даже криклив. А сила японского искусства в его необычайной простоте, наготе, в пренебрежении ненужными подробностями, в понимании материала, который подается незамаскированным, скажу больше — в лирическом, взволнованном подходе к материалу. В Никко можно найти множество искусных деталей, но искусность еще не означает искусства: это, если угодно, японское барокко. Достаточно сравнить мавзолей в Никко с пагодой Хорюдзи в Паре, с более поздними дворцами Киото, чтобы понять, насколько украшательство, пышность, внешняя эффектность чужды японскому духу.

И. Эренбург (Россия).

Япония, Греция, Индия. 1960

Японский вкус в живописи, в украшении дома, во всем, что касается линии и формы, может быть обозначен одним словом — «трезвость». Хвастовство, выдающее громадность за величие; пошлость, подавляющая красоту блеском и капризностью, — все это чуждо японскому духу.



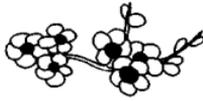
Японское искусство отличается правильностью, легкостью и силой линии, а также особой смелостью письма, что происходит, по всей вероятности, оттого, что японцы пишут и рисуют всей рукой, а не одной только кистью руки. Это, так сказать, каллиграфическое достоинство и придает прелесть самому простому, неотделанному японскому рисунку.

Б. Чемберлен (Англия).
Вся Япония. 1894

В вопросах вкуса японцы очень просты и превыше всего ценят естественность, как и показывает их образ жизни. Японцы любят жить в доме, построенном из простого дерева, в то время как китайцы никогда не оставляют куска дерева непокрашенным, любят обильную разнообразную пищу. Японцы тоже любят китайскую кухню, но лишь для разнообразия. Вряд ли можно найти семью, которая благодаря своим высоким доходам каждый день имела бы у себя то, что готовит китайский повар. В живописи китайцы любят все величественное, ясно очерченное, что кажется японцам вульгарным и безвкусным. Китайцы любят пионы, розы, орхидеи — все сильно пахнущие и ясно очерченные цветы, что во многом совпадает со вкусами западных народов. Японцы же любят такие цветы, как сакура, которая не очень ценится в Китае, а также многие полевые цветы и даже безымянные травы. Когда дело касается наслаждения искусством или природой, японцы становятся заядлыми консерваторами, ибо верны лишь старым критериям. Они любят замшелые камни, карликовые, кривые деревья, потому что во всем для них содержится особое очарование.



Ивао Мацухара (Япония).
Жизнь и природа Японии. 1964



ЧЕТЫРЕ МЕРЫ ПРЕКРАСНОГО

Мерами красоты у японцев служат четыре понятия, три из которых (саби, ваби, сибуй) уходят корнями в древнюю религию синто, а четвертое (югэн) навеяно буддийской философией. Попробуем разобраться в содержании каждого из этих терминов.

Слово первое — «саби». Красота и естественность для японцев — тождественны. Все, что неестественно, не может быть красивым. Но ощущение естественности можно усилить добавлением особых качеств. Считается, что время способствует выявлению сущности вещей. Поэтому японцы видят особое очарование в следах возраста. Их привлекает потемневший цвет старого дерева, замшелый камень в саду или даже обтрепанность — следы многих рук, прикасавшихся к краю картины. Вот эти черты давности именуется словом «саби», что буквально означает «ржавчина». Саби, стало быть, это неподдельная ржавость, архаическое несовершенство, прелесть старины, печать времени.

Если такой элемент красоты, как саби, воплощает связь между искусством и природой, то за вторым словом — «ваби» — виден мост между искусством и повседневной жизнью. Понятие «ваби», подчеркивают японцы, очень трудно объяснить словами. Его надо почувствовать. Ваби — это отсутствие чего-либо вычурного, броского, нарочитого, то есть, в представлении японцев, вульгарного. Ваби — это прелесть обыденного, муд-



рая воздержанность, красота простоты. Воспитывая в себе умение довольствоваться малым, японцы находят и ценят прекрасное во всем, что окружает человека в его будничной жизни, в каждом предмете повседневного быта. Не только картина или ваза, а любой предмет домашней утвари, будь то лопаточка для накладки риса или бамбуковая подставка для чайника, может быть произведением искусства и воплощением красоты. Практичность, утилитарная красота предметов — вот что связано с понятием «ваби».

«Ваби» и «саби» — слова старые. Со временем они стали употребляться слитно, как одно понятие — «ваби-саби», которое затем обрело еще более широкий смысл, превратившись в обиходное слово «сибуй».

Если спросить японца, что такое сибуй, он ответит: то, что человек с хорошим вкусом назовет красивым. Сибуй, таким образом, означает окончательный приговор в оценке красоты. На протяжении столетий японцы развили в себе способность распознавать и воссоздавать качества, определяемые словом «сибуй», почти инстинктивно. В буквальном смысле слово «сибуй» означает «терпкий», «вяжущий». Произошло оно от названия повидла, которое готовят из хурмы. Сибуй — это первородное несовершенство в сочетании с трезвой сдержанностью. Это красота естественности плюс красота простоты. Это красота, присущая назначению данного предмета, а также материалу, из которого он сделан. Кинжал красив не потому, что украшен орнаментом. В нем должна чувствоваться острота лезвия и добротность закалки. Чашка хороша, если из нее удобно и приятно пить чай и если она при этом сохраняет первородную прелесть глины, побывавшей в руках гончара. При минимальной обработке материала — максимальная практичность изделия. Сочетание этих двух качеств японцы считают идеалом.



Когда знакомишься в музее с историей японского искусства, невольно рождается вопрос: где же здесь последовательное развитие стилей? Такая преемственность не сразу бросается в глаза, ибо сказывается она не в форме, а в содержании. Японское искусство подобно напитку, который народ издавна готовит по собственным рецептам. Сколь ни совершенным было искусство, пришедшее когда-то из соседнего Китая, японцы заимствовали его лишь как сосуд. Да и нынешние западные веяния, вплоть до самых модернистских, остаются не более чем сосудом, в который японцы по-прежнему наливают напиток того же терпкого, вяжущего вкуса.

Понятия «ваби» и «саби», или «сибуй», коренятся во взгляде на вещи как на существа одушевленные. Японский мастер смотрит на материал не как властелин на раба, а как мужчина на женщину, от которой он хотел бы иметь ребенка, похожего на себя. И в этом слышится отзвук древней религии синто.

Можно сказать, что понимание красоты заложено в японцах от природы — от природы в самом буквальном смысле этого слова. И здесь уже можно говорить не только о влиянии синто, но и о том глубоко следе, который оставил в японском искусстве буддизм. Тайна искусства состоит в том, чтобы вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым. В этой мысли коренится четвертый критерий японского представления о красоте. Он именуется «югэн» и воплощает мастерство намека или подтекста, прелесть недоговоренности.

Заложенная в природе Японских островов постоянная угроза непредвиденных стихийных бедствий сформировала у народа душу, очень чуткую к изменениям окружающей среды. Буддизм добавил сюда свою излюбленную тему о непостоянстве мира. Обе эти предпосылки



сообща привели японское искусство к воспеванию изменчивости, бренности.

Радоваться или грустить по поводу перемен, которые несет с собой время, присуще всем народам. Но увидеть в недолговечности источник красоты сумели, пожалуй, лишь японцы. Не случайно своим национальным цветком они избрали именно сакуру. Весна не приносит с собой на Японские острова того бorerия стихий, когда реки взламывают ледяные оковы и талые воды превращают равнины в безбрежные моря. Долгожданная пора пробуждения природы начинается здесь внезапной и буйной вспышкой цветения вишни. Ее розовые соцветия волнуют и восхищают японцев не только своим множеством, но и своей недолговечностью. Лепестки сакуры не знают увядания. Весело кружась, они летят к земле от легчайшего дуновения ветра. Они предпочитают опасть еще совсем свежими, чем хоть сколько-нибудь поступиться своей красотой.

Поэтизация изменчивости, недолговечности связана со взглядами буддийской секты дзен, оставившей глубокий след в японской культуре. Смысл учения Будды, утверждают последователи дзен, настолько глубок, что его нельзя выразить словами. Его можно постигнуть не разумом, а интуицией; не через изучение священных текстов, а через некое внезапное озарение. Причем к таким моментам чаще всего ведет созерцание природы, умение всегда находить согласие с окружающей средой, видеть значительность мелочей жизни.



С вечной изменчивостью мира, учит секта дзен, несовместима идея завершенности, а потому избегать ее надлежит и в искусстве. В процессе совершенствования не может быть вершины, точки покоя. Нельзя достигнуть полного совершенства иначе как на мгновение, которое тут же тонет

в потоке перемен. Совершенствование прекраснее, чем совершенство; завершение полнее олицетворяет жизнь, чем завершенность. Поэтому больше всего способно поведать о красоте то произведение, в котором не все договорено до конца.

Чаще намекать, чем декларировать, — вот принцип, который можно назвать общей чертой двух островных наций — японцев и англичан. И те, и другие придают большое значение подтексту. Японский художник умышленно оставляет в своем произведении некое свободное пространство, предоставляя каждому человеку по-своему заполнять его собственным воображением.

У японских живописцев есть крылатая фраза: «Пустые места на свитке исполнены большего смысла, нежели то, что начертала на нем кисть». У английских актеров существует схожая заповедь: «Если хочешь выразить свои чувства полностью, раскрой себя на восемь десятых».

Японское искусство взяло на себя задачу быть красноречивым на языке недомолвок. И подобно тому, как японец воспринимает иероглиф не просто как несколько штрихов кистью, а как некую идею, он умеет видеть на картине неизмеримо больше того, что на ней изображено. Дождь в бамбуковой роще, ива у водопада — любая тема, дополненная фантазией зрителя, становится для него окном в бесконечное разнообразие и вечную изменчивость мира. Югэн, или прелесть недосказанности, — это та красота, которая лежит в глубине вещей, не стремясь на поверхность. Ее может вовсе не заметить человек, лишенный вкуса или душевного покоя. Считая завершенность несовместимой с вечным движением жизни, японское искусство на том же основании отрицает и симметрию. Мы настолько привыкли делить пространство на рав-



ные части, что, ставя на полку вазу, совершенно инстинктивно помещаем ее посередине. Японец столь же машинально сдвинет ее в сторону, ибо видит красоту в асимметричном расположении декоративных элементов, в нарушенном равновесии, которое олицетворяет для него мир живой и подвижный.

Симметрия умышленно избегается также потому, что она воплощает собой повторение. Асимметричное использование пространства исключает парность. А какое-либо дублирование декоративных элементов японская эстетика считает грехом. Посуда на японском столе не имеет ничего общего с тем, что мы называем сервизом. Приезжие изумляются: что за разницей!

А японцу кажется безвкусицей видеть одну и ту же роспись и на тарелках и на блюдах, и на кофейнике, и на чашках.

Итак, наслаждаться искусством значит для японцев вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым. Таков жанр сумиэ — словно проступающие сквозь туман картины, сделанные черной тушью на мокрой бумаге, живопись намеков и недомолвок. Таковы хайку — стихотворения из единственной фразы, из одного поэтического образа. Эта предельно сжатая форма способна нести в себе поистине бездонный подтекст. Отождествляя себя с одним из четырех времен года, поэт стремится не только воспеть свежесть летнего утра в капле росы, но и вложить в эту каплю нечто от самого себя, побудить читателя пережить его настроение по-своему.

Таков театр Ноо, где все пьесы играют на фоне одной и той же декорации в виде одинокой сосны и где каждое движение актера строго предписано и стилизовано. Во всем этом проявляется сознательная недосказанность, отражающая не бедность ума или недостаток воображения, а творческий прием, который уводит человека гораздо даль-



ше конкретного образа. Наивысшим проявлением понятия «югэн» можно считать поэму из камня и песка, именуемую философским садом. Мастер чайной церемонии Соами создал его в монастыре Реанзи в Киото за четыре столетия до того, как современные художники открыли язык абстрактного искусства иными путями.

Некоторые туристы называют этот сад теннисным кортом, увидев там лишь прямоугольную площадку, посыпанную белым гравием, среди которого в беспорядке разбросано полтора десятка камней.

Но это действительно поэзия. Глядя на сад, понимаешь, почему многие ультрамодернистские искания Запада представляются японцам вчерашним днем. Не следует пояснять, как в некоторых путеводителях, что камни, торчащие из песчаных волн, олицетворяют тигрицу, которая со своим выводком переплывает реку, или что здесь изображены горные вершины над морем облаков.

Слова бессильны передать до конца философский смысл Сада камней, его асимметричную гармонию, которая выражает вечность мира в его бесконечной изменчивости.

При виде предметов блестящих мы, японцы, испытываем какое-то беспокойное состояние. Европейцы употребляют столовую утварь из стекла, стали либо никеля, начищают ее до ослепительного блеска, мы же такого блеска не выносим. Я не хочу этим сказать, что мы не любим вообще ничего блестящего. Но мы действительно отдаем предпочтение тому, что имеет глубинную тень, а не поверхностную ясность. Это тоже блеск, но с налетом мути — лоска времени, или, говоря точнее, «засаленности».

Европейцы стремятся уничтожить всякий след засаленности, подвергая предметы жестокой чистке. Мы же, на-



оборот, стремимся бережно хранить ее, возвести ее в некий эстетический принцип. Мы действительно любим вещи, носящие на себе следы человеческой плоти, масляной копоти, выветривания и дождевых потеков. Мы любим расцветку, блеск и глянец, вызывающие в нашем представлении следы подобных внешних влияний. Мы отдыхаем душой, живя в такого рода зданиях и среди таких предметов.

Дзэниуро Танидзаки (Япония).

Похвала тени. 1932

Вообще говоря, мы делаем вещи с расчетом на прочность, японцы же — на недолговечность. Очень мало обиходных предметов предназначено в Японии для длительного использования. Соломенные сандалии, которые заменяются на каждом этапе пути; палочки для еды, которые всегда даются новыми и потом выбрасываются; раздвижные створки — сёдзи, которые служат как окна или как перегородки, заново оклеиваемые бумагой дважды в год; татами, которые заменяют каждую осень. Все эти примеры множества вещей повседневной жизни иллюстрируют примиренность японцев с недолговечностью.

Лафкадио Херн (Англия).

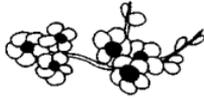
Кокоро. 1934

Чуткий ко всяким проявлениям движения жизни, японец мало любит форму, этот предел подвижности. Симметричность всего живущего, форм животных и растений — это явное выражение стремления природы к равновесию — оставляет его совершенно равнодушным. Он наблюдает и ухватывает в природе асимметричное, нарушенное равновесие, подчеркивает формы в момент изменения.



Г. Востоков (Россия).

Япония и ее обитатели. 1904



ОБУЧЕНИЕ КРАСОТЕ

Едва ли не все религии мира считают коллективные обряды, то есть совместное приобщение людей к какому-то догмату веры, важнейшим средством воздействия на человеческие души. А поскольку место религии в Японии в значительной мере занято культом красоты, роль таких коллективных обрядов играют тут традиции и церемонии, предназначенные для того, чтобы люди сообща развивали свой художественный вкус. Японский образ жизни породил целую систему таких коллективных эстетических упражнений, к которым регулярно прибегает народ.

Способность ценить красоту и наслаждаться ею — это не какое-то врожденное качество и не какое-то умение, которым можно раз и навсегда овладеть. Сознвая это японцы веками вырабатывали своеобразные методы, которые позволяют им развивать, поддерживать и укреплять свой художественный вкус. Зарубежные специалисты признают, что эстетическое воспитание в японской школе поставлено шире и основательнее, чем в других странах мира. Уже второклассник пользуется красками тридцати шести цветов и знает названия каждого из них. В погожий день директор школы вправе отменить все занятия, чтобы детвора отправилась на воздух рисовать с натуры или слушать объяснения учителя о том, как постигать красоту природы.

Однако ведущее место в эстетическом воспитании ребенка занимает обу-



чение письму. Спору нет, иероглифическая письменность — тяжкое бремя для японского школьника. Она отбирает у него в первые годы обучения непомерно много времени и сил. Вместе с тем нельзя не отметить и другое. Каллиграфия, или искусство иероглифической письменности, пришла в Японию из Китая в ту пору, когда она уже на протяжении тысячи лет считалась одним из видов изобразительного искусства. На иероглифы в ту пору смотрели не только как на средство письменного общения. Достоинства человеческого почерка считались прямым отражением его характера. Лишь морально совершенный человек мог, по тогдашним представлениям, стать мастером каллиграфии. И наоборот, всякий, кто овладел искусством иероглифической письменности, считался человеком высоких душевных качеств.

При обучении иероглифике стирается грань между чистописанием и рисованием. Когда освоены необходимые механические навыки, человек уже не пишет, а рисует; причем не пером, а кистью, приводя ее в движение не только рукой, но как бы всем телом. При совершенном владении кистью и безукоризненном чувстве пропорций, нужными для иероглифического письма, каждый японец, по существу, становится живописцем. Ему ничего не стоит несколькими мгновенными, уверенными штрихами изобразить гнущуюся ветку бамбука с мастерством профессионального художника. Существование каллиграфии как одной из основ народного просвещения было важной причиной того, что многие традиционные черты японской культуры уцелели в обиходе современных поколений.

В японском жилище есть как бы алтарь красоты. Это — токонома, то есть ниша, подле которой садится глава семьи или гость. Самое почетное место в доме принято украшать свитком с каллиграфи-



чески написанным изречением, чаще всего стихотворным.

Здесь, где каллиграфия смыкается с поэзией, мы видим второй пример упражнений в эстетизме — всеобщее занятие стихосложением. Поэзия всегда была в Японии одним из излюбленных видов народного искусства. Каждый образованный человек непременно должен владеть как мастерством каллиграфии, так и мастерством стихосложения. Излюбленными формами массового поэтического творчества служат танка или хайку, которые можно в какой-то мере сравнить с афоризмами или эпиграммами. Танка состоит из пяти строк и тридцати одного слога, чередующихся как 5-7-5-7-7, а хайку, ставшая очень популярной с XVI века, — это танка без последнего двуступишия, то есть стихотворение из семнадцати слогов.

Один художественный образ, непременно адресованный к какому-то из четырех времен года, плюс определенное настроение, переданное через подтекст, — вот что должна содержать хайку. В хайку об осени говорится:

Гляжу — опавший лист
Опять взлетел на ветку:
То бабочка была.

А вот хайку о лете:

Торговец веерами
Принес вязанку ветра —
Ну и жара!

О месте, которое занимала поэзия в духовной жизни Японии, свидетельствует то, что одним из первых письменных памятников была антология



стихов, составленная в VII веке. Называется она «Манъесю», то есть «Десять тысяч листьев».

До сих пор в середине января в Японии устраивается традиционное поэтическое состязание. Десятки тысяч стихотворений на заданную тему поступают на этот общенациональный конкурс. Лучшие из них зачитываются на торжественной церемонии в присутствии императора, публикуются в газетах. Общественность проявляет интерес к авторам лучших хайку не только потому, что такой поэтический чемпионат проводится ежегодно с XIV века, но прежде всего потому, что он остается неотъемлемой частью современной жизни. Стихосложение в Японии не только удел поэтов, а явление очень распространенное, если не сказать общенародное. Два десятка ежемесячных журналов общим тиражом свыше миллиона экземпляров целиком посвящены поэзии. Еще задолго до появления иероглифической письменности, как моста к искусству рисовать и слагать стихи, в быту японцев прочно укоренились обычаи коллективно любоваться поэтическими явлениями природы.

Зимой принято любоваться свежавыпавшим снегом. Весной — цветением сливы, азалий, вишни. Осенью — багряной листвой горных кленов и полной луной.

Однажды я оказался в Киото в день девятого полнолуния по старому календарю, когда принято любоваться самой красивой в году луной. Одно из лучших мест для этого — храм Дайгакудзи в Киото. Мне посоветовали приехать туда до темноты, потому что уже в половине шестого из-за горы за озером поднимается неправдоподобно большая, круглая, выкованная из неровного золота луна. По озеру среди серебящихся листьев кувшинок двигались две крытые лодки: одна с головой



дракона, другая с головой феникса. На каждой из них светились бумажные фонарики, похожие формой на луну. Как и большинство посетителей, я тоже устремился прежде всего к лодке и, лишь сделав в ней круг по озеру, отправился на широкий помост перед храмом. Оттуда лучше всего любоваться луной и ее отражением в озере. Лишь тут я понял, что лодки с драконом и фениксом для того и плавали по озерной глади, чтобы еще больше облагораживать эту картину, создавать у нее передний план.

Конечно, было бы очень просто осмеять все это. Помню, сколь удручающее впечатление произвел на меня парк Уэно, когда я впервые отправился посмотреть, как любуются цветением сакуры жители Токио. Крошечный парк. Все принесли с собой циновки, снедь и, конечно, выпивку. Дети гонялись друг за другом, женщины болтали, мужчины пели, хлопая в ладоши и раскачиваясь в такт. На первый взгляд казалось, что людям мало дела до розовых соцветий, украсивших деревья.

Можно было бы теми же глазами посмотреть и на сцену любования луной. Осмеять вереницы автобусов, которые подвозили к храму все новые полчища экскурсантов, толпившихся на монастырском дворе, словно перед входом в метро. Можно было бы посмеяться над лодчицами, которым предстояло угостить тридцать человек за несколько минут, пока лодка совершает свой круг по озеру. Каждая девушка должна была подойти к пассажиру, встать перед ним на колени, сделать глубокий поклон, почти касаясь лбом пола, а затем предложить ему пряник в виде луны и чашу с напитком, приготовленным по всем правилам чайной церемонии. Можно было бы посмеяться над стариком, который сидел рядом со мной и все время ревниво следил за тем порядком, в котором девушки



обслуживают гостей. А ведь им приходилось торопиться, как стюардессам в самолете, и в то же время сохранять необходимую для чайной церемонии степенность. Можно было бы посмеяться над тем, что многие из пассажиров вроде бы и не взглянули в сторону, где висела над озером луна.

И все-таки это было бы несправедливо. Все-таки увиденное в тот вечер прежде всего вызывало чувство уважения. Полюбоваться самой красивой в году лунной люди пришли как на народный праздник. Наслаждаться этой картиной из собственной уединенной беседки над озером, может быть, и лучше. Но что плохого в том, что такую возможность хотели иметь для себя не единицы, а сотни и тысячи людей? Все-таки это был повод лишний раз приблизиться к природе, приникнуть душой к ее красоте.

Итак, японцы не религиозны. Но вместо икон в каждом японском жилище есть как бы алтарь красоты — ниша, где стоит ваза с цветами, висит картина или каллиграфически написанное стихотворение. Японцы не религиозны, однако вместо коллективных богослужений они создали обычай, помогающие людям сообща развивать в себе художественный вкус.

Коллективное любование природой, письменность, неотличимая от рисования; стихосложение, смыкающееся с каллиграфией, — все эти традиции доньше сохраняют свою силу, свое несомненное влияние на национальную психологию японцев.



Первые века работали только художники — они создали категорию изобразительных иероглифов — первобытную китайскую энциклопедию в рисунках. Некоторые из этих рисунков-иероглифов с их предельно лаконичной выразительностью, мудрой экономией линий и очарова-

тельной изобретательностью являются незабываемыми шедеврами рисовального мастерства...

Посмотрите на эти иероглифы. Лошадь, яростно развевая по ветру гриву, встала на дыбы. Дракон, победоносно подняв голову, колыхая усищами и изогнув донельзя гигантское туловище, летит по сине-золотому небу. Рыба, похожая на ящера, с разинутой пастью и грузным хвостом. Феникс, трактованный чрезвычайно дерзко: не видно ни головы, ни ног, зато показан зигзаг плавного величавого полета и узор пышных огромных перьев. Телега, нарисованная по всем правилам конструктивизма европейского XX века и как будто выкатившаяся из детской книжки, иллюстрированной В. Лебедевым, — здесь можно вас до вечера водить от одного иероглифа к другому, и вам не будет скучно. Когда художники сделали свое дело и смогли уйти, пришли философы и начали, во-первых, осторожно упрощать эскизы художников, приспособливать к жизни, а во-вторых, конструировать отвлеченные иероглифы — создавать понятия, ибо философия всегда была поэзией понятий.

Появились, например, такие иероглифы: «смерч, вихрь» — изображение трех псов, «шалить, дразнить» — двое мужчин тискают женщину; «покорность» — человек, а перед ним собака; «отдых» — человек, прислонившийся к дереву; «водопад» — вода и буйство; «грохот» — три телеги; «отчаянная борьба» — тигр, а под ним кабан; «спокойствие, мир» — женщина чинно сидит под крышей дома, также другие.

Вместе с изменением внешности иероглифы претерпевали интенсивную внутреннюю эволюцию — меняли свое значение, сбрасывали с себя старые имена и получали новые. Например, иероглиф «хамелеон» незаметно в беге веков обронил где-то свое первое значение и



стал означать «проворный, юркий», иероглиф «облака или клубы пара, поднимающиеся вверх» стал означать «говорить».

Принципы рисовального мастерства Восточной Азии целиком построены на приемах иероглифописного искусства. Вот почему если на картинах азиатских мастеров рядом с извилистой горой и водопадом написано четверостишие, то этот пейзаж и эти письменные знаки взаимно дополняют друг друга, и зритель одновременно любуется живописью, внешним обликом иероглифов и смыслом начертанного.

Роман Ким (Россия).
Ноги к змее. 1927

От рождения щедро наделенные эстетическим чутьем, японцы лучше чувствуют, чем анализируют. Именно японцы создали хайку — крайнюю форму сжатости в литературе, которая схватывает и выражает в художественном образе интуицию и эмоцию момента. Даже сейчас в Японии насчитывается несколько десятков миллионов людей, пишущих хайку, — факт, на мой взгляд, чрезвычайно интересный и поразительный.

Такое стихотворение воздействует на читателя и внешним, видимым сочетанием слов, из которых оно составлено, и невидимым эмоциональным подтекстом. Эта примечательная литературная форма, исполненная красоты и утонченности, полностью лишена риторики западного типа, стремления высказать все до конца, до полной ясности, не оставляя сомнений. Мне кажется, что японской манере выражаться присущи черты хайку и что японский образ мышления следует тем же канонам.

Митико Инукаи (Япония). Уподобляясь, чтобы отличаться. 1966



Путь — слово, особенно любимое японцами. Впрочем, образ пути вообще близок Востоку — и Китаю и Индии — с очень давних времен. Путь постижения... путь святого... путь воина... путь дружбы... наконец, путь самоусовершенствования — словесное сочетание, без которого не обойдется ни один разговор на философские темы в Японии...

В классической японской поэзии строчки стихотворения — это лишь путь к собственному творчеству читающего, то есть к лично твоему внутреннему решению лирической темы, тебе предложенной. Поэт открывает перед тобой только путь к ней. Написанное стихотворение кончается, и вот лишь тут начинается поэтическое постижение темы.

Борис Агапов (Россия).
Воспоминания о Японии. 1974





ЦВЕТЫ И ЧАЙ

Помнится, слово «икебана» не давало мне покоя, когда я готовил репортаж о том, как жены погибших в забое горняков объявили голодовку на месте подземной катастрофы. Профсоюз шахтеров Миике славился в Японии своими боевыми традициями, причем значительная доля его славы принадлежала женщинам из Союза осиротевших семей. Вот эти-то горнячки, день за днем бастовавшие в забое, который стал могилой их мужей, потрясли Японию своим героизмом. После того как я побывал на месте стачки, ее участницы пригласили меня в контору профсоюза.

— Не беседовать же в темноте!

Мы подошли к ветхому бараку, над которым развевался красный забастовочный флаг. Я знал, что именно там отдыхали женщины, сменившиеся после трех суток голодовки под землей. Но могло ли прийти мне в голову, что я застаю их за изучением искусства компоновать цветы? В увешанной лозунгами конторе в разгар стачки шло очередное занятие кружка икебаны.

— Мы гордимся нашим кружком, — сказали мне активистки. — Он помог нам встретить горе единой семьей. Именно уроки икебаны впервые сблизили здешних горнячек.

Я очень хотел описать эту сцену, но так и не нашел повода вставить ее в корреспонденцию. Вроде бы причем тут цветы, если речь идет о забастовке? А упомянуть о кружке икебаны стоило. Ведь



искать красоту в сочетаниях тюльпанов и сосновых ветвей, чтобы черпать в этом не только радость, но и силу, — характерная черта японцев.

Или вот пример из совсем другой области жизни. Японцы посмеиваются над американской привычкой судить об общественном положении человека по его доходу. Однако порой и этот критерий кое о чем говорит. Нет причин удивляться тому, что обладателем наивысших доходов в Японии, налогоплательщиком номер один много лет был глава концерна «Нэшнел», или «Панасоник», Коносукэ Мацусита — человек, с именем которого связана послевоенная электрификация японского быта. Но если отрешиться от дельцов и политиков, от промышленников и торговцев и обратиться к так называемым «лицам свободных профессий», то окажется, что самые высокооплачиваемые люди в этой области — мастера компоновать цветы. Они опережают даже звезд экрана, даже прославленных игроков профессионального бейсбола, не говоря уже о писателях, художниках, музыкантах.

Список налогоплательщиков среди лиц свободных профессий не раз возглавлял Софу Тэсигахара — основоположник нового направления в искусстве икебана. Основанная им школа Согэцу («Травы и луна») имеет около миллиона последователей и сотни кружков по всей Японии. Полушутя-полусерьезно японцы говорят, что такого человека, как Тэсигахара, можно по влиятельности сравнить с руководителем политической партии, ибо он вполне мог бы проводить своих депутатов в парламент и уж, во всяком случае, набрал бы достаточно голосов, чтобы попасть туда самому.

В центре Токио красуется здание, построенное архитектором Кэндзо Тангэ. Это штаб-квартира школы Согэ-



цу. Сюда со всей страны текут конверты с зеленой каймой — денежные переводы. В Японии вряд ли найдешь город, где бы не существовало кружка школы Согэцу. Японка обычно проходит там двухлетний курс и треть платы за каждое полугодие посылает самому Тэсигахаре.

Мне довелось беседовать с основателем школы «Травы и луна» о философской основе его творчества. Икебана, по словам Тэсигахары, это самостоятельный вид изобразительного искусства. Ближе всего к нему стоит, пожалуй, ваение. Скульптор ваяет из мрамора, глины, дерева.

В данном же случае в руках ваятеля — цветы, ветки.

Цель икебаны — выражать красоту природы, создавая композиции из цветов. Но икебана — это и средство самовыражения. Даже используя одни и те же материалы, разные люди могут вложить в них разные настроения. Подлинного мастера икебаны не может удовлетворить лишь внешняя красота цветов. Он стремится заставить их заговорить на понятном людям языке.

Когда в процессе подражания учителю ученик освоит приемы икебаны, он сможет выражать в этом виде искусства собственные чувства и мысли. Икебана, повторил Тэсигахара, сродни ваению. Когда скульптор хочет из куска мрамора изваять человеческое лицо, он должен удалить с камня все, что не есть лицо. Такое ваение можно условно называть вычитательным, скульптурой со знаком минус. Икебана, напротив, это как бы скульптура со знаком плюс, или добавляющее ваение. Исходное здесь — пустое пространство, которое человек начинает заполнять, насыщать элементами красоты.



найденного точного перевода. Принятое на Западе выражение «аранжировка цветов», так же как и русский термин «искусство составления букетов», не раскрывает сути икебаны. Иногда иероглифы «икебана» дословно переводят как «живые цветы» или как «цветы, которые живут». Но и это определение нельзя назвать исчерпывающим. Ибо первый слог «ике» не только означает «жить», но и является формой глагола «оживлять», «выявлять», который противоположен глаголу «подавлять». Поэтому выражение «икебана» можно перевести как «помочь цветам проявить себя».

Есть притча о мастере чайной церемонии Рикю, сад которого славился на всю Японию цветами повилики. Взглянуть на них решил даже сам сёгун Хидэёси. Придя, однако, в назначенное утро в сад, он с удивлением обнаружил, что все цветы срезаны. Уже начавший гневаться, повелитель вошел в комнату для чайной церемонии и тут увидел икебану из одного-единственного стебля повилики. Рикю принес в жертву все цветы своего сада, чтобы подчеркнуть их красоту в одном, самом лучшем. Эту притчу рассказывают каждому японцу на первом же занятии икебаны. Его приучают к тому, что выразительность скупа; что хотя икебана в целом — это ваение со знаком плюс, с каждой отдельной ветки с листьями и цветами надо так же безжалостно удалять все лишнее, как скульптор скалывает с куска мрамора все, что не есть лицо.

Икебана — это вид искусства, созданный нацией, которая веками воспитывала в себе умение обращаться к природе как к сокровищнице прекрасного. Искусство икебаны любимо народом именно за его общедоступность, за то, что оно помогает человеку даже в бедности чувствовать себя духовно богатым.



Помню, как в токийском пресс-клубе один иностранный журналист иронизировал по поводу своего первого знакомства с чайной церемонией:

— Представьте себе, что парикмахер и еще три или четыре человека, ожидающих очереди побриться, уселись на полу совершенно пустой, полутемной комнаты. Действия парикмахера похожи на обычные: он насыпает в чашку порошок, заливает его кипятком, взбивает кисточкой пену. Причем делает все это так, словно он верховный жрец, выполняющий религиозный обряд. А все другие молча следят за этим священнодействием. Если мысленно заменить мыльный порошок растертым в пудру зеленым чаем, который взбивают бамбуковой метелочкой, очень похожей на кисточку для бритья, получаешь полную картину этого японского чуда...

Для заезжего иностранца чайная церемония в самом деле не больше, чем затянутое чаепитие с непонятным ритуалом. Но чайный обряд — это тоже ключ к познанию национальной психологии, не менее важный, чем бусидо — моральный кодекс самурая, о котором на Западе много писали. Выражение «он умеет жить» японцы понимают по-своему. В их представлении человек, умеющий жить, видит радости жизни там, где другие проходят мимо них. Чайная церемония учит находить прекрасное в обыденном. Это соединение искусства с буднями жизни.

Если страсти, бушующие в человеческой душе, порождают определенные жесты, то, считает мастер чайной церемонии, есть и такие жесты, которые способны воздействовать на душу, успокаивать ее. Строго определенными движениями, их красотой и размеренностью чайная церемония создает покой души, приводит ее в то состояние, при котором она особенно чутко отзывается на вездесущую красоту природы.



В чайной церемонии участвует не больше пяти человек. Даже если дело происходит днем, в комнате должен стоять полумрак. На каждом предмете лежит печать времени. Есть только два исключения — белоснежный льняной платок и ковш, сделанный из спиленного куску бамбука, которые бывают подчеркнута свежими и новыми.

Комната для чайной церемонии оформляется с изысканной простотой, воплощающей в себе классическое японское представление о прекрасном. Причем эта подчеркнутая простота или даже бедность часто очень дорого обходятся хозяину, потому что какое-нибудь кряжистое бревно может быть сделано из очень редкой породы дерева и к тому же иметь особую цену из-за своих художественных достоинств.

Не только большинство японских женщин, но и многие мужчины доньше изучают каждое движение чайной церемонии. Ее влияние ощущается во многих областях японской культуры. Именно отсюда берут начало такие понятия, как «ваби», «саби», «сибуй». Порождением чайной церемонии явилось и искусство икебаны. Японская керамика никогда не достигла бы таких вершин, если бы не этот ритуал, который оказал также глубокое влияние и на правила поведения японцев.

Мост между искусством и природой, а также мост между искусством и будничной жизнью — ключевые характеристики японской культуры. В этой стране никогда не существовало деления искусства на чистое и прикладное. Японцы привыкли отождествлять прекрасное с целесообразным, и любой предмет их домашней утвари сочетает в себе красоту и практичность.

У западных искусствоведов существует выражение, что японская культура — это цивилизация пустыков. Видимо, верно то, что японцы преуспе-



ли в практических мелочах больше, чем в широких абстрактных идеях. В японском языке есть термин «массе буммей» — «цивилизация сосновой иглы» (под этим имеется в виду умение наслаждаться красотой сосновой хвоинки, вместо того чтобы попытаться охватить взором целый лес).

От японцев часто слышишь, что иностранные туристы предпочитают прекрасное в огромных порциях. Красоты одной капли росы им недостаточно — нужны галереи картин, уставленные скульптурой дворцы. Японцы не любят оценивать искусство на бегу, приемля его лишь как часть повседневной жизни. Чайная церемония, мастерство икебаны, стихосложение, любование природой — все это объединено у них названием «фурю», что можно перевести несколько старомодным термином «изящные досуги». Как и англичанин, японец отдает свое свободное время любимому хобби, причем, как и в Англии, увлечение это чаще всего связано с природой или с искусством.

Японцев, побывавших в Соединенных Штатах, удивляет, что даже среди состоятельных людей очень немногие имеют художественные склонности и интересы. Японцы же, особенно в пожилом возрасте, заядлые цветоводы, живописцы-любители или коллекционеры. «Изящные досуги» отнюдь не достояние одних лишь эстетов или кучки богачей.

Хороший вкус в Японии вполне уживается с бедностью. Здесь сказалось, во-первых, что искусство никогда не делилось на чистое и прикладное — это привело к высоким художественным требованиям ко всем без исключения предметам домашнего обихода; а во-вторых, регламентация быта, которая доходила в феодальной Японии до поразительных масштабов.



Земледелец, собиравший в год сто кулей риса, мог построить себе дом не длиннее, чем в шестьдесят ступеней, и крыть его соломой, но не черепицей. Он не имел права есть рис, выращенный им самим, как не имел права носить шелк крестьянин, разводивший шелковичных червей. Глина для его посуды, бумага для его окон, гребень в волосах его жены — все это было предписано и узаконено властями. Именно в эпоху жесткой регламентации быта простейшая утварь вроде чугунного чайника, бумажного фонаря или бамбуковой ширмы обрела своеобразную прелесть, неведомую дешевой массовой продукции Запада.

Услышав выражение «о вкусах не спорят», японец охотно согласится с ним, хотя вкладывает в эти слова совсем другой смысл, чем мы. В Японии о вкусах не спорят, но не потому, что у каждого человека может быть свой вкус, а потому, что хороший вкус стал неписанным законом. Культивируя и развивая в себе чувство прекрасного, японцы в то же время четко предопределили его рамки. И здесь утонченный вкус мог идти лишь вглубь вместо запретного стремления идти вширь, раздвигая эти рамки. Утвердив в своем обществе вкус по указу, японцы издавна стремились распространить свое представление о красоте и гармонии на область человеческих взаимоотношений.

Выражение «некрасивый поступок» обрело в Японии свой первоначальный смысл.

Иностранному обывателю в своем самодовольстве видит в чайной церемонии лишь еще один пример тысячи и одной странности, которые составляют непостижимость и ребячливость Востока. Прежде чем смеяться над этим обрядом, стоит подумать, как, в сущности, мала чаша человеческих радостей и сколь мудры те, кто уме-



ет ее заполнить. Чайная церемония для японца — это религия. Это обожествление искусства жить.

Кикудзо Окакура (Япония).

Книга о чае. 1906

Предварительно нам объяснили, что разговоры во время церемонии не приняты и что только после последнего глотка можно и даже поощряется спросить, откуда посуда, как давно ее делали, кто мастер, и отозваться хорошо о чашках, о кисточке, о качестве чая...

Вскоре глаза привыкли к полумраку, и я различил, что в комнате не было никаких украшений и она полностью отвечала буддийскому философскому понятию «пустоты», венцом которой был бледный маленький цветок горной лилии, стоявший в токономе, и какие-то листья, нарисованные тушью на свитке бумаги, висевшем над цветком. Я уловил также ровный гул кипящей в чайнике воды, он напоминал шум дождя по соломе над маленькой хижиной в горах, и я ощутил, что и это молчание, и шум кипения, и малость бедной комнаты, и скромность лилии — все это некий спектакль, вернее, действие, в котором я принимаю участие и которое я по писательской своей профессии должен как-то определить.

И единственным словом, которое я мог подыскать, было слово «отъединенность». Недаром тропинка запутывала мои следы, недаром иллюзорный лес обступал меня, не случайно был нарисован иероглиф, в смысл которого входило слово «спрятаться», не напрасно тут не было никаких предметов, привязывающих к себе внимание, кроме бледного цветка и серых листьев на бумаге. Отъединенность! Все бывшие тут обязались не обижать друг друга, доверять один другому, и теперь каждый мог отдышать от самого себя:



военный — от готовности к смерти, коммерсант — от заботы о деньгах, один человек — от всех людей.

Борис Агапов (Россия).

Воспоминания о Японии. 1974

Рожденные в стране, изобилующей теми элементами природы, которые стимулируют поэтическую практику и формирование чувствительной души, а именно горами, морями, и также четкой сменой четырех времен года, японцы усовершенствовали методы дистиллирования красоты из этих богатств до степени, неведомой нам. Обычай любоваться цветущими деревьями, падающим снегом или полной луной выдает некоторые главные черты японского вкуса. В целом этот вкус скорее строгий, чем необузданный, скорее коллективный, чем индивидуальный, и сверх того — в высшей степени избирательный. Поскольку вкус в Японии находится в общественном пользовании, он никогда не носит на себе личного клейма. Образцы красоты обретают поэтому силу закона.

Бернард Рудофски (США).

Мир кимоно. 1966

Минувшие века сделали японца человеком, который относится к жизни прежде всего как художник, эстет. Он не является человеком принципа. Основным законом его общественной и личной жизни служат не только мораль, религия или политика, но и нормы прекрасного. «Эстетическое объяснение Японии» — вот хороший заголовок для книги, которую следовало бы когда-нибудь написать.

Робер Гийен (Франция).

Япония. 1961





ГЕЙША В КИМОНО

Японские слова «кимоно» и «гейша» известны каждому. С ними связаны стереотипные представления иностранного обывателя об экзотике Страны восходящего солнца. Пояснять значение первого из этих слов нет нужды. А вот насчет второго существует немало заблуждений.

В буквальном переводе слово «гейша» означает «человек искусства». Гейша — это искусница; искусница развлекать мужчин, причем не только умением петь и танцевать, но и своей образованностью. Следуя девизу «всему свое место», японцы с незапамятных времен привыкли делить женщин на три категории: для домашнего очага, для продолжения рода — жена; для души — гейша с ее образованностью; наконец, для плоти — ойран, роль которых после запрещения открытой проституции взяли на себя девицы из баров и кабаре. Вечер, проведенный с гейшами, это, конечно, памятное событие, хотя, как правило, оставляет иностранца несколько разочарованным. Именно такое чувство осталось и у меня, хотя впервые познакомил меня с гейшами мэр города, который славится в Японии своими красавицами.



В конце ужина появились три «искусницы», две из которых были чересчур молоды, а третья чересчур стара. Яркость их наряда, старинные сложные прически, толстый слой белил, превращавший лица в безжизненные маски, — все это казалось нарочито театральным.

Девушки рассказали, что им пошел шестнадцатый год и что обе они лишь несколько месяцев назад внесены в официальный список гейш, который ведется в каждом японском городе, где есть чайные дома. Одна из них грациозно налила мне саке и не менее поэтично разъяснила изречение, написанное на фарфоре. Чтобы не остаться в долгу, я написал начало одного из четверостиший Бо Цзюйи, и она тут же добавила две недостающие строки с такой уверенностью, будто этот китайский поэт, живший более тысячи лет назад, был ее соотечественником и современником. Продолжить поэтическое соствязание нам не удалось, так как из угла забренчал сямисэн¹. Повинуясь этому сигналу пожилой гейши, девушки вспорхнули из-за стола и исполнили церемонный танец, наверное, еще более древний, чем строфы, которые мы только что писали. После этого все трое встали на колени, отвесили поклон, почти касаясь лбами пола, и скрылись за дверью, пробыв с нами в общей сложности не более получаса.

«Как, и это все?» Если я не выразил свое недоумение вслух, оно, наверное, было написано у меня на лице, потому что хозяин его заметил.

— Даже многие японцы, — сказал он, — шутят сейчас, что приглашать гейш так же глупо, как заказывать шампанское в баре. Пьян с него не будешь, но зато дашь понять гостю, что готов ради него на любые расходы.

— Вечер с гейшами, — любил повторять знакомый журналист-итальянец, — это не более чем ужин с аббатом. Все, что вы там увидите, можно было бы назвать «стриптизом на оборот»...

Действительно, в своем парике и гриме гейша воспринимается скорее как

¹ Сямисэн — трехструнный музыкальный инструмент.



ожившая кукла, чем как живой человек. Турист, который воображает, что увидит в танцах гейш что-то пикантное, глубоко заблуждается. Рисунок их очень строг, почти лишен женственности, потому что танцы эти ведут свою родословную из старинного театра Ноо.

Иногда гейши поют вместе с гостями, иногда играют в невинные застольные игры. Все это время они не забывают подливать мужчинам пива и саке, шутят с ними, а главное, смеются их шуткам. На этом какой-либо контакт и кончается.

Изучать мир гейш лучше всего в Киото. Там, в районе Гион, сосредоточено большинство чайных домов, а также заведений, которые можно было бы назвать школами гейш или их поставщиками. Хозяйка такого заведения выплачивает определенную сумму родителям девочки, которая поступает к ней в ученицы с шести-семи лет. Помимо занятий в обычной школе, будущая гейша учится пению, танцам, игре на сямисэне и другим необходимым ей искусствам. Она безотлучно живет в доме своей хозяйки, которая не только учит ее ремеслу, но и кормит, одевает, и, разумеется, ведет счет всем расходам.

В Японии запрещено работать до завершения обязательного девятиклассного образования, так что затраты начинают окупаться лишь после того, как девушке исполнилось пятнадцать лет. Чтобы воспитать «искусницу», нужно много времени, а спрос на нее велик лишь в первые годы после дебюта. Вряд ли хозяйка заведения получала бы прибыль, лишь посылая своих воспитанниц в качестве опытных развлекателей. Главный источник ее дохода состоит не в этом. Каждая гейша рано или поздно обретает покровителя, который за право вызывать ее в любое время платит хозяйке заведения очень крупную сумму. Девушка остается в



списке гейш данного города, ее могут пригласить в любой чайный дом, однако покровитель всегда вправе отменить принятую заявку.

Чаще всего в такой роли выступает какой-нибудь престарелый делец, для которого это важно прежде всего по соображениям престижа. Поскольку присутствие гейш символизирует в Японии гостеприимство на высшем уровне (все знают, что удовольствие это стоит непомерно дорого), наиболее важные деловые встречи как в коммерческом, так и в политическом мире происходят в чайных домах. Гейша, которой покровительствует какой-нибудь президент фирмы или министр, выступает в таких случаях в роли хозяйки.

Иностранному туристу нередко принимает за гейшу любую служанку, одетую в кимоно. Японец же в подобном случае никогда не ошибется. Традиционный наряд гейши примечателен тем, что ворот кимоно спущен у нее на спине ниже обычного. (В чайных домах, стало быть, принято «декольтироваться» не спереди, а сзади.) В своем современном виде кимоно облегает женскую фигуру не для того, чтобы выявить, а для того, чтобы скрыть ее естественные очертания. Широкий пояс с бантом на спине носится значительно выше талии, делая японку плоской спереди и горбатой сзади.

Японская девушка вполне может пройтись по улице в кимоно своей прабабки, и наряд этот никому не покажется архаичным или даже старомодным, причем он будет выглядеть как раз в пору, даже если девушка эта на голову выше и вдвое тоньше прежней хозяйки кимоно. Японский национальный костюм не зависит ни от сезона, ни от моды, ни даже от роста или комплекции человека.

Кимоно кроится по геометрическим линиям, не связанным с чьей-то конк-



ретной фигурой, и шьется по единому образцу, который вошел в обиход за много веков до появления стандартного готового платья. Полы здесь не застегиваются, а запаховаются, длина всегда имеет большой запас, так что, надевая кимоно, японка всякий раз как бы заново подгоняет его по себе.

Не только внешний облик, но и поведение японской женщины резко меняется в зависимости от того, во что она одета. В кимоно она всегда строго следует старинному этикету. В платье же она будет держать себя сугубо по-японски лишь при очень официальных обстоятельствах. И если кимоно мало подходит для современной улицы с ее толкотней и спешкой, то западная одежда кажется столь же неуместной на японке, когда видишь ее в окружении традиционного домашнего быта. Предсказание, что после Второй мировой войны японские женщины никогда уже не наденут кимоно, не сбылось. Параллельно обновлению многих форм жизни в послевоенной Японии шел процесс возрождения национального костюма. Кимоно вернуло свои права как наряд для праздников и торжественных случаев, оставаясь частью традиционного быта японцев.

Если вам хочется провести время в живой, остроумной беседе, пригласите гейшу. Всегда красавица, не старше двадцати лет, изысканно одетая, она составит вам очаровательное общество. Гейши — самые образованные женщины в Японии.

Остроумные, превосходно знающие свою литературу, веселые и находчивые, они расточат перед вами все свое очарование. С классическим искусством гейша пропоет вам и продекламирует лучшие стихотворения и отрывки из лучших драматических произведений. И все время непринужденно веселая, остроумная и кокетливая, она



не потеряет своего женского достоинства. Гейша вовсе не непременно продажная женщина, это, во всяком случае, не входит в ее обязанности; скорее всего, это артистка, которую приглашают за известную часовую плату для развлечения и удовольствия художественного. Вас, европейца, не знающего по-японски, она может очаровать своею молодостью, своею чарующей кокетливостью, своею неизменною живостью, но японцы ценят в гейшах именно художественно образованных собеседниц, незаметных в обществе.

Г. Востоков (Россия).
Япония и ее обитатели. 1904

Человеку, приехавшему в Японию, чаще всего доведется глядеть на гейш издалека, например когда они выходят из чайного дома или садятся в крытую коляску рикши (последние рикши в Японии возят главным образом их), или же видеть гейш на сцене, в кино, по телевидению (многие из них подрабатывают такими выступлениями). Вы можете также увидеть гейшу, сопровождающую своего покровителя в ресторане. И тут вы будете поражены выражением лица этой женщины: одновременно невинным и чарующим, дерзким и скромным. Отточенная грация танцовщицы будет в каждом ее движении. И поистине апофеозом женственности будет выглядеть ее беспредельное внимание к своему спутнику. Так что, даже если вы узнали о ней все, гейша остается экзотичной, загадочной, дразнящей, желанной. Она женщина, но лишь в большей степени, чем мы порой вкладываем в это слово.

Уолт Шэлдон (США).
Наслаждайтесь Японией. 1961





РОЖДЕНИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ

Как человеческое воображение издавна рисовало себе самые несметные богатства? В народных сказках это чаще всего драгоценный ларец или сундук, полный жемчужин, которые можно, как горох, пересыпать горстями. Но даже фантазия волшебных сказок не могла бы представить тридцать трехтонных грузовиков, кузов каждого из которых был бы до краев засыпан жемчугом...

Девяносто тонн отборных жемчужин — вот урожай, который ежегодно дают Японии ее прибрежные воды. История возвращенного жемчуга — это рассказ о том, как человек раскрыл еще одну загадку природы, подчинил своей воле, превратил в домашнее животное такое капризнейшее существо, как устрица. Это рассказ о поразительной способности японцев находить все новое и новое применение людскому труду, чтобы возместить бедность страны природными ресурсами.

Жемчуг — болезненное отклонение от естества, которое присуще организму устрицы не больше, чем камень в печени присущ человеку. Для того чтобы внутри моллюска образовалась жемчужина, необходима целая цепь случайностей.

Это происходит, во-первых, лишь когда под створки раковины попадает песчинка; когда, во-вторых, посторонний предмет целиком войдет в студенистое тело устрицы, не поранив при этом ее внутренних органов; наконец, в-третьих, когда песчинка эта



затащит вместе с собой кусочек поверхностной ткани моллюска, способной вырабатывать перламутр. Такие клетки начинают обволакивать инородное тело радужными слоями, постепенно образуя перл.

Воспроизвести все это с помощью человеческих рук — значит тысячекратно увеличить вероятность некогда редкого стечения обстоятельств, сохраняя при этом сущность естественного процесса. Жемчуг, выращенный при участии человека, в такой же степени настоящий, как и природный, то есть образовавшийся в раковинах случайно. Разве усомнится кто-нибудь в том, что яблоки, выросшие на дичке после прививки побега от культурной яблони, не настоящие?

Представьте себе горную страну, которая поначалу дерзко вклинилась в океан, оттеснила его, а потом словно сникла, устала от борьбы, смирилась с соседством водной стихии и даже породнилась с ней. Такова родина возвращенного жемчуга — полуостров Сима, где море заполнило впадины между горами. Зеленые склоны встают прямо из морской лазури. Уединенные бухты, острова, заливы, похожие на горные озера, — им нет числа. Прислушаешься — какой-то странный посвист разносится над дремлющими лагунами. Нет, это не птицы. Вон там, вдали, возле плавающей кадучки, вынырнула и опять скрылась человеческая голова. Это ама — морские девы, ныряльщицы за раковинами и всякой съедобной живностью.

Выработать в себе способность находиться под водой по сорок — восемьдесят секунд, повторяя такие нырки по нескольку раз в день, — лишь азы ремесла морских дев. Тут нужно еще и умение ориентироваться на дне. Опытная ама отличается от неопытной тем, что ныряет не куда попало, а по множеству примет разыскивает излюбленные раковинами места. И, уж



наткнувшись на такой участок дна, ощупывает его, как знаток леса знакомую грибную полянку.

Суть многолетней тренировки, помноженной на вековые традиции, — правильно поставить дыхание. Важно привыкнуть очень осторожно брать воздух после того, как пробудешь под водой эти сорок или восемьдесят секунд. Морские девы делают вдох только ртом, почти не разжимая губ. Так родился их посвист, прозванный «песней моря».

Перемешав в этом краю горы и воды, природа порадовала художника, но не позаботилась о земледельце. Мужчинам тут негде пахать, и они издавна уходили рыбачить. Подводный же промысел во внутренних заливах стал уделом женщин. Почему так получилось? Говорят, что женщина может дольше находиться под водой, что жировые ткани лучше защищают ее от холода. Пусть так, но главное все-таки не в этом. Океан требовал мужской работы, порой надо было оставлять дом чуть ли не на полгода. На женщинах же оставалась забота о домашнем хозяйстве. Им приходилось искать пропитание где-то поблизости. И они отправлялись на дно внутренних заливов так, как у нас уходят в лес по грибы или ягоды.

Ремесло ама существует в Японии с незапамятных времен. «Жемчугу тут обилие», — писал когда-то Марко Поло о стране Чипингу. Но добравшиеся до нее в XVI веке португальские и голландские мореплаватели были разочарованы. Вместо золотых крыш и усыпанных перлами нарядов они увидели край суровых воинских нравов и принудительной, организованной бедности. Непонятная страна к тому же оставалась закрытой, не допускающей иностранцев никуда, кроме Нагасаки.

Лишь три века спустя, когда Япония вынуждена была покончить с затворничеством и распахнуть свои двери



перед внешним миром, когда из феодальных пут вырвалась коммерция, когда тяга к приобретению сокровищ, которыми дотоле владели лишь монархи, охватила буржуазию, — именно тогда волна стремительных перемен в вековом укладе вознесла на своем гребне человека, ставшего основателем жемчужоводства.

Идея выращивать жемчужины на подводных плантациях впервые пришла сыну торговца лапшой по фамилии Микимото. В 1907 году, после девятнадцати лет безуспешных опытов, ему наконец удалось получить сферические перлы, вводя в тело аюя (вид двустворчатых раковин) кусочки перламутра, обернутые живой тканью другой устрицы. Главной рабочей силой в этих опытах были морские девы. Они рядами раскладывали оперированные раковины по дну тихих бухт, как высаживают рисовую рассаду. Вскоре, однако, Микимото понял, что при резком расширении промыслов ему не хватит аюя для обработки плантаций на дне. Тогда раковины стали помещать в проволочные корзины, подвешенные к плотам из деревянных жердей. Это позволило ухаживать за устрицами с поверхности воды.

Поначалу морские девы действительно были искателями жемчуга, затем в течение полувека — поставщиками раковин для его выращивания. Однако с середины пятидесятых годов ручная добыча аюя с морского дна стала все больше отставать от спроса. Пришлось сделать завершающий шаг на пути превращения аюя в домашнее животное: выращивать не только жемчужину, но и раковину.

В конце июля вода во внутренних заливах полуострова Сима мутнеет оттого, что моллюски разом начинают метать икру. В эту пору со специальных плотов опускают сосновые ветки. Икринки прилепляются к хвое, и к октябрю на ней уже



можно разглядеть крохотные ракушки. Много раз перемещают их потом из одних садков в другие: подкармливают, оберегают от болезней. Наконец, здоровых, полновесных трехлеток продают на жемчужные промыслы. Лишь этот путь, подобный выращиванию цыплят в инкубаторе, позволил обеспечивать нужное промыслам количество раковин. А их требуется ежегодно около пятисот миллионов штук.

Помощь морских дев бывает теперь нужна лишь в случае стихийных бедствий. Если с океана налетит тайфун, сорвет с якорей плоты, разметет корзины, лишь ама могут уменьшить ущерб, собрав со дна драгоценные раковины. Главное действующее лицо в жемчуговодстве теперь не ныряльщица, а оператор, совершающий над раковиной таинство зарождения драгоценного перла. Впрочем, в таинстве этом нет ничего потайного. Есть лишь чудо виртуозного мастерства, повторенное пятьсот миллионов раз в год. Есть лишь сплав научного эксперимента и циркового трюка, поставленного на конвейер. Чтобы ежегодно получать девяносто тонн драгоценных жемчужин как будто бы из ничего, нужна, во-первых, Япония с ее природой, а во-вторых, нужны японцы с их умением создавать ценности из мелочей, вкладывая в них бездну терпения и труда.

Где и когда произошло первое знакомство человека с жемчугом, сказать трудно. В истории сохранилось описание случая, который якобы произошел во время пира, устроенного Клеопатрой в честь Марка

Антония. Среди сокровищ египетской царицы больше всего славились в ту пору серьги из двух огромных грушевидных жемчужин.

Желая поразить римского гостя, Клеопатра, как утверждает историк Плиний, на глазах у Антония растворила одну из этих жемчужин в кубке с вином и выпила эту бесценную чашу за его здоровье.



Очень давно знали о жемчуге и китайцы. Именно они положили начало традиции, которая перешла в Японию, — придавать форму жемчужины всем другим драгоценным камням. Ранг каждого сановника в феодальном Китае обозначался шариком на его головном уборе. Такие шарики вытачивали из нефрита, бирюзы, коралла, и, разумеется, высшим среди всех них считался шарик жемчужный. Иероглиф «юй», который встречается в самых ранних письменных памятниках и обозначает понятие «сокровище», «драгоценный камень», образуется путем добавления точки к иероглифу «ван», то есть «повелитель», «владыка». Понятие «драгоценность», таким образом, графически выражалось как «шарик, принадлежащий повелителю».

Через множество легенд, сложенных разными народами, проходит мысль о некой таинственной связи между жемчугом и его владельцем. Предания гласят, что знатоки тибетской медицины по одному лишь изменению блеска жемчужных украшений могли предсказывать смерть могущественных повелителей задолго до того, как те сами узнавали о своем недуге. Люди давно замечали, что жемчуг тускнеет, как бы умирает, если его не носить, что ему необходимы близость и тепло человеческого тела.

Но вернемся к жемчужным промыслам в современной Японии. Людей, умеющих вводить ядрышко в тело моллюска, именуют операторами. Это, если вдуматься, тысячи опытных хирургов, каждый из которых ежедневно делает по четыреста — восемьсот операций; и в то же время это тысячи ювелиров, от которых требуется куда более филигранное мастерство, чем от умельцев, оправляющих готовые жемчужины в золото и серебро.

Операционный цех — продолговатая постройка, стены которой сплошь



застеклены, как у дачной веранды. Такие оконные переплеты бывают в Японии лишь у школ. Меня привели туда и сказали:

— Смотрите, спрашивайте, а потом попробуйте сделать все сами. Тогда лучше поймете, что к чему. Жертвуем вам сто раковин. Выживет хоть пара — сделаете из них запонки.

Внутри операционная похожа на светлый школьный класс, точнее, даже на университетскую лабораторию, где все студенты делают один и тот же опыт. По обе стороны от прохода, словно парты, расставлены деревянные столы. Женщины сидят поодиночке. Перед каждой из них — лоток с раковинами, зажим, коробки с ядрышками разных размеров, набор хирургических инструментов, смоченный морской водой брусок с присадками.

Чтобы ядрышко стало жемчужиной, надо ввести его именно в то место, где моллюск терпел бы внутри себя этот посторонний предмет. Надо добиться еще и того, чтобы раковина впредь откладывала перламутр не на своих створках, а именно вокруг этого инородного тела. Вот почему приходится делать нечто похожее на прививку плодовых деревьев — вводить вслед за ядром кусочек живой ткани от другого моллюска. Надо ввести ядро и присадку в нужное место. При этом нельзя ни повредить, ни задеть внутренних органов моллюска. В первом случае устрица погибнет, во втором — жемчужина не будет иметь правильной формы. И наконец, присадка должна непременно касаться ядра, иначе ее клетки, вырабатывающие перламутр, не смогут образовать вокруг ядра «жемчужный мешок».

После всех этих разъяснений и указаний еще большим волшебством представляется работа операторов. Зонд и скальпель мелькают у них, как вязальные спицы.



Но вот приходит черед испробовать все самому. Беру раковину, закрепляю ее на зажиме. Вместо деревянного клинышка вставляю пружинистый распор. Створки, обращенные ко мне своими краями, раскрыты меньше чем на сантиметр — в этой щелке и надо манипулировать.левой рукой беру зонд, похожий на вязальный крючок, и оттягиваю им «ногу» — темный присосок, с помощью которого моллюск передвигается по камням. Беру в правую руку скальпель и делаю разрез вдоль границы темной и мутно-серой массы, то есть несколько выше основания «ноги». Теперь надо перевернуть скальпель другим, раздвоенным, концом, наколоть на эту крохотную вилку кусочек присадочной ткани и сквозь надрез ввести его в тело моллюска, а затем поместить туда же ядро. Впрочем, до этого я добираюсь не скоро. Задерживает самая распространенная среди новичков ошибка. Если вонзить скальпель чуть глубже, чем следует, створки раковины безжизненно распахиваются. Это значит — поврежден соединительный мускул и устрица обречена на гибель...

Встав из-за стола совершенно разбитым, я убедился, что оперировать раковину без подготовки — все равно что вырезать самому себе аппендикс, добросовестно выслушав объяснение врача, как это делается. И когда мне рассказали, что подготовка операторов похожа не столько на краткосрочные курсы, сколько на многолетний университет, это целиком совпало с моим личным опытом.

Девушек обычно набирают к весне. За первые месяцы они должны выучиться только заготавливать присадки, чтобы снабжать ими операторов в разгар сезона. С осени новички начинают тренироваться на бракованных раковинах. В конце каждого дня инструктор вскрывает всех оперированных моллюсков, чтобы проверить,



правильно ли были введены в них ядра, и объяснить причины ошибок. Потом ставить оценку предоставляют уже самой природе. Раковины возвращают в море и через две недели подсчитывают число погибших. Если выжило шестьдесят-семьдесят процентов аока, значит, человек уже приобрел необходимый навык.

Считается, что нужно сделать по крайней мере десять тысяч операций, чтобы научиться вводить хотя бы мелкие ядрышки. Вводить же крупные доверяют лишь операторам, имеющим более чем трехлетний стаж. В каждую сетку вместе с оперированными раковинами обязательно кладется керамическая плитка с номером. По нему в специальной книге можно точно определить, кто именно оперировал данную партию раковин, когда и какие ядра в них были введены. Ведь мастерство можно в полной мере оценить лишь в период сбора урожая. Мелкий жемчуг (диаметр от четырех до шести миллиметров) вызревает за год, средний (шесть-семь миллиметров) — за два года, крупный (свыше семи миллиметров) — за три.

Конечно, чем крупнее ядро, тем более дорогую жемчужину можно из него вырастить. Существует, однако, известный биологический предел, за которым даже при самой искусной операции организм раковины не может сохранить внутри себя столь большое инородное тело. Для аока таким пределом является ядро диаметром семь миллиметров. Чтобы стать жемчужиной, оно должно обрасти перламутровым слоем толщиной не менее миллиметра.

Поэтому наиболее распространенным размером крупного жемчуга является девятимиллиметровый. Дальше каждая десятая доля миллиметра дает очень существенную прибавку в цене.

Опыт показал, что держать семимиллиметровое ядро в организме моллюс-



ков дольше трех лет нецелесообразно. Возрастает вероятность всякого рода наростов. Жемчужина если и растет, то становится все менее лучистой. Учащается опасность отторжения, когда моллюск даже ценой собственной гибели выталкивает это разросшееся инородное тело из себя.

Из сотни раковин, которые были положены в проволочную сетку под моим именем, через два года уцелело одиннадцать. Причем девять из них совершенно не соответствовали стандартным, и лишь две голубые, неправильной формы, имели незначительную коммерческую ценность. Что ж, предсказание сбылось: я действительно вырастил себе лишь пару жемчужин на запонки!

Заливы полуострова Сима встречают рассвет мягкими переливами радужных красок — тех самых, которыми славится жемчуг. Кажется, черпай ковшом и отливай по капле драгоценные перлы. Не это ли серебристо-розовое сияние вбирают в себя раковины на подводных плантациях?

Почти всюду гладь заливов заштрихована темными полосами. Плоты из жердей, к которым под водой привязаны корзины с раковинами, напоминают борозды рисовых полей. Да, человек сумел возделывать даже залитые морем долины. Зато нивы эти требуют куда больше ухода, чем трудоемкий рис. На зеленых боках гор, обступивших залив, тут и там пестреют рыжие рубцы. Это жемчужные промыслы. Каждый из них похож на маленькую пристань. Тесная площадка, вырубленная в береговой круче. Домик, где трудятся операторы. Вокруг сложены жерди и бочки для плотов, проволочные корзины. Круглый год не прекращается здесь работа, особенно напряженная в ненастье. Люди холят, пестуют, лелеют самое прихотливое из прирученных



человеком живых существ — даже более капризное, чем шелковичный червь.

Сколько забот требует этот слизняк, обитающий в грязно-бурой, невзрачной на вид ракушке! Ему нравятся только самые живописные места, словно для того, чтобы воплотить в жемчужине красоту окружающей природы. Аюя любит тихие, спокойные заливы с песчаным дном, куда не заходил бы прибой, где не могли бы буйствовать тайфуны.

Однако неподвижные, застойные воды ему не по нраву. Аюя любит, чтобы впадающая где-то поблизости река смягчала соленость моря и создавала постоянный приток свежей пищи — планктона. Проволочные корзины защищают раковины от их извечных врагов: угрей, осьминогов, морских звезд, омаров. Однако они же породили нужду в «прополке». На проволочную сетку да и на створки самих раковин быстро налипает всякая морская живность. Водоросли, губки, мелкие моллюски затрудняют доступ воды и планктона, мешают питанию и росту аюя. Поэтому четыре-пять раз за сезон корзины вынимают из воды и тщательно очищают каждую раковину от приросших к ней паразитов.

С раннего утра до позднего вечера кочует от плота к плоту маленький паром с навесом. Женщины в резиновых фартуках, сапогах и перчатках скребут кривыми ножами и металлическими щетками раковину за раковиной.

Звучит тихая песня. Готова одна корзина — на смену ей тут же появляется другая. Это очень утомительное, трудоемкое дело. За день человек успевает очистить около тысячи раковин. «Прополка» продолжается непрерывно с апреля до ноября. Весной и осенью у работниц коченеют руки. Летом



— Хорошо хоть, что вам тут сделали навес, — сказал я поденщицам.

— Разве о нас забота? — усмехнулась одна из них. — Это слизняк не любит солнечных лучей.

Акоя очень чувствителен к изменениям температуры и солености воды. Стоит разразиться ливню, подуть холодному ветру, как люди кидаются к плотам, чтобы опустить корзины поглубже ко дну.

Хорошо поставленная служба погоды, умение чутко реагировать на ее внезапные перемены — для жемчужных промыслов первейшее дело. Здесь, словно на санаторном пляже, повсюду видишь щиты, на которых трижды в день аккуратно выписываются температура воздуха и воды, сила и направление ветра. Акоя любит именно такое море, в каком приятнее всего купаться человеку. Ниже пятнадцати градусов — для моллюсков слишком холодно, выше двадцати восьми — слишком жарко. В обоих случаях он становится вялым, теряет аппетит и значительно менее старательно обволакивает сидящее в нем ядрышко перламутровыми слоями. В знойную августовскую пору плоты приходится отводить дальше от берегов и опускать корзины в более глубокие, прохладные слои.

Куда сложнее, однако, уберечь раковины от холода. При двенадцати градусах у моллюсков резко замедляются все жизненные процессы, при восьми они погибают. Поэтому, чтобы не рисковать жемчужницами, их перевозят на зиму в теплые края.

Патент, полученный Микимото, предоставил ему право монополюльно заниматься выращиванием перлов двадцать лет. После истечения этого срока на полуострове Сима возникло множество новых жемчужных промыслов, главным образом мелких, основанных на семейном труде. Но где такому предпринимателю припасти денег на жерди для плотов, на проволочные



корзины для раковин, на ядра и инструменты для операторов, наконец, на покупку самих аюя-трех-леток? Все приходится втридорога брать в кредит у крупных фирм с обязательством расплатиться лучшей частью будущего урожая.

Промыслы, основанные на семейном труде, существуют донныне лишь потому, что это выгодно крупным фирмам. Поскольку технология выращивания жемчуга на крупном и на мелком промысле совершенно одинакова, эксплуатировать зависимых поставщиков особенно просто. Это заметнее всего на завершающих стадиях жемчуговодства. Готовая продукция идет на экспорт главным образом в виде ожерелий. А здесь прежде всего ценится подбор. Чтобы хорошо подобрать нитку из пятидесяти жемчужин, нужно по крайней мере в пятьдесят раз больше перлов той же лучистости, формы и оттенка.

Семейным промыслам заниматься этим не под силу. Они могут сбывать свои урожаи лишь за полцены: в виде рассыпного жемчуга, примерно рассортированного по величине и цвету. Добавляя к собственному лучший жемчуг сотен семейных промыслов, крупные фирмы наживают не только за счет высококачественного подбора ожерелий, но и за счет своей репутации на мировом рынке.

Выручка от экспорта возвращенного жемчуга в пятьдесят с лишним раз превышает доходы людей, непосредственно занятых в жемчуговодстве. Стало быть, труд, вложенный в целое ожерелье, оплачивается ценой лишь одной из его жемчужин. Вот

эти ожерелья красуются в роскошных витринах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима.

Если бы, как в сказке о наряде принцессы, каждая жемчужина могла поведать о том, чего стоило людям ее рождение!

Рассказать о хлопотах, с какими из крохотной личинки, прилепившейся к со-



сновой хвое, вырастили раковину-трехлетку, о том, как бережно готовили ее к операции, как ухаживали за ней последующие три года! Ведь только ради «прополки» раковина побывала в человеческих руках полтора десятка раз!

Если бы она могла рассказать, о трехкратном переселении в теплые края и о последнем, самом приятном из путешествий — когда буксир медленно тянет по морю караваны плотов с опущенными корзинами и моллюски получают самое обильное и разнообразное питание, чтобы наружный, завершающий слой перламутра был наиболее лучист и ярок.

Вращенный жемчуг — это одаренность умельца и мастерство хирурга, это упрямая стойкость крестьянина и терпеливая целеустремленность селекционера. Клеопатра хотела когда-то прославиться тем, что растворила жемчужину в кубке с вином и выпила его. Но куда более достойна славы история о том, как человек раскрыл секрет рождения жемчужины, как он приручил и заставил служить себе одно из капризнейших живых существ! Ежегодный урожай подводных плантаций — девяносто тонн драгоценного жемчуга — олицетворяет умение японцев находчиво возмещать скудость недр своей страны.

Когда я впервые увидел горы и воды полуострова Сима, я подумал о жемчужинах как о перлах природной красоты. Мне казалось, что раковины вбирают в себя здесь неповторимую прелесть породнения моря и суши, бесчисленных зеленых островов, тихих лагун, лазурных небес. Но чем ближе знакомишься с участием людских рук в рождении жемчужины, тем яснее видишь в ней воплощение красоты и творческой силы человеческого труда. Вращенный жемчуг можно назвать перлом труда в самом прямом и высоком смысле этих слов.





В ТЕНИ ПОД НАВЕСОМ

Японский дом — настолько самобытное сооружение, что трудно сказать, кто на кого повлиял: то ли обитатель этого жилища выразил через него свою жизненную философию, то ли, наоборот, дом сформировал своеобразные привычки тех, кто в нем живет.

— Строя себе жилище, — говорят японцы, — мы прежде всего раскрываем зонт в виде кровли, чтобы на землю упала тень, а потом поселяемся в этой тени...

Действительно, японский дом — это навес, причем навес над пустым пространством. В жаркий день может показаться, что человек в такой комнате просто уселся посреди своего сада на небольшом затененном возвышении. Японский дом — это прежде всего крыша, опирающаяся на каркас из деревянных стропил и опор; это кровля, возведенная над пустотой. Здесь нет ни окон, ни дверей в нашем понимании, ибо в каждой комнате три стены из четырех можно в любой момент раздвинуть, можно и вовсе снять.

Когда такие легко вынимающиеся из пазов раздвижные створки служат наружными стенами, то есть выполняют роль окон, они оклеиваются белой рисовой бумагой, похожей на папиросную, и называются сёдзи. Те раздвижные створки, что делят собой внутренние помещения и одновременно служат дверьми, оклеиваются плотной раскрашенной бумагой и именуется



фусума. Мало, однако, сказать, что стены японского дома способны раскрываться, превращая его в подобие беседки. Это действительно навес над пустотой, потому что такие раздвижные створки ограждают одно лишь пустое пространство. Когда впервые видишь внутренность японского жилища, больше всего поражаешься полному отсутствию какой бы то ни было мебели. Здесь нет ни диванов, ни кресел, ни стульев, ни столов, ни буфетов с посудой, ни шкафов с одеждой, ни книжных полок, нет даже кроватей.

Вы видите лишь обнаженное дерево опорных столбов и стропил, потолок из выструганных досок, решетчатые переплеты сёдзи, рисовая бумага которых мягко рассеивает пробивающийся снаружи свет. Под разутой ногой слегка пружинят татами — жесткие, пальца в три толщиной маты из простеганных соломенных циновок. Пол, составленный из этих золотистых прямоугольников, совершенно пуст. Пусты и стены. Нигде никаких украшений, за исключением ниши, где висит свиток с картиной или каллиграфически написанным стихотворением, а под ним поставлена ваза с цветами.

Поначалу рождается вопрос: что это? То ли декорация для самурайского фильма, воссоздающая атмосферу средневековья, то ли сверхсовременный интерьер? Начиная от презрительных отзывов миссионеров в XVI веке и кончая восторгами многих архитекторов Запада в наши дни, японский дом всегда вызывал самые противоположные толки. Одни считали его самым целесообразным, другие — наиболее далеким от здравого смысла видом человеческого жилья.

Бесспорно одно: традиционный японский дом во многом предвосхитил новинки современной архитектуры. Каркасная основа, раздвижные стены лишь недавно получили признание строителей,



в то время как съёмные перегородки и заменяемые полы еще удел будущего.

Поскольку татами имеют раз и навсегда установленный размер — немногим более полутора квадратных метров, — комнаты в японских домах также бывают лишь определенной площади: три, четыре с половиной, шесть или восемь татами. Стало быть, и весь каркас здания — стропила, опорные столбы, балки — должен приравниваться к этим установившимся традиционным габаритам.

Многие конструктивные особенности японского дома, как и стандартизация его составных частей, порождены постоянной угрозой землетрясений. Хотя деревянный каркас ходит ходуном при подземных толчках, он, как правило, оказывается даже более стойким, чем кирпичные стены. А уж если крыша все-таки обрушилась, дом можно без особого труда и затрат собрать заново. Всегда поражаешься быстроте, с какой японцы восстанавливают свои жилища, разрушенные стихийным бедствием.

А вот квартал современных многоэтажных домов в городе Ниигата надолго остался памятником землетрясения, свидетелем которого мне довелось быть. Многоэтажные корпуса не обрушились, нет — их железобетонный каркас оказался достаточно прочным. Как деревья, с корнем вырванные бурей, они завалились набок вместе с фундаментами. Я видел людей, которые ходили по стенам этих домов и, словно из трюмов, вынимали из окон свою домашнюю утварь.



На особенностях японского дома заметно сказалась натура его обитателей. Раздвижные стены отражают стремление быть ближе к природе, не отгораживаться от нее. Первородная красота некрашеного дерева, рисовой бумаги, соломенных матов, а также сама сезонность этих

материалов (сѣдзи полагается заново оклеивать каждый год, а татами менять раз в два года) также напоминают о близости к природе.

Не только домашний быт, но и прикладное искусство японцев связано с татами. Все внутреннее убранство японского жилища складывалось так, чтобы соответствовать цвету и фактуре этих соломенных матов. Именно жизнь на татами привела к миниатюризации изобразительного искусства, так как японец привык любоваться картиной или вазой, сидя на полу.

Европейская мебель со своими башенными формами нарушила этот привычный эстетический горизонт. Взять хотя бы стул. Случайно ли, что японцы в свое время не включили его в число своих заимствований из Китая? Лишь тысячу лет спустя они приняли его вместе с волной европейской цивилизации, да и то не как домашнюю мебель, а как оборудование для школьных классов и контор. Даже правители Японии издревле предпочитали обходиться без тронов, восседая на подушках, положенных на те же татами.

Японцы считают, что особенности их домашнего быта унаследованы от далеких предков из стран южных морей. Они подчеркивают, что японский дом сохранил до наших дней стремление древнего островитянина жить на полу — вернее, на раскрытом помосте, защищенном лишь сверху.

Японский дом рассчитан на лето. Его внутренние помещения действительно хорошо вентилируются во время влажной жары. Однако достоинство традиционного японского жилища обращается в свою противоположность, когда его столь же отчаянно продувает зимой. А холода здесь дают о себе знать от ноября до марта.

Казалось бы, Японские острова, которые лежат на широтах Средизем-



номорья, да к тому же омываются теплым течением, должны иметь даже более мягкий климат, чем Южная Испания или Марокко. Причина относительно суровой зимы — господствующие здесь ветры с Азиатского материка, которые приносят холодный воздух Сибири. Эти метели засыпают побережье, обращенное к Японскому морю, глубокими снегами.

Горные хребты защищают противоположное, тихоокеанское побережье от снегопадов, однако и там погода зимой ветреная. Поэтому крестьянские усадьбы чаще всего стоят в Японии спиной к ветру и лицом к солнцу; вдоль всей южной стороны сельского дома тянется узкий деревянный помост, на котором в солнечные зимние дни обгреваются старые и малые.

По вечерам или в пасмурную погоду единственной заменой такому солнечному обогреву еще недавно была лишь хибати — керамическая корчага с горстью тлеющей древесного угля, которую иностранцы метко прозвали «призраком очага». Возле этого гибрида пепельницы и печки в лучшем случае можно погреть руки.

Если ту же самую корчагу с древесным углем накрыть сеткой и поставить под низенький столик, на который потом кладется ватное одеяло, то это уже будет другая традиционная отопительная система, именуемая катацу. Члены семьи сидят вокруг катацу за ужином или вечерней беседой, держа ноги под одеялом. После войны в японский быт вошли электрические катацу, где тлеющий уголь заменен инфракрасной лампой.



Японцы словно бы смирились с тем, что зимой в доме всегда холодно. Они довольствуются тем, чтобы согреть себе руки или ноги, не помышляя отопить само помещение. Можно сказать, что в традиции японского жилища нет отопления, а есть обогревание.

Лишь своей кожей почувствовав в японском доме, чем оборачивается его близость к природе в зимние дни, по-настоящему осознаешь значение японской бани — фуру: это главный вид самоотопления. В повседневной жизни каждого японца независимо от его положения и достатка нет большей радости, чем нежиться в глубоком деревянном чане, наполненном немислимо горячей водой. Зимой это единственная возможность по-настоящему согреться.

Залезать в фуру нужно, предварительно вымывшись из шайки, как в русской бане, и тщательно сполоснувшись. Лишь после этого японцы погружаются по шею в горячую воду, подтягивают колени к подбородку и блаженствуют в этой позе как можно дольше, распаривая тело до малиновой красноты. Зимой после такой бани целый вечер не чувствуешь сквозняка, от которого колышется даже картина на стене. Летом она приносит облегчение от изнурительной влажной жары.

Японец привык нежиться в фуру если не ежедневно, то, во всяком случае, через день. Напасти столько горячей воды на каждого человека было бы недоступной роскошью для большинства семей. Отсюда и обычай мыться из шайки, чтобы чан оставался чистым для всей семьи. В деревнях соседки топят фуру по очереди, чтобы сэкономить на дровах и воде. По той же причине сохранились общественные бани. Они традиционно служат местом общения соседей. Обменявшись новостями и набравшись тепла, все расходятся по своим нетопленным жилищам.

Я смотрю направо и налево. И я вижу удивительнейшее, до сих пор не известное мною. Я вижу, как японцы освободились от вещей, освободились от зависимости перед вещью. Народ создал



свою архитектуру, которая определена бытом неостывшей земли; грибообразные дома без единого гвоздя и с бамбуковыми стенами, когда японский домик строится в два дня, и в японском домике нет ни одной лишней вещи, вообще нет вещей в европейском понятии «вещь»: ни стула, ни шкафа, ни кровати — одно хибати, Будда, пара какэмоно; весь свой скарб японец может снести на плечах.

Борис Пильняк (Россия).

Корни японского солнца. 1927

Позади сёдзи, которые даже сегодня неохотно раздвигаются, чтобы допустить туда иностранца, лежит одна из святынь подлинно японской жизни. Там мы оказываемся в самобытнейшем окружении, которое состоит не только из струганого дерева, соломенных матов и бумажных перегородок, но и включает вдобавок некое невидимое сочетание из привычек, чувств и мыслей.

Робер Гийен (Франция).

Япония. 1961

Путешественники из-за рубежа не перестают отмечать, что, если двигаться из верхов в низы общества, различия в образе жизни японцев куда меньше, чем ожидаешь. Подобно тому как есть некий общий знаменатель японского художественного вкуса, существует и общий знаменатель стандартов жизни. Японский дом налагает нечто общее на всех, кто в нем живет. Отсюда относительно небольшая разница между жилищами богатых, бедных и тех, кто находится посредине, — особенно в сравнении с разительно классовым характером американского дома.



Фрэнк Гибней (США).



ШЕСТЬ ТАТАМИ

Личное знакомство с домашним бытом японцев безнадежно начинать с попыток пожить в какой-нибудь семье. Приглашать к себе гостей на несколько дней у японцев не принято. Погрузиться в атмосферу японской жизни очень трудно и вместе с тем очень легко. Для этого достаточно переступить порог рёкана — японской гостиницы. Потому что рёкан по своему назначению — это улучшенная модель домашнего очага; заведение, которое как бы монополизирует в этой стране функции гостеприимства.

Давно отмечено, что современная цивилизация стирает местный колорит, ради которого путешественник пересекает континенты и океаны, что туристские отели столь же похожи друг на друга, как и аэропорты. Японская гостиница в этом смысле представляет собой исключение. Объяснить, что такое рёкан, легче всего от противного: это отель наоборот. В отеле турист перед ужином надевает пиджак и галстук и отправляется в ресторан. Питается он в общем зале, а принимает душ или бреется у себя в номере. В рёкане же постояльцы моются все вместе, даже в одной и той же воде, а ужинать расходятся по своим комнатам. Причем к столу принято не одеваться, а раздеваться, чтобы чувствовать себя как можно непринужденнее.

Японская гостиница уносит куда-то в прошлые века. Уже сам вход в нее выглядит так, словно это частный дом,



где вы будете не постояльцем, а желанным гостем. Чаще всего это садовая ограда, почти не освещенная, за которую ведет извилистая дорожка меж кустов и каменных фонарей. Переступив порог, видишь навощенный деревянный пол и шеренгу шлепанцев на нем. В глубине лишь низкая ширма — ни конторки, ни ячеек с ключами. Стоит выговорить фразу «Прошу прощения», с которой принято входить в японский дом, как хор женских голосов со всех сторон ответит: «Добро пожаловать!» Из-за кулис выпорхнут несколько японок в кимоно. Каждая из них отвесит церемоннейший поклон, распростершись ниц на полу. Потом, весело щебеча, они помогут гостью разуться и, топоча крохотными шажками, куда-то его поведут.

С этого момента нужно полностью положиться на волю судьбы. Гостя не спрашивают, какую комнату он хочет — с выходом в сад или без такового. И уж тем более никто не поинтересуется, в какую сумму квартирных он должен уложиться. Постояльцу также не полагается спрашивать: «Сколько это стоит?» Как гость он не имеет права выбора, а лишь с благодарностью получает то, что ему предлагают. Это касается не только комнаты, но и еды. В рёкане нет меню. Постояльца просто накормят ужином и завтраком, оставляя в неведении относительно цен этих обязательных приложений к ночлегу. От гостя зависит лишь количество саке, которое будет согрето к ужину и подано за отдельную плату.

Итак, вас подводят к двери, на которой мастерски выписан иероглиф: сосна, бамбук, слива или что-нибудь в этом роде. Служанка, опустившись на колени, грациозно отодвигает створку, и вы, оставив в коридоре шлепанцы, благоговейно шагаете внутрь.

Комната в первую минуту буквально

106 ошарашивает своей пустотой, полной



обнаженностью всех своих плоскостей. Сразу даже не решишь, то ли это предел утонченного вкуса, то ли своего рода сени, за которыми находится само жилое помещение. Пока вы раздумываете над этим, одна из служанок, в то время как другие вышли, снимает с вас пиджак и столь же проворно принимается стаскивать ваши брюки. Прежде чем вы сообразите, как вести себя в такой ситуации, она наденет на вас полотняное кимоно, обвяжет поясом и пригласит следовать в фуру.

Рёкан — это не просто гостиница, то есть место для временного ночлега. Рёкан задуман как заведение, которое давало бы человеку идеал домашнего уюта, о котором он может лишь мечтать в повседневной жизни. А идеал этот выражается не во внутреннем убранстве, потому что все комнаты в японских домах выглядят одинаково, и даже не в угощении, так как японцы в общем-то равнодушны к пище.

Идеал для них, во-первых, уединение, поскольку это самая недоступная роскошь в Японии, а во-вторых, возможность окунуться вместо тесного деревянного чана в какой-нибудь необыкновенный мраморный бассейн, соединенный с горячими источниками.

Особенности японского дома порождены не только угрозой землетрясений, влажностью климата и художественными наклонностями японцев. Своеобразнейшее назначение пола, который одновременно служит постелью и заменяет собой прочую мебель, как и раздвижные перегородки вместо окон и дверей — все это стремление избавиться от тесноты. Японская комната пуста именно потому, что при своих ограниченных размерах (чаще всего шесть татами, то есть около десяти квадратных метров) она должна одновременно служить для семьи и спальни, и



столовой, и всем чем угодно. Единственный ставящийся на татами предмет — низенький столик — после ужина боком прислоняют к стене, достают из стенного шкафа тюфяки, свернутые одеяла, и вся комната становится постелью для соответствующего числа людей. Думаю, что обычай жить на татами укоренился прежде всего как оригинальный способ сберечь пространство. Жилье, пожалуй, самое больное место в японском быту. «Средний японец обеспечен электротехникой лучше, чем одеждой; одеждой лучше, чем едой; едой лучше, чем жильем», — эта ходкая фраза точно выражает суть образовавшихся в послевоенные годы диспропорций.

На взгляд иностранца, особенно человека с русской натурой, японцы в своем семейном бюджете проявляют поразительное равнодушие к повседневной пище. Это отношение к будничному рациону, как к чему-то второстепенному, коренится в глубине веков. Одежда человека служила в старой Японии символом его общественного положения, а невзыскательность к еде культивировалась как добродетель.

Люди на улицах Токио одеты хорошо — во всяком случае, не хуже, чем в любой из европейских столиц. Если дожидаться полудня, можно посмотреть, чем питается этот горожанин в отутюженном сером костюме и белоснежной рубашке. К этому часу в деловых кварталах Токио появляются велосипедисты. Каждый рулит лишь одной рукой, а другой держит поднос, на котором в несколько этажей наставлены миски. Это посыльные из закусочных доставляют обед тем, кто трудится за ультрасовременными фасадами из алюминия и зеленого стекла. Служащие, что сидят в огромном банковском зале, получают



разное жалованье. Но чаще всего и курьеры, и столоначальники одинаково довольствуются миской горячей лапши.

Провожая мужа на завод, домохозяйка дает ему с собой бенто — плоскую лубяную или алюминиевую коробку. Рис, положенный туда вместе с кусочком жареной камбалы и несколькими ломтиками соленых овощей, сварен в электрической кастрюле. В остальном же содержимое бенто не так уж много изменилось с военных лет, когда патристическим обедом называли «флаг с восходящим солнцем» — кружок красной моркови, положенный на белый рис. Хотя номинальная зарплата в стране самая высокая в мире, японец съедает за год примерно столько же мяса, сколько англичанин — за месяц.

Практически каждая японская семья имеет цветной телевизор, холодильник, стиральную машину, пылесос, три четверти семей имеют кондиционеры. Однако больше трети японских жилищ не имеют современной канализации. Центральное отопление — редкость для большинства горожан.

Что же касается близости к природе, то она дает о себе знать лишь сквозняками из всех щелей. Когда горожанин раздвигает сёдзи, он чаще всего видит перед собой не сад, а находящуюся на расстоянии вытянутой руки стену соседнего дома или гирлянды развешанного белья.

Погоды тут такие же, что и в Испании, только зимой куда холоднее.

Родриго де Риверо и Веласко (Испания).
Дневники. 1609

Климат здесь так себе: летом в Токио влажно и жарко, как в Вашингтоне, а зимой — если живешь в японском доме —



мерзнешь не меньше, чем в Лапландии. А когда не жарко и не холодно, то обычно идет дождь.

Уолт Шэлдон (США).
Наслаждайтесь Японией. 1961

Официальные туристские справочники избегают распространяться о погоде. Они упоминают лишь, что Япония имеет умеренный климат, приводят среднюю температуру зимы и лета, а также годовое количество осадков. Это не случайно, так как в целом японская погода мало радует. На весь год приходится примерно лишь тридцать дней отличной погоды, когда не холодно и не жарко, безветренно и безоблачно. Сверх того найдется, пожалуй, еще примерно тридцать хороших дней, когда один из этих четырех признаков отсутствует. Лучшие месяцы — это апрель и май, октябрь и ноябрь. А для других сезонов на один хороший день в неделю приходится три средних и три плохих.

Б. Мэнт (США).
Турист и подлинная Япония. 1963





ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО

«Все́му свое́ место» — эти слова можно назвать девизом японцев, ключом к пониманию их многих положительных и отрицательных сторон. Девиз этот воплощает в себе, во-первых, своеобразную теорию относительности применительно к морали, а во-вторых, утверждает субординацию как незыблемый, абсолютный закон семейной и общественной жизни.

Японцы избегают судить о поступках и характере человека в целом, а делят его поведение на изолированные области, в каждой из которых как бы существуют свои законы, собственный моральный кодекс. Вот излюбленное сравнение, которое они приводят на этот счет:

— Нельзя утверждать, что ехать на автомашине по левой стороне улицы (как в Токио или Лондоне) всегда правильно, а по правой (как в Москве или Париже) всегда ошибочно. Дело лишь в правилах уличного движения, которые отнюдь не везде одинаковы.

Японцам не свойственно обвинять человека в том, что он не прав вообще. В их суждениях прежде всего четко обозначается область, в которой он совершил ту или иную погрешность, то есть нарушил предписанные для данной области правила. Универсальных мерок не существует: поведение, допустимое в одном случае, не может быть оправдано в другом.

Вместо того чтобы делить поступки на правильные и неправильные, япо-



нец оценивает их как подобающие и неподобающие: «всему свое место». Когда несколько японцев собираются у стола, все они точно знают, кто где должен сесть: кто у ниши с картиной, то есть на самом почетном месте, кто по левую руку от него, кто еще левее и кто, наконец, у входа. Любая попытка проявить тут какой-то демократизм вызовет лишь всеобщее смятение — ведь тогда никто из присутствующих не будет знать, что ему делать. Когда японец говорит о неразберихе, он выражает ее словами: «ни старшего, ни младшего». Без четкой субординации он не мыслит себе гармонии общественных отношений. Равенство же воспринимается японцами прежде всего как положение на одной и той же ступени иерархической лестницы. На их взгляд, два человека могут быть равны между собой лишь в том смысле, в каком равны два генерала или два солдата.

Япония весьма схожа с Англией четкостью общественной иерархии. В обеих островных странах любой контакт между людьми тут же указывает на социальную дистанцию между ними. В японском языке не только местоимения: я, ты, он, но и глаголы: есть, говорить, давать — в разных случаях звучат по-разному.

Японская домохозяйка ежедневно обменивается бесчисленным количеством церемонных приветствий и пустопорожних фраз о погоде с разносчиками и мелкими торговцами, которые, как правило, живут тут же, по соседству, в задних комнатах или на вторых этажах своих лавочек. Но домохозяйка, которая знакома с этими людьми много лет (нередко — с детства) и которая общается с ними буквально каждый день, не знает не только их имен, но даже фамилий. Овощи ей приносит зеленщик-сан, рыбу — рыбник-сан. Когда нужно под-



приглашается садовник-сан. Если сломался телевизор «Мацусита», приходит Мацусита-сан (разумеется, не президент электротехнического концерна, а торговец изделиями этой фирмы, у которого и был приобретен телевизор). Велосипедиста, который развозит по утрам газеты, женщины в переулке зовут Асахи-сан, хотя паренек этот известен им с младенческих лет как сын молочника-сан.

Чем же объяснить, что, несмотря на присущую японцам учтивость, донныне есть люди, которые вынуждены всю жизнь оставаться безымянными для других? Это наследие феодальных времен, когда японское общество строго делилось на четыре сословия: воины, земледельцы, ремесленники, торговцы.

Носить фамилии (а стало быть, и родовые гербы на кимоно) могли тогда лишь воины. Торговцы же, как самое низкое среди последующих трех сословий, то есть среди простолюдинов, оказались даже и без имен. К ним было предписано обращаться по названию их дела. Домохозяйка называет теперь своего соседа Мэйдзи-сан вместо молочник-сан не потому, что сословные пережитки наконец утратили силу, а потому, что знакомому лавочнику пришлось войти в корпорацию «Мэйдзи», которая монополизировала торговлю молоком.

На протяжении столетий сословные разграничения дополнялись в Японии подробнейшей регламентацией быта. Одежда, которую человек мог носить, пища, которую он мог есть, размеры дома, в котором он мог жить, — все это определялось его социальным положением.

Мы привыкли к тому, что в семейном кругу люди относятся друг к другу без особых церемоний. В Японии же именно внутри семьи постигаются и скрупулезно соблюдаются правила почитания старших и вышестоящих. В этой домашней ие-



рархии каждый имеет четко определенное место и как бы свой титул. Почести воздаются не только главе семьи. Когда сестры обращаются к братьям, они обязаны употреблять иные, более учтивые выражения, чем те, с которыми братья обращаются к сестрам. Еще когда мать по японскому обычаю носит младенца у себя за спиной, она при каждом поклоне заставляет кланяться и его, давая ему тем самым первые уроки почитания старших. Чувство субординации укореняется в душе японца не из нравочений, а из жизненной практики. Он видит, что мать кланяется отцу, средний брат — старшему брату, сестра — всем братьям независимо от возраста. Причем это не пустой жест. Это признание своего места и готовность выполнять вытекающие из этого обязанности.

Привилегии главы семьи при любых обстоятельствах подчеркиваются каждодневно. Именно его все домашние провожают и встречают у порога. Именно он первым окунается в нагретую для всей семьи воду фуру. Именно его первым угощают за семейным столом.

Мало найдется на земле стран, где детвора была бы окружена большей любовью, чем в Японии. Но печать субординации лежит даже на родительских чувствах. Старшего сына заметно выделяют среди остальных детей. К нему относятся буквально как к наследнику престола, хотя престол — всего-навсего родительский дом. С малолетства такой малыш часто бывает самым несносным в семье. Его приучают воспринимать поблажки как должное, ибо именно на него ляжет потом не только забота о престарелых родителях, но и ответственность за семью в целом, за продолжение рода, за отчий дом. По мере того как старший сын подрастает, он вместе с отцом начинает решать, что хорошо и что пло-



Японец с детских лет привыкает к тому, что определенные привилегии влекут за собой определенные обязанности. Он понимает подобающее место и как пределы дозволенного, и как гарантию известных прав. Примером этой своеобразной диалектики служит положение женщины в семье. Феодалный домострой прославлял покорность и готовность к самопожертвованию как идеал женственности. Считалось, что японка до замужества должна подчиняться отцу, после свадьбы — мужу, а став вдовой — сыну. И тем не менее она имеет куда больше прав, чем женщины в других азиатских странах. Причем права эти не результат каких-то современных веяний, а следствие отведенного женщине «подобающего места».

Именно на плечи женщины возложены заботы о домашнем хозяйстве. Но ей же полностью доверен и семейный кошелек. О сбережениях на будущее должен думать глава семьи. Он решает, какую долю заработка потратить на текущие нужды. Но выделенными для этого деньгами японка вправе распоряжаться по собственному усмотрению. Именно она вершит дела внутри семьи, и мужчине не полагается вмешиваться в эту область. Символом положения хозяйки издавна считается самодзи — деревянная лопаточка, которой она раскладывает домочадцам рис. День, когда состарившаяся свекровь передает самодзи своей невестке, принято было отмечать торжественной церемонией. Обычай этот забыт, но суть его сохранилась. По словам японцев, становится все больше семей, где женщины верховодят не только домашним хозяйством, но и самими мужчинами.

Со стороны это, впрочем, незаметно, да по японским понятиям и не должно быть заметно. Если пройтись по токийскому переулку в утренний час, у каждой двери увидишь одну и ту же



картину: жена провожает мужа до порога, подает ему пальто, кланяется вслед. Знаки почтения и покорности оказываются главе семьи независимо от того, главенствует ли он дома фактически. Эта важная черта японского понимания субординации. Начиная от императоров, вместо которых страной столетиями правили военачальники (сёгуны), и кончая семьей, молчаливо признавалось, что номинальный глава иерархии отнюдь не всегда обладает фактической властью. Тем не менее положенные почести должны адресоваться именно ему. Какие бы силы ни заправляли делами из-за кулис, на сцене для видимости ничего не меняется. Сжившись с субординацией еще в собственной семье, человек привыкает следовать ее принципам и в общественных отношениях. Необходимость постоянно подчеркивать престиж вышестоящих связывает в японцах чувство личной инициативы. «Не отлынивай, но и не усердствуй» — гласит заповедь, которую слышит японский служащий, впервые переступая порог фирмы. И пока он будет оставаться в роли исполнителя, он действительно постарается не делать ничего, что выходило бы за пределы его прямых обязанностей и ответственности. Завет «делай что положено» понимается в двойном смысле. Высовываться из шеренги, забегая вперед старших, недопустимо; браться же за дела, предназначенные для подчиненных, унижительно. Вот характерный пример. Иностранец, работающий переводчиком в редакции японской газеты, закончил срочную статью и понес ее в типографию. У входа на лестницу он столкнулся с японским коллегой, который также направлялся вниз.



— Раз вы идете в типографию, то не передадите ли заодно этот текст в набор? — попросил переводчик.

Японец остолбенел, словно ему предложили броситься в лестничный пролет. Молча взяв текст, он с трудом превозмог себя и зашагал вниз. Лишь когда японские сослуживцы принялись корить иностранца, он понял, что нанес оскорбление.

— Как можно было обращаться с такой просьбой к отцу двоих детей? Ему пришлось нести вашу статью вниз, словно простому курьеру. Это в его-то возрасте, в его-то положении...

Концепция подходящего места требует: не берись не за свое дело. Это лишает людей самостоятельности во множестве практических мелочей, из которых складывается повседневная жизнь. Редко увидишь японца, который мастерил бы что-нибудь дома своими руками.

Сборщик телевизоров не имеет представления о том, как отремонтировать электрический утюг. Когда нужно что-нибудь починить или приладить — по всякому пустяку принято вызывать специалиста. Причем каждый такой мастеровой глубоко убежден, что лучше заказчика разбирается в своем деле, и потому философски относится ко всякого рода пожеланиям и советам, попросту пропуская их мимо ушей.

Знай свое место; веди себя как подобает; делай, что тебе положено, — вот неписанные правила, регулирующие жизнь и поведение японцев.

Японцы строят свои взаимоотношения, постоянно оглядываясь на иерархию. В семье надлежащее поведение определяется возрастом, поколением, полом, в общественных отношениях — рангом. До тех пор пока подходящее место сохранено, человек мирится с ним. Японцев удивляло, что народы оккупированных ими стран отнюдь не встречали их с распростер-



тыми объятиями. Разве Япония не предлагала им подобающего места — пусть более низкого, но определенного — в иерархии азиатских народов? Японцы считают свою концепцию подобающего места настолько бесспорной, что даже не поясняют ее. Однако без понимания этой концепции нельзя понять сложную механику личных и общественных взаимоотношений японцев.

Рут Бенедикт (США).
Хризантема и меч. 1946

Семейный строй в Японии выполняет, помимо своего специального назначения, еще одну социальную функцию чрезвычайной важности: семья является институтом страхования на случай старости. Глава японской семьи воспитывает старшего сына-наследника, выделяя его из всех прочих членов семьи, и несет всю тяжесть семейных обязанностей до 50-летнего возраста. С этого времени он сдает свою власть и всю деловую сторону семейной жизни старшему сыну, а сам больше ни во что активно не входит; остаток дней своих он и его жена проводят без всяких забот, сохраняя при этом в семье в высшей степени достойное положение. Таким образом, строй японской семьи парализует в громадном большинстве случаев одно из крупнейших и наиболее вопиющих зол, свойственных Европе: необеспеченность рабочих людей на случай старости.

Г. Востоков (Россия).
Общественный, домашний
и религиозный быт Японии. 1904



Поначалу у вас создается впечатление, что японки — это угнетенные, робкие, не способные принимать самостоятельные решения создания, которые ловят каждое слово своего мужа. Но во многих

случаях это только иллюзия, внешняя сторона привычки. От женщин всегда требовалось, чтобы они именно так себя вели. И, по всей вероятности, даже в прошлом подчинение японских женщин никогда не было столь безусловным. Японки старшего поколения, хотя и выглядят покорными и послушными, в большинстве своем обладают сильным характером и волей. Они умеют прекрасно владеть собой и своей дипломатичностью и настойчивостью добиваются от мужей намного больше, чем энергичные европейки и американки. Что касается повседневной жизни, то все хозяйственные вопросы японки решают сами. Создается даже впечатление, что многие мужчины скрывают за маской хозяина положения нерешительность, неверие в себя, неспособность чего-либо добиться и стремление опереться на кого-либо другого, то есть те качества, которые у большинства японских женщин полностью отсутствуют. Мужчины любят делать вид, что они все понимают, женщины, наоборот, стремятся свои способности скрыть и показывают, что все, что они делают и говорят, — свидетельство мудрости главы семьи и что их успехи — это прежде всего успехи мужа.

Однажды мы были свидетелями торга в крестьянской семье, у которой хотели снять в аренду небольшой домик у моря. Все переговоры, естественно, велись с главой семьи. Мужчина сидел на татами у большого хибати и с серьезным видом дымил сигаретой в длинном мундштуке. За ним на корточках сидела его супруга — ничего не значащая тень великого мужчины. Но она с большим вниманием следила за тем, что говорит глава семьи, и когда ей что-то не нравилось, она начинала очень вежливо шептать ему на ухо. Мужчина кашлял, некоторое время курил и затем высказывал новую мысль, словно она только



что пришла ему в голову. Тень за его спиной удовлетворенно кивала головой и продолжала почтительно слушать.

Ян и Власта Винкельхофер (Чехословакия).

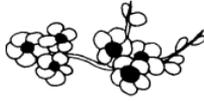
Сто взглядов на Японию. 1964

Если японская женщина живет в обществе, в котором внешне доминирует мужчина, то это общество, которое она сама помогла создать. Сердцевину его составляют черты, в которых бесспорно проявляется рука женщины: тяга к согласию, склонность к компромиссу, к объединению противоположных взглядов, тонкое чувство красоты и гармонии.

Фрэнк Гибней (США).

Япония: хрупкая сверхдержава. 1975





ЖАЖДА ЗАВИСИМОСТИ

Когда начинаешь знакомиться с Японией, с ее искусством, философией, может сложиться представление о японцах как о любителях одиночества. Именно к такому выводу толкает, например, присущая им созерцательность, желание быть наедине с природой. Хочется, однако, подчеркнуть другое. Вряд ли японцы действительно любят одиночество, скорее, наоборот. Они любят быть на людях, любят думать и действовать сообща.

В японских народных песнях часто звучит слово «сабисий», в котором совмещаются понятия «одинокий» и «грустный», «печальный». Японцам действительно присуща обостренная боязнь одиночества, боязнь хотя бы на время перестать быть частью какой-то группы, перестать ощущать свою принадлежность к какому-то кругу людей.

Хорошо знакомую туристским фирмам склонность японцев путешествовать «повзводно» можно объяснить многими причинами: и плохим знанием иностранных языков, и опасением попасть в затруднительное положение из-за разницы в нравах и обычаях. Но достаточно побывать в Стране восходящего солнца, чтобы убедиться: японцы не только за границей, но и у себя дома любят шествовать большой толпой за флагом экскурсовода. Даже владельцы собственных автомашин часто предпочитают семейному выезду за город коллективную экскурсию, организованную фирмой,



где они работают. Длинной очередью они взбираются на какую-нибудь вершину, делают групповые снимки на память, а на обратном пути, как послушные школьники, хором поют песни, держа в руках листки со словами. Подчас людей больше всего волнует даже не то, что сакура наконец расцвела или что листья кленов побагровели, а сам повод убедиться в этом сообща, разделить свои чувства с другими.

Про японцев можно сказать, что их больше чем самостоятельность радует чувство причастности — то самое чувство, которое испытывает человек, поющий в хоре или шагающий в строю.

Эта жажда причастности, более того — тяга к зависимости в корне противоположна индивидуализму, понятию частной жизни, на чем основана западная, и в особенности англосаксонская, мораль. Слова «независимая личность» вызывают у японцев представление о человеке эгоистичном, неуживчивом, не умеющем считаться с другими. Само слово «свобода» еще недавно воспринималось ими как вседозволенность, распущенность, своекорыстие в ущерб групповым интересам.

Японская мораль считает узы взаимной зависимости основой отношений между людьми. Индивидуализм же изображается ею холодным, сухим, бесчеловечным. «Найди группу, к которой бы ты принадлежал, — проповедует японская мораль. — Будь верен ей и полагайся на нее.

В одиночку же ты не найдешь своего места в жизни, затеряешься в ее хитросплетениях. Без чувства зависимости не может быть чувства уверенности».

Итак, японцы отвергают индивидуализм. Но чужд им и коллективизм в подлинном, широком смысле этого слова. Им свойственно проводить в обществе четкие раз-



на «своих» и «чужих» и относиться к ним соответственно. Японское общество — это общество групп. Каждый человек постоянно чувствует себя частью какой-то группы — то ли семьи, то ли общины, то ли фирмы. Он привык мыслить и действовать сообща, приучен подчиняться воле группы и вести себя соответственно своему положению в ней. Групповое сознание имеет глубокие корни в японской жизни. Его прототип — крестьянский двор («из»), то есть не только семья, объединенная узами родства, но и низовая ячейка производственной деятельности. Патриархальная семья «из», основанная на совместной жизни и общем труде нескольких поколений, оказалась в Японии очень устойчивой и способствовала закреплению сословного характера общественных отношений.

Неделимость имущества, которое по праву первородства целиком переходило старшему сыну, а при отсутствии мужского наследника — усыновленному зятю, умножала власть главы семьи, делала осью семейных отношений вертикальный стержень «отец—сын» («оя—ко»). Человеческие взаимоотношения внутри такой группы обретают даже большую важность, чем узы родства. Зять или невестка становятся более близкими людьми, нежели замужняя дочь, живущая под другой крышей.

Краеугольным камнем японской морали служит верность, понимаемая как долг признательности старшим. «Лишь сам став отцом или матерью, человек до конца постигает, чем он обязан своим родителям» — гласит излюбленная пословица.

Почитание родителей, а в более широком смысле покорность воле старших — вот в представлении японцев первая из добродетелей, самая важная моральная обязанность человека.

Именно преданность, основанная на долге признательности, делает



столь прочной ось «оя—ко», на которой держится вертикальная структура японской семьи и других созданных по ее образу социальных групп — отношения отца и сына, учителя и ученика, покровителя и подопечного. Преданность семье, общине, фирме должна быть беспредельной и безоговорочной, то есть человек обязан подчиняться воле старших и вышестоящих, даже если они не правы, даже если они поступают вопреки справедливости.

В этом наиболее существенное изменение, которое японцы внесли в заимствованную ими древнекитайскую мораль. Учение Конфуция основывалось на том, что сын должен быть сыном, а отец — отцом; подданный — подданным, а повелитель — повелителем. Это значит, что сыновней почтительности достоин лишь хороший отец, что на преданность младших или нижестоящих вправе рассчитывать лишь тот, кто сам человеколюбив и милосерден по отношению к ним. Японцы, стало быть, существенно выхолостили принцип «жэнь» (гуманность, человечность), служивший в древнекитайской морали стержнем человеческих взаимоотношений.

Воплощением долга признательности донныне остается покорность родительской воле. Конечно, в наши дни сын зачастую отказывается жениться на сосватанной невесте или наследовать семейную профессию. Видя, как молодые пары гуляют по улицам обнявшись, можно подумать, что от традиционного домостроя не осталось и следа. А между тем это не совсем так. Пусть самостоятельные знакомства и встречи между юношами и девушками

вошли в обиход. Главное не изменилось — свадьба в Японии до сих пор остается делом не столько личным, сколько семейным.

Считается, что в таком важном деле, как выбор достойного спутника жизни, стоит

124 прислушаться к совету старших.



Помимо браков по сватовству, есть и другие признаки того, что старинный семейный уклад все еще сохраняет силу. Это, например, практика усыновления. Феодалный домострой строго требовал от каждого обеспечить продолжение рода по мужской линии. Собственность семьи, оказавшейся без такого наследника, конфисковывалась в казну. Старые законы давно отменены, однако стремление непременно иметь сына по-прежнему присуще в Японии любой супружеской паре. Дело тут не только в продолжении рода. Не иметь сына — значит для японца обречь себя на одинокую старость.

Доживать свой век под одной крышей с замужней дочерью не принято. (Существует множество японских пословиц о взаимоотношениях невестки и свекрови, но нет ни одной о зяте и теще.) Сына оттого и почитают с рождения, словно наследника престола, что именно на него ложится потом забота о престарелых родителях. Если в семье есть лишь дочери, отец и мать подыскивают одной из них жениха, согласного на усыновление. При такой свадьбе муж берет себе фамилию жены вместе с сыновними обязанностями по отношению к приемным родителям.

За последние полвека в Японии значительно увеличилась средняя продолжительность жизни. Если в середине 50-х она составляла 65 лет для мужчин и 67 лет для женщин, то ныне возросла, соответственно, до 77 и 84 лет (более высокий показатель, чем в Швеции, которая до недавних пор держала мировое первенство).

С другой стороны, общее количество семей увеличилось с 25 до 45 миллионов, а средняя численность их уменьшилась. Помимо снижения рождаемости, здесь, безусловно, сказалось и то, что все больше молодоженов предпочитают жить отдельно от родителей.



Естественно предположить, что в этих условиях должна обостриться проблема одинокой старости, свойственная развитым странам Запада. Тем более, что социальное обеспечение в Японии поставлено несравненно хуже, чем, скажем, в Англии.

В действительности же престарелые японцы реже чувствуют себя одинокими, реже доживают свой век в нужде, чем англичане. Те самые узы патриархальной семьи, что в начале жизненного пути связывают человека, на склоне лет становятся ему опорой. Сельский подросток, приехавший работать в Токио, не имеет представления об одиночестве его сверстника в Лондоне, где можно годами снимать тесную каморку в перенаселенном доме и не знать, кто живет за стеной. Японец, скорее всего, поселится с теми же людьми, с кем вместе работает. Его тут же начинают считать членом воображаемой семьи, всякий раз спрашивают, куда и зачем он уходит, когда вернется. Присланные ему из дома письма читают и обсуждают сообща.

Для японца почти не существует понятия каких-то личных дел. Привычка всегда находиться буквально локоть к локтю с другими людьми, традиционный быт, по существу исключающий само понятие частной жизни, — все это помогает японцам приспособливаться к условиям, которые на Западе порой приводят людей на грань психического расстройства.

Хотя традиционная мораль не позволяет держать душу нараспашку, японец не любит оставаться один за закрытой дверью. До недавнего времени большинство японских жилищ не запиралось.

В японской гостинице не существует такого понятия, как ключ от комнаты, ибо раздвижные перегородки, как и окна, в принципе не должны иметь запоров. Даже в отеле западного типа японец часто держит дверь своего номера открытой...



Если задуматься, какими чертами, какими человеческими качествами пришлось пожертвовать японцам ради их образа жизни, прежде всего, пожалуй, нужно назвать непринужденность и непосредственность. Японцам действительно не хватает непринужденности, ибо традиционная мораль постоянно принуждает их к чему-то. Строгая субординация, которая всегда напоминает человеку о подобающем месте, требует постоянно блюсти дистанцию в жизненном строю; сознание своей принадлежности к какой-то группе, готовность ставить преданность ей выше личных убеждений; предписанная учтивость, которая сковывает живое общение, искренний обмен мыслями и чувствами, — все что обрекает японцев на известную замкнутость (если не личную, то групповую) и в то же время рождает у них боязнь оставаться наедине с собой, стремление избегать того, что они называют словом «сабисий».

Япония — страна групп. На этих перенаселенных островах группы образуются, наверное, по необходимости. Уединение в нашем понимании здесь недостижимо. Вы не можете иметь свою отдельную комнату. А если у вас, на удивление, окажется такая комната, вся семья тем не менее слышит каждый ваш шаг, каждый вздох через бумажные перегородки. Японская жизнь исключает не только уединение, но даже стремление к уединению. Уединение приравнивается к одиночеству, а одиночество для японца — это нечто ужасное. Групповщина в Японии — такое же типичное явление, как индивидуализм в Англии.

Джордж Микеш (Англия).
Страна восходящей иены. 1970

Наряду с современной системой законов японцы подчиняются неписа-



ному кодексу общественного поведения. Кодекс этот труден тем, что не поддается четкому и всестороннему объяснению. Он просто незримо присутствует, как нечто бесформенное и бесцветное, и подобно амебе эластично приспособливается к меняющимся нуждам общества. Это смутная смесь чувства справедливости, понимания человеческих слабостей, терпимости и известной доли фатализма. Такой внеюридический кодекс не обеспечивает, однако, должного решения проблем современного общества. За его фасадом любви, гармонии и благожелательности тысячи виноватых остаются безнаказанными и тысячи невинных вынуждены мириться с несправедливостью. Это порождает духовную пассивность, несовместимую с требованиями современного общества. Слишком многое остается нерешенным. И слишком многое решается арбитражем, который исходит из старинной поговорки, что «во всякой ссоре повинны обе стороны».

Роберт Одзаки (Япония).

Япония: психологический портрет. 1978





ЗНАЧОК НА ЛАЦКАНЕ

Устои патриархальной семьи — это устои японского образа жизни. Вертикальные связи «оя—ко», то есть «отец—сын», а в более широком смысле «учитель—ученик», «покровитель—подопечный», прослеживаются, дают о себе знать повсюду.

Жизненный путь японца, даже во времена жесточайших сословных разграничений, меньше, чем в других азиатских странах, предопределялся его происхождением. Принято считать, что будущее человека зависит не столько от родства, сколько от того, с кем его столкнет судьба между 15 и 25 годами, в пору вступления на самостоятельный путь, в ответственный по японским представлениям период, когда каждый человек обретает «оя» — учителя, покровителя, как бы приемного отца — уже не в семье, а в избранной им сфере деятельности.

Если сельский подросток идет в учение к кузнецу, именно этот человек на всю жизнь становится его покровителем, именно он, а не отец сватает ему невесту и восседает на самом почетном месте на его свадьбе. Если юношу берут на завод по рекомендации земляка, этот поручитель впредь может всегда рассчитывать на безоговорочную верность своего «ко», как того требует долг признательности. Личные отношения, сложившиеся в начале жизненного пути, японцы ценят выше других и считают, что они сохраняют силу навсегда.



Видимо, поэтому японцы привыкли судить о человеке прежде всего по его принадлежности к той или иной группе. Первоосновой такой характеристики служит именно семья или община, государственное учреждение или коммерческая фирма, а вовсе не профессия человека, не его личные способности или заслуги.

— Вы знаете этого гостя? Кто он такой?

— Он с фирмы «Мацусита», начальник цеха. Подобные вопросы мне доводилось задавать японцам множество раз, и в ответ неизменно называлось место работы, затем — должность, ранг. Причем ни разу я не слышал, чтобы о ком-то сказали: он хирург или технолог, строитель или искусствовед.

Шофер грузовика, развозящего бумажные рулоны, скажет, что он работает в газете «Асахи». Всемирно известный специалист по ядерной физике отрекомендуется профессором Киотского университета. И дело тут не в тщеславии первого и скромности второго — так принято. Является ли Ямадасан директором банка или простым кассиром — это уже второй вопрос. Важнее знать ответ на первый: он работник концерна «Сумитомо». Стало быть, большинство его друзей, с которыми он вместе трудится и сообща проводит свой досуг, — тоже люди «Сумитомо».

Хотя японцы избегают одиночества, любят быть на людях, они не умеют, вернее, не могут легко и свободно сходить с людьми. Дружеские связи между лицами разного возраста, положения, социальной принадлежности крайне редки.

Круг тех, с кем японец сохраняет общение на протяжении своей жизни, весьма ограничен. За исключением родственников и бывших одноклассников, это, как правило, сослуживцы одного с ним ранга.



130 Если дружбу сверстников в школе и

университете можно назвать горизонтальными отношениями, то в дальнейшем у человека остаются лишь гораздо более строгие вертикальные отношения между старшими и младшими, вышестоящими и нижестоящими.

Говорят, что личные связи играют в деловой и политической жизни Японии ключевую роль. Но правомерно ли называть подобные отношения личными, если каждый участник их представляет не столько себя, сколько стоящую за ним группу? Пожалуй, даже понятие дружбы носит в Японии скорее групповой, чем личный характер.

Когда два японца встречаются впервые, они прежде всего стараются выяснить принадлежность друг друга, а также положение, которое занимает в своей группе каждый из них. Без этих сведений им трудно найти основу для общения. На свадебных церемониях и сейчас еще можно видеть старинный наряд, предназначенный для самых торжественных случаев: черное кимоно с белыми родовыми гербами. В современной жизни место соперничающих родов заняли конкурирующие фирмы, а роль гербов на кимоно унаследовали значки этих фирм — их обычно носят на лацканах пиджаков.

Еще шире вошли в японский обиход визитные карточки, сразу же позволяющие судить, кого представляет человек и каков его ранг. Японцы сейчас совершенно не могут обходиться без визитных карточек, которые неизмеримо упростили ритуал представления друг другу.

Как прежде родовым гербом, японец демонстрирует значком фирмы или визитной карточкой свою принадлежность к определенной группе, свою готовность ставить преданность ей выше личных убеждений.



Стойкость вертикальных связей «оя—ко» порождает, во-первых, семейственность и групповщину, а во-вторых, ведет к созданию независимых однородных групп в каждой области деятельности. Депутат парламента верен прежде всего главе своей фракции, а не руководителю партии. Японские коммерческие корпорации, литературные течения, гангстерские кланы в равной мере основаны на безоговорочной преданности членов группы своему покровителю.

Заметим, однако, что в отличие, скажем, от индийских каст или от гильдий в средневековой Европе замкнутые группы в Японии основаны не на горизонтальных, а на вертикальных связях. Японский профессор стоит ближе к своим ассистентам и студентам, чем к другим профессорам того же университета или своим коллегам по специальности. При кастовой структуре людей обычно объединяет и социальное положение, и характер деятельности. Японская же группа разнородна. Она напоминает скорее корабельный экипаж, который укомплектован людьми всех нужных специальностей, чтобы успешно состязаться с другими кораблями. Соперничество таких групп, разумеется, усугубляет их замкнутость. Но в то же время порождает и тягу вместе отстаивать какие-то общие, отраслевые интересы.

Япония — страна ассоциаций, члены которых не только соперничают, но и сотрудничают, сочетают конкуренцию между собой с взаимной информацией. Существуют ассоциации промышленников, металлургов, судостроителей, энергетиков; ассоциации университетов, кинокомпаний и органов местного самоуправления; ассоциации парикмахеров, борцов сумо и преподавателей чайной церемонии. Причем в каждом подоб-



ном объединении, как правило, есть то ли «большая тройка», то ли «большая четверка», то ли «большая пятерка», которая держит главенствующие позиции в данной области и, стало быть, делает там погоду.

Японцы придают большое значение понятию «перворазрядный». Между этой и последующими категориями существует значительный, как бы качественный разрыв. Есть перворазрядные фирмы, перворазрядные университеты, перворазрядные рестораны. Существует неофициальная градация даже среди правительственных учреждений. Министерство финансов и министерство иностранных дел относят, например, к числу перворазрядных, в то время как министерство просвещения копируется куда скромнее.

При поступлении на работу выпускник перворазрядного университета имеет в Японии неоспоримое, общепризнанное преимущество перед другими обладателями дипломов о высшем образовании.

Принадлежность к перворазрядной фирме означает не только более высокую зарплату, но и соответствующий социальный престиж, что, помимо моральных преимуществ, порой несет и материальные. Рядовому служащему концерна «Мицуи» охотнее предоставят кредит на покупку дома, чем мелкому предпринимателю, пусть даже с более высокими доходами.

В обществе людей одинакового положения или ранга — скажем, газетных репортеров, страховых агентов, служащих бензоколонок, директоров компаний — представитель перворазрядной фирмы негласно, но бесспорно будет считаться старшим. Японские учреждения и корпорации, вырвавшиеся в число перворазрядных, тоже, разумеется, соперничают между собой. Но при этом они не стремятся выделиться какой-то



характерной чертой, обрести в чем-то свой собственный профиль. Вместо этого соперники склонны уподобляться друг другу, имитировать структуру группы, стоящей рангом выше, дублировать каждый вид ее деятельности.

Типичный пример — японская печать. Каждая общенациональная газета стремится удовлетворить интересы всех категорий читателей. Ответить на вопрос, чем отличаются по своему профилю и политическому направлению газеты «Асахи», «Майнити» и «Иомиури», так же трудно, как определить разницу в характере деятельности универмагов «Мицукоси», «Даймару», «Мацудза-кая».

Столь же схожи между собой ведущие японские университеты и монополистические концерны. Тем и другим одинаково присуще стремление быть в своей области «государством в государстве», ни в чем не зависеть от конкурентов, ни в чем не уступать им.

Раз создали новый университет, пусть будет полный набор факультетов (хотя большинству вузов это явно не под силу). Стоило концерну «Мицуи» построить в Токио первое высотное здание, как его соперники «Сумитомо» и «Мицубиси» тут же возвели по небоскребу.

Стремление японцев к четко обозначенной иерархии проявляется повсеместно: это заметно как между соперничающими группами, так и внутри каждой из них. Главенствующая роль вертикальных связей «оя—ко» ведет к тому, что даже среди людей, занимающих одинаковое или сходное положение, обнаруживается тяга к разграничению рангов. Для рабочего у станка рангом служит возраст, точнее говоря — стаж. Ранг служащего определяется прежде всего образованием, а во-вторых, опять-таки числом проработанных лет. Для



профессора университета критерием подобающего места среди коллег будет дата его официального назначения на кафедру.

Примечательно, что четкое сознание своего ранга присуще людям не только в общественно-политической или деловой жизни, словом — в сфере официальных отношений. Оно дает себя знать и среди творческой интеллигенции, где, казалось бы, сам характер деятельности должен выдвигать во главу угла личные таланты и заслуги. У писателей, артистов, художников бытует понятие «предшественник», то есть человек, которого надлежит почитать уже за то, что он раньше начал подобную же карьеру, раньше вступил в литературу, на сцену, дебютировал в живописи или архитектуре.

Вертикальные связи главенствуют над горизонтальными в каждом виде искусства. В икебанае и чайной церемонии, в каллиграфии и театре теней — всюду существуют соперничающие школы, каждая из которых имеет подчиненные себе ветви. В Японии не сыщешь учителя, который взялся бы преподавать приемы разных школ икебаны, не увидишь спектакля Кабуки, в котором участвовали бы актеры из разных кланов. «Как нельзя иметь двух отцов, так нельзя служить двум хозяевам» — гласит японская пословица.

Итак, градация по рангам устанавливается чаще всего на основе старшинства. На взгляд японцев, такая система более проста и стабильна, чем учет личных заслуг, она не нуждается в последующей корректировке. Считается, что форма отношений, однажды сложившихся между людьми, не должна меняться на протяжении их жизни. Если ректор университета имеет в числе подчиненных своего бывшего профессора, он будет почтительно именовать его учителем.



Поскольку любая группа в японском обществе основывается на жесткой иерархии, чужак, задумавший проникнуть в нее со стороны, втиснуться сразу на средний, а тем более на верхний этаж, оказался бы инородным телом среди прочных вертикальных связей, установившихся между людьми раньше. В таких условиях японцу выгоднее всю жизнь оставаться там, где он начал свой трудовой путь, передвигаться со ступеньки на ступеньку по мере естественного обновления коллектива и вместе со стажем накапливать определенный общественный капитал, который, разумеется, нельзя унести с собой на другое место работы. Именно в специфике общественных групп, основанных на вертикальных связях, коренится японская система пожизненного найма, которая, хоть и подвергается эрозии, еще долго будет влиять на характер трудовых отношений в этой стране.

Ты верен не потому, что нечто, чему ты верен, хорошо, а ты хорош потому, что верен. Если ты верен — ты хорош, если ты не верен — ты негодяй.

Верность стала самодавляющей идеей. Она была сделана моралью.

Борис Агапов (Россия).

Воспоминания о Японии. 1974

Японское общество не признает выдающихся личностей, оно тянет назад всякого, кто стремится опередить остальных. Самые умные и рассудительные японцы постигают это раньше других. Поэтому именно люди, талант которых мог бы сделать их яркими индивидуальностями, превращаются в наибольших приспособленцев и делают свою карьеру именно японским путем, как почти анонимные члены какой-то группы.



В деловом мире человек известен просто по фирме, в которой он служит, и не по способностям. Без визитной карточки он ничего не представляет как личность, а с визитной карточкой и со значком на лацкане пиджака он разделяет славу своей фирмы независимо от того, как бы ни был мал его пост. Как бы бездарно он ни работал, его не уволят, какими бы яркими способностями он ни обладал, он почти не имеет возможности продвигаться быстрее, чем другие люди его возрастной группы.

Рафаэл Штейнберг (США).
Почему трудно писать о Японии. 1966





ЧЕЛОВЕК С ФЛАЖКОМ

Японцы любят флаги. Они развеваются на зданиях и на автомашинах. Собственные флаги имеют газеты и универмаги, частные фирмы и профсоюзы. А путешествовать — значит, в представлении японца, шествовать гурьбой за человеком с флажком. Такие толпы, поспешающие за вожаком, видишь в любом достопримечательном месте. Человек с флажком может быть агентом бюро путешествий, экскурсоводом, кондуктором автобуса или просто сослуживцем, который знает здешние места и потому взял на себя обязанности проводника. В любом случае каждый член группы подчиняется ему, считая неподобающим оспаривать его указания или отказываться от его опеки. В то время как англичанин, возможно, усмотрел бы тут ущемление личной независимости, японец охотно шагает за флажком.

Зная о роли группового сознания в японском обществе, есть соблазн представить себе его в виде множества групп, каждая из которых послушно следует за своим знаменосцем, то есть за человеком, который эту группу возглавляет. Руководитель в Японии действительно похож на человека с флажком перед группой туристов.

Однако права и обязанности такого проводника касаются определенного маршрута, выработанного не им одним и известного участникам экскурсии.

Узы взаимной зависимости, о которых шла речь выше, это как бы поводок о



двух концах. С одной стороны, они тянут ведомых за ведущим. Но, с другой стороны, вынуждают вожака оглядываться на группу, навязывать ей свою волю так, чтобы при этом сохранялась хотя бы видимость общего согласия.

Японская мораль предписывает избегать прямой конфронтации, не допускать положений, когда одна из сторон всецело одерживала бы верх над другой. Нельзя доводить до того, чтобы побежденный «потерял лицо», предстал перед окружающими униженным и оскорбленным. Это означало бы задеть такую болезненную струну, как «гири» — долг чести, то есть нажать себе смертельного врага.

Если такая первейшая для японцев добродетель, как долг признательности, уходит корнями в древнекитайскую мораль, то долг чести — это сугубо японское понятие, которое не имеет ничего общего ни с учением Конфуция, ни с учением Будды. Раскрыть смысл «гири» трудно, ибо даже сами японцы не могут дать ему достаточно ясного толкования. «Гири» — это некая моральная необходимость, заставляющая человека порой делать что-то против собственного желания или вопреки собственной выгоде. Довольно близко к этому термину стоит старый французский оборот «положение обязывает». «Гири» — это долг чести, основанный не на абстрактных понятиях добра и зла, а на строго предписанном регламенте человеческих отношений, требующем подходящих поступков в подходящих обстоятельствах.

В отличие от неоплатного долга признательности японцы смотрят на долг чести как на некое добавочное бремя, неосмотрительного увеличения которого следует остерегаться. Поскольку любая услуга требует взаимности, должна быть как-то вознаграждена, японцы стараются избегать одолжений со стороны чужих людей.



Это отразилось даже в том, что речевые обороты, предназначенные для выражения благодарности, несут в себе, как ни странно, оттенок некоего сожаления. Например, слово «аригато», которое обычно переводят как «спасибо», буквально значит: «вы ставите меня в трудное положение». Другой сходный оборот «сумимасэн» означает: «ах, мне теперь вовек с вами не рассчитаться». Таким образом, уже выражая благодарность, японец как бы с сожалением признает, что остался перед кем-то в долгу.

Стремление избегать случайных услуг или оказывать их порой производит впечатление, что японцы — люди неотзывчивые. Но дело тут не в черствости. Сделать что-то для незнакомца без его просьбы — значит поставить его в положение морального должника, воспользоваться его затруднением в свою пользу — вот к какому абсурдному парадоксу приводит японское понятие о долге чести.

«Стыд служит почвой, на которой произрастают все добродетели» — эта распространенная фраза показывает, что поведение японца регулируется людьми, которые его окружают. Не соблюдать общепризнанных обычаев, не считаться с мнением общины — значит подвергнуться осуждению и, стало быть, отчуждению. Поступай как принято, иначе люди отвернутся от тебя — вот что требует от японца долг чести. Смысл «гири», стало быть, лучше выразить не французским оборотом «положение обязывает», а словами «традиция обязывает». «Гири», или долг чести, проявляется, во-первых, по отношению к окружающим (как разновидность

нашего понятия «совесть»), а во-вторых, по отношению к самому себе, к собственной репутации (что во многом соответствует тому, что мы называем самолюбием). Он побуждает человека не допустить положений, в которых как он сам, так и



кто-то другой может оказаться униженным или оскорбленным.

Долг чести не позволяет японцу проявить свою неспособность в том, к чему он по положению обязан быть способен. Нежелание «потерять лицо» подчас мешает японскому врачу отказаться от ошибочного диагноза. По той же причине преподаватели не любят, когда ученики обращаются к ним с вопросами.

Бывалый иностранец, остановленный за нарушение правил езды на улицах Токио, притворяется, что не знает японского языка. И регулировщик отпускает его, так как, в свою очередь, не хочет признать, что слаб в английском, то есть ронять престиж столичного полицейского.

Сказать, что японцы очень самолюбивы, что они высоко ставят свою честь, — значит показать лишь одну сторону их характера. Непримируемость к оскорблениям, болезненная чуткость к любому унижению их личного достоинства не привели к тому, что месть стала у них главенствующей чертой человеческих взаимоотношений. Понятие «гири» обрело как бы возвратное значение. Долг чести по отношению к самому себе с малолетства приучает японцев щадить самолюбие окружающих.

Отсюда — стремление уклоняться от прямого соперничества, где выбор в пользу одной из сторон означал бы «потерю лица» для другой. Именно обоюдная боязнь «потерять лицо» рождает потребность в третьем лице, то есть в посреднике. К его услугам японцы прибегают в самых различных случаях, начиная от коммерческих сделок и кончая сватовством.

Считается очень важным так обставить первую встречу жениха и невесты, чтобы в случае отказа какой-либо из сторон не унижить другую. Поэтому такие смотрины чаще всего устраиваются



как якобы случайная встреча в каком-нибудь общественном месте, например на ежегодной выставке хризантем или во время любования весенним цветением вишен. Такая встреча, никого ни к чему не обязывая, позволяет молодым и их родителям познакомиться друг с другом.

Японский школьник вряд ли ответит, кто из его сверстников первый ученик и кто, наоборот, тянет класс назад. Если педагог хвалит или журит кого-то, он всегда исходит из способностей и прилежания данного ребенка, сравнивая его нынешнюю успеваемость с его же прежней и старательно избегая противопоставления одних учеников другим.

Японские рикши в прежние времена строго блюли неписанный закон: молодой возчик мог обгонять старого, лишь изменив маршрут, чтобы его превосходство в силе и выносливости не бросалось людям в глаза.

Это стремление хотя бы внешне свести до минимума прямое соперничество донныне пронизывает японскую жизнь. Даже проявлениям конкурентной борьбы японские дельцы ухитряются придавать видимость компромисса. Если в Англии основным законом соперничества считаются принципы «честной игры», то в Японии им соответствует понятие «подобающей доли». Для англичанина главное, чтобы игра шла по правилам. Тогда он с легким сердцем поздравляет победителя, которому достается все, а сам, как побежденный, остается ни с чем.

В Японии же, если не считать спорта, редко имеют место состязания, при которых победитель получает все, а побежденный — ничего. Японцам свойственно думать не о том, кому из спорящих достанется пирог, а как его удачнее поделить. Главное для них — конечный результат, а не правила игры, которые можно по ходу ме-



нять ради того, чтобы каждому досталась «подобающая доля».

Желание избегать открытого столкновения противоположных взглядов проявляется у японцев и в практике принятия решений. Решения эти обычно представляют собой не результат чьей-то личной инициативы, а итог согласования мнений всех заинтересованных лиц — как бы общий знаменатель, найденный на основе взаимных уступок. При этом по нормам японской деловой этики главной добродетелью обладает не тот, кто твердо стоит на своем (пусть даже будучи правым), а тот, кто проявляет готовность к компромиссу ради общего согласия.

Прежде всего японцы стараются как можно дольше не замечать того, что нарушает сложившийся порядок вещей. Они считают естественным затягивать принятие некоторых решений до тех пор, пока в них вообще отпадает необходимость. Но здесь же коренятся причины и другой важной национальной черты: Япония порой бывает страной внезапных перемен, крутых поворотов, совершаемых после продолжительного промедления.

Итак, японцы ищут решения, которые обобщали бы взгляды всех заинтересованных сторон, каждая из которых обладает чем-то вроде права вето. Если, несмотря на продолжительные дискуссии, кто-то все-таки выступает против данной инициативы, вопрос вообще не решается, а откладывается.

Когда проблема становится безотлагательной, нижестоящие звенья аппарата прежде всего смотрят, как поступали в подобных случаях прежде, и с учетом изменившейся обстановки готовят возможные варианты решения. Процесс согласования мнений начинается в наиболее заинтересованной группе, а затем шаг за шагом движется вверх. Лишь после кропотливой



подготовки вопрос выносится на обсуждение руководства. Характерно, что на всех уровнях проявляется стремление избегать категорических суждений, слов «да» или «нет», «за» или «против». Как правило, ни один из участников такой дискуссии не станет сразу целиком излагать свое мнение, тем более предлагать что-то конкретное. Вместо того он выскажет сначала лишь небольшую, наиболее бесспорную часть того, что думает по данному вопросу; образно говоря, сделает лишь осторожный шаг вперед и тут же оглянется на остальных.

Японец независимо от занимаемого поста остерегается противопоставлять себя другим, оказаться в изоляции, довести дело до открытого столкновения противоположных взглядов. Поэтому дискуссия обычно тянется долго, пока каждый ее участник шаг за шагом не изложит свою позицию, по ходу видоизменяя ее с учетом высказываний других. Цель дебатов в том и состоит, чтобы выявить различия во мнениях и постепенно привести их к общему согласию.

Связанные жесткими правилами поведения и нормами «подобающего места», японцы вообще предпочитают преодолевать наиболее острые разногласия не на заседаниях, а за выпивкой, когда алкоголь помогает на время сбрасывать оковы этикета. Огромные расходы японских фирм на «представительские цели», а попросту говоря, на попойки в барах и кабаре, мотивируются тем, что подобные заведения служат удобным местом для согласования противоречивых мнений.



Сблизить точки зрения спорящих чаще помогает посредник, который берет на себя эту роль тоже сугубо по-японски. Взяться за посредничество по официальной просьбе значило бы в случае неудачи «потерять лицо». Поэтому дело обычно ограничивается лишь намеком, что существуют

такие-то разногласия, которые хочется, но не удается преодолеть. Поняв суть дела, будущий посредник так же осторожно прощупывает готовность другой стороны говорить с ним о возникшем затруднении. Если желание искать компромисс оказалось обоюдным, посредник как бы от своего имени предлагает участникам спора взаимоприемлемое решение.

Для деловых отношений в Японии характерно, что сторона, вынужденная пойти на уступки, по традиции получает преимущество при решении какого-то другого вопроса, подчас совершенно не связанного с первым, или же получает заверения, что, если подобный же спор возникнет в будущем, решение будет принято в ее пользу. Готовность к компромиссу считается добродетелью, которая должна быть вознаграждена.

Важно иметь в виду, однако, что компромисс в представлении японцев — это зеркало момента. Подобно тому, как их мораль делит поступки не на хорошие и дурные, а на подходящие и неподходящие, японцы считают само собой разумеющимся, что соглашение имеет силу лишь до тех пор, пока сохраняются условия, в которых оно было достигнуто. Там, где англичанин скажет: «Раз возник спор, обратимся к тексту соглашения и посмотрим, что там записано», японец будет доказывать, что, если обстановка изменилась, должна быть пересмотрена и прежняя договоренность.

Полагаю, что в мире нет народа, который относился бы к собственной чести более щепетильно, чем японцы. Они не терпят ни малейшего оскорбления, даже грубо сказанного слова. Так что вы обращаетесь (и поистине должны обращаться) со всей учтивостью даже к мусорщику или землекопу. Ибо иначе они тут же



бросят работу, ни секунды не задумываясь, какие потери это им сулит, а то и совершат что-нибудь похуже.

Они весьма осмотрительны в своем поведении и никогда не утруждают других жалобами и перечислениями собственных бед. Они с детства выучиваются не раскрывать своих чувств, считая это глупым. Важные и трудные дела, которые могут вызвать гнев, возражение или спор, у них принято решать не с глазу на глаз, а только через третье лицо. Обычай этот настолько в ходу, что применяется между отцами и детьми, между хозяевами и слугами и даже между мужьями и женами.

Алессандро Валиньяно (Италия).

*История деятельности ордена иезуитов
в Восточной Азии. 1642*

Когда два американца должны решить между собой сложный вопрос, они инстинктивно стараются исключить третьих лиц и переговорить с глазу на глаз. Когда такая проблема возникает между японцами, они столь же инстинктивно стремятся разойтись на почтительное расстояние и призывают посредника.

Джон Рандольф (США).

Афоризмы о Японии. 1965

Закон для японца — не норма, а рамки для дискуссии. Хороший японский судья — это человек, способный урегулировать большинство дел до суда на основе компромиссов. Когда американец обращается к своему юристу, он чувствует уверенность и удовлетворение от того, что полагается на силу общественной системы, на власть закона. Когда японец приглашает своего юриста, он с горечью признает, что в его случае обще-



ственный механизм не сработал: отказала система личных взаимоотношений. Обращаясь в суд, американец желает победить, добиться решения в свою пользу. Японец же, если дело возбуждено, уповает на удачный компромисс — в суде или вне его, — который был бы приемлем для него, не ущемляя другую сторону.

Фрэнк Гибнем (США).

Япония: хрупкая сверхдержава. 1975

Десять заповедей для тех, кто ведет дела в Японии:

1. Всегда старайтесь быть официально рекомендованным тому лицу или фирме, с которой вы хотите иметь дело. Причем рекомендующий вас человек должен занимать по крайней мере столь же высокое положение, как лицо, с которым вы хотите познакомиться. Имейте в виду также, что вы становитесь перед рекомендателем в долгу, который в свое время надо будет оплатить.
2. Стремитесь придавать деловым отношениям личный характер. В этом смысле японцы напоминают того жителя Техаса, который не доверял никому, с кем еще вместе не напивался. Если президент японской фирмы поведет вас по вечерним заведениям, вы впоследствии обнаружите, что его подпись на счете бара имеет для ваших дальнейших общих дел более важное значение, чем его подпись на контракте.
3. Никогда не нарушайте внешнюю гармонию. Японцы считают, что сохранить гармонию важнее, чем доказать правоту или получить выгоду.
4. Никогда не ставьте японца в положение, которое вынудило бы его «потерять лицо», то есть признать ошибку или некомпетентность в своей об-



ласти. Японские фирмы увольняют неспособных сотрудников не чаще, чем родители отрекаются от неполноценных детей.

5. Тому, как вы ведете дела, в Японии придается не меньшее значение, чем их результатам. А иногда и большее.
6. Не взывайте к логике. В Японии эмоциональные соображения более важны.
7. Не проявляйте повышенного интереса к денежной стороне дел. Поручайте торговаться о ценах посредникам и подчиненным.
8. Имейте в виду, что понятие «время — деньги» в Японии хождения не имеет.
9. Учитывайте склонность японцев выражаться неопределенно.
10. Помните, что японцы избегают самостоятельных шагов. В то время как нам нравятся люди, которые справляются с делом сами, без оглядки на советы других, японцы смотрят на это иначе. Их идеал — анонимное общее мнение.

Джек Суорд (США).
Еще раз о японцах. 1971





ОГРАНИЧЕНИЯ И ПОСЛАБЛЕНИЯ

Японская мораль постоянно требует от человека огромного самопожертвования ради выполнения долга признательности и долга чести. Логично было бы предположить, что та же мораль насаждает аскетическую строгость нравов, считая грехом физические удовольствия, плотские наслаждения. Однако японцы не только терпимо, но даже благожелательно относятся ко всему тому, что христианская мораль называет человеческими слабостями. Воздержанность, строгий вкус, умение довольствоваться малым вовсе не означают, что японцам присущ аскетизм. На них давит тяжкое бремя моральных обязанностей. Их связывают по рукам и ногам путы бесчисленных правил поведения. Но наряду с жесткими ограничениями японский образ жизни сохраняет и лазейки, которые ведут к распушенности нравов.

Японская мораль лишь подчеркивает, что физическим удовольствиям, плотским наслаждениям следует отводить подобающее, причем второстепенное место. Они, на взгляд японцев, сами по себе не заслуживают осуждения, не составляют греха. Но в определенных случаях человек вынужден сам отказываться от них ради чего-то более важного.

В противоречивом сочетании требовательности и терпимости опять-таки проявляется идея «подобающего мес-



та». Жизнь разграничена на круг обязанностей и круг удовольствий, на область главную и область второстепенную, в каждой из которых действуют свои мерки, свои нормы поведения.

Многих иностранцев поражает, что японские дети вроде бы никогда не плачут. Кое-кто даже относит это за счет знаменитой японской вежливости, проявляющейся чуть ли не с младенчества. Причина тут, разумеется, иная. Малыш плачет, когда ему хочется пить или есть, когда он испытывает какие-то неудобства или оставлен без присмотра и, наконец, когда его к чему-то принуждают. Японская система воспитания стремится избегать всего этого.

Первые два года младенец как бы остается частью тела матери, которая целыми днями носит его привязанным за спиной, по ночам кладет его спать рядом с собой и дает ему грудь в любой момент, как только он этого пожелает. Даже когда малыш начинает ходить, его почти не спускают с рук, не пытаются приучать его к какому-то распорядку, как-то ограничивать его порывы. От матери, бабушки, сестер, которые постоянно возятся с ним, он слышит лишь предостережения: «опасно», «грязно», «плохо». И эти три слова входят в его сознание как нечто однозначное.

Короче говоря, детей в Японии, с нашей точки зрения, неимоверно балуют. Можно сказать, им просто стараются не давать повода плакать. Им, особенно мальчикам, почти никогда ничего не запрещают. До школьных лет ребенок делает все, что ему заблагорассудится. Японцы умудряются совершенно не реагировать на плохое поведение детей, словно бы не замечая его. Пятилетний малыш, которому наскучило дожидаться мать в парикмахерской, может раскрыть банки с кремами, вымазать ими зеркало



ни мастер, ни сидящие рядом женщины, ни даже мать не скажут ему ни единого слова.

Воспитание японского ребенка начинается с приема, который можно было бы назвать угрозой отчуждения.

«Если ты будешь вести себя неподобающим образом, все станут над тобой смеяться, все отвернутся от тебя» — вот типичный пример родительских поучений. Боязнь быть осмеянным, униженным, отлученным от родни или общины с ранних лет западает в душу японца. Поскольку образ его жизни почти не оставляет места для каких-то личных дел, скрытых от окружающих, и поскольку даже характер японского дома таков, что человек все время живет на глазах других, — угроза отчуждения действует серьезно.

Школьные годы — это период, когда детская натура познает первые ограничения. В ребенке воспитывают осмотрительность: его приучают остерегаться положений, при которых он сам или кто-либо другой может «потерять лицо». Ребенок начинает подавлять в себе порывы, которые прежде выражал свободно, не потому, что видит теперь в них некое зло, а потому, что они становятся неподобающими.

Однако полная свобода, которой японец пользуется в раннем детстве, оставляет неизгладимый след в его характере. Именно воспоминания о беззаботных днях, когда было неведомо чувство стыда, и порождают взгляд на жизнь как на область ограничений и область послаблений. Именно поэтому японцы столь снисходительны к человеческим слабостям, будучи чрезвычайно требовательными к себе и другим в вопросах долга. Всякий раз, когда они сворачивают с главной жизненной колеи в «область послабления», свободную от жестких предписаний и норм, они как бы возвращаются к дням своего детства.



«Избегай излюбленных удовольствий, обращай к неприятным обязанностям» — это строка, завершавшая когда-то сто законов Иэясу Токугава¹, донныне живет как пословица. Сила воли, способность ради высшего долга отвернуться от наслаждений, которые вовсе не считаются злом, — вот что японцы почитают добродетелью.

При всем том, что японскому образу жизни присуще суровое подавление личных порывов, секс в этой стране никогда не осуждался ни религией, ни моралью. Японцы никогда не смотрели на секс как на некое зло, никогда не отождествляли его с грехом, не видели необходимости окружать его завесой тайны, скрывать от посторонних глаз, как нечто предосудительное.

Японец как бы разграничивает в своей жизни область, которая принадлежит семье и составляет круг его главных обязанностей, и развлечения на стороне — область тоже легальную, но второстепенную.

Жена японского служащего привыкла к тому, что видит мужа лишь два-три вечера в неделю. Хотя в Токио насчитывается около ста тысяч баров и обойти их все даже по разу заведомо невозможно, порой начинает казаться, что многие дельцы одержимы именно этой идеей. Жены безропотно терпят подобные отлучки. Существует выражение: «Вернуться домой на тройке». Оно весьма своеобразно ввело русское слово в японский обиход. Приведенная фраза означает, что пьяный глава семейства вваливается в дверь среди ночи, поддерживаемый под руки девицами из бара. Жена обязана в таком случае пригласить спутниц в дом, угостить их чаем, осведомиться, рассчитался



¹ Иэясу Токугава (1542–1676) — основатель третьей династии военных правителей Японии — сёгунов, которая находилась в власти с 1600 по 1867 год.

ли муж по счетам, и с благодарностью проводить их. Не забавы мужа на стороне, а проявление ревности жены — вот что в глазах японцев выглядит аморальным. (Терпимость к такого рода похождениям касается, впрочем, лишь женатых мужчин, но отнюдь не распространяется на замужних женщин.) При этом необходимо подчеркнуть, что восточные традиции многоженства не имели широкого распространения в Японии. Даже система наложниц, процветавшая в феодальном Китае, не оказалась в числе других привившихся оттуда заимствований.

(Хотя по законам Иэясу наложница допускалась как особая привилегия высшего сословия, вовсе запрещенная для простолюдинов, мораль в целом смотрела на это отрицательно.)

Итак, японская мораль весьма снисходительна к человеческим слабостям. Считая их чем-то естественным, она отводит им хотя и второстепенное, но вполне узаконенное место в жизни. Поскольку японцы не видят в людской натуре противоборства духа и плоти, им также не присуще смотреть на жизнь лишь как на столкновение добра и зла.

Западная цивилизация с детских сказок приучает людей к тому, что в конце концов всякое добро вознаграждается. Именно из-за отсутствия подобных концовок многие произведения японской литературы кажутся иностранцам незавершенными. Японцев же куда больше чем формула «порок наказан, добродетель вознаграждена» волнует в искусстве тема человека, который жертвует чем-то дорогим ради чего-то более важного. Поэтому излюбленный сюжет у них — столкновение долга признательности с долгом чести или верности государству с верностью семье. Счастливые концовки в таких случаях вовсе не обязательны, а трагические воспринимаются как светлые, ибо ут-



верждают силу воли людей, которые выполняют свой долг любой ценой.

Когда после капитуляции американцы конфисковали японские фильмы военных лет, представители оккупационных властей с удивлением отмечали, что им никогда не доводилось видеть более явной антивоенной пропаганды. Эти картины редко заканчивались чествованием победителей. Упор в них делался не на парадную сторону войны, а на ее тяготы: изнурительность маршей, окопную грязь, слепой случай, от которого зависит солдатская жизнь в бою. Они куда чаще показывали семьи, только что получившие с фронта весть о гибели кормильца, чем выздоровление раненых воинов. Это было полной противоположностью батальным лентам Голливуда. Но именно фильмы, превозносившие меру солдатского самопожертвования, лучше всего служили тогда интересам японских милитаристов. Создатели их хорошо знали это.

Итак, есть время, когда человек руководствуется обязанностями, когда над ним довлеют ограничения; и есть время, когда наступает черед удовольствий, когда можно свернуть в область послаблений. Но там, где эти две стороны жизни вступают в противоречие, выбор бывает лишь один: человек должен поступать не так, как ему хочется, а так, как в его положении надлежит.

Деление жизни на область ограничений и область послаблений, где действуют разные законы, объясняет присущую японцам склонность к «зигзагу». Народ этот на редкость непритязателен ко всему, что касается повседневных нужд, но может быть безудержно расточительным, когда речь идет о каких-то праздниках или торжественных случаях. Культ умеренности касается лишь будней.



разумно расчетливым в таких случаях, как, например, свадьба или похороны, так же аморально, как быть невоздержанным в повседневном быту.

Если для англичан краеугольным камнем морали служит понятие греха, то для японцев — понятие стыда. Христианская цивилизация Запада видела путь к совершенствованию человека в том, чтобы подавлять в нем плотские инстинкты и возвеличить духовное начало.

Что же касается японцев, то они и в своей этике всегда следовали тому же принципу, что и в эстетике — сохранять первородную сущность материала. Японская мораль не ставит целью переделать человека. Она стремится лишь обуздать его сетью правил подобающего поведения. Инстинктивные склонности и порывы остаются в неизменности, лишь связанные до поры до времени такою сетью. Именно этим объясняется двойственность и противоречивость японской природы.

Японцы употребляют крепкие напитки; многие из них, а особенно простой народ, даже любят их и часто по праздникам напиваются допьяна; но со всем тем склонность к сему пороку не столь велика между ними, как между многими европейскими народами; быть пьяным днем у них почитается величайшим бесчестьем даже между простолюдинами; и потому пристрастные к вину напиваются вечером, после всех работ и занятий, и притом пьют понемногу, разговаривая между собой дружески, а не так, как у нас простой народ делает: «Тяпнул вдруг, да и с ног долой».

Из пороков сластолюбие, кажется, сильнее всех властвует над японцами. Хотя они не могут иметь более одной законной жены, но вправе содер-



жать любовниц, и сим правом все люди с достатком не упускают пользоваться, часто даже чрез меру.

Записки капитана

В. М. Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах (Россия)

Японцы — загадка нашего века, это самый непостижимый, самый парадоксальный из народов. Вместе с их внешним окружением они столь живописны, театральны и артистичны, что временами кажутся нацией позеров; весь их мир — как бы сцена, на которой они играют. Легкомысленный, поверхностный, фантастический народ, думающий лишь о том, чтобы понравиться, произвести эффект. Здесь невозможны обобщения, ибо они столь различны и противоречивы, столь непохожи на все другие азиатские народы, что всякие аналогии отпадают. Это натуры самые чуткие, живые, артистичные и в то же время самые невозмутимые, тупые, примитивные; самые рассудочные, глубокие, совестливые и самые непрактичные, поверхностные, безразличные; самые сдержанные, молчаливые, чопорные и самые эксцентричные, болтливые, игривые. В то время как история объявляет их агрессивными, жестокими, мстительными, опыт показывает их покладистыми, добрыми, мягкими. В те самые времена, когда складывалась изысканная утонченность чайного обряда, они проявляли ни с чем не сравнимую жестокость. Те самые люди, которые провели половину жизни в отрешенном созерцании, в сочинении стихов и в наслаждении искусством, посвятили другую половину разрубанию своих врагов на куски и любованию обрядом *харакири*.





КРАСНОРЕЧИЕ БЕЗ СЛОВ

Помните детскую игру: «да» и «нет» не говорите?

Прежде чем ехать в Японию, весьма полезно потренироваться в ней. Казалось бы, знакомство с любым языком начинается со слов «да» и «нет», как самых простых и ходовых. Оказывается, однако, освоить слова «да» и «нет» в японском языке отнюдь не такое легкое дело. Слово «да» каверзно тем, что вовсе не всегда означает «да». А слова «нет» надо остерегаться еще больше, потому что его положено обходить стороной, как в упомянутой выше игре.

Узнать и запомнить первое из этих двух ключевых слов легче всего. Достаточно хоть раз оказаться рядом с японцем, который разговаривает по телефону. Непрерывно кивая головой невидимому собеседнику на другом конце провода, он без конца твердит: «хай», «хай», «хай».

Нетрудно запомнить, что «хай» по-японски значит «да». Но еще легче убедиться, что слово это в устах японца далеко не всегда означает утверждение.

К примеру, вы остановились в японской гостинице. И наутро вместо традиционного завтрака — сушеных водорослей, риса и супа из перебродившей бобовой пасты с мелкими раковинами — попросили сварить вам пару яиц. На все это вам ответили «хай» и вскоре действительно принесли яйца, хлеб и чай. Но тут выясняется, что яйца нечем посолить. Вы просите по телефону принести вам соли, на что снизу бодро отвечают «хай».



Проходит пять, десять, тридцать минут. Вы спускаетесь вниз, пытаетесь выяснить, в чем дело, и после долгих расспросов понимаете, что соль не появилась, ибо ее вовсе не было, да и не могло быть в японской гостинице (вместо того чтобы солить кушанья, японцы добавляют к ним по вкусу соевый соус). Никто не хотел «терять лицо», объясняя иностранцу такие сложности. А когда вам говорили «хай», имели в виду совсем другое. Слово это гораздо чаще, чем «да», означает «слышу», «понял». Пожалуй, ближе всего соответствует ему флотское «есть», происшедшее от английского слова «иес». Японец, который на каждую фразу откликается словом «хай», отнюдь не всегда выражает согласие с вашими словами, а просто говорит: «Так, так, продолжайте, я вас слышу».

Еще больше сложностей таит в себе слово «нет». Начать с бесчисленных казусов, которые происходят на чисто грамматической почве, потому что двойное отрицание, весьма обиходное в русском языке, совершенно невозможно в японском.

Вы возвращаетесь домой и спрашиваете переводчика:

— Мне никто не звонил?

— Да, — отвечает он.

— Кто же?

— Никто. В разговорах люди всячески избегают слов «нет», «не могу», «не знаю», словно это какие-то ругательства, нечто такое, что никак нельзя высказать прямо, а только иносказательно, обиняком.

Даже отказываясь от второй чашки чая, гость вместо «нет, спасибо» употребляет выражение, дословно означающее: «мне уже и так прекрасно».

Чтобы избежать запретного слова «нет», японцы рассылают приглашения в гости, прилагая к ним открытку с обратным

158 адресом. На ней следует подчеркнуть



или слово «благодарю» или слово «сожалею» и вновь бросить такую открытку в почтовый ящик.

Бывает, вы звоните японцу и говорите, что хотели бы встретиться с ним в шесть вечера в пресс-клубе. Если он в ответ начнет переспрашивать: «Ах, в шесть? Ах, в пресс-клубе?» — и произносить какие-то ничего не значащие слова, следует тут же сказать: «Впрочем, если вам это неудобно, можно побеседовать в другое время и в другом месте». И вот тут собеседник вместо «нет» с превеликой радостью скажет «да» и ухватится за первое же предложение, которое ему подходит.

Свой обычай во что бы то ни стало избегать слова «нет» японцы распространяют и на область деловых отношений. Это выводит из себя американцев с их представлением о деловитости как о прямоте, откровенности и категоричности.

Представим себе, что американский торговец обувью прибывает в Японию, желая заказать партию сандалет. Он выясняет, кто именно является ведущим производителем данного товара, и вступает с ним в контакт. Перво-наперво он излагает свои рекомендации о том, как приспособить эти сандалеты к запросам американского потребителя. Скажем, увеличить максимальный мужской размер с 38-го до 44-го или сделать так, чтобы ремешки не продавались между пальцами, как у японцев, а крепились каким-нибудь другим способом. Производитель сандалет имеет вполне достаточный внутренний рынок, и ему нет никакого расчета менять технологию ради экспортного заказа. Но напрямик ответить на предложение словом «нет» у японца не поворачивается язык. Он считает нужным проявить видимость интереса к заявке из-за океана и от имени своей фирмы приглашает американца по-развлечься.



Сначала гостя потчуют обедом в самом дорогом ресторане, потом обходят с ним два-три кабаре и завершают кутеж в японской гостинице с большим количеством псевдогейш. Щедрость представительских затрат убеждает американского импортера, что японская фирма весьма заинтересована в сделке с ним, и он на другой же день приступает к деловым переговорам. Обувщик убежден, что братья за заказ не будут, но предпочитает, чтобы американец догадался об этом сам.

Японец учтиво выслушивает пожелания, но, как только американец уходит из конторы, разом забывает о нем и списывает расходы за предыдущий вечер как издержки производства.

Когда иностранный заказчик напоминает о себе, его просят подождать пару дней и тут же снова о нем забывают. Если импортер звонит опять, ему сочиняют небылицу, будто на фирме произошла забастовка или какое-нибудь стихийное бедствие. Если американец даже после этого не понимает, что к чему, и не отвязывается, его успокаивают, что фабричные образцы товара только что отправлены ему с курьером. Бесплодно прождав их до вечера, он узнает, что посыльный попал в автомобильную катастрофу, образцы сгорели вместе с машиной и придется повременить еще неделю, пока изготовят новые.

Покупатель в конце концов теряет терпение и улетает в Гонконг, чтобы совершить свою сделку там. А ведущий японский производитель сандалет блистательно завершает, таким образом, сложные переговоры, отказавшись от заказа без произнесения слова «нет».

Вежливость японцев подобна смиренной рубашке, стесняющей словесное общение между людьми.

Если не считать хайку — пожалуй, самой сжатой и емкой поэтической



формы в мире, — японцы отнюдь не кратки в выражении своих мыслей. Там, где вполне можно обойтись одним словом, они обрушивают на собеседника целые каскады ничего не значащих фраз. Каждое предложение нарезается на тоненькие ломтики и сдабривается огромным количеством приправы из вводных вежливых оборотов.

Умение ясно, четко, а тем более прямолинейно выражать свои мысли несовместимо с японским представлением об учтивости. Смысл фраз преднамеренно затуманивается оговорками, в которых заложены неопределенность, сомнение в правоте сказанного, готовность согласиться с возражениями. Японцев из поколения в поколение приучали говорить обиняками, чтобы уклоняться от открытого столкновения мнений, избегать прямых утверждений, способных задеть чье-либо самолюбие. Этими канонами разговорной этики японцы во многом напоминают англичан.

Японский образ жизни считает язык отнюдь не единственным и даже не лучшим средством общения. «Молчание красноречивее слов» — гласит излюбленная пословица. Действительно, добровольный отказ от откровенной беседы привел к тому, что у японцев, словно осязание у слепых, обострилась интуиция. Они научились во многих случаях понимать друг друга без слов.

Что же касается самого языка, то он в большей степени, чем у других народов, обрел ритуальные функции, роль словесной смазки для механизма человеческих взаимоотношений.

*В обхождении японцы всякого состояния
чрезвычайно учтивы: вежливость, с какою
они обращаются между собой, показывает
истинное просвещение сего народа.
Мы жили с японцами, которые были не
из лучшего состояния, но никогда не*



видали, чтоб они бранились или ссорились между собой. Горячо спорить почитается у японцев за великую неблагопристойность и грубость; мнения свои они всегда предлагают учтивым образом со многими извинениями и со знаками недоверчивости к своим собственным суждениям, а возражений никогда ни на что открыто не делают, но всегда обиняками и по большей части примерами и сравнениями.

Записки капитана В. М. Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах (Россия)

Японцы, даже мои друзья, не говорят — «нет», этого не допускают их традиции, и когда надо сказать — нет, они не понимают и не слышат меня.

Борис Пильняк (Россия).

Корни японского солнца. 1927

На Западе люди либо говорят вам правду, либо лгут. Японцы же почти никогда не лгут, однако им никогда не придет в голову говорить вам правду.

Боб Данхэм (США).

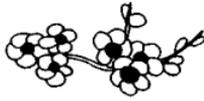
Искусство быть японцем. 1964

Японцы довели свой язык до уровня абстрактного искусства. Им не нравятся поэтому неуклюжие иностранцы, которые добиваются от них разъяснений и уточнений, хотя докопаться до сути дела, пока не вскрыют его до конца. Японец же считает, что не беда, если мысли не высказаны или если слова не переведены. Нюансы этикета для него куда важнее тонкостей синтаксиса или грамматики. Вежливость речи ценится выше ее доходчивости. И неудивительно, что высшим средством общения становится, таким образом, молчание.



Бернард Рудофски (США).

Мир кимоно. 1966



КУЛЬТ ПОКЛОНОВ И ИЗВИНЕНИЙ

Если сравнивать разные народы или разные эпохи по их приверженности этикету, то меркой здесь может служить энергия, которую люди затрачивают на взаимные приветствия. На Западе, например, после Средних веков показатель этот неуклонно уменьшается. Были времена, когда людям приходилось совершать при встрече чуть ли не целый ритуальный танец. Потом от церемоннейшего поклона с расшаркиванием остался лишь обычай обнажать голову, который, в свою очередь, свелся до условного прикосновения рукой к шляпе и, наконец, просто до кивка.

Неудивительно, что на подобном фоне учтивость японцев выглядит как экзотика. Легкий кивок, который остался в нашем быту единственным напоминанием о давно отживших поклонах, в Японии как бы заменяет собой знаки препинания. Собеседники то и дело кивают друг другу, даже когда разговаривают по телефону.

Встретив знакомого, японец способен замереть, согнувшись пополам, даже посреди улицы. Но еще больше поражает приезжего поклон, которым его встречают в японской семье. Хозяйка опускается на колени, кладет руки на пол перед собой и затем прижимается к ним лбом, то есть буквально простирается ниц перед гостем. После того как посетитель снял обувь и усел-



ся на татами, хозяин помещается напротив и ведет беседу, хозяйка молчаливо выполняет роль служанки, а все остальные члены семьи в знак почтения вообще не показываются на глаза.

Правила поведения в японском жилище слишком сложны, чтобы их можно было освоить сразу. Главное поначалу — ни на что не наступать, ни через что не перешагивать и садиться, где укажут. Существуют предписанные позы для сидения на татами. Самая церемонная из них — опустившись на колени, усесться на собственные пятки. В таком же положении совершаются поклоны. Надо лишь иметь в виду, что кланяться, сидя на подушке, неучтиво — сначала надо переместиться на пол. Бывает, что в комнате беседует десять человек. Но стоит появиться одиннадцатому, как все они, словно крабы с камней, тут же сползают с подушек.

Сидеть скрестив ноги считается у японцев развязной позой, а вытягивать их в сторону собеседника — верх неприличия. Поэтому провести в японской комнате несколько часов для иностранца с непривычки такое мучение. У него тут же затекают ноги, начинает ломить поясницу, появляется желание привалиться к стене или лечь.

Домашний очаг по-прежнему остается у японцев заповедником старого этикета. Каждого, кто уходит из дому или возвращается, принято хором приветствовать возгласами «Счастливого пути!» или «Добро пожаловать!». Мне часто приходилось видеть, как японцы встречают в Токийском аэропорту родственников, возвращающихся из далеких зарубежных поездок. Когда муж сходит с самолета, жена приветствует главу семьи глубоким поклоном. Он отвечает сдержанным кивком, гладит по голове сына и почтительно склоняется перед родителями, если те благоволили его встречать.



Мы привыкли подчас больше следить за своим поведением среди посторонних, чем в кругу семьи. Японец же за домашним столом ведет себя куда церемоннее, чем в гостях или в ресторане.

Он преспокойно раздевается до нижнего белья перед незнакомцами в поезде, но, если кто-то из родственников придет к нему домой с визитом, он станет поспешно одеваться, чтобы принять его в подобающем виде.

Иностранца, пожалуй, в равной степени поражают как церемонность японцев в домашней обстановке, так и их бесцеремонность в общественных местах. На туриста, который разгуливает в шлепанцах по своей комнате в японской гостинице, смотрят с изумлением и ужасом, как мы глядели бы на человека, шагающего в ботинках по постели. Однако японец просто не представляет себе, что помещение, где не нужно разуваться, может быть чистым.

Изнанка японской учтивости и японской чистоплотности порождена все той же двойственностью взглядов на жизнь. Японская вежливость — это отнюдь не верность определенным нравственным принципам уважения к окружающим. Эта норма подобающего поведения, внедренная в быт острием меча. Она сложилась на основе феодального этикета, нарушение которого считалось тягчайшим преступлением. Черты этой древней дисциплины доныне видны в поведении японцев.

Отношения по вертикали — между повелителем и подданным, между отцом и сыном, между старшим и младшим — были четко определены, и мельчайшие детали их общеизвестны. Однако японская мораль почти не касалась того, как должен вести себя человек по отношению к людям незнакомым, что на Западе считается одной из основ подобающего поведения.



Быть учтивым — значит не только скрывать свое душевное состояние, но порой даже выражать прямо противоположные чувства. Японский этикет считает невежливым перелagать бремя собственных забот на собеседника или выказывать избыток радости, тогда как другой человек может быть в данный момент чем-нибудь расстроен.

Если фразу «у меня серьезно заболела жена» японец произносит с улыбкой, дело тут не в каких-то загадках восточной души. Он просто хочет подчеркнуть, что его личные горести не должны беспокоить окружающих. Обуздывать, подавлять свои эмоции ради учтивости японцы считают логичным. Но именно эта черта чаще всего навлекает на них подозрение в коварстве.

В Токио мне часто приходилось слышать, как то иностранные, то японские коммерсанты сетовали на недостаток искренности друг у друга, однако каждый по-своему. Если обычно под этим словом понимается честность и прямота, отсутствие притворства или обмана, то для японца быть искренним — значит всей душой стремиться к тому, чтобы никто из партнеров не «потерял лица». Это, стало быть, не столько правдивость, сколько осмотрительность и тактичность.

Лишь прожив в стране несколько лет; начинаешь понимать, что японская вежливость — это не низкие поклоны, которые выглядят весьма нелепо в современной уличной толпе или на перроне метро, и не обычай начинать разговор с множества ничего не значащих фраз. Японская вежливость — это прежде всего стремление людей при любых контактах блюсти достоинство друг друга; это искусство избегать ситуаций, способных кого-либо унижить.



Раз мораль требует от человека хранить свою репутацию незапятнанной

и мстить за нанесенные оскорбления, он, по логике японцев, должен всячески остерегаться случаев, когда в этом может возникнуть необходимость.

Наш этикет начинается с изучения того, как предлагать человеку веер, и заканчивается правильными жестами для совершения самоубийства.

Какудзо Оакура (Япония).

Книга о чае. 1906

Японцы по праву славятся чистоплотным народом, о чем свидетельствует их привычка ежедневно мыться в бане, содержать полы в безукоризненной чистоте. Но чистоплотность эта резко обрывается за порогом их жилищ, за пределами непосредственно окружающей их среды.

Итиро Кавасаки (Япония).

Япония без маски. 1969

Японцы вовсе не ожидают от иностранца, что он будет вести себя в соответствии с их правилами. Однако даже предоставленный самому себе, он скоро почувствует, что ослепительная улыбка, атлетическое рукопожатие или проникновенный голос, которые делали его неотразимым дома, в Японии отнюдь не приносят ему лавров. Что станет он делать, когда, придя с визитом в японский дом, он увидит перед собой прекрасно одетую женщину, распростершуюся у его ног? Поскольку ее колленопреклоненная поза не позволяет ей смотреть вверх, улыбка гостя останется незамеченной. Ладони японки касаются пола, так что его протянутую руку никто не пожимает. Как же должен иностранец, спрашивает он себя, поступать в такой ситуации? Должен ли он принять этот чрезвычайный знак почтения? А если да, то



как? Ведь не тем, чтобы наступить ногой на ее шею! Должен ли он отвергнуть это архаическое приветствие, встать на колени и нежно поднять женщину с пола? А если да, то что сделать потом: надеть ли ее своими приветствиями, улыбкой и рукопожатием? Во всяком случае, ясно, что при первом же столкновении с японским этикетом его неуклюжесть была очевидной. Причем отчаянность положения усугубляется неразрешимой загадкой: кто эта женщина — служанка или хозяйка дома?

Бернард Рудофски (США).

Мир кимоно. 1966





ДАВКА У ЭСКАЛАТОРА

Японская мораль возводит в число добродетелей не только труд, но и учение. Считается, что усердный поиск новых знаний и навыков возвышает и украшает человека в любом возрасте. Со школьных лет у японцев воспитывают привычку к групповому учению. Оно рассматривается как один из видов общественной деятельности, которую желательно продолжать всю жизнь. При приеме на работу или новом назначении японец морально подготовлен к длительному периоду ученичества. Он старательно следует наказам, усердно перенимает опыт, пока сам не становится наставником для других. «Учить других всегда почетно, учиться у других — никогда не зазорно» — гласит распространенное изречение.

Как утверждает американский публицист Фрэнк Гибней, Япония располагает после России наиболее эффективной и массовой системой народного просвещения. Практически все японские дети оканчивают полную среднюю школу из двенадцати классов, тогда как и 50-х годах половина из них ограничивалась обязательным девятилетним образованием.

Если после войны лишь 10 процентов школьников стремились попасть в университеты и колледжи, то теперь студентами хочет стать почти половина выпускников. В Японии больше университетов, чем во всей Западной Европе. В стране насчитывается более двух миллионов студентов высших и средних специальных



учебных заведений. (В Англии, население которой составляет половину японского, цифра эта в четыре раза ниже.)

...Когда японский универмаг объявляет большую сезонную распродажу, толпа покупателей собирается перед ним еще до открытия. Едва распахиваются стеклянные двери, как люди, толкая друг друга, устремляются к эскалаторам. У входа на каждый из них, а особенно на тот, что поднимает на верхний этаж, происходит ожесточенная давка. Задние нещадно напирают на передних, все теснятся, расталкивают друг друга.

Но эта яростная схватка кончается на первой же ступеньке эскалатора. Азарт сменяется философской созерцательностью. Неподвижные фигуры с невозмутимыми лицами уплывают вверх. И лишь неприязненное удивление вызывает у японцев нетерпеливец, вздумавший идти, а тем более бежать по эскалатору, который и так без лишних усилий доставит на нужный этаж.

Для японского образа жизни давка у эскалатора — очень характерная, можно сказать, символическая сцена. Чуть ли не с детских лет японец ведет отчаянную схватку со своими сверстниками. Но если ему удалось пробиться сквозь толпу и оказаться в числе счастливцев, нанятых «солидными» фирмами, соперничество на этом обрывается. Последующий жизненный путь японцы уподобляют эскалатору, то есть равномерному подъему, при котором каждый остается на своей ступеньке и сохраняет подобающее ему место.

При японской системе найма скорость продвижения по службе определяется уровнем образования и выслугой лет.

Так что молодежь после школы или после вуза оказывается как бы перед

170 различными эскалаторами, которые



движутся с неодинаковой скоростью и поднимают на разные этажи.

Как и в других странах, система образования служит в Японии механизмом для воспроизводства элиты общества. Дело не только в том, что карьера японца практически предопределяется тем, начал ли он свой трудовой путь с высшим или средним образованием (что уже само по себе сулит совершенно разные жизненные орбиты).

Ключом к успешной карьере служит не диплом сам по себе. Огромную роль играет, какой именно университет человек окончил. Резкая грань между средним и высшим образованием дополняется, стало быть, неофициальной, но общепризнанной градацией между однородными учебными заведениями.

Перворазрядные коммерческие фирмы и государственные учреждения предпочитают пополнять свой персонал выпускниками перворазрядных университетов. А они, как уже говорилось, пользуются в Японии неоспоримым преимуществом перед обладателями других дипломов.

Питомником правящей элиты считается Токийский университет. Его выпускники — главные кандидаты на ключевые посты в стране. Они составляют 80 процентов высокопоставленных чиновников, 40 процентов ведущих бизнесменов. В деловом мире много людей, закончивших университет Кэйо, среди политических деятелей — воспитанников университета Васэда.

Ранг учебного заведения предопределяет и угол восхождения человека по служебной лестнице, и уровень его личных связей на всю остальную жизнь. Так что дети именитых родителей предпочитают сдавать экзамены, скажем, в Токийский университет по три, пять раз, чем идти во второразрядный вуз, так как после



него они оказались бы на эскалаторе, который вовсе не доходит до верхних этажей. Тут и коренятся причины так называемого «экзаменационного ада». Чуть ли не с младенческого возраста японцу приходится вступать в отчаянное соперничество со своими сверстниками. Дело в том, что определенные преимущества при поступлении в перворазрядные вузы дают перворазрядные средние школы или гимназии. Но чтобы попасть в них, надо тоже пройти трудный курс.

Так, расходясь кругами, экзаменационная лихорадка докатилась и до начальных школ, а затем и до детских садов, где тоже выявились более предпочтительные. Возникли дошкольные учреждения, предназначенные готовить к состязанию со сверстниками детей в возрасте от пяти лет до одного года. А на подобном фоне закономерно пошли разговоры о развитии интеллекта младенца в утробе матери.

Многоступенчатая лестница конкурсных экзаменов породила разветвленную сеть репетиторства в виде платных подготовительных курсов или частных уроков. Эта теневая система народного образования получила название «дзюку» и стала большим бизнесом. Разного рода дополнительные занятия посещают не только 80 процентов учащихся 10–12 классов, которые готовятся к вузовским конкурсам, но и 60 процентов учащихся 1–9 классов, желающих поступить в лучшие гимназии.

Средняя японская семья тратит на образование детей (преимущественно на репетиторство) четверть своего бюджета, или немногим меньше, чем на питание. Так что сравнительно невысокие расходы на народное образование, которыми Япония выделяется среди стран «большой восьмерки», щедро дополняются за счет родительских сбережений.



Не говоря уже о финансовом бремени для семейных бюджетов, система «дзюку» создает непосильную физическую нагрузку на детей. Они находятся в школе с 8 утра до 3 дня, с 6 до 9 вечера занимаются «дзюку», а потом до полуночи выполняют домашние задания как для школьных учителей, так и для репетиторов.

Огромных затрат требует не только подготовка к экзаменам, но и само обучение, особенно в частных вузах. Ведь быть принятым — значит получить право посещать лекции и сдавать экзамены. А уж где жить, на что питаться — об этом студент должен заботиться сам. Одно из самых ходких в университетской среде слово «арбайто», занесенное из немецкого языка в предвоенные времена, означает не работу вообще, а именно приработок на стороне, без которого не мыслится студенческая жизнь.

Для абсолютного большинства японской молодежи учиться — значит одновременно подрабатывать себе на жизнь. Различие может быть лишь в том, что для одних «арбайто» — это дополнение к помощи родителей, а для других — единственный источник средств к существованию.

Высшее образование в Японии стоит дорого. И хотя цена его продолжает расти, тяга к университетскому диплому не ослабевает. Ведь это — единственный канал социальной мобильности, единственный шанс подняться вверх по общественной лестнице.

Люди одного возраста, ровесники, знающие друг друга со студенческой скамьи, по существу, поднимаются по ступеням своей карьеры плечом к плечу. Узнав, когда и какое учебное заведение человек кончал, где он работает, японец легко определяет и его нынешнее служебное положение, и его зарплату, и его перспективы.



В крупных частных корпорациях и государственных учреждениях часто создаются клубы одногодков, то есть людей, принятых на работу одновременно. Все они ревниво следят за «равнением в шеренге». Выдвижение одних дает основание другим претендовать на то же самое. Возможности для этого, однако, сужаются с каждой ступенью. И как только кто-то из данного поколения получает ранг заместителя министра или члена совета директоров, всем его ровесникам по неписаной традиции надлежит подавать в отставку. Как правило, это происходит в возрасте 55 лет. Но отставка высокопоставленных сотрудников чаще всего означает не уход на покой, а «сошествие с небес» или «парашютирование» на другую должность.

Государственные служащие «парашютируются» в частные корпорации, связанные по роду своей деятельности с данным министерством. Такая практика укрепляет узы между правительственным аппаратом и деловым миром. Ведущие фирмы стремятся заинтересовать чиновников, с которыми они имеют дело, перспективой получения теплых местечек на склоне лет. (Обычно это посты консультантов с большими окладами и с необременительными обязанностями «поддерживать контакт» с бывшими коллегами в министерстве.) Частные компании направляют своих отставников в дочерние фирмы, причем обе стороны видят в этом выгоду для себя.

Японцы не случайно стремятся чуть ли не до конца дней поддерживать связи со своими бывшими одноклассниками по школе или вузу.

По воскресным дням в ресторанах красуются объявления инициативных групп о банкетах соучеников такого-то выпуска.

Бывших однокурсников объединяет отнюдь не только воспоминание о студенческих временах. Даже те из них,



которые, по японским представлениям, начали карьеру наиболее удачно, то есть попали в «перво-разрядные» министерства, заинтересованы общаться со своими сверстниками в частных корпорациях и в парламенте, по возможности оказывать им услуги. Ведь государственная служба ценится не только сама по себе, но и как удобный трамплин для прыжка («парашютирования») на командные высоты в деловом и политическом мире.

Личные отношения, основанные на личном знакомстве, играют у японцев не менее важную роль, чем официальные связи. Если чиновнику из министерства финансов нужно решить какой-то вопрос в министерстве иностранных дел, он перво-наперво обратится в чужом ведомстве к кому-то из своих знакомых (пусть даже вовсе не имеющему отношения к подобным проблемам), чтобы через него быть представленным нужному лицу. Такая личная рекомендация служит своего рода привязкой к уже существующим отношениям.

«Эскалаторная» система продвижения по старшинству практически исключает возможности для какой-то головокружительной карьеры. Так что каждое поколение бывших одноклассников достигает ведущих постов в государственном аппарате, деловом мире или политической жизни примерно в одно и то же время, имея за плечами 25–30 лет личного знакомства и связей. Здесь, видимо, коренится одна из причин взаимного доверия и тесного взаимодействия трех полюсов японской элиты — чиновников, дельцов и политиков.

Соотношение этих трех сил иногда сравнивают с японской игрой в камень, ножницы и бумагу. Каждый ее участник одновременно с другими выбрасывает вперед правую руку: или сжатую в кулак (что символизирует камень),



или с двумя вытянутыми пальцами (ножницы), или с распрямленной ладонью (бумага). Считается, что бумага сильнее камня, который она может обернуть. Камень сильнее ножниц, которые он может сломать. Ножницы сильнее бумаги, которую они могут разрезать. Стало быть, любой из трех предметов способен одерживать верх в зависимости от сочетания, в каком он окажется.

При всех противоречиях, неизбежно возникающих в Японии между тремя полюсами власти — чиновниками, дельцами и политиками, — они находят способы «ублажать» друг друга и потому взаимодействуют как пружины некоего единого механизма. По выражению историка Титоси Янага, японская политика — это спектакль, который сообщество ставят дельцы, политики и чиновники. Большой бизнес дает сюжет пьесы и деньги на ее постановку. Партия парламентского большинства разрабатывает сценарий и подбирает актеров. Государственному аппарату остается роль режиссера-постановщика и администратора.

Что касается до народного просвещения в Японии, то, сравнивая массою один целый народ с другим, японцы, по моему мнению, суть самый просвещенный народ во всей подсолнечной. В Японии нет человека, который бы не умел читать и писать.

Записки капитана В. М. Головина в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах (Россия)



Европейская глубина, американский размах, японское усердие — вот слова, характеризующие образование в Японии, стране, которая обладает одной из наиболее передовых и действенных школьных систем. Немногие народы обладают такой верой в учение; немногие народы

столь убеждены, что благосостояние проистекает от знаний.

Практически все японские дети получают полное среднее образование; каждый второй из них идет в колледж. Эти цифры превосходят показатели любой западноевропейской страны. Британия, которая проявляет беспокойство по поводу «японской экспансии», лучше бы поразмыслила над тем фактом, что в Японии становятся студентами вчетверо больше выпускников школ, чем в Соединенном Королевстве. Япония похитила у Англии первенство в судостроении отчасти потому, что ее верфи ежегодно получают 300 дипломированных инженеров, тогда как английские — 20.

Уильям Форбис (США).
Япония сегодня. 1975





НАНЯТЫ ПОЖИЗНЕННО

...Четыреста человек сидят в актовом зале. В напряженной тишине звучит приветственная речь заведующего отделом кадров, для особой торжественности облаченного во фрак.

— Добро пожаловать в «Хитати»! — провозглашает он. — Деятельность нашей фирмы охватывает всю Японию. Ее продукцию можно увидеть во всем мире. Запомните наш девиз: «Преданность, сотрудничество, усердие».

Слово «преданность» означает, что каждому из вас надлежит считать служение фирме смыслом своей жизни. Слово «сотрудничество» означает, что вам следует осознать себя членами одной семьи, думать и действовать сообща, ничем не пытаться выделяться среди других. Слово «усердие» означает, что вы должны отдавать свои силы и знания фирме, не думая о вознаграждении...

После этого приветствия из первого ряда встанет юноша и, развернув длинный белый свиток, декламирует ответную речь от имени новичков. Затем все снимаются на память. Таков этот незабываемый день — более важный, чем свадьба; день, когда каждый из этих юношей как бы сочетается супружескими узами с фирмой, которой впредь должен быть верен всю жизнь...

Каждую весну, едва состоится выпуск в средних школах и вузах, по всей Японии проходят такие церемонии, напоминающие приведение к военной присяге



новобранцев очередного призыва. Предприятия и учреждения принимают этих новичков не для заполнения каких-то конкретных вакансий, а как бы впрок; по такому же принципу, как армия ежегодно пополняется призывниками, которых еще предстоит обучать и распределять по частям и подразделениям.

Зато для молодежи это самый драматичный момент в жизни. Ведь от первого трудоустройства зависит, удастся ли им попасть в категорию штатных сотрудников. Эти своеобразные черты связаны с традиционной для Японии системой пожизненного найма.

Японский труженик приходит к нанимателю, чтобы установить с ним отношения, очень похожие на пожизненный брачный контракт. Важность подобного шага в человеческой судьбе действительно сравнима только со свадьбой, с выбором спутника жизни, ибо сменить работу значит для японца примерно то же, что сменить жену. Даже если это и случается, то лишь как исключение, причем нежелательное.

При найме на работу японец думает не столько о зарплате, сколько о положении и престиже фирмы, с которой он связывает судьбу. Ведь жизненная орбита человека определяется в японских условиях прежде всего тем, с какой точки он ее начнет. Параллель между системой пожизненного найма и супружескими узами — не только литературный образ. Японские предприниматели действительно имитируют на фирме дух и традиции патриархальной семьи («из»), воссоздают атмосферу семейных отношений, стержнем которых служит долг признательности («оя—ко»).

Наем по рекомендации в основе своей подобен брачному контракту между



двумя «из», где одна сторона соглашается принять в состав семьи нового человека, полностью берет на себя заботу о нем, а другая поручается за его качества. Рекомендатель, в роли которого чаще всего выступает сотрудник той же фирмы, становится покровителем новичка и одновременно берет на себя моральную ответственность за его поведение.

Оговоримся сразу, что система пожизненного найма существует лишь на крупных предприятиях, то есть охватывает примерно пятую часть рабочей силы. Но само ее существование свидетельствует, что, наряду с погоней за всем ультрасовременным в области техники и технологии, японский предприниматель старается культивировать на фирме дух патриархальной общины. Система заработной платы и продвижение по службе построены так, чтобы накрепко связать судьбу человека с его первым нанимателем.

Буфером, который принимает на себя удары в случае кризиса, служат временные и поденные рабочие. Эта категория трудящихся образует в Японии как бы низшую касту. Никто не гарантирует этим людям стабильной занятости — их нанимают и рассчитывают когда угодно. Им не дают надбавок за стаж, их стараются не допускать в профсоюз. Да и тружеников крупных современных предприятий система пожизненного найма лишает возможности свободно менять место работы. На того, кто вздумал уйти из одной фирмы, чтобы наняться на другую, привыкли смотреть косо.



Система пожизненного найма привела к тому, что в Японии до недавних пор не было свободного рынка труда в подлинном смысле этого слова. Труженик был вынужден мириться с тем, что на протяжении первых пятнадцати—двадцати лет работы 180 ему явно недоплачивали. При этом его

убеждали, что у молодого человека, дескать, и потребностей меньше. Зато, мол, потом, когда деньги будут ему гораздо нужнее, в течение последних 10–15 лет стажа зарплата его будет превышать фактическую производительность.

При такой системе японским предпринимателям выгодно, чтобы большую часть персонала составляла молодежь, к чему они и стремятся.

К тому же армия наемного труда в Японии на две пятых состоит из женщин. Многие из них состоят в штатах предприятий лишь до замужества. Если через несколько лет после свадьбы они и возвращаются на производство, то чаще на временную или поденную работу. С другой стороны, наниматель может не тревожиться, что ценных для фирмы специалистов переманят конкуренты. Американский инвестор вдруг обнаруживает, что японцы не хотят переходить к нему даже на удвоенную зарплату, ибо он не может обеспечить им то, что дает японская фирма, то есть гарантию пожизненной занятости, ежегодное повышение зарплаты за стаж. Рабочая сила в Японии менее подвижна, чем в США или Англии в смысле перемещения ее между компаниями. Зато западные фирмы уступают японским в смысле внутренней подвижности персонала. Японские профсоюзы в отличие от английских объединяют трудящихся не по профессиям, а по предприятиям. Это позволяет администрации маневрировать рабочей силой без каких-либо ограничений, в то время как в Англии профсоюз электриков, например, не разрешил бы использовать этих людей на каких-то других работах.

Гибкое использование рабочих рук, обладающих разносторонней квалификацией, помогает крупным фирмам сносить перепады экономической конъюнктуры. Порой удивляешься: отчего



японские предприниматели избегают полной специализации производства, предпочитают заниматься «всем понемногу»? Зачем, скажем, судостроительному концерну иметь также производственные мощности, выпускающие оборудование для заводов химических удобрений? А дело в том, что в эти цехи легко перебросить людей с верфей, если на суда не поступит заказов. Чтобы пережить трудные времена, японская компания может приостановить набор молодежи и уже за счет убыли старшего поколения сократить свои штаты. Она может также воздержаться от передачи субподрядчикам каких-то производственных операций и поручить их выполнение штатным рабочим. Наконец, система пожизненного найма сводит к минимуму текучесть рабочей силы. Она способствует сохранению на предприятиях не только духа патриархальной семейственности, выгодного нанимателю, но и атмосферы терпимости, взаимной доброжелательности. Японцы шутят, что на сослуживцев надо смотреть как на родственников собственной жены: нравятся они или нет — никуда от них не денешься. А раз суждено оставаться в одном коллективе всю трудовую жизнь, нельзя забывать, что испортить отношения с человеком легче, чем снова их наладить.

В последнее время система пожизненного найма в Японии неуклонно сжимается, подобно шагреневой коже. Это обусловлено многими причинами. Во-первых, на рынок труда сократился приток молодежи с неполным средним образованием. Эти

пятнадцатилетние юноши и девушки были достаточно грамотны для производственного обучения, а с другой стороны — являли собой наиболее дешевую рабочую силу.

Но поскольку большинство школьников учится теперь до двенадцатого класса, а



школ стремится продолжать образование в вузах, у предпринимателей сузились возможности для омолаживания рабочей силы. К тому же в города почти истощился приток сельской молодежи, которая в 50–70-х годах соглашалась на низкую зарплату, мирилась с плохими условиями жизни, считая, что крестьянский труд и быт еще более тяжелы. Во-вторых, японским предпринимателям приходится все больше сталкиваться с последствиями общего старения рабочей силы.

С ростом продолжительности жизни штат японских предприятий заметно «поседел»: более трети его составляют теперь люди в возрасте 45–60 лет. А поскольку совершенствование технологии ведет к упрощению трудовых операций, предприниматели ищут способы избавиться от пожилых рабочих, чья квалификация становится для них менее ценной. Многие фирмы предлагают людям добровольно уходить в отставку уже в 45 лет, откупаясь от них выходным пособием. Теоретически в таком возрасте еще можно начать трудовую карьеру заново. Но практически перспективы для этого невелики.

Правда, все больше японских компаний нынче не ограничиваются весенним наймом, похожим на ежегодный призыв в армию, а приглашают нужных им людей для заполнения конкретных вакансий, причем предпочитают нанимать специалистов не пожизненно, а по контракту, как это принято в США и Западной Европе. Параллельно вносятся коррективы в традиционную систему зарплаты: уменьшаются надбавки за стаж, особенно после определенного возраста, шире внедряется сделщина. Если в 50-х годах пятидесятилетний труженик получал в Японии в три-четыре раза больше двадцатилетнего, то теперь лишь в полтора-два раза больше.



При сузившихся возможностях для принудительного омоложения рабочей силы предприниматели стремятся заменять штатных рабочих временными. Не случайно во время ежегодных «весенних наступлений» японские профсоюзы стали больше заботиться о гарантиях занятости, чем о росте заработной платы.

Дух патриархальной семьи («иэ») глубоко укоренился в социальной психологии японского народа. Культивируя внутри фирм такие черты, как замкнутость, иерархичность, подчинение личных интересов групповым, предприниматели апеллируют к таким моральным нормам, сложившимся в недрах «иэ», как верность и усердие.

Причем верность, за которой стоит долг признательности, и усердие, за которым стоит долг чести, — это две добродетели, которые в представлении японцев не требуют вознаграждения. Чем меньше человек требует взамен своей верности и усердия, тем он больше достоин похвалы.

При традиционной системе найма, существующей в Японии, способности человека непосредственно и прямо переводятся на термины его образовательного уровня. Решающими критериями здесь являются как продолжительность, так и качество образования. При таких стандартах человек, окончивший лишь среднюю школу, независимо от его способностей и опыта, не может конкурировать с выпускником университета при найме на работу или продвижении по служебной лестнице. От трех—пяти лет на ранней стадии жизни японца зависит очень многое. Общество в целом считает образование главной меркой способностей человека. На то, что человек сделал после учебного заведения, обращается не так уж много



внимания. Подобное отношение выросло на той же почве, что и система продвижения по старшинству. Квалификация человека по его образованию очень очевидна и бесспорна, в то время как о его личном опыте и заслугах трудно судить по общепринятым и общепризнанным стандартам.

Тиэ Наканэ (Япония).
Японское общество. 1970

Специфический характер контроля над персоналом в японских фирмах определяется прежде всего «системой пожизненного найма», в соответствии с которой фирма нанимает работника сразу на весь срок его производственной деятельности и ставит размер его вознаграждения в прямую зависимость от продолжительности непрерывного стажа. Стабилизируя на длительный период времени положение работника, фирма рассчитывает заручиться его преданностью.

Воспроизведение в цехе, в конторе семейных отношений, увязывание благосостояния работника с благосостоянием фирмы порождает у наемного персонала как конформистские настроения, так и творческую инициативу. Главным результатом этого является повышение производительности труда. Но это результат опосредствованный. Он складывается из множества разнообразных моментов, которые нельзя не признать следствием культивируемого чувства преданности своему предприятию. Мы имеем в виду не только отсутствие в Японии социально-экономических проблем текущей кадры и нарушений трудовой дисциплины, но и то обстоятельство, что в имитированной семейной атмосфере открывается достаточный простор для эксплуатации таких национальных черт японцев, как трудолюбие, прилеж-



ние, аккуратность, амбициозность в лучшем смысле слова, стремление к совершенству, гордость за наилучшим образом выполненную работу.

В. Б. Рамзес (Россия).

**Проблемы контроля над персоналом
в японских фирмах. 1973**

Японцы отнюдь не склонны превозносить свою скромную систему общественного благосостояния. Но, попадая в Соединенные Штаты, они неизменно бывают потрясены упадком и безысходностью американских трущоб, отсутствием уважения к общественной собственности, деградацией городов в целом. При своей плохо финансируемой системе коммунального обслуживания, здравоохранения и социального обеспечения японцы, как ни парадоксально, сумели добиться гораздо большего, чем американцы, в том, чтобы избежать того отчаяния, которое порождает эту деградацию.

Эзра Фогел (США).

Япония как номер один. Уроки для Америки. 1979





УТЕСЫ И ПЕСЧИНКИ

Знаменитый Сад камней в Киото чаще всего служит авторам книг о Японии отправной точкой для рассуждений о философии дзэн, о ее влиянии на жизнь японцев.

Пользуясь наглядностью этого уже изрядно примелькавшегося образа, хотел бы применить его в совсем иной плоскости. Сад камней, на мой взгляд, может символизировать собой своеобразие экономической структуры Японии, где утесы крупных заводов с ультрасовременной организацией производства и управления возвышаются над морем песчинок — мелких и мельчайших предприятий, основанных подчас на ручном труде надомников.

Двойственность экономической структуры — характерная черта Японии. Констатировать такую бесспорную истину просто. Труднее разобраться: каковы последствия своеобразного соседства утесов и песчинок? Что это, исчезающий пережиток прошлого, помеха для более быстрой и полной модернизации японской индустрии? Или это одна из национальных особенностей, которая (как, скажем, остатки феодальной патриархальщины в производственных отношениях) выгодна корпорациям, помогает им побеждать конкурентов на мировом рынке? Экономисты отмечают, что даже после рывка вперед, который Япония совершила с 50-х годов, удельный вес мелких и средних предприятий в ее экономике остается



значительно более высоким, чем в других развитых странах. Хотя модернизация старых и рождение новых отраслей ведет к концентрации производства, большинство японских рабочих до сих пор трудятся на средних и мелких предприятиях.

65 миллионов человек, составляющих рабочую силу Японии, для наглядности можно округленно поделить на пять примерно равных частей. Первая из них трудится на крупных современных предприятиях, вторая — на средних (до 300 рабочих), третья — на мелких (менее 30 рабочих), четвертую часть составляют люди, занятые в семейном производстве (кустари и мелкие торговцы), а пятую, самую малочисленную, — земледельцы и рыбаки.

Средние и мелкие предприятия дают почти половину промышленной продукции ведущей индустриальной державы мира, в том числе около трети японского экспорта.

Причем предприятия эти вовсе не ограничиваются выпуском потребительских товаров. Они вносят свой вклад почти во все отрасли промышленности, участвуют в выпуске даже сложных видов продукции, вплоть до автомобилей, телевизоров и компьютеров. Возникает вопрос: как могут мелкие и средние предприятия соседствовать и тем более состязаться с крупными? Разве не обречены они на неминуемую гибель в конкурентной борьбе, где, как говорится в японской пословице, «рыбы проглатывают креветок, а киты проглатывают рыб»?

Японские газеты из года в год пишут о банкротстве сотен мелких компаний, а также о все новых слияниях крупных фирм в еще более мощные корпорации. На основе подобных сообщений был бы правомерен вывод, что слой песчинок интенсивно размывается и что утесы монополий вот-вот сомкнутся

188 краями, образовав однородный фун-



дамент японской экономики. Однако, вопреки многочисленным предсказаниям, этого не происходит.

Всякий раз, когда отраслевые ассоциации ведут дележ рынка между ведущими фирмами, они милостиво сохраняют за мелкими и средними предприятиями «подобающую долю». Слой песчинок не исчезает. В чем же причина? Не в том ли, что каменные глыбы чувствуют себя устойчивее на такой подушке?

Заинтересованность крупных корпораций в существовании мелких и средних предприятий — одна из главных причин жизнеспособности песчинок. Для Японии характерно не размывание слоя мелких предприятий, а его подключение к производственному механизму крупных концернов через систему многостепенных подрядов. Система же эта, в свою очередь, с поразительной точностью имитирует устои японской патриархальной семьи («иэ»), основанной на беспрекословном подчинении отцу или покровителю (вертикальный стержень «оя—ко»).

Двойственная структура японской экономики позволяет сочетать преимущества современного производства с дешевизной рабочей силы на мелких предприятиях, поставляющих наименее сложные, но зато наиболее трудоемкие детали и узлы, позволяет снижать себестоимость конечной продукции, сходящей с конвейеров крупных ультрасовременных заводов.

Мелкий производитель в Японии давно перестал быть кустарем-одиночкой. Его рабочие руки привязаны к целой системе производственных связей. Тот, кто дает ему в кредит оборудование и сырье, приобретает и его изделия.

Внутренние районы Японии, некогда славившиеся шелководством, после войны обезлюдели. Тутовые планта-



ции пришли в упадок. В горных селениях остались одни старики и старухи. Но предприниматели нашли способ использовать даже такие весьма слабые рабочие руки. Агенты крупных птицефабрик предлагают престарелым крестьянам брать для выращивания цыплят. Все необходимое для этого оборудование поставляется в кредит. Рабочие монтируют на усадьбах стандартные клетки с отделениями по числу птиц, кормушки, желоба для поения. Специальные грузовички-фургоны развозят из инкубатора цыплят. Такая птицеферма не требует большого ухода, а бумажные пакеты с комбинированными кормами регулярно доставляются с фабрики.

С подобными примерами сталкиваешься в Японии на каждом шагу.

В местах, прославленных своим фарфором, где-нибудь в Кутани или Сацума, у гончарной печи рядом с вазами классических форм можно вдруг увидеть какие-то предметы явно индустриального назначения — изоляторы, изготовленные по заказу крупной электротехнической компании. Практика субподрядов существует и в других странах. В Швейцарии, например, в заводских условиях ведется главным образом сборка часов, а изготовление большинства деталей рассредоточено по селениям и отдельным семьям. Однако швейцарский часовщик-надомник может брать заказы то у фирмы «Омега», то у фирмы «Ролекс», то еще у какой-нибудь другой. Так же обстоит дело и с производством автомобильных деталей в Соединенных Штатах. Их выпускают мелкие предприятия и поставляют на свободный рынок, где покупателем каждой партии может оказаться любой концерн.



В Японии ничего подобного быть не может. Здешняя деловая этика тре-

бует верности однажды установленным связям, даже если субподрядчик несет из-за этого ущерб. Сложная пирамида многоступенчатых подрядов подперта все тем же вездесущим в Японии вертикальным стержнем «оя—ко» (покровитель—подопечный). Возьмем для примера концерн «Тойота», крупнейший в японском автомобилестроении. Ядро его состоит из головной компании и дюжины прилегающих к ней фирм. Их заводы представляют собой вполне современные предприятия не только по уровню производства, но и по условиям труда. Рабочие получают там высокую зарплату. Но далеко не они одни участвуют в создании каждой сходящей с конвейера автомашины. Две трети вложенного в нее труда выполняется где-то за заводской оградой. Помимо конвейерной сборки головные предприятия концерна занимаются в основном исследовательскими работами, проектированием новых моделей, совершенствованием техники и технологии, планированием производства и распределением заказов. Что же касается выпуска деталей и узлов, то он почти целиком перелagается на субподрядчиков (исключая лишь такие изделия, как кузова, требующие сложного кузнечно-прессового оборудования).

Многоступенчатая система подрядов строится так, чтобы самые примитивные и в то же время самые трудоемкие и неблагодарные операции выполнялись в нижних ярусах. При отборе субподрядчиков существует беспощадный критерий: заказ получает тот, кто готов поставлять детали по более низкой цене. А уж как выкручивается этот мелкий предприниматель, по сколько часов в день работают у него люди — никого не интересует. Соблюдать сроки и качество поставок — это для мелкого предпринимателя вопрос жизни и смерти. Удалось заручиться благосклонностью



свыше — значит можно рассчитывать на новые заказы, а то и на кредит в трудный момент. С верхних этажей концерна в нижние происходит перемещение устаревшего оборудования, а параллельно — и стареющего персонала. Начальник цеха с головного завода после 50 лет может быть рекомендован в состав правления дочерней фирмы. И там будут рады принять его, чтобы подкрепить «родственные отношения».

Соседство утесов и песчинок, точнее говоря, их своеобразная взаимозависимость и взаимодействие, показывает, что излюбленной формой предпринимательства в Японии стал концерн, позволяющий объединить в производственные комплексы множество предприятий без прямого поглощения их.

Структуру такого концерна японские дельцы любят сравнивать с очертаниями горы Фудзи. Сверкающая снежная шапка — головная фирма — опирается на расширяющееся книзу основание из средних, мелких, мельчайших предприятий, а в последнем слое — кустарей-надомников.

Ультрасовременная Япония кончается не так уж далеко от вершины — пожалуй, там же, где проходит по Фудзи граница снегов в период цветения сакуры. А ниже, на добрые две трети пути до подножия, попадаешь как бы в иной мир, в другой век. Люди там не знают, что такое восьмичасовой рабочий день, пятидневная неделя, коллективный договор с предпринимателем (две трети японских рабочих, которые не объединены в профсоюзы, как раз и трудятся в основном на средних и мелких предприятиях). Никто не гарантирует этим труженикам стабильную занятость: практика пожизненного найма туда не доходит. Вернее сказать, система эта может существовать у вершины горы именно благодаря тому, что



действие ее не распространяется вплоть до подножия.

Японские фирмы могут обходиться без увольнений персонала при спадах производства именно потому, что двойственная структура экономики позволяет им привлекать к косвенному участию в выпуске продукции цепочку субподрядчиков, не включая их, однако, в штат своей фирмы. Когда конъюнктура благоприятна, связи со средними и мелкими предприятиями позволяют крупным компаниям снижать издержки производства. Зато при кризисных толчках именно слой песчинок служит тем буфером, который принимает на себя удар и позволяет утесам сохранять устойчивость.

Крупной японской компании выгодно иметь много субподрядчиков, но нет расчета «проглатывать» их. Ведь чем меньше людей в штате фирмы, тем легче сопротивляться нажиму профсоюза. Напрашивается вывод, что существование множества средних и мелких предприятий оказалось в условиях Японии не помехой для модернизации индустрии, а одной из скрытых пружин этого процесса. Устремившиеся ввысь утесы во многом обязаны своим величием соседству песчинок.

Большинство японских рабочих заняты на мелких предприятиях, которые едва сводят концы с концами и целиком зависят от крупных корпораций.

Японские автомашины привлекательны для покупателей своими ценами. А цены эти стали возможны благодаря множеству мелких субподрядных мастерских, грязных, плохо оборудованных, прячущихся где-то в закоулках и тупиках трущоб или предместий, но в то же время вовсе неподалеку от конвейеров крупных современных заводов. Эти мелкие предприятия вы-



нуждены поставлять свою продукцию по самым низким ценам, проявляя притом всяческую услужливость и верноподданническую преданность крупным фирмам, лишиться заказов от которых значит для них погибнуть. Малейшие признаки спада несут этим остаткам XIX века угрозу банкротства.

Жан-Франсуа Делассю (Франция).

Японцы: критическая оценка характера и культуры народа. 1970

Под воздействием внешних влияний постепенно стираются такие традиционные черты японского характера, как стремление подавлять личные интересы; считать личную выгоду социальным злом. Ослаблены и продолжают слабеть такие черты, как покорность вышестоящим; нежелание брать на себя дополнительную ответственность; привычка видеть в потреблении сверх насущных нужд нечто греховное, неоправданное преклонение перед всем подлинно японским; наконец, эмоциональный взгляд на мир, оценивающий красоту и гармонию превыше функции и этики.

К старым чертам, которые остались более или менее неизменными, относятся усердие, честолюбие и способность стойко переносить трудности.

Б. Мэнт, Ф. Перри (США).

Японцы как потребители. 1968





ДЕВИЧЬИ РУКИ

Темные от времени столбы уходили вверх и терялись в величественном полумраке.

— Взгляните на эти опоры и стропила, — говорил гид. — Храм Хонгандзи — самое большое деревянное сооружение в Киото, одно из крупнейших в мире. Случись пожар — в Японии уже не найти таких вековых стволов. Да и прежде отобрать их было нелегко. А когда свезли, строителям оказалось не под силу поднять такую тяжесть. Как же удалось сделать это? Благодаря женщинам. Сорок тысяч японок остригли волосы и сплели из них канат невиданной дотоле прочности. С его помощью восемьдесят опорных столбов были установлены, балки подняты и закреплены. Вот он, этот канат. Обратите внимание на длину волос. Женщины укладывали их тогда в высокие сложные прически, какие теперь носят только гейши...

Гида слушали рассеянно, но стоило ему упомянуть слово «гейша», как посыпались вопросы. Иностранные туристы спешили получить оплаченную порцию «восточной экзотики», непременно элементом которой служит женщина в кимоно. В Нагасаки их обычно ведут к «домику Чио-Чио-сан». В Киото им показывают гейш. В Фукуоке они запасаются большими разряженными куклами — чем не наглядное пособие к рассказам о японках!

— Подумать только! — удивляется седая американка, услышав притчу о строительстве Хонгандзи.



Изумляясь тому, что косы сорока тысяч японок помогли когда-то построить самый большой в Киото храм, искатель «восточной экзотики» не вспомнит о миллионах женских рук, составляющих две пятых рабочей силы Японии.

— Купите эти шелка на память о красавицах древнего Киото! — говорят иностранцам, насмотревшимся на кимоно гейш.

А ведь кроме чайных домов, кроме памятников старины, куда возят туристов, не меньшей достопримечательностью Киото может считаться целый городской район — Нисидзин, где на сонных с виду улочках от зари до зари слышится стук старинных ткацких станков.

— Скажите, что труднее всего дается в вашем ремесле? — спросил я одну из киотских ткачих.

— Труднее всего ткать туман, — подумав, ответила девушка. — Утреннюю дымку над водой.

Стало совестно, что я назвал ремеслом то, чему по праву следует именоваться искусством.

Казалось бы, что общего между тесными каморками кустарей и цехами ультрасовременного завода, до которого от Нисидзина несколько веков и несколько минут? Высокие пролеты, лампы дневного света, музыка, заглушающая мерное гудение вентилятора...

Но на бесшумно пульсирующем конвейере, как и на кустарном ткацком станке, те же виртуозные пальцы творят славу Японии, не менее заслуженную, чем слава киотских шелков.



На девушке серая форменная блуза, волосы убраны под такой же чепец. К груди приколот жетон с именем и личным номером — он же пропуск в цех. Сосредоточенно склонившееся лицо полуосвещено, потому что яркое и холодное сияние люминесцентных ламп направлено прежде

всего на ее руки. Длинные чуткие пальцы шлифуют линзы для фотоаппаратов, паяют волоски проводов на сборке телевизоров и видеоманитофонов. И красота их столь же достойна быть воспетой, как и их умелость. Даже огрубев от крестьянского труда, с глубокими шрамами и узловатыми суставами, руки японок сохраняют артистическую утонченность. Конвейер же забирает их лучшую пору, требуя точности движений, граничащей с искусством. Девичьи руки — именно они в свое время утвердили за Японией славу «царства транзисторов», именно благодаря им японская радиотехника, электроника, оптика пробили себе дорогу на мировые рынки. Девушки, которые на пять-семь лет приходят на завод, чтобы заработать себе на приданое, — это целый общественный слой, это немаловажный фактор и в социальном, и в экономическом бытии послевоенной Японии.

Уходить до свадьбы на текстильные фабрики вошло в обычай еще с прошлого века. Тут и крылся секрет дешевизны японских тканей, наводнивших Азию в предвоенные годы. Автоматизация производства, переход на конвейер позволили расширить сферу применения этого «секретного оружия». С японской свадьбой связаны самые большие расходы в жизни человека (если не считать похорон). Чтобы подготовить все необходимое, невеста должна истратить в тридцать раз больше денег, чем она может заработать за месяц. Чтобы скопить такую сумму, девушка и приходит на фабрику. Труд у конвейера для нее — преходящая полоса в жизни. Этот обычай работать до замужества в сочетании с японской системой платить при найме крайне низкую ставку, увеличивая ее в зависимости от стажа, и сделал девичьи руки наиболее прибыльными для нанимателей. К тому же



работницу легко уговорить даже эти деньги наполовину оставлять в кассе предприятия, если предложить ей более высокий процент, чем в банке.

Девушку ошеломляют расчетом: если она согласится подписать подобное обязательство, через пять-семь лет у нее сложится желанная сумма. Причем не надо беспокоиться: скоплю или не скоплю? Хватит ли денег дожить до получки? За место в общежитии, за обед в заводской столовой — за все вычтут при расчете, так что на руки достается лишь мелочь на карманные расходы. По существу — казарменное положение, котловое довольствие. И все это задумано не только для того, чтобы девушкам было легче скопить свое приданое, но и для того, чтобы проще было держать их в повиновении. Пока познакомились, обжились, огляделись — три года прошло; чего уж тут требовать каких-то перемен, когда осталось полсрока?

Другое дело мастера, наладчики, квалификация которых нужна для бесперебойной работы поточных линий. Это своего рода унтер-офицерский костяк с высокой зарплатой.

Покупая цветные гравюры великих мастеров прошлого Хokusая или Хиросигэ, иностранные туристы любят философствовать о неизменности лица Японии. Все так же оттеняют синеву весеннего неба снега Фудзи и первые розовые соцветия сакуры. Столь же колоритны сгорбленные фигуры в соломенных шляпах среди блеска залитых водой рисовых полей. Ведь машина не может полностью

заменить чуткость человеческой руки, способной глубоко посадить куст рассады в холодную жидкую грязь и не повредить при этом ни одного из нежных стебельков. Все так же расшивают серебрящуюся гладь полей ровным зеленым узором. Чтобы



вглядеться: чьими руками? Из села ушла молодежь. Мужчины, вспахав землю, тоже отправляются в отход до жатвы. Остаются женщины. Им приходится брать на себя самое тяжелое звено в древней цепи сельскохозяйственных работ.

Ну а девушки из городских семей? Их тоже под разными предлогами переводят после замужества в разряд «поденных» или «внештатных» работниц с очевидной целью: привязать женщин к низкому заработку, лишить их надбавок за стаж. Вот достаточно красноречивая цифра. Средняя зарплата женщин в Японии на треть ниже мужской.

Сорок тысяч японок, что помогли возвести храм Хонгандзи, стали легендой. Но справедливо ли оценена тяжесть, которую поднимают сорок с лишним миллионов, женских рук в наши дни?

Для человека, который никогда не бывал в Японии, она обычно представляется сказочной страной красочно одетых женщин, загадочных храмов, живописных восточных пейзажей. Тут потрудились и туристские бюро, и Голливуд, все любители расписывать экзотику. К тому же Япония действительно экзотична, действительно загадочна и действительно живописна. И все-таки это не только «открытая страна».

Подлинная Япония — это бессчетные часы, а иногда и десятилетия тяжелого труда, нужного, чтобы японский сад выглядел воплощением простоты. Это холод, от которого зимой содрогаются обитатели картонных японских жилищ. Это обреченность всю жизнь есть рис и соленые овощи. Это крестьяне, которые из года в год гнут спины на полях и не могут потом распрямиться, доживая свой век сгорбленными карикатурами на человеческие существа. Это студенты, сто-



ящие в очереди, чтобы продать свою кровь и купить себе книги.

Б. Мэнт (США).

Турист и подлинная Япония. 1963

Японская земля очень красива, еще не остывшая от вулканов, та земля, которая человеческому труду отдала только одну седьмую часть себя, — пусть так. На самом деле чудесны глазу японские пейзажи вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод. Природа Японии — нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку назло. И с тем большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обработать и возделывать эти злые камни, землю вулканов, землю плесени и дождей.

Я смотрел кругом и кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому... Я видел, что каждый камень, каждое дерево охолоны, отроганы руками. Леса на обрывах посажены — человеческими руками — точными шахматами, по ниточке. Это только столетний громадный труд может так бороться с природой, бороться природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все ее скалы и долины.

Борис Пильняк (Россия).

Камни и корни. 1935

Японская земля сделана крестьянами, как атоллы сделаны кораллами. Все дворцы Японии и все картины, все фарфоры и лаки, все стихи и все кабуки — на их скелетиках.

Борис Агапов (Россия).

Воспоминания о Японии. 1974



Если бы средоточия мировой промышленности размещались в соответствии с логическим выбором, кто отвел бы

для одного из крупнейших среди них эту далекую, бедную страну, отрезанную от всего света морями и океанами, еще более обделенную природой, чем Англия, и притом гораздо более населенную?

Вот уже много лет западные экономисты изучают причины успеха Японии и выдвигают различные, подчас весьма интересные взгляды относительно капиталовложений, промышленной структуры, рабочей силы, зарплаты и так далее. Мне кажется, что в этих объяснениях отсутствует один фактор, которым часто пренебрегают, может быть, потому, что он не поддается статистическому анализу. А между тем он и есть главный фактор, главное объяснение: это сами люди.

Люди, то есть японцы, их способности, поведение, образ мыслей. Речь идет не о горстке руководителей — имя им легион. Успех Японии — заслуга бесчисленной массы японских тружеников, которые, помимо других достоинств и недостатков, обладают склонностью делать свое дело на совесть.

Робер Гийен (Франция).

Япония: третья великая держава. 1969





53 СТАНЦИИ ТОКАЙДО

Для полной иллюзии не хватает лишь светового табло: «Застегнуть привязные ремни». В остальном все напоминает кабину современного реактивного самолета: ряды мягких кресел — по три справа и три слева от прохода, удобная откидная спинка, кондиционированный воздух, а главное — ощущение той предельной скорости, когда стальная птица должна вот-вот оторваться от земли. Но разбег все длится и длится, так и не переходя в полет. Ведь мчимся мы не по бетону аэродрома, а по рельсам, мчимся в вагоне экспресса «Нодзоми» по новой Токайдо. Сверхскоростная железнодорожная магистраль унаследовала имя старинного тракта. Токайдо — дорога у восточного моря — шла от Эдо¹ до древней императорской столицы Киото. Тракт имел пятьдесят три станции. На каждой из них верховые меняли лошадей, через одну останавливались на ночлег. Теперь экспресс «Нодзоми» пробегает расстояние между Токио и Киото за два часа, делая лишь одну минутную остановку в Нагое.

Глядишь в окно на проносящиеся мимо города и вспоминаешь великого живописца Хиросигэ.

В 1832 году он провел этой дорогой коня, посланного сёгуном в подарок императору.

Впечатления многодневного пути художник воплотил в серии картин «Пять-



¹ Эдо — так назывался Токио, когда был столицей сёгунов — военных правителей Японии.

десять три станции Токайдо», увековечившей портрет Японии того времени. Как бы соперничая с этим замыслом, экспресс «Нодзоми» стремительной кинолентой раскручивает перед глазами панораму Японии наших дней. Сохранила ли она сходство с портретом Хиросигэ? Той же суровой недоступностью веет от гор, теснящих к морю лоскутные поля. С той же покорностью кланяются земле согнутые пополам крестьянские фигуры. Природа, кажется, по-прежнему свысока смотрит здесь на своего пасынка — человека. Многие ли меняют шагающие по кручам линии высоковольтной электропередачи или торчащие над сельскими крышами телевизионные антенны?

Но вон там, слева, где дорога издавна жалась к пенной кромке морского прибоя, экскаваторы грызут седой замшелый утес. Гордо и стойко отбивал он извечное нашествие волн. А теперь половина его уже лежит внизу, где дерзко выдвинулся в море насыпанный, намытый прямоугольник земли. На нем, словно в фантастическом городе, высятся серебристые башни, резервуары, сложные переплетения труб — нефтехимический комбинат на клочке отвоеванной людьми суши. Мчится поезд — двести километров в час, и мысли теснятся, спеша поспеть за ним. Со времен Хиросигэ иными стали не только формы жизни, но и ее ритм. «Пятьдесят три станции Токайдо» донесли до нас панораму страны, наглухо закрытой от внешнего мира, дремлющей накануне пробуждения от феодального сна. В противоположность замкнутости, статичности экспресс «Нодзоми» уже сам по себе воплощает высокие скорости, разительные перемены.

Когда-то Ильф и Петров писали о Соединенных Штатах как о стране, где человек и природа состязаются в



рекордах. В Японии впечатляет другое: размах там, где, казалось бы, негде да и нечем развернуться. Японцам приходится жить, словно на вздрагивающей спине, которую выставил из пучины океанский дракон. Вулканические извержения и подземные толчки для них не редкая трагическая случайность, а скорее нечто неизбежное, как жара летом или холод зимой. Япония — это страна, где природа и человек состязаются в неистовстве. Здесь постоянно дает о себе знать необузданность стихийных сил. Но здесь же на каждом шагу видишь следы упорнейшего человеческого труда. Японская природа не только жестока, но и скупа. Пять шестых территории страны составляют крутые горные склоны. А лишь одна шестая остается человеку — тут и поля, возделанные, словно клумбы, и города, и заводы. Япония столь же гориста, как и Швейцария, но ее равнинная часть заселена при этом в пять раз плотнее. На Японских островах площадью около 380 тысяч квадратных километров живут 127 миллионов человек. Это все равно что на территорию Финляндии сселить 80 процентов населения России или половину жителей Соединенных Штатов.

Есть меткое сравнение: если американцы измеряют эффективность во времени, то японцы — в пространстве. В стране вулканов и землетрясений, в стране, где слишком много гор, но слишком мало дела для горняков, природные возможности служат, скорее, контрастом тому, что создает человеческий труд. Ведь Япония, которая спускает на воду почти половину строящихся в мире судов, которая догнала Соединенные Штаты по выплавке стали и производству автомашин, — эта страна создала свой производственный потенциал на привозных ресурсах. Смотришь из окна экспресса



городские улицы, забитые потоками машин, и с трудом доходит до сознания, что металл, из которого созданы каркасы цехов и небоскребов, станки и автомобили, что весь этот металл привезен в виде руды из других стран. Нефть, которая приводит в движение моторы автомашин и турбины электростанций, дает жизнь индустрии, доставлена гигантскими танкерами из-за морей. Даже каждый грамм хлопка или шерсти в одежде людей тоже откуда-то импортирован.

Япония вынуждена ввозить 80 процентов необходимого ей промышленного сырья и почти 30 процентов продовольствия. Чтобы существовать в подобных условиях, стране приходится быть гигантским обрабатывающим заводом и одновременно экспортно-импортной фирмой. Как можно дешевле приобрести сырье и, обогатив его вложенным трудом, как можно выгоднее сбыть в виде готовой продукции — такова стратегия японских предпринимателей. Как же удалось Японии в столь неблагоприятных условиях совершить стремительный рывок вперед и стать второй ведущей индустриальной державой мира? На протяжении почти двух десятилетий — с 1955 по 1973 год — валовой внутренний продукт (ВВП) ежегодно увеличивался на 10–12 процентов, то есть давал вдвое более высокий прирост, чем у конкурентов.

Японские предприниматели увлекались в ту пору энергетической революцией, то есть переводили производственные мощности с отечественного угля на привозную нефть. Поэтому вздорожание жидкого топлива в четыре раза нанесло Стране восходящего солнца болезненный удар. В 1974 году ее ВВП впервые не увеличился, а даже несколько сократился. Однако японской экономике удалось оправиться от



шока и вновь набрать темпы. Средний прирост хоть и снизился, но все равно остался более высоким, чем в США и странах Западной Европы. Какие же причины позволили Японии совершить столь стремительный рывок? Какие факторы послужили здесь скрытыми пружинами?

Самое распространенное объяснение — японцы усердны как труженики и воздержанны как потребители. Действительно, в Японии уровень производства повышается круче, чем уровень потребления, производительность труда растет быстрее, чем зарплата. Такое объяснение выглядит более полным, но его нельзя назвать исчерпывающим. Понять причины сделанного Японией рывка, оценить его скрытые пружины можно лишь исходя из совокупности факторов, а не какого-то одного в отдельности. Только анализируя сочетания и взаимодействие многих факторов — внутренних и внешних, политических и экономических, — можно получить достаточно полный ответ. Часто спрашивают: как удалось Японии быстро вырваться после войны в первую тройку индустриальных держав, несмотря на огромные разрушения от американских бомбардировок; несмотря на то, что страна подверглась оккупации, несмотря на то, что колонии были отобраны, а своих природных ресурсов на островах практически нет? Пародируя стиль загадок — парадоксов, излюбленных буддийской сектой дзен, японцы иронизируют, что каждый из этих вопросов превращается в ответ, если слово «несмотря» заменить на слово «благодаря».



— Из-за того, что Англию бомбили немецкие «Юнкерсы-88», а Японию — американские сверхкрепости «Б-29», англичанам после войны пришлось заниматься восстановлением устаревших предприятий, а мы сразу же взялись строить

новые, делая к тому же упор на самые перспективные отрасли промышленности, — говорят японские предприниматели. Заново построить завод на пустом месте легче, чем восстанавливать старый. Если, конечно, располагать деньгами. Но прежде чем пояснить, откуда взялись эти деньги в разрушенной, поверженной стране, хочется отметить еще одно обстоятельство. Когда японцы говорят, что, разрушив старое, война расчистила место для нового, эту фразу можно понимать и в широком смысле. С разгромом японского милитаризма были разбиты многие оковы, сдерживавшие развитие производительных сил. После капитуляции в стране была проведена аграрная реформа, которая практически ликвидировала помещичье землевладение. Вступило в действие новое трудовое законодательство, было узаконено существование профсоюзов.

Особый вопрос — почему американские оккупационные власти пошли на подобные меры. Они хотели, во-первых, уничтожить социальную опору милитаристских кругов в лице помещичьего класса; а во-вторых, лишить японских промышленников такого важного козыря, как дешевизна рабочей силы. Воссоздавая в Японии профсоюзы, американцы радели о своих интересах в конкурентной борьбе. Тем не менее реформы первых послевоенных лет изменили социально-экономическую и политическую обстановку в стране, привели к некоторому росту доходов трудящихся, оживили внутренний рынок. Но вот оккупированная Япония, на которую американцы поначалу смотрели как на поверженного тихоокеанского соперника, стала играть для них иную роль: она оказалась ближней тыловой базой в тех войнах, которые США вели в Азии — сначала в Корее, а затем во Вьетнаме.



Через пять лет после капитуляции еще лежавшая в руинах Япония вдруг стала прифронтовой полосой корейской войны. Американцам надо было срочно организовать снабжение войск, ремонт боевой техники. Тут-то и пролился на Японию золотой дождь интендантских заказов. Три миллиарда долларов было впрыснуто в организм частного предпринимательства. По тем временам — деньги немалые. Такая инъекция послужила изначальным толчком послевоенной деловой активности. Без нее потребовалось бы, наверное, целое десятилетие, чтобы сдвинуть с места парализованную разрухой японскую экономику.

Как известно, вооруженные силы США остались в Японии и после формального прекращения оккупационного режима — на основании «договора безопасности». Причем Токио сумел использовать к своей выгоде положение, в котором оказалась страна. Именно благодаря американскому военному присутствию Япония смогла тратить на вооружение значительно меньше средств, чем другие развитые страны. Военные расходы Японии, которые в 30-40-х годах поглощали примерно 9 процентов ее валового внутреннего продукта, в течение всех послевоенных десятилетий составляли около 1 процента ВВП. (Англия все это время тратила вчетверо больше.) Другое дело, что при нынешних размерах валового внутреннего продукта Японии даже один процент его превышает 40 миллиардов долларов, что позволяет стране иметь, один из крупнейших военных бюджетов в мире.

Потерпев поражение в войне, Япония лишилась своих колоний, возможности эксплуатировать недра захваченных земель, труд корейских и китайских рабочих.

Кое-кто считал, что экономика бывшей метрополии окажется нежизнеспособ-



ной. Но подобные прогнозы не сбылись. Когда деньги, нажитые на корейской войне, воскресили деловую активность, за умелыми рабочими руками дело не стало. Многие отрасли, работавшие на военные нужды, например металлургия, судостроение, оптика, сохранили костяк опытных специалистов. Наряду с высоким общеобразовательным уровнем молодежи это обеспечило промышленности достаточный приток квалифицированных кадров. Что же касается отсутствия собственного сырья, то, по мнению японских предпринимателей, на каком-то этапе это даже помогло стране совершить стремительный рывок вперед. Япония, считают они, смогла сосредоточить все силы на создании самых новых и перспективных отраслей индустрии именно потому, что у нее не висели гирями на ногах добывающие отрасли — наименее рентабельные, наиболее трудоемкие и капиталоемкие. Избавив себя от обременительных расходов на модернизацию рудников, шахт, железнодорожных перевозок, японские монополии сделали ставку на морской транспорт, на те новые возможности, что открылись с созданием судов-гигантов и механизацией погрузочно-разгрузочных работ.

Бедная полезными ископаемыми Япония богата... побережьем. Это оказалось огромным преимуществом для страны в условиях удешевления морских перевозок. На каждый квадратный километр японской территории приходится 72 метра побережья, вдвое больше, чем в другой островной стране — Англии, и в двенадцать раз больше, чем в США. Извилистая береговая линия Японских островов благоприятствует тому, чтобы почти каждое промышленное предприятие, перерабатывающее импортное сырье в экспортную продукцию, имело собственный порт.



Старые металлургические заводы строились вблизи угольных шахт Кюсю или Хоккайдо. После войны их стали создавать «на воде». С одной стороны насыпного участка оборудуется приемный порт, где руда, уголь и другое сырье прямо с судов поступают в обработку. А на противоположной стороне отведенной у моря территории создается отгрузочный порт, куда поступает готовая продукция. Именно так были задуманы и построены 16 новых металлургических комбинатов, благодаря которым Япония обеспечила потребности своей индустрии и стала поставщиком стального листа и труб на мировой рынок. Став продолжением цехов, порты сократили до минимума нужду в железнодорожных перевозках. Япония сейчас почти не знает товарных поездов. Подсчитано, что доставить тонну коксующегося угля морем из Австралии в Японию дешевле, чем по железной дороге из Рура в Лотарингию. Словом, пользуясь преимуществами морских перевозок, японские фирмы предпочитали покупать сырье в наименее обработанном виде, чтобы максимально обогащать его человеческим трудом, то есть тем видом ресурсов, которым страна наделена в достатке. На каком-то этапе отсутствие собственной добывающей промышленности облегчило Японии задачу сравняться с западными соперниками и даже перегнать их. Однако обострение конкурентной борьбы на мировом рынке, особенно в области энергетических ресурсов, все чаще напоминает об уязвимости японской экономики, ее зависимости от зарубежных источников сырья и энергии. Тем не менее разгон был взят. В гонку со своими западными соперниками Япония вступила «налегке».



Первой отраслью, в которой Япония завоевала мировое первенство, стало судостроение. Можно напомнить, что

еще в годы Второй мировой войны под японским флагом ходили два крупнейших в мире линкора — «Ямато» и «Мусаси». Но можно напомнить и другое. Вплоть до середины прошлого века японцам разрешалось строить лишь деревянные шаланды грузоподъемностью не более сорока кулей риса. Спускать на воду более крупные суда было запрещено, дабы пресечь всякое общение с внешним миром. Но вот сильное землетрясение 1855 года застало у берегов Японии русский фрегат «Диана». Корабль был разбит гигантской волной и затонул. Команде удалось спастись. Русские моряки попросили позволения построить небольшую шхуну, чтобы вернуться на родину. Власти не только дали им такое разрешение, но и прислали лучших плотников. Внезапный интерес к зарубежному опыту был следствием происшедших незадолго до того событий.

У художника Хиросигэ в серии «Пятьдесят три станции Токайдо» есть картина под названием «Канагава». Хиросигэ изобразил тихую бухту, рыбацьи паруса, задумчивые зеленые холмы — место нынешней Иокогамы. Именно там незадолго до «Дианы» появилась американская эскадра коммодора Перри. «Черные корабли», как их прозвали в народе, возвестили об угрозе вторжения заморских колонизаторов. Перед страной встала срочная необходимость создавать современный флот. Судьба «Дианы» давала удобный случай поучиться. Любопытно, что чертежи, по которым строилось первое в Японии килевое судно, были сделаны рукой русского морского офицера Можайского — будущего изобретателя самолета.

Ровно сто лет спустя Япония стала первым кораблестроителем мира. В бухте Канагава, которую когда-то рисовал Хиросигэ и где японцы впервые увидели «черные корабли», были спущены



на воду морские гиганты водоизмещением сто, триста, а затем и пятьсот тысяч тонн. Здесь, как и в ряде других отраслей, японцам удалось чутко предугадать перспективную тенденцию. Когда греческий судостроитель Онассис первым рискнул строить танкеры водоизмещением 100 тысяч тонн, лондонская «Тайме» отнеслась к этому скептически. Она писала, что такие гиганты «никогда не перестанут быть лишь ничтожной долей в мировых судостроительных программах». Японцы приняли это к сведению и занялись закладкой доков, способных строить танкеры водоизмещением до 500 тысяч тонн. Они смело пошли по новому пути, взяв в расчет как новые возможности морских перевозок, так и удаленность большинства промышленных государств от мест нефтедобычи, а стало быть, растущую нужду в танкерном флоте.

В 1955 году, то есть как раз в ту пору, когда Япония вышла на первое место в мире по судостроению, в США появился первый приемник на транзисторах. Однако перспективность этого события в радиотехнике прежде американцев оценили японцы. Буквально несколько месяцев спустя фирма «Сони» выпустила в широкую продажу карманный радиоприемник. Он положил начало «буму транзисторов» — массированному прорыву на мировой рынок совершенно нового вида продукции с маркой «Сделано в Японии». По таким товарам, как радиоприемники, магнитофоны, телевизоры, она завоевала почти половину мирового рынка. Причем если в предвоенные годы Япония сумела заполнить рынки Азии своими текстильными товарами благодаря их дешевизне, то нынешняя популярность японских товаров в США и Западной Европе прежде всего опирается на их качество.



— Как вам удается опережать зарубежных конкурентов? — спросил я однажды президента фирмы «Сони».

— Не столько нашей изобретательностью, сколько умением распознавать неиспользованные возможности чужих изобретений, — усмехнулся Масару Ибука.

Президент «Сони» любил повторять, что теряет интерес к продукции, как только она перестает быть новинкой. Едва выпуск миниатюрных радиоприемников на транзисторах освоили другие японские компании, «Сони» сделала ставку на цветные телевизоры. Благодаря их высокому качеству и надежности она сумела победить в конкурентной борьбе даже американские фирмы, которые специализировались на телевизионной технике еще с довоенных лет. В конце 60-х годов Масару Ибука рассказывал мне, что вслед за электронным калькулятором величиной с японские счеты «соробан» он мечтает создать портативную съемочную видеокамеру размером с любительский киноаппарат. А сейчас даже трудно представить себе, что этих предметов когда-то не существовало.

От умения быстро и дешево строить танкеры-гиганты водоизмещением полмиллиона тонн до создания интегральных схем и микропроцессоров, олицетворяющих завтрашний день наукоемких производств, — таков диапазон японской индустрии. Чтобы не терять времени на научные исследования и на внедрение новых открытий в производство, японские предприниматели сделали ставку на импорт зарубежной мысли, на массовое заимствование из других стран передовой техники и технологии. В 50–70-х годах японские фирмы израсходовали на закупку зарубежных лицензий и патентов почти 3 миллиарда долларов, тратя на эти цели несравненно больше, чем на самостоя-



тельные научные исследования. Ставка на импорт зарубежной технической мысли в целом оправдала себя, хотя имела и отрицательные последствия. Она привела прежде всего к отставанию фундаментальных наук. Японские ученые сосредоточили внимание на прикладных исследованиях, видели свою задачу в том, чтобы приспособлять заимствованную технологию для массового производства.

Вплоть до 70-х годов американские и западноевропейские фирмы продавали свои лицензии и патенты сравнительно дешево. Им казалось, что эта технология все равно скоро устареет или будет скопирована японцами вовсе без всякого вознаграждения. Но потом они поняли, что проявили близорукость, недооценив угрозу японской конкуренции в дальней перспективе. Резкое вздорожание лицензий и патентов заставляет японские компании больше заниматься поисками новых путей в науке. Если в середине 50-х годов расходы Японии на научные исследования и разработки составляли полпроцента ВВП, то ныне приблизились к трем процентам, то есть к уровню Соединенных Штатов. И тем не менее японские монополии пока еще отстают от американских и даже западноевропейских конкурентов в областях, требующих долговременных и дорогостоящих исследований, таких как атомная энергетика, производство сверхзвуковых самолетов, больших электронно-вычислительных машин.

Едешь в вагоне экспресса «Нодзоми» и всякий раз думаешь: какую же черту Японии прежде всего оставляет теперь в памяти путешествие по новой Токайдо? Чуткость к новому? Пожалуй, точнее было бы сказать — гибкость и стойкость. Конечно, Япония сейчас не та, что во времена художника Хиросигэ. Но ее восприимчивость к ново-



от своеобразных черт. Япония меняется по-своему, по-японски: меняется ради того, чтобы в условиях современности оставаться самой собой.

Японское слово «джиу-джитсу» знакомо, наверное, очень немногим. Но это ключ к уразумению характера японского народа в его отношениях к чужим странам, в этом слове тайна успеха этой удаленной за тысячи миль от Европы страны.

Джиу-джитсу представляет собой целую науку для слабого против сильного. Она учит, что силе нужно противопоставлять не силу, а нужно ловко направлять чужую силу для своей пользы. Как каждый самурай прибегал в нужных случаях к джиу-джитсу, так и все японцы, вместе взятые, прибегают к нему: их отношение к иностранцам не что иное, как джиу-джитсу.

Япония усвоила все наши новейшие изобретения и открытия, испытала все системы, какие она нашла в Европе, и применила их у себя не точно в таком виде, нет, — она применила их настолько, насколько это нужно было для укрепления ее сил. Она воспользовалась Европой как лестницей, по ступенькам которой взобралась на вершину Дальнего Востока.

Эрнст фон Гессе-Вартег (Германия).

Япония и японцы. 1904

Японцы — странно противоречивый народ. При очевидной самоуверенности они становятся смиренными в своей готовности и своем стремлении учиться у других. Они копируют смиренно, но с внутренним убеждением, что могут улучшить перенятое. То, что делают другие, кажется им, они способны делать лучше. И они доказывают это.

Уиллард Прайс (Канада).

Японское чудо и японская

опасность. 1971





УСТОЙЧИВОСТЬ ВЕЛОСИПЕДА

Японцы усердны как труженики и воздержанны как потребители... Возвращаясь к этой фразе, заметим, что за соотношением потребления и накопления действительно кроется одна из пружин совершенного Японией рывка. С середины 50-х годов доля накопления в валовом национальном продукте Японии держится на уровне 30–35 процентов (в то время как в других развитых странах она составляет 17–20 процентов). Каковы же источники ускоренного накопления капитала в Японии? Как, за счет чего японским предпринимателям удается из года в год выделять примерно вдвое больше средств на обновление оборудования и расширение производства, чем их американским и западноевропейским конкурентам? Вот ключ к пониманию динамичности японской экономики.

Важнейший фактор — более низкий, чем в других развитых странах, уровень личного потребления. (Причем это в немалой степени касается и обеспеченных слоев.) Япония сумела добиться максимальной мобилизации внутренних ресурсов, снижая долю потребления и завышая долю накопления. Она опиралась при этом на многие местные особенности. Тут и двойственность экономической структуры — своеобразное соседство «утесов» и «песчинок»; тут и система пожизненного найма. Тут, наконец, и устои традиционной морали, возводящей в добродетель усердие



в труде и умеренность в быту. В 50–60-х годах зарплата рабочих в обрабатывающей промышленности Японии была в семь раз ниже, чем в США, и в три раза ниже, чем в Англии. Лишь в последующем она подтянулась к западноевропейскому и американскому уровню, а теперь и превзошла его. Однако производительность труда в Японии все это время росла быстрее, чем зарплата, и более высокими темпами, чем у ее конкурентов. И хотя разговоры о дешевизне рабочей силы в Японии давно устарели, все-таки труд в этой стране доныне дешев — дешев в сопоставлении с его качеством: квалифицированностью, добросовестностью, эффективностью.

Японии присуща еще одна весьма своеобразная черта: низкому уровню личного потребления в этой стране сопутствует весьма высокий уровень личных сбережений. Японцев отнюдь не назовешь людьми скаредными, прижимистыми, мелочно расчетливыми. На взгляд американцев, они даже легкомысленно относятся к деньгам. Тем не менее японская семья откладывает в виде сбережений более 15 процентов доходов — почти втрое больше, чем английская или американская. Быть столь рачительными японцев вынуждает сама жизнь. Деньги прежде всего необходимо откладывать на старость из-за несовершенства японской системы социального обеспечения. Приходится также копить на образование детей, поскольку оно, во-первых, очень дорого, а во-вторых, имеет решающее значение для их карьеры.

Традиция заботиться о сбережениях порождена и многими другими причинами: это дороговизна жилья, медицинской помощи, обычай тратить непомерные суммы на свадьбы и похороны, постоянная угроза стихийных бедствий. С другой стороны, иметь сбережения японцам помогают некоторые местные особенности опла-



ты труда. По существующей традиции наниматели занижают ежемесячные выплаты с таким расчетом, чтобы труженик в течение года получал не 12, а, к примеру, 15 окладов. Два из них выдаются в форме наградных перед Новым годом, а еще один — в середине лета. Часть этих денег семьи используют для каких-то сезонных покупок, но от половины до двух третей обычно откладывают в форме сбережений.

В отличие от американцев, которые предпочитают приобретать акции, то есть ценные бумаги, японцы обычно держат свои сбережения в форме вкладов. Средства эти широко используются для кредитования японской экономики. Причем частные коммерческие банки, куда стекается основная масса личных сбережений, могут значительно дальновиднее, чем мелкие акционеры, учитывать общую конъюнктуру, а стало быть, использовать эти средства с наибольшей эффективностью. Итак, японские труженики подталкивают машину частного предпринимательства, во-первых, тем, что в сравнении со своей производительностью мало получают, а во-вторых, тем, что не тратят, а оставляют в банковском обороте значительную часть своих и без того заниженных доходов.

А японские предприниматели? Проявляют ли они такую же склонность ограничивать себя, откладывать на завтрашний день деньги, которые пригодились бы и сегодня? Совсем наоборот. Им присуща диаметрально противоположная черта: готовность постоянно быть по уши в долгах. Впрочем, сказать «по уши», пожалуй, даже недостаточно. Долги японских фирм в несколько раз превышают размер их капитала. Причем речь идет не о каких-то мелких предприятиях, находящихся на грани банкротства. Подобная степень задолженности



сам». Средства, которыми располагает японская компания, обычно на 80 процентов состоят из банковских кредитов и лишь на 20 процентов из акционерного капитала. Но ведь в Соединенных Штатах и Западной Европе нормальной считается как раз обратная пропорция. Может ли японская корпорация сохранять устойчивость, если ее финансовая структура подобна перевернутой пирамиде?

— Может, — отвечают японские дельцы, — если ее, как велосипед, хорошенько разогнать.

Действительно, такая финансовая акробатика предполагает высокие скорости — без них она просто немыслима. Получая банковские ссуды под весьма большие проценты, японский предприниматель вынужден делать ставку на стремительные темпы роста производства, искать самые радикальные пути повышения производительности труда, вновь и вновь переоснащать цехи, даже если ради этого приходится еще глубже залезать в долги.

Но больше завися от банковских кредитов, чем от акционерного капитала, японская компания может уделять больше внимания долгосрочным перспективам, чем текущим прибылям. Поскольку требования владельцев акций о ежегодных дивидендах звучат в этом случае куда менее весомо, управляющие смелее жертвуют накоплениями ради будущего успеха. Они готовы идти на большие затраты, которые окупятся лишь впоследствии, обучать рабочую силу профессиям, которые могут потребоваться лишь через несколько лет.

У промышленных корпораций вошло в практику ежегодно обновлять значительную часть оборудования. Во-первых, благодаря этому на внутреннем рынке страны постоянно поддерживается производственный спрос. А во-вторых, при столь активном обновлении техничес-



кой базы повышается эффективность производства. Японцы иронически прозвали такую экономику «велосипедной»: чтобы сохранять равновесие, нужно мчаться вперед.

В сравнении со сложившимися на Западе нормами тактика японских промышленников выглядит смелой, дерзкой, рискованной. Причем подобные же качества можно в полной мере отнести и к японским банкирам. Они без колебаний предоставляют новые ссуды, не дожидаясь полного возмещения старых. Передача займы до 95 процентов вкладов — нередкое явление для японских коммерческих банков. А ведь в других странах такую практику сочли бы авантюристической. Долги, вчетверо превышающие капитал фирмы, обрекли бы западного промышленника — да и его банкира — на бессонные ночи. В Японии же именно такая задолженность и перезадолженность, на которую соглашаются обе стороны, помогает индустрии быстро расти и модернизироваться.

Чем же объяснить такую смелую, даже рискованную практику финансирования японских предприятий? В действительности смелость эта выглядит вовсе уж не такой безрассудной, если учесть, что финансовую акробатику частного бизнеса в Японии страхует, поддерживает и направляет государство. Именно зависимость японских предпринимателей от банков помогает правительственным органам регулировать направления и темпы развития экономики. Огромная и постоянная задолженность японских фирм — это как раз те вожжи, с помощью которых правительство способно управлять частным бизнесом.

Поскольку капиталы фирм на четыре пятых состоят из банковских кредитов, уровень деловой активности легче поддается регулированию. Понижая или

220 повышая размер ссудного процента,



то есть делая кредиты то доступнее, то недоступнее, Центральный банк Японии как бы нажимает на разные педали экономической машины страны, то ускоряя, то тормозя ее движение.

Перечисляя источники ускоренного накопления капитала в Японии, мы отмечали, во-первых, низкий уровень личного потребления при высокой доле личных сбережений. (Добавлю, что в силу ряда особенностей японского образа жизни размеры паразитического потребления в верхушке общества заметно скромнее, чем в США и Западной Европе.) Мы говорили также о высокой доле заемного капитала, о готовности японских предпринимателей глубоко залезать в долги ради повышения уровня производства, об активной роли государственного регулирования. Но есть еще одно обстоятельство: сравнительно низкий уровень правительственных расходов. Благодаря этому государственные и местные налоги составляют в Японии 16 процентов валового внутреннего продукта, тогда как в США — 24, а в Англии — 39 процентов. Здесь, конечно, сказывается то обстоятельство, что, во-первых, в течение всех послевоенных лет Япония тратит на военные нужды лишь около одного процента ВВП. Во-вторых, что уже отнюдь нельзя назвать положительным фактором, в государственном бюджете Японии очень низка доля расходов на социальные нужды. (Этот показатель в два-три раза ниже, чем в Англии и других западноевропейских странах.)

Отметим еще одну примечательную черту экономики Страны восходящего солнца. Широкий импорт зарубежной технической мысли, на которую сделали ставку японские предприниматели, не сопровождали столь же широким притоком прямых иностранных капиталовложений. Японцы охотно занимали за рубежом



деньги, они не жалели средств на покупку лицензий и патентов, но всячески противились появлению на японской земле предприятий, где хозяйничали бы иностранцы. Япония стала одним из ведущих экспортеров мира. Однако считать, что ее экономическое развитие целиком опирается на внешнюю торговлю, было бы неверно.

Как ни парадоксально, Япония зависит нынче от экспорта меньше, чем в 30-х годах, когда дешевый текстиль, который она сбывала в Азии, составлял 30 процентов ее ВВП. Большая часть современных японских автомашин и цветных телевизоров предназначается для японских дорог и японских жилищ.

1851 год. Редакция лондонского журнала «Экономист». Автор передовицы подходит к окну, смотрит вниз на оживленную улицу, где с каждым днем становится все больше щегольских экипажей, ибо экономика Британской империи все учащает свой пульс. Автор возвращается к столу, задумчиво поглаживает бороду и вновь берется за перо. Он пишет, что Соединенные Штаты Америки в недалеком будущем обгонят Великобританию по годовому объему производства.

— Да этого же попросту не может быть, старина! — усмеваются рассудительные люди в лондонских пивных. Они ведь находятся в самом сердце первой промышленной державы мира, где индустриализация началась еще в конце XVIII столетия, в результате чего британская экономика безраздельно доминировала в мире почти весь XIX век.

Через два десятилетия после предсказанного заката в лондонских пивных по-прежнему хорохорятся. Ведь на долю Великобритании все еще приходится четверть мировой торговли, треть мирового промышленного производства.



Она выплавляет больше чугуна, чем все остальные страны, вместе взятые. Она владеет двумя пятими мирового торгового флота. Лондон остается признанным финансовым центром мира.

Но закат неумолимо идет. На фоне низких темпов роста в Англии США продолжают рваться вперед. И к 1913 году британской эре приходит конец. Англия остается ведущим экспортером мира. Никто не может равняться с ней по размерам зарубежных капиталовложений. Но в пивных с ворчанием вынуждены признать: страной номер один по годовому объему производства стали Соединенные Штаты, а от конкурентоспособности британской индустрии перед американской осталось лишь приятное воспоминание.

Но американская эра оказалась еще короче британской. С еще большим основанием, чем это сделал коллега из лондонского «Экономиста» в 1851 году, можно предсказать, что Япония скоро опередит США по такому ключевому показателю, как объем производства на душу населения.

Не ясно лишь, как поведет себя американец в подобной ситуации. Не соблазнится ли он подставить ногу обходящему его японцу? Когда свое первенство уступал англичанин, об этом речи не шло. (К чему поднимать шум? Это был бы не крикет!) В стране, где бизнес никогда не был особенно близок сердцам людей, риск национального шока был невелик. Другое дело — американец. Он целиком нацелен на успех с детских лет, с первого доллара, заработанного разноской газет. Несмотря на все передрыги послевоенных десятилетий: расовые волнения, упадок городов, — американец всегда мог подсластить их горечь конфеткой «Как бы то ни было, а наша экономика самая эффективная в мире. Ведь по годово-



му производству товаров и услуг на душу населения США далеко опережают другие страны».

И вот даже эта заветная конфетка уплывает теперь в раскрытый рот японца.

Хакан Хедберг (Швеция).
Японское возмездие. 1972

Трудно ожидать, чтобы американцы, которые привыкли думать о США как о стране номер один, признали бы, что во многих областях это первенство утрачено в пользу азиатской страны, и, тем более, чтобы они стали у этой страны учиться. Американцы охотно воспринимают любое объяснение экономических успехов Японии, если оно избегает признавать ее превосходство в конкурентной борьбе.

Куда легче объяснять все тем, что Япония, дескать, копирует западную технологию; что японские фирмы сбывают свои товары по бросовым ценам; что они преуспевают потому, что субсидируются правительством и выплачивают ничтожную зарплату или что японские фирмы вывозят свои товары в США, нарушая таможенные правила. Куда удобнее закрывать глаза на десятилетия неуклонной модернизации Японии, на эффективность ее экономики, на ее способность воспринимать новую технологию, на ее упорство в освоении новых рынков, на ее дисциплинированную рабочую силу. Куда удобнее не задаваться вопросом, почему японские бизнесмены везут товары в Америку, если они действительно продают их ниже себестоимости. Очень неприятно признавать, что японцы победили нас в экономическом соревновании благодаря превосходству и целеустремленности, организованности, усердию.

Эзра Фогел (США).
Япония как номер один.
Уроки для Америки. 1979





ПРОГРЕСС ЗА СЧЕТ ГАРМОНИИ

Проселочная дорога взбирается вверх, огибая выступы лесистых гор. Как непривычно ощущать величие и покой нетронутой природы, вглядываться в пестреющие маками луга, в лесистые взгорья, что, все гуще лиловея, уходят вдаль к снежной цели. Как странно шагать одному и слышать одно лишь птичье пение! От единственного попутчика — крохотного мальчугана с огромным скрипучим ранцем — удастся узнать, что автобус ходит здесь лишь дважды в день: ранним утром и поздним вечером (отчего и приходится возвращаться из школы пешком). Действительно, проехал почтальон на своем красном мотоцикле — и больше никого. Шагаешь по безлюдному проселку и не перестаешь удивляться: неужели это Япония? Та самая страна, где города и селения срослись воедино, где борозды полей и огородные грядки упираются в заводские корпуса; где о тесноте напоминают даже сиденья в автобусе или кресла в кинотеатре, даже окна и двери, которые не отворяются, а раздвигаются. Мало кому из приезжих раскрывает Япония свое другое лицо. Существует представление, что необжитые просторы остались лишь на Хоккайдо.

Хмурый берег Охотского моря. Будто кости на поле брани, белеют выброшенные волнами коряги плавника. Уходят к горизонту пологие взгорья, над которыми тяжело громоздятся облака. На бескрайних пустошах желтеют оду-



ванчики и лениво пасутся коровы. Овраги, поросшие лопухом. Березовые рощицы. Стога сена. Молочные бидоны на дощатых помостах. Редко разбросанные усадьбы с силосными башнями и длинными крытыми поленищами. Таков Хоккайдо — самый северный из четырех главных японских островов.

Но японская целина не только там. Чтобы увидеть ее достаточно лишь отклониться от цепочки человеческих муравейников, образующих так называемый Тихоокеанский промышленный пояс. Стоит свернуть в сторону от этого продымленного скопления машин и людей, как глазам откроются лесистые горы, реки с пенящимися водопадами, альпийские луга, тихие вулканические озера, дремлющие среди вековых елей. Такова северо-восточная и центральная часть Хонсю, таков юг Сикоку и юг Кюсю.

Площадь Японии не так уж мала. Это полторы Англии. Однако японская земля на пять шестых состоит из почти непригодных для освоения горных склонов. Плотность населения в Японии (300 с лишним человек на квадратный километр) меньше, чем в Бельгии или Голландии. Теснота здесь бросается в глаза прежде всего потому, что половина населения страны сгрудилась на полутора процентах ее территории.

Казалось бы, индустриальное развитие послевоенных десятилетий должно было привести к более равномерному размещению производительных сил, к освоению необжитых мест. Однако происходит обратное. Там, где людей много, население растет быстрее всего. Там, где их мало, оно уменьшается. Казалось бы, человек, ставший теперь куда более сильным в своем противоборстве с природой, человек, которому нынче по плечу срывать целые горы и отвоевывать у моря полосы суши, спосо-



освоении родной земли. Однако, хотя в стране имеется лишь шесть миллионов гектаров пашни, японское крестьянство почти не осваивает новых земель. В феодальные времена земледельцы были вторым сословием. По своему положению в обществе они уступали лишь самураям. Ниже стояли ремесленники, а на последней ступени — торговцы и ростовщики. Сам император поныне почитается первым из земледельцев и каждый год засекает крохотное поле возле своего дворца, чтобы осенью возблагодарить небо собственноручно выращенным зерном.

В условиях послевоенного экономического бума «второе сословие» оказалось под угрозой. Из-за индустриализации и роста городов сельские районы обезлюдели, земледелие стало «занятием дедушек и бабушек». Потребление риса сократилось вдвое. Зато японцы стали есть гораздо больше мяса и молока. А поскольку выращивать корма для скота и птицы в Японии негде, приходится импортировать кормовую кукурузу и сою.

После капитуляции Страна восходящего солнца лишилась колоний — Кореи и Тайваня, которые были рисовыми житницами империи. Поэтому по настоянию оккупационных властей правительство принялось убеждать японцев есть американскую пшеницу (начиная с бесплатных булочек в школьных завтраках). В результате хлеб и макаронные изделия вклинились в традиционный рацион.

Хотя сельское население за последние тридцать лет сократилось с 13 до 3 миллионов человек, Страна восходящего солнца по-прежнему полностью обеспечивает себя отечественным рисом. (Его ежегодные сборы стабилизировались на уровне 10 миллионов тонн), но в дополнение к этому ввозит около 5 миллионов тонн пшеницы, а также 20 миллионов тонн кукурузы и сои.



По урожайности риса — 63 центнера с гектара — Япония занимает третье место в мире после Испании и Южной Кореи. Однако себестоимость здешнего риса очень высока. Большинство японских земледельцев имеют наделы примерно в полтора гектара, и лишь на равнинах северного острова Хоккайдо — вдесятеро больше. Поэтому конкурировать с крупным, поставленным на индустриальную основу зерновым производством американских или канадских фермеров они не могут. Чтобы защитить отечественных рисоводов, правительство контрактует весь урожай по рентабельной для крестьян цене и продает его потребителям даже несколько дешевле.

Зарубежные экономисты не раз советовали Японии учесть ограниченность ее посевных площадей и перейти от риса к более доходным культурам. Скажем, по примеру Израиля выращивать под пленкой клубнику или дыни, а нужное стране зерно приобретать на мировом рынке. Однако в данном вопросе Токио руководствуется не коммерческой выгодой, а прежде всего соображениями продовольственной безопасности.

А тут за последние три десятилетия произошли изменения, которые не могут не настораживать страну, расположенную на изолированных островах, где рискованно полностью полагаться на импорт продовольствия. Если тридцать лет назад самообеспеченность Японии продовольствием составляла 73 процента, в том числе зерном 62 процента, то ныне эти цифры снизились, соответственно, до 41 и 28 процентов.

Неограниченный импорт более дешевого продовольствия из-за рубежа мог бы разорить отечественных землевладельцев.

Однако в правительстве своевременно
228 рассудили, что прекращать и возоб-



новлять производство нельзя, словно поворотом крана. Если со сцены уйдет последнее поколение рисоводов, вернуться к самообеспеченности зерном при чрезвычайных обстоятельствах страна уже не сможет. Поэтому правительство продолжает защищать землевладельцев, дабы решать ключевую задачу сельского хозяйства — в достатке снабжать японцев главной продовольственной культурой — рисом.

Превратившись во вторую индустриальную державу мира, Япония уже не может следовать девизу предков: «земледелие — основа государства». Сельское хозяйство дает ныне менее 2 процентов валового внутреннего продукта. Однако в абсолютных цифрах это свыше 80 миллиардов долларов, что отнюдь не мало для сектора экономики, где занято всего 5 процентов рабочей силы. О полной самообеспеченности рисом уже говорилось. Кроме того, три миллиона крестьян на 80 процентов снабжают страну овощами, наполовину — фруктами и мясом, а местные рыбаки дают почти две трети потребляемых морепродуктов. Итак, «второе сословие» сумело выжить, несмотря на индустриализацию и урбанизацию, по-прежнему оставаясь кормильцем жителей Страны восходящего солнца.

Глубинная часть префектур Киото, Окаяма, Хиросима. Живописный край лесистых гор и возделанных долин. Сама природа, сам образ жизни олицетворяли тут исконную Японию. После страдной поры на поливных рисовых полях мужчины уходили в горы выжигать уголь, женщины выращивали тутовый шелкопряд.

Эта часть страны, обращенная к Японскому морю, называется Сангин («В тени от гор»). Сейчас такое название трактуется уже отнюдь не как поэтическая метафора, а как образ края, оказавшегося в тени экономической, в тени



социальной. Здесь обезлюдели, словно вымерли, целые волости. Ездишь проселочными дорогами и дивишься — до чего красиво стоят эти покинутые села! Добротные, просторные дома под островерхими камышовыми крышами хранят подлинные черты национального зодчества. Усадьбы кажутся обитаемыми. Мандариновые деревья усыпаны оранжевыми плодами. На огородных грядках что-то зеленеет. Зайдешь в дом — по стенам аккуратно развешан инвентарь, на полках — старинная домашняя утварь, возле очага запасен хворост. Все оставлено, словно хозяевам пришлось спасаться бегством.

Когда ходишь по безмолвному «поселку призраков» среди покинутых крестьянских усадеб, когда видишь поросшие сорняками, занесенные песком рисовые поля, трудно совместить это с укоренившимся представлением о Японии как о перенаселенной стране, где вроде бы ни один клочок земли не пропадает зря. Но обезлюдевшие сельские районы — такая же горькая реальность современной Японии, как скученность половины населения страны на полутора процентах ее территории.

Не правы те, кто утверждает, будто Япония живописна лишь там, где природа ее осталась нетронутой. Разве не волнуют душу созданные поколениями ступенчатые террасы рисовых полей, шелковый блеск воды между шеренгами молодых стебельков? Или чайные плантации, где слившиеся кроны аккуратно подстриженных кустов спускаются по склонам, словно гигантские змеи? Или похожие на шеренги солдат мандариновые рощи, где возделаны и засажены даже междурядья? Ухоженность, отношение к полю как к грядке или клумбе — характерная черта Японии, один из элементов ее живописности. А разве не красит пейзаж бетонная лента автострады между Нагоя и



Кобэ или гордый изгиб моста, перекинувшегося через озеро Бива?

Человеческий труд способен приумножать красоту природы пропорционально разумности его приложения. Но именно там, где облик Японии в наибольшей степени изменился, бросается в глаза надругательство над красотой, особенно вопиющее потому, что ее так умеют ценить. Современная Япония является собой как бы двоякий пример для человечества: и положительный, и отрицательный. С одной стороны, своим жизненным укладом японцы опровергают домыслы о том, будто научно-технический прогресс отдаляет человека от природы, от умения ценить ее красоту. Но с другой стороны, облик Японских островов тревожнее других уголков Земли предостерегает в наш век против последствий неразумного отношения человека к окружающей среде.

Автострада, ведущая из Токио в Осаку, огибает территорию бывшей всемирной выставки «Экспо-70». Она проходила под девизом «Прогресс и гармония для человечества». Нельзя не задуматься над этими словами применительно к самой Японии. Вырваться в число ведущих индустриальных держав — это, бесспорно, прогресс. Однако поставить рядом слово «гармония» можно лишь со знаком минус. Это прогресс за счет гармонии.

Америку когда-то называли богатырем с маленькой головой, имея в виду, что духовное развитие США не поспевало за стремительным экономическим ростом. Японию точнее было бы сравнить с человеком, который чрезмерно увлекся наращиванием мускулов в ущерб сердцу, кровеносным сосудам, печени и почкам.

Японские предприниматели радели о расширении производственных мощностей, гипнотизировали себя цифрами роста валового внутреннего про-



дукта. Но чем гуще становился лес заводских труб, тем болезненнее сказывалось отставание социальных тылов, давала о себе знать нездоровая концентрация индустрии и населения. Японские дельцы куда щедрее, чем их западные соперники, вкладывали средства в обновление техники и технологии. Зато они были слишком скупы в затратах на все то, что обслуживает производство и самого труженика. Рывок индустрии к переднему краю научно-технического прогресса был совершен за счет отставания транспортной сети, коммунального хозяйства, жилищного строительства. Уже говорилось, что на социальные нужды в японском бюджете выделяется в два-три раза меньше средств, чем в других развитых странах.

С территорией «Экспо-70», именовавшейся «городом будущего», почти соседствует поселок Амагасаки. Здесь воочию видишь отрицательные последствия происшедших перекосов. Амагасаки — это чудовищная теснота. Именно здесь, в Тихоокеанском промышленном поясе, на пяти тысячах квадратных километров вынуждены жить и трудиться 50 миллионов человек. Это место, где земля оседает, потому что для промышленных нужд из почвы выкачано слишком много грунтовых вод. Наконец, это воздух, отравленный дымами тысяч труб, родивший новую болезнь — «астму Амагасаки».

К числу стихийных бедствий, издавна угрожающих Японии, добавилось еще одно. Новоиспеченное слово «когай» (его употребляют вместо громоздкого термина «загрязнение природной среды промышленными отходами») стало в 80–90-х годах таким же ходовым, как в 50–70-х годах было слово «ВВП». Последствия нездоровой концентрации промышленности, бесконтрольного роста городов стали в наш век общемировым



явлением. Но чтобы представить себе, насколько страдает от этого Япония, недостаточно лишь сопоставить с ведущими индустриальными странами объем ее валового внутреннего продукта как основного показателя экономической активности.

Чтобы понять остроту проблемы «когай» для японцев, считает шведский экономист Хакан Хедберг, нужно посмотреть, сколько ВВП приходится на каждый квадратный километр за вычетом непригодных к освоению горных склонов и возделанных полей. По расчетам Хедберга, такое «пространство для работы и жизни» составляет в Японии 46 тысяч квадратных километров. Это почти столько же, сколько в Англии, и в сорок раз меньше, чем в Соединенных Штатах. К 80-м годам наращивание производственных мощностей дошло до критического рубежа, когда обозначилась нехватка земли, воды и даже воздуха. Количество производственных отходов достигло нынче 450 миллионов тонн в год, да бытового мусора — еще 50 миллионов тонн. К 2008 году в Японии попросту не останется места для их захоронения. Метод сжигания тоже себя исчерпал, ибо по выбросам диоксина Япония вышла на первое место в мире.

Такие выражения, как «охрана окружающей среды», «качество жизни», перестали быть уделом узкого круга специалистов. Даже газеты и телекомпании, которые пели хвалебные гимны божеству по имени «ВВП», принялись предавать анафеме побочное детище этого божества — «когай». Стало очевидным, что Япония в основном исчерпала те преимущества, на которые она опиралась в течение первых послевоенных десятилетий: дешевая и образованная рабочая сила, дешевое привозное сырье и топливо, доступная по сходной цене зарубежная технология, ставка



на новые виды продукции для прорыва на мировые рынки. Обострение социальных проблем, которыми в угоду росту производства слишком долго пренебрегали, рост номинальной зарплаты до самого высокого в мире уровня и трудности с омолаживанием рабочей силы, вздорожание нефти, руды — все это тормозит развитие экономики и внешней торговли Японии. Все это ставит нелегкий вопрос: как поведет себя «велосипедная экономика» на иных, сниженных скоростях?

И вот как раз на этом драматическом рубеже, когда разительно выявились перекосы однобокого развития, Япония с небывалой силой ощутила внешнюю уязвимость своей экономики. Зависимость от привозных ресурсов и прежде являла собой слабое место Страны восходящего солнца. Но никогда еще уязвимость эта не напоминала о себе столь тревожно. Можно ли надеяться на стабильность поставок сырья, и прежде всего нефти, поступающей из такого взрывоопасного района, как Ближний Восток?

В начале 40-х годов, когда 80 процентов необходимой Японии нефти шло из Соединенных Штатов, Токио ответил на американское нефтяное эмбарго ударом по Перл-Харбору. Но, даже обладая военно-морским флотом, который считался одним из самых сильных в мире, Страна восходящего солнца оказалась не в состоянии обеспечить поставку трех миллионов тонн нефти в год. Где уж тут уповать на военную силу теперь, когда японская экономика поглощает почти по миллиону тонн нефти в день!

К чему приведет растущее сопротивление японской внешнеторговой экспансии со стороны развитых государств? Не окажутся ли рынки Северной Америки и Западной Европы закрыты протекционистскими мерами из-за хронического



перекоса торгового баланса в пользу Японии, которая неизменно ввозит в эти страны больше товаров, чем вывозит оттуда? Наконец, как защитить завоеванные позиции от «четырех азиатских драконов»? Ведь Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур используют сочетание новой закупленной за рубежом технологии с дешевой рабочей силой, то есть те самые преимущества, на которые в 50–70-х годах опиралась Япония.

Словом, как внутренние, так и внешние факторы поставили правящие круги Токио перед необходимостью пересмотреть экономическую стратегию послевоенных десятилетий. В 50-х годах японский производственный потенциал, основой которого с довоенных лет служила легкая промышленность, был переориентирован на тяжелую и химическую индустрию. Это соответствовало росту мирового спроса на сталь, суда, продукты нефтехимии.

Ныне взят курс на преимущественное развитие наукоемких производств при сдерживании энергоемких и материалоемких отраслей, особенно тех, которые наиболее пострадали от вздорожания нефти, а также от возросшей конкуренции со стороны «четырех драконов». В ходе такой перестройки предстоит постепенно свернуть, то есть принести в жертву, даже многие отрасли, которые прославили послевоенную Японию, например металлургию, судостроение, бытовую электротехнику.

Новая экономическая стратегия предусматривает также перенос производственных мощностей за пределы Японии. Курс, попросту говоря, взят на то, чтобы экспортировать «когай» в другие страны. Построены, например, танкеры, которые служат плавающими нефтеперегонными заводами. Они делают свое дело на долгом пути от Персидского залива, оставляя дым



и копоть на океанских просторах, вместо того чтобы окуривать японское небо.

Другой, более распространенный путь — строить заводы за рубежом. Ведущие японские концерны выпускают более половины продукции за пределами страны. Это позволяет более надежно обеспечить потребности в сырье, использовать дешевизну рабочей силы, а нередко и обходить таможенные барьеры. (Если, скажем, телевизор фирмы «Сони» сошел с конвейера в Ирландии, его можно беспошлинно продавать в странах Общего рынка.) По размерам зарубежных капиталовложений Япония вышла на одно из первых мест в мире.

Выше говорилось, что из-за отсутствия собственных природных ресурсов Япония вынуждена быть гигантским перерабатывающим заводом и одновременно — экспортно-импортной фирмой. Теперь ставка делается на то, чтобы Япония все больше становилась конструкторским бюро и главным сборочным цехом, куда поступали бы полуфабрикаты и детали из цехов — филиалов, расположенных в других государствах. Нетрудно видеть, что монополии хотели бы распространить выгодное им сочетание «утесов» и «песчинок» за пределы японских рубежей.

— Промышленная слава послевоенной Японии родилась в области электрификации быта, — говорил мне президент фирмы «Ниппон дэнки» господин Кобаяси. — Но это направление уже себя исчерпало. Не только потому, что отечественный рынок в основном насыщен бытовой электротехникой.

Дело прежде всего в том, что новинки, благодаря которым Япония совершила успешный прорыв на мировые рынки в 50–70-х годах, перестали быть ее монополией. Гонконгу потребовалось десять-пятнадцать лет, чтобы освоить выпуск портативных



мерно такой же срок, чтобы начать производство цветных телевизоров. Будущее Японии — наукоемкие производства. Сочетание компьютеров с телекоммуникационным оборудованием открывает новые возможности для накопления и распространения информации для передачи на расстояние как текстов, так и изображений. Это позволяет сделать реальностью электронную почту, электронную газету, электронную справочную библиотеку. Словом, если прежде мы экспортировали овеществленный труд, то впредь основой японского экспорта должен стать овеществленный разум...

Если бы в Париже построили виадук над папертью собора Парижской Богоматери, в Версале — маленькую Эйфелеву башню, чтобы смотреть на дворец сверху; если бы металлургические предприятия компании «Юзинор» избрали Лазурный берег местом строительства своих доменных печей; если бы за римским Колизеем появился завод и на афинском Акрополе — Луна-парк, мы имели бы нечто сходное с тем ущербом, который наносит Японии неистовая модернизация. Японский капитализм, порой жестокий с людьми, еще меньше церемонится с природой: он слишком спешит. Законы, дающие ему всякого рода права, налагают на него мало обязанностей в отношении общества...

Робер Гийен (Франция).
Столетие Японии. 1967

За последние десятилетия в жизни японского потребителя произошли радикальные перемены. Современная бытовая электротехника в обычной японской семье стала нормой, а не исключением. Это явилось результатом неуклонного роста японской экономики. Тем не



менее, если заглянуть глубже, можно обнаружить множество разительных признаков отсталости, сосуществующих с новейшими бытовыми приборами. Такая бедность среди обилия особенно бросается в глаза в области жилищных условий и коммунальных услуг. Большинство японцев все еще живут в тесных комнатках, в домах, далеко не отвечающих современным стандартам. Улицы узкие, часто без твердого покрытия, обычно без тротуаров. Система канализации и уборки мусора невероятно отстала. Служащие проводят долгие часы в переполненных поездах.

Хотя Япония стала одной из ведущих индустриальных держав мира, качество жизни обычного гражданина остается поразительно плохим. Произошло вот что: слишком много энергии пошло на выпуск товаров частными производителями и слишком мало — на строительство хорошей социальной инфраструктуры. Точнее говоря, японская экономика могла расти столь быстро потому, что при этом сознательно игнорировался вопрос о социальных тылах, дабы сосредоточить все ресурсы страны на расширении индустрии.

Роберт Одзаки (Япония).

Япония: психологический портрет. 1978





ПОТЕРЯННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Я начал писать эту книгу в 60-х годах, в период своей журналистской работы в Японии. Тогда в Токио еще не было ни высотных зданий, ни эстакадных автострад. По улицам бегали трехколесные «Хонды» — гибриды автомобиля и мотоцикла. Поезд до Киото шел больше шести часов. А самым модным заграничным сувениром был карманный транзисторный приемник — первая примета японского экономического чуда. А потом на моих глазах Япония стремительно вырвалась в число мировых лидеров, бросая вызов двум сверхдержавам в лице Соединенных Штатов и Советского Союза. Она заполонила весь свет своими автомашинами, телевизорами, бытовой электротехникой. Механизм, породивший японское чудо, продолжает функционировать. Япония по-прежнему экспортирует больше, чем импортирует.

Но с конца 80-х годов блеск японского экономического чуда померк. Запрограммированная на высокие скорости экономика Страны восходящего солнца стала давать сбои. Ее доля рынков по таким ключевым показателям, как полупроводниковые компоненты, компьютеры, автомашины, стала сокращаться. По производительности труда Япония с первого места в мире скатилась на четвертое после США, Сингапура, Гонконга.

Японцы привыкли делать упор на производство, а не на сервис и финансы. На собственные силы, а не на иностранные инвестиции. На долгосрочную ста-



бильность, а не на быстрый успех. Однако эти сильные стороны японской экономической модели стали источником ее слабости. Административно-командная экономика, в которой чиновники определяют приоритеты и регулируют ресурсы, в сочетании с патриархальным характером производственных отношений работала эффективно, когда надо было догнать Запад. Но жизнь показала, что в период глобализации и информатизации ни одна страна не вправе оставаться изолированным островом. И тут Япония оказалась жертвой собственных успехов.

Десятилетие назад излюбленной темой карикатуристов были два бегуна: тучный, задыхающийся дядя Сэм, которого обходит низкорослый, поджарый японец. Теперь роли поменялись. У американской экономики как бы открылось второе дыхание. Ее продолжительный подъем совпал для Японии с периодом небывало глубокого и затяжного спада. Жители Страны восходящего солнца называют теперь 90-е годы не иначе, как «потерянное десятилетие». Что же произошло?

К 1985 году Япония окончательно утвердилась в качестве «мастерской мира» (наподобие Англии XVIII века), став крупнейшим экспортером промышленной продукции. Целое десятилетие она ежегодно продавала на сто миллиардов долларов больше, чем покупала. Однако вместо того, чтобы использовать эту выручку на нужды постиндустриального периода, как поступили американцы, сделав ставку на развитие информационных технологий, японцы предпочли спекулировать недвижимостью и ценными бумагами. Они купили Рокфеллер-центр в Нью-Йорке, киностудию «Коламбия» в Голливуде, раздавали кредиты направо и налево. Мыльный пузырь биржевых спекуляций в конце



резко упали, акции и облигации обесценились. Банки оказались под бременем безнадежных долгов.

В 50–80-х годах Япония побеждала конкурентов потому, что не жалела средств на покупку зарубежных лицензий и патентов, много инвестировала, много экспортировала, мало потребляла. В этих условиях было оправданным «царство групп» — система пожизненного найма, неизменный круг верных поставщиков и стабильных источников финансирования. Однако на фоне массированного внедрения информационных технологий произошла глобализация экономической деятельности. Это поставило под удар такие черты японской самобытности, как групповое мышление, клановая верность, самопожертвование ради общего блага. Информационные технологии как бы снизили роль человеческого фактора, который прежде помогал японцам побеждать конкурентов.

Качество программного обеспечения становится важнее верности рабочих своему предприятию или родственных отношений с поставщиками. Компьютерные сети заменили собой преимущества давних патриархальных уз. Теперь можно мгновенно передать заявку хоть на тысячу адресов и выбрать оптимальные предложения. Чем больше открытости в экономической деятельности, тем меньше оснований у фирм замыкаться лишь на свою финансово-промышленную группу как на единственный источник средств и тем больше соблазн добывать их самостоятельно на фондовом рынке. Чем острее конкуренция, тем меньше желания подчиняться жесткой дисциплине своей группы или какому бы то ни было государственному регулированию.

Создатель партии «Новые рубежи» Итиро Одзава, ратующий за реформирование традиционного японского образа жизни, часто приводит такое сравнение.

Когда его соотечественники приезжают



в США и видят Большой каньон, их больше всего поражает отсутствие каких-либо ограждений перед стометровым обрывом. С американской точки зрения, отмечает Одзава, каждый должен сам отвечать за себя. Тогда как, на взгляд японцев, власти обязаны всегда заботиться об их безопасности. Пожалуй, это удачная метафора. Со времени революции Мэйдзи в 1868 году японские компании привыкли чувствовать себя под защитой государства, словно торговые корабли в сопровождении конвоя. Привыкли к тому, что конкуренция допустима лишь в четко ограниченной зоне.

Непреходящей ценностью, неизменным приоритетом японцы склонны считать сохранение статус кво, анонимного общего согласия. Это не оставляет места ни для личной ответственности, ни для личной инициативы. Если американский культ успеха основан на том, что талант и усердие вознаграждаются, то у японцев не в обычае восхищаться теми, кто вырвался вперед, а наоборот, принято «бить по гвоздю, шляпка которого торчит из доски». Промышленная революция произошла в Японии раньше, чем революция интеллектуальная. Социальный консерватизм японского общества утверждал дисциплину и гармонию, поощрял усердие и обеспечивал стабильность, но блокировал новых людей и новые идеи.

К тому же основанное на состязательности американское общество дает всякому, кто потерпел неудачу, возможность вновь и вновь повторить попытку. В Японии же у неудачника практически нет шансов начать все сначала. Ибо тот моральный капитал, который человек приобрел благодаря длительному стажу на фирме, нельзя перенести на новое место работы.

Что же надо сделать, дабы вернуть японской экономике былой динамизм? По мнению таких реформаторов, как Одзава,

242 для этого необходимо сократить госу-



дарственное вмешательство в предпринимательскую деятельность, полностью открыть внутренний рынок, либерализовать финансовую систему, продвигать людей по службе в зависимости от личных заслуг, а не от стажа, реформировать образование, перейти от унифицированных знаний к развитию у молодежи творческого начала, умению мыслить самостоятельно.

«Японское видение XXI века» — так называется документ, который в 2000 году подготовили для правительства лучшие умы страны. «Экономическая и социальная глобализация, информационно-технологическая революция, ускоряющийся прогресс науки, снижение рождаемости и старение населения в индустриальных странах — все это быстро меняет знакомый нам мир», — отмечают авторы доклада. Они делают вывод: изменившиеся условия требуют, чтобы Япония превратилась из «царства групп» в «царство личностей». Нельзя допускать, чтобы традиции и обычаи подавляли новые идеи и неординарные поступки.

В последние годы Японию прославили такие изобретения, как караоке и тамагочи. Однако Страна восходящего солнца до сих пор экспортирует вдвое меньше технологий, чем импортирует. Тогда как США продают вчетверо больше лицензий и патентов, чем покупают. Впрочем, положение отнюдь не безнадежно. Каждая третья японская семья имеет нынче персональный компьютер. Их теперь ежегодно раскупают по 10 миллионов штук — больше, чем телевизоров. Стремительно растет число мобильных телефонов.

Когда я попал в Японию после долгого перерыва, меня больше всего поразила одна уличная сцена. Старшеклассницы гурьбой возвращались из школы. Причем те, что шли в последних рядах, переговаривались с первыми по сотовым телефонам. Вскоре я убедился, что это не случайный эпизод. Мобильник в руке — та-



кая же примета школьной моды, как спускающиеся нелепыми складками до колен белые чулки. Именно молодежь, и прежде всего подростки, составляют в Японии категорию людей, чаще всего пользующихся сотовой связью. Среди них этот показатель составляет 64 процента против 12 процентов в США.

К удивлению специалистов по маркетингу, дошшно изучающих запросы каждой возрастной группы, оказалось, что именно сотовый телефон стал для японских подростков главной статьей расходов. Они тратят на него четверть своих карманных денег — больше, чем на компакт-диски, компьютерные игры и иллюстрированные журналы, которые еще недавно доминировали в подростковом бюджете.

— Без своего мобильника я теперь не могу прожить и дня, — говорит восьмиклассница Наоми, с которой я разговорился в метро. — До гимназии я добираться больше часа и могу болтать с подругами, пока еду. А главное, знакомые могут звонить по вечерам прямо в мою комнату. Им не надо просить родителей позвать меня к трубке, объяснять, кто и о чем хочет со мной говорить...

При этом я со вздохом вспомнил свои молодые годы, когда отнюдь не у каждой московской девушки был телефон, да и тот чаще всего висел в коридоре коммунальной квартиры. Наоми рассказала, что теперь при знакомстве юноши и девушки на пару минут обмениваются мобильниками, чтобы ввести в их память свои имена и номера телефонов.

В телефонном аппарате Наоми значатся около трехсот знакомых. И по их числу подруги негласно соревнуются друг с другом.

Думаю, что ажиотажный спрос на мобильные телефоны, охвативший Японию — в 1993 году их было 2 миллиона, в 1995 году — 10 миллионов, в



2000 — около 50 миллионов, — в немалой степени объясняется особенностями японского характера. С одной стороны, образ жизни японцев, их традиционная мораль заставляют человека быть застенчивым, как бы носить маску. А с другой — рождает чувство одиночества, жажду общения, стремление ощутить причастность к некоему кругу людей.

Еще на рубеже 90-х годов Япония была полностью телефонизирована — 44 абонента на каждые 100 жителей. Число аппаратов сравнялось с количеством семей. Теперь в стране больше мобильных, чем стационарных телефонов. Да и квартирный аппарат стал совершеннее. Каждая пятая японская семья обзавелась автоответчиком и факсом. По факсимильной связи ведется деловая переписка. Правда, теперь у нее появился соперник — электронная почта. В 2000 году в Японии насчитывалось 15 миллионов пользователей Интернета. По их доле — 12 процентов населения — Страна восходящего солнца занимает ныне лишь тринадцатое место в мире. Объясняется это, во-первых, тем, что в США половина семей имеют персональные компьютеры, тогда как в Японии — лишь третья часть. Во-вторых, иероглифическая письменность затрудняет пользование клавиатурой компьютеров. Наконец, подключение к «всемирной паутине» стоит в Японии гораздо дороже, чем в Северной Америке и Западной Европе.

На беду Японии, Интернет получил бурное распространение в 90-х годах. Как раз тогда ее экономикой парализовал затяжной спад, совпавший с небывало длительным подъемом деловой активности в Соединенных Штатах. В результате Япония оказалась на обочине информационной революции, утратила только что обретенное ею положение мирового лидера, которое она ценой самоотверженных усилий завоевала



в 50–80-х годах. Именно поэтому японцы с горечью называют 90-е годы «потерянным десятилетием».

Впрочем, японцы не раз подтверждали свою способность догонять, быстро совершенствоваться и внедрять в массовое производство технологии, созданные в других странах. Ныне они решили делать главный упор не на персональный компьютер, а на сотовый телефон. Уже более 70 миллионов японцев имеют мобильники с прямым выходом в Интернет. Через свой аппарат они могут принимать и отправлять сообщения по электронной почте, совершать банковские операции, заключать сделки в сети электронной торговли и даже рассчитываться за проезд по платным автострадам, не тратя времени в очередях перед терминалами.

Итак, Стране восходящего солнца снова приходится догонять Запад, раньше ее устремившийся в век информатики и кибернетики. Японцы, как и прежде, ищут новые пути, пытаются применить в новых целях уже имеющиеся преимущества. Взять, к примеру, такую область японского лидерства, как роботостроение. Страна восходящего солнца вот уже 30 лет широко применяет роботы в производстве. На ее долю приходится почти 60 процентов действующих в мире промышленных роботов. Практически безлюдные цехи японских автозаводов выглядят, как сцены из научно-фантастического романа. Самые трудные для людей операции, например сварка кузовов, с безукоризненной точностью выполняют не знающие ни усталости, ни понедельничного похмелья роботы.

Кибернетика почему-то особенно близка сердцу японских ученых и инженеров. В то время как их американские коллеги сделали ставку на информационные технологии, японцы изобрели тамагочи — виртуальное существо, привлекающее человека лишь тем, что о нем надо постоянно про-
являть заботу.



Огромный коммерческий успех имела новинка концерна «Сони» — собачка Айбо. Этот робот-щенок поворачивает голову на зов, виляет хвостом перед хозяином и лает на чужих. Он был выставлен на продажу в Токио по цене около 2500 долларов. Причем 3000 таких игрушек разошлись за 20 минут. 2000 собачек Айбо были за 4 дня проданы на Западном побережье США, правда, большинство покупателей и там составили японцы.

Если щенок Айбо восхищает как чудо кибернетики, то владелец котенка Тама подчас вообще забывает, что его любимец — робот. Он ласкается к хозяину, мурлычет, закрывая глаза, но способен и выпускать когти. Кибер-котенок, созданный корпорацией «Омрон», не только развлекает детей, но и скрашивает одиночество престарелых.

Автор котенка Тама, инженер Таканори Сибата, сначала работал над промышленными роботами. Но теперь стал энтузиастом нового направления.

— Я хочу, чтобы роботы вошли в быт людей, стали их спутниками и друзьями...

Воплощением этой мечты может служить медвежонок Кума, созданный концерном «Мацусита». Это робот-сиделка, предназначенный присматривать за одинокими стариками и быть связующим звеном между ними и ближайшей поликлиникой.

Когда 77-летняя пенсионерка Кадзуко Томияма выходит из спальни, она слышит голос медвежонка Кума: «Доброе утро. Не забудь, что сегодня в 11 часов тебе идти к врачу. Оденься потеплее — на улице 13 градусов».

За этим следует принятый у японцев обмен приветственными фразами. Причем каждый диалог записывается на пленку и передается на пульт местного собеса. Если владелец не отвечает на реплики робота, в ближайшей поликлинике



звучит сигнал тревоги и на место выезжает бригада «Скорой помощи».

— Меня всегда пугала судьба моего одинокого соседа, который умер у себя дома, а люди узнали об этом лишь две недели спустя, — говорит Кадзуко Томияма. — Теперь, под присмотром медвежонка я спокойна. Приятно, что он помогает в доме — зажигает свет, включает кондиционер, а попросишь — и телевизор.

По мнению инженера Сибата, емкость рынка домашних роботов может составить в Японии 10 миллиардов долларов — а это вдвое больше, чем нынешний рынок промышленных роботов. Так что игрушки вроде щенка Айбо, котенка Тама и медвежонка Кума — это не пустяк. Да и технологии, нужные для их изготовления, двигают Японию вперед, в век информатики и кибернетики.

Вот уже в третий раз — как в 1868 и 1945 годах — Страна восходящего солнца переживает переломный момент в своей истории. Первый перелом совершил император Мэйдзи, которого соотечественники сравнивают с Петром Великим. Его реформы положили конец периоду полной изоляции от внешнего мира и поставили Японию на путь модернизации под девизом «западная техника — восточный дух». Второй перелом произошел после разгрома японского милитаризма. Тогда удалось удачно провести конверсию централизованного военно-промышленного комплекса, правильно выбрать наиболее перспективные отрасли для экспортно ориентированного производства и превратить Японию во вторую экономическую сверхдержаву мира.

К концу 80-х годов была достигнута цель, служившая национальной идеей для послевоенных поколений японцев: доказать, что они ни в чем не уступают тем, кто по-

248 бедил их во Второй мировой войне.



На пороге XXI века Япония вновь оказалась на перепутье. Ее «секретное оружие», важное слагаемое успеха послевоенного экономического чуда: семейственность, патриархальность в трудовых и деловых отношениях (за что японцы называют свою страну «кадзоку-кокка» — государство-семья) — все это оказалось устаревшим в постиндустриальном обществе.

Промышленная революция середины XVIII века в Англии изменила не только способ производства, но и образ жизни людей, характер их взаимоотношений, систему ценностей. Такие же принципиальные сдвиги сулит и информационно-технологическая революция на рубеже XXI века. Именно в силу своей самобытности Япония ощущает это особенно остро. Новая национальная цель — превратиться из «царства групп» в «царство личностей» — стала безотлагательной необходимостью. И вот на нынешнем, третьем крутом вираже японской истории под перекрестным огнем критики оказалось именно то, чем Страна восходящего солнца привыкла гордиться, — народное образование.

Его стержнем, как уже отмечалось, служит экзаменационная система, основанная на конфуцианских принципах отбора чиновников в Древнем Китае. Суть ее — приучать людей запоминать, а не размышлять; поступать, как принято, а не искать самостоятельных решений; следовать традициям, а не ломать их. Такое народное образование отвечало запросам массового серийного производства, когда требовалась горстка умных генералов и армия послушных рядовых.

Но вот пришла эпоха информационных технологий. А Интернет — инструмент сугубо индивидуальный. Японский метод принятия решений на основе анонимного общего согласия с ним плохо сочетается. Ключом к успеху служит теперь лич-



ная творческая инициатива. Коллективизм, который в 50–80-х годах был для Японии источником силы, ныне стал причиной ее слабости.

Пожалуй, самым наглядным воплощением недостатков японского народного образования может служить то, что среди ученых Страны восходящего солнца лишь шесть нобелевских лауреатов, тогда как в США их более полутораста.

«Чтобы преуспеть в американском обществе, человек должен выявить какой-то присущий именно ему талант и настойчиво развивать, совершенствовать его. В Японии же слишком мало уважается личная творческая инициатива, нет состязательности при ее раскрытии. От массового производства усредненно образованных специалистов нам пора переходить к отбору и воспитанию интеллектуальной элиты», — говорит физик Лео Эсаки, лауреат Нобелевской премии 1973 года.

До сих пор не только школьников, но и студентов побуждали лишь запоминать то, что написано в учебниках или сказано на занятиях. Задачей народного образования было вырастить образцовых японцев, способных ставить общий успех выше личных амбиций. Как метко заметил мне в Токио американский коллега, если на Западе взрослеть — значит становиться более независимым, то у японцев происходило как раз наоборот.

По поручению покойного премьер-министра Обути группа лучших умов страны представила на рассмотрение правительства свой доклад «Японское видение XXI века». Документ призывает воспитывать у молодежи дух новаторства, видеть в разнообразии источник силы. Среди самых сенсационных рекомендаций — придать английскому статус второго государственного языка, дублировать на нем все официальные



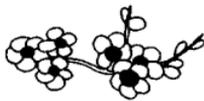
документы. Авторы «Японского видения XXI века» с горечью констатируют, что по владению английским, который фактически стал языком Интернета, японцы стоят на одном из последних мест в мире.

В XXI веке предлагается приватизировать преподавание английского в рамках радикальной реформы японского народного образования. Она подразумевает сорокапроцентное сокращение общеобязательной программы и переход на трехдневную школьную неделю. Учащиеся должны будут посещать школу по понедельникам, средам и пятницам. А на высвободившиеся бюджетные средства детям будут раздавать ваучеры, чтобы по вторникам и четвергам они могли по своему выбору посещать дополнительные частные курсы по изучению английского языка, а также других предметов, то ли с физико-математическим, то ли с гуманитарным уклоном.

Итак, вступая в XXI век, Япония намерена превратиться из «царства групп» в «царство личностей». Для этого необходимо внести коррективы в традиционные нормы этики и морали, культивировать автономию индивидуума.

До недавних пор считалось, что Япония первой доказала: модернизация отнюдь не обязательно означает вестернизацию, отказ от азиатских ценностей в пользу западных. Теперь, когда Японии приходится расплачиваться за отрицание индивидуализма, на Западе ждут, что она наконец шагнет в сторону американской модели. Но Страна восходящего солнца вряд ли станет подобием Соединенных Штатов даже в эпоху глобализации и информатизации. Она знала перемены и прежде, но всегда менялась по-своему, по-японски. Перенимая что-то из-за рубежа, Япония всегда переделывала это на свой лад. Так, по моему убеждению, произойдет и на сей раз.





«СЕРЕБРЯНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» И ПУСТЫЕ КОЛЫБЕЛИ

В международный лексикон вошли несколько японских слов, которые не нуждаются в переводе. Например кимоно, гейша, самурай. Куда меньше известно за пределами Страны восходящего солнца, да и почти забыто в ней самой, слово «убасуте», хотя оно обозначает старинный обычай, не менее жестокий, чем харакири. Со средних веков в бедных селениях по желанию обессилевших стариков им устраивали нечто вроде прижизненных похорон. После торжественного ритуала прощания с родственниками и соседями их на руках уносили в горы и оставляли там умирать в одиночестве. О зловещем термине «убасуте» вдруг вспомнили в наши дни — слава богу, в переносном смысле — в связи с тем, что одинокая старость стала болезненной проблемой.

Средневековый обычай «убасуте» сложился в бедных японских селениях потому, что немощные старики становились для семьи бременем, обузой, прежде всего в материальном смысле. Ныне же в финансовом отношении пожилые люди отнюдь не бедствуют. За последние 30 лет они впервые стали экономически вполне самостоятельны, независимы от детей. И обычно имеют в своем распоряжении даже больше денег, чем следующее поколение.



Примечательная особенность Страны восходящего солнца состоит в том, что

ее граждане остаются «трудоголиками» и в преклонном возрасте. Продолжают работать 75 процентов пенсионеров в возрасте 60–65 лет. (В США аналогичный показатель — 54, в Германии — 29 процентов.)

Что может заставить пенсионера по-прежнему вставать по будильнику и на весь день куда-то уезжать? Тут могут быть две причины: либо ему не хватает денег, чтобы прожить, либо дома ему некуда себя девать, нечем заняться. Данные о личных сбережениях японцев свидетельствуют, что первая из названных версий отпадает. На протяжении всей своей трудовой жизни они откладывают на будущее вдвое большую часть доходов, чем американцы или немцы. Так что на долю людей старше 65 лет приходится 38 процентов всех личных сбережений японцев. Сейчас у специалистов по маркетингу главная цель — как заставить раскошелиться прижимистых пенсионеров с солидными банковскими счетами.

По заключению Японской медицинской ассоциации, пожилым людям для счастья нужны четыре условия: быть здоровым, экономически независимым, ощущать внимание близких, иметь занятие по душе. Что касается здоровья, то наивысшая в мире продолжительность жизни говорит сама за себя. И тут сказывается национальная диета (упор на овощи, морепродукты, растительные жиры) в сочетании с традиционным образом жизни (умение быть близким к природе, чутко реагировать на смену времен года). Насчет экономической независимости речь уже шла. А вот с вниманием близких дело обстоит хуже. Прежде, как и в России, главным занятием японских стариков было нянчить внуков. Теперь же в семьях, где женщины работают полный день, лишь четверть детей дошкольного возраста остаются под присмотром дедушек и бабушек, а остальных отдают в детские сады.



Три четверти пожилых пар живут отдельно от детей и внуков, и по количеству одиноких стариков Япония догоняет Англию. Если один из супругов умирает, а другой не в состоянии обслуживать себя, то оплатить место в доме престарелых одной лишь пенсии не хватит.

Наконец, четвертый элемент стариковского счастья — занятие по душе. Тут Япония особенно отстала от других развитых стран. Если американец или немец при выходе на пенсию имеет хороший дом в предместье, может с пользой для здоровья полдня возиться в саду, а потом заседать в каком-нибудь общинном комитете или благотворительном обществе, то качество жизни японца даже при номинально высокой пенсии не идет ни в какое сравнение с Западом, даже с Россией. Проще говоря, сидеть с утра до вечера в «кроличьей норе», как называют люди тут свои жилища, мало удовольствия. А различного рода деятельность на общественных началах пока еще находится в зародыше. Поэтому так много пенсионеров продолжают работать.

Огромной популярностью в Японии пользуется ассоциация «Вторая жизнь». Там есть школы балльных танцев, кружки чайной церемонии и икебаны, курсы иностранных языков. Все это дает поводы для встреч и общих увлечений. Именно пенсионеры были главными телезрителями уроков русского языка на канале «Эн-Эйч-Кей», для чего приглашали дикторов из Москвы. Оказалось, впрочем, что большинство отважилось изучать столь трудный язык не ради укрепления уз добрососедства, а по совету врачей как профилактическое средство от старческого маразма.

На пороге XXI века Страна восходящего солнца столкнулась с роковым парадоксом.

Японцы поразили мир умением дешевле

и качественнее других производить ав-



томобили и телевизоры, быстрее всех подхватывать и доводить до массового производства перспективные технические идеи. Но они оказались не способными решить, казалось бы, самую элементарную задачу: воспроизводить самих себя. Конец XX века совпал для Японии с важным сдвигом в ее демографической структуре. Число пожилых людей старше 65 лет впервые превысило число детей до 15 лет. Нация стремительно стареет. И хотя этот процесс получил благозвучное название «серебряная революция», обе породивших ее причины сулят нежелательные последствия. Первая из этих причин — впечатляющий рост средней продолжительности жизни: 77 лет для мужчин и 84 года для женщин. Япония заняла по этому показателю первое место в мире. Кардинальное улучшение медицинского обслуживания в сочетании со здоровой национальной диетой (рис, овощи, растительное масло, морепродукты) сделали для японцев уход на пенсию началом «второй жизни» протяженностью не 5, а 20–25 лет. Демографы уверенно прогнозируют, что к 2025 году к возрастной категории старше 65 лет будут относиться 25 процентов жителей, то есть каждый четвертый японец. Это означает, что если нынче на одного пенсионера приходится шесть работающих, то скоро каждого из них должны будут содержать двое тружеников.

Быстрое старение нации сопровождается другим не менее опасным демографическим феноменом: падением рождаемости. В благополучной стране с наивысшей в мире месячной зарплатой (почти 3 тысячи долларов США) рождается всего 1,2 миллиона младенцев — в два с лишним раза меньше, чем в трудные послевоенные годы. Женщины детородного возраста имеют теперь в среднем по 1,4 ребенка. Тогда как для нормального воспроизводства этот показатель должен быть



не ниже 2,2. Японии, стало быть, грозит прогрессирующая депопуляция. К 2100 году ее население может сократиться до 67 миллионов человек, то есть уменьшится вдвое против нынешнего.

Итак, с одной стороны — обилие седин, с другой — опустевшие колыбели. Сочетание этих двух тенденций чревато весьма негативными последствиями. Во-первых, рост числа пенсионеров при уменьшении числа работающих создаст непосильную нагрузку для системы социального обеспечения. В пенсионный фонд скоро придется отчислять до 50 процентов заработной платы против нынешних 17 процентов (половину этой суммы вносят работодатели). Чтобы такие отчисления были посильны для тружеников, придется удвоить им зарплату. А это неизбежно скажется на конкурентоспособности продукции. Во-вторых, из-за снижения рождаемости обострится нехватка рабочей силы, а ввозить ее из-за рубежа японцы опасаются. Ведущие концерны все активнее перемещают производственные мощности в другие страны, а это разоряет мелкие и средние предприятия, являвшиеся их поставщиками.

Есть, наконец, и последствия, касающиеся семейных отношений. Если в 1950 году средний возраст вступления в брак составлял 22 года для невест и 26 лет для женихов, то нынче он повысился до 28 и 32 лет соответственно. Почему же современные японки все чаще откладывают вступление в брак, да и после замужества стараются как можно дольше не обзаводиться

детьми? Некоторые аналитики ссылаются на материальные трудности. В Японии молодой семье сложнее, чем в других странах, обзавестись жильем, ибо оно непомерно дорого. Да и со свадьбой связаны большие расходы.

Однако главная причина все-таки в другом.

Думаю, что превращение Японии в страну пустых колыбелей — это пре-



жде всего следствие «самурайского капитализма» с его идеалом абсолютной верности. Муж целиком посвящает свою жизнь работодателю, помимо рабочего времени, проводит с сослуживцами и клиентами фирмы вечера и праздники. Жена же целиком отдает себя домашним делам, воспитанию детей. Японский подход, основанный на готовности подчинять личные интересы общим, до недавних пор служил стержнем трудовой и семейной этики, был одной из пружин послевоенного экономического чуда. Однако в последнее время социальные приоритеты стали противоречить экономическим нуждам. Традиционный образ жизни оказался не в состоянии примирить работу и семью. С 90-х годов все отчетливее стали сказываться последствия неуклонного снижения рождаемости при росте средней продолжительности жизни. Растущий спрос на рабочую силу перечеркнул традицию, когда женщин было принято нанимать лишь до замужества. Он побуждает домохозяйек идти работать, а предпринимателей — улучшать условия найма женщин.

Если 30 лет назад среди работавших женщин было всего 32 процента замужних, то ныне их доля увеличилась до 57 процентов. Желających гораздо больше. Но главное, что мешает японкам сочетать работу с семейными, прежде всего материнскими, делами, это особенности здешней корпоративной культуры. Так уж повелось, что почти никто не уходит домой в положенное время. Сотрудники подолгу засиживаются на работе или участвуют в совместных попойках за фирменный или казенный счет. А детские учреждения работают лишь с 8 до 18 часов.

В результате доля женщин на управленческих постах в бизнесе составляет в Японии всего 8 процентов, против 33 процентов в Англии и 44 процентов в США. Еще хуже положение в мире политическом. По числу женщин в парламенте,



местных органах представительной власти и на руководящих постах в госдепартаменте Япония занимает 38-е место среди 102 обследованных ООН государств.

Еще задолго до того, как в моду вошло слово «глобализация», бывалые люди говорили, что лучше всего иметь американскую зарплату, английский дом, китайского повара и японскую жену. Образ мадам Баттерфляй, созданный французским писателем Лоти и итальянским композитором Пуччини, надолго утвердил стереотип представлений о японках как о существах поразительно женственных, безраздельно преданных и неизменно покорных.

Мнение о японках как о современных Чио-Чио-сан всегда было идеализированным — даже у иностранцев, годами живущих в Японии, не говоря уже о мимолетных туристах. Насмотревшись, как жена хозяина соседнего дома по утрам с низким поклоном провожает мужа до порога, какие знаки почтения каждодневно оказывают главе семьи за семейным столом, можно подумать, что японские женщины — само воплощение покорности мужчине.

В действительности же это не так. Даже в феодальные времена отношения в семье строились по такому же принципу, что и в государстве. С фасада все как положено, а за кулисами совсем иначе. Подобно тому, как за императоров веками фактически управляли их военачальники — сёгуны, реальной властью в доме, семейным кошельком неизменно обладала женщина. Хотя все положенные почести воздавались при этом номинальному главе семьи — мужчине.



Как шутят современные японцы, муж думает о важных вопросах — кто выиграет чемпионат по бейсболу, кого выберут президентом США. А на долю жены остаются мелкие, второстепенные дела — ка-

на «золотой неделе», когда в мае бывает пять выходных подряд.

За тридцать лет со времен выхода «Ветки сакуры» выросло совершенно новое поколение японских женщин. Они образованны не хуже, чем мужчины, хорошо зарабатывают, так что экономически независимы как от родителей, так и от мужа. И когда им приходится делать выбор между карьерой и семьей, чаще жертвуют вторым ради первого.

Эту несколько эгоистичную, отрицающую старое представление о семейном долге молодежь называют поколением «кенгуру». Подобно детенышам австралийского животного, эти девушки не спешат покидать материнский карман, то есть родительский дом. Плохо ли бесплатно иметь свою комнату, есть завтрак и ужин, приготовленные заботливыми родительскими руками, а 3000 долларов своей зарплаты целиком тратить на наряды, зарубежные поездки, увлечения серфингом или горными лыжами.

Удивительно ли, что средний возраст вступления в брак у нынешнего поколения японок близок к 28 годам, почти половина тридцатилетних не замужем.

Еще тридцать лет назад большинство браков в Японии заключалось по сватовству, ибо выбор спутника семейной жизни считался делом не столько личным, сколько родовым, семейным. Как жених, так и невеста были вправе отвергнуть кандидатуру, предложенную родителями. Но все же прислушивались к их советам. Теперь по сватовству заключается лишь небольшая часть браков.

Поскольку Япония — «царство групп», то семья остается там главной ячейкой общества. Однако состав ее существенно изменился. Молодожены все чаще предпочитают жить отдельно от родителей. Среди 45 миллионов семей 11 — это одиночки и пары; в 15 миллионах семей — по



3–4 человека и лишь в 8 миллионах семей — по 5–6 человек. Словом, теперь типичная японская семья — это муж и жена, которые оба ходят на работу и растят одного, реже — двух детей.

Лишь недавно в Стране восходящего солнца заговорили о таком понятии, как неоплачиваемый домашний труд. Оказалось, что на долю японской жены его приходится в семь раз больше, чем на долю мужа (лишь 30 минут). В других развитых странах женщины тратят на домашние дела лишь вдвое больше времени, чем мужчины.

Итак, Чио-Чио-сан XXI века существенно продвинулась по пути к равноправию. Но выразилось это не в том, что она стала «женщиной с кувалдой». Она не разучилась быть церемонно женственной в кимоно, однако умеет не хуже мужчин управляться с таким капризным существом, как компьютер.

Старое и новое, традиционное и современное издавна живут в Японии бок о бок, но редко сочетаются гармонично. Современная Япония ведет свою летопись от двух исторических вех, изменивших направление ее движения. Реставрация Мэйдзи в 1868 году привела к рождению индустриальной державы. Появились металлургические заводы, судостроительные верфи, текстильные фабрики, железные дороги. После поражения в 1945 году страна получила демократию по-американски — во всяком случае, ее фасад. Американцы завезли всеобщее избирательное право, женскую эмансипацию, свободу слова, безземельные крестьяне стали фермерами.



В конце двадцатого века мы являемся свидетелями перемен такой же важности. Японцы переделывают себя, точнее, создают себя заново. Они пытаются изменить то, что всегда особенно раздваивало их души — отношения человека и общества. Именно этот

конфликт между автономией личности и большой семьей, именуемой Япония, оставался неразрешенным как после 1868-го, так и после 1945 года.

Страна борется сейчас не только с самым глубоким после войны спадом, но и с проблемами, порожденными феноменом, который мы называем «глобализация».

Патрик Смит.
Япония — современная интерпретация. 1997





ГОРОЖАНИН ИЗ ПРИГОРОДА

Излюбленный прием описания больших городов — Москвы с Воробьевых гор, Парижа с Эйфелевой башни, Нью-Йорка с Эмпайр-Стейтс-билдинг — мало подходит для Токио. Не потому, что границы двенадцатимиллионного гиганта теряются за горизонтом, а потому, что в его панораме нет таких ориентиров, которые могли бы олицетворять японскую столицу, как Вестминстерский дворец с башней Большого Бена олицетворяет Лондон. Даже географический центр Токио — Императорский дворец — не доминирует над городом и со стороны воспринимается лишь как опоясанный рвом парк.

Токио не может похвастаться ни гармонией горизонтальных линий, присущей европейским столицам, ни поражающими вертикалями американских городов. Токио — это море домов, сгрудившихся так беспорядочно и тесно, словно это мебель, которую кое-как сдвинули в угол комнаты на время, пока красят пол, — сдвинули и забыли поставить на место.

Токио, что в переводе значит «Восточная столица», — это гипертрофированное воплощение проблем, присущих мегаполисам вообще и перенаселенной островной стране в особенности. Это парадоксальное сочетание тесноты и хаотичности, скученности и разбросанности. Итак, прежде всего теснота. Девять из двенадцати миллионов



токийцев живут на площади менее 600 квадратных километров. Дабы понять, что это такое, представим, что всю Венгрию сселили в Будапешт. Плотность населения на этом клочке земли из понятия статистического перерастает в осязаемое. Токийцы шутят, что у них даже собаки вынуждены вилять хвостом не из стороны в сторону, а вверх и вниз.

Вторая характерная черта японской столицы — хаотичность. Душа Токио — это стихия толпы, воплощенная в потоках людей и машин и в столь же беспорядочных нагромождениях домов. Японцы говорят, что Токио дважды имел и дважды упустил возможность заново отстроиться по генеральному плану. Первый раз — после землетрясения 1923 года, разрушившего половину города. Второй раз — после американских налетов 1945 года, когда Токио выгорел на две трети и погибли уже не сто тысяч, а четверть миллиона горожан. Правда, муниципалитет принял энергичнейшие меры, чтобы воспользоваться третьим поводом для коренной реконструкции столицы — Олимпийскими играми 1964 года. С тех пор Токио заметно похорошел. Выросло много новых зданий, радующих глаз смелостью архитектурной мысли, безукоризненным качеством строительства, применением новейших отделочных материалов. Новой чертой в облике столицы стали эстакадные автострады.

Япония вправе гордиться талантом своих архитекторов, мастерством своих строителей. При том множестве замечательных зданий, которые были возведены в Токио за послевоенные десятилетия, лицо японской столицы могло бы неузнаваемо преобразиться к лучшему. Но попробуйте найти точку для панорамного снимка, чтобы каждый увидевший его сказал: какой красивый город! Даже совершенство японской фотоаппаратуры



бессильно здесь помочь. Чтобы сделать удачный снимок одного из первых в городе высотных зданий — небоскреба концертна «Мицуи», нужен не штатив, а не более и не менее как вертолет. Сколько ни ходи по прилегающим улицам, здание это ниоткуда не смотрится «во весь рост» — оно не служит центром ансамбля, как, впрочем, и Токийская башня, которая, будучи выше Эйфелевой, отнюдь не способна украшать город в такой степени, как ее парижская сестра. Сотни монументальных зданий затерялись, подобно рассыпавшейся мозаике, из которой можно было бы составить великолепное панно, если бы архитекторы работали в содружестве с градостроителями.

Третья характеристика японской столицы — ее разбросанность. Дороговизна жилья заставляет людей селиться все дальше от центра, не только в пригородах, но и в соседних префектурах. Это создает непосильную нагрузку для общественного транспорта. Подсчитано, что 40 процентов токийцев ежедневно тратят 3 часа, а 10 процентов — даже 4 часа, чтобы добраться на работу и вернуться домой. Стало быть, половина населения японской столицы тратит в пути половину энергии своего трудового дня.

Пожалуй, именно Токио принадлежит мировое первенство по остроте проблем, присущих большим городам.

Главной из них, усугубляющей все остальные, был бесконтрольный рост города-гиганта. Вплоть до недавних пор население японской столицы ежегодно увеличивалось на четверть миллиона человек и сто тысяч автомашин. Среди множества способов положить этому конец был избран самый простой: не делать ничего, пока ухудшение условий жизни не породит отток людей в обратном направлении.

Именно это произошло в 90-х годах, когда вывод сотен тысяч токийцев «Так



больше жить нельзя» породил идею переместить столицу.

В 2000 году результаты своей десятилетней строго засекреченной работы опубликовал Комитет по перемещению столицы, созданный при главе правительства. Он рекомендует вынести государственные учреждения за пределы перенаселенного, задымленного и к тому же сейсмически опасного Токио, специально построить для депутатов и министров новый, тихий и чистый город с населением примерно 600 тысяч человек. Это раз в 20 меньше нынешней столицы — нечто подобное Вашингтону в США, Анкаре в Турции, Канберре в Австралии или Бразилиа в Бразилии. По предварительным подсчетам, возведение «японского Вашингтона» обойдется в 120 миллиардов долларов. На выкуп земель намечено ассигновать 40 миллиардов, на расчистку участков — 18 миллиардов, на само строительство зданий и инфраструктуры — еще 62 миллиарда. Если предложенный план будет принят, парламент и правительство смогут начать работу на новом месте уже в 2010 году.

Однако даже если это когда-нибудь произойдет, Токио не утратит своего статуса первого города страны. Ведь на его долю приходится десятая часть населения и рабочей силы, половина финансового капитала и людей с высшим образованием. Здесь сердце Японии, фокус ее противоречий, средоточие ее надежд. Так что этот мегаполис всегда будет притягивать молодежь, словно гигантский магнит. Токио сохранит свою роль и значение, как Нью-Йорк вопреки Вашингтону, Стамбул вопреки Анкаре, Сидней вопреки Канберре, Рио-де-Жанейро вопреки Бразилиа.

Впрочем, с перемещением столицы связано столько противоречивых интересов, что до практической реализации этой идеи еще далеко. И пока



приходится решать дела безотлагательные. В этом городе-гиганте как нигде много копоты и как нигде мало зелени: на каждого жителя приходится лишь по полтора квадратных метра парков (в двадцать раз меньше, чем в Лондоне). В часы «пик» над улицами кружат полицейские вертолеты, чтобы специальная радиостанция могла информировать водителей о возникающих пробках и заблаговременно подсказывать пути объезда. Впрочем, эта вторая задача все больше становится невыполнимой даже при отличной технической оснащенности токийской полиции. Уличное движение, как мрачно шутят жители Токио, превращается в «уличное стояние». Все большие города страдают ныне от подобного хронического недуга. Но в Токио болезнь эта ощущается особенно мучительно. Ибо проезжая площадь улиц составляет там немногим более 10 процентов всей территории города, тогда как в Лондоне — 23 процента.

Привычный образ современного города — это ансамбли площадей и проспектов, образованные кварталами многоэтажных домов. Токио же в основе своей — потерявшее границы захолустье. Кое-где близ станции подземки или электрички в неразбериху деревянных домов вкраплены торгово-увеселительные кварталы. По вечерам там щедро полыхает неон, а в соседних переулках самая что ни на есть глушь: ни фонарей, ни пешеходов. Причем речь идет не о каких-то окраинах. Такова японская столица и в полчасе, и в двух часах езды от центра.

Даже для коренных жителей этот город остается загадочным лабиринтом, беспорядочной путаницей безымянных улиц. В первые дни своей жизни в Токио я заметил на перекрестках оставшиеся еще со времени американской оккупации столбы с указателями: «Авеню Д», «20-я стрит». Тут же захотелось дать гневную отповедь



бесцеремонным янки, посмевающим переименовать на свой лад исконные японские названия. Однако все мои попытки выяснить у прохожих подлинные имена улиц были тщетны: я слышал в ответ названия трамвайных остановок. Оказывается, оккупанты ничего не переименовали, а лишь предприняли безуспешную попытку дать имена токийским улицам.

В этом городе без плана, в городе анонимных улиц к тому же отсутствует и порядковая нумерация домов. Каждый адрес содержит какие-то цифры. Но в первых, номера эти идут не по порядку, а отражают последовательность застройки земельных участков, во-вторых, нумеруются не сами дома, а кварталы и околотки. В переулке, где я поначалу жил в Токио, через несколько домов от меня помещался портной, а за углом к нему примыкало здание профсоюза медсестер. Первое время я никак не мог понять, почему мои бандероли с московскими газетами нередко попадали в этот профсоюз. Когда я заказал костюм у соседнего портного, то был поражен, увидев на подкладке костюма этикетку с моим собственным адресом. Оказалось, что и у меня, и у портного, и у профсоюза медсестер — словом, у всех, чьи участки смыкаются друг с другом, образуя околоток, который можно обойти по периметру, один и тот же адрес.

Когда при знакомстве с японцем получаешь от него визитную карточку с телефоном и адресом, кажется, что разыскать этого человека в нужный момент — дело простое. В конце концов, если не сумеешь проехать сам, возьмешь такси и дашь карточку с адресом шоферу. Но, увы, даже эти профессиональные знатоки города могут ориентироваться в нем лишь зонально. Вместо адреса они в переводе на московские понятия привыкли слышать примерно следующее: Замоскворечье, Серпуховка, направо по трамвайным



путям до остановки «Школа». А дальше уже никакой адрес сам по себе ничего не дает. Дальше шофером такси надо править, как запряженной лошадью, говоря ему в нужных местах: «направо», «налево», «прямо». Эти три японских слова приезжий запоминает относительно быстро. Для четвертой команды вполне годится международное слово «стоп». Беда, однако, в том, что, помимо этих терминов, надо знать, куда ехать. И тут уже никак не обойтись без карты. Вот почему каждый житель Токио, сговариваясь о встрече, тут же непременно чертит на листке бумаги план: как добраться до условленного места.

Люди, часто принимающие посетителей дома, обычно оставляют пачку отпечатанных на ротаторе схем где-нибудь в табачном киоске у ближайшей трамвайной остановки. Карты своего местоположения печатают на рекламных спичечных коробках гостиницы, кинотеатры, бары, кафе. Такие графические дополнения к адресу прилагаются к приглашениям на официальные приемы.

Но даже листок, собственноручно начертанный адресатом, не избавляет вас от блужданий. Он приоткрывает тайну не больше, чем зашифрованная схема подступов к кладу, спрятанному на необитаемом острове, и сулит столь же богатые приключениями поиски. Когда ведешь машину сам, благоразумнее всего передать роль штурмана жене, чтобы ответственность за толкование карты лежала на ней. Если же такая схема попадает в руки шофера такси, он никогда не утруждает дополнительными вопросами ни своего пассажира, ни пешеходов на улице, а с завидной уверенностью мчится куда-то вперед, пока не заедет в тупик.

Когда машина делает отчаянные попытки развернуться, сшибая цветочные горшки и пластмассовые урны для мусора, вас вдруг осеняет: ведь кроме ис-



полненного тайн чертежа и бесполезного адреса, на визитной карточке есть еще и телефон. Уж тут-то не может быть загадок!

Вы отыскиваете в ближайшей лавочке автомат, с облегчением слышите в трубке голос вашего знакомого, извиняетесь за опоздание и просите, чтобы он сам, как японец японцу, в двух словах объяснил дорогу шоферу. Инструктаж, однако, затягивается на целых полчаса, а потом вам приходится звонить из разных мест еще и еще, ибо объяснить, где в данный момент находится машина, так же трудно, как понять, куда надо ехать. Лишь после опросов местных жителей и посещения двух-трех полицейских будок выясняется, что вместо бензоколонки фирмы «Идемицу», возле которой живет ваш знакомый и которая фигурировала в качестве главного ориентира на его схеме, вы сделали поворот у другой, точно такой же бензоколонки той же фирмы.

Не следует думать, что Токио — единственный в Японии город-лабиринт. Хаотичная застройка населенных пунктов, узкие улицы и плохие дороги типичны для страны в целом. Это имеет свою историческую подоплеку. Вплоть до 1868 года Япония не ведала колес. Знать передвигалась из города в город на носилках, воины и гонцы — верхом, земледельцы, ремесленники, торговцы, то есть люди низших сословий, могли путешествовать лишь как пешеходы.

Долгое время в Японии вовсе не было дорог, по которым могла бы проехать даже простая повозка. Тем любопытнее, что японцы были одним из первых народов, учредивших правила движения. Врач Самберг, который посетил Страну восходящего солнца в 1770 году, писал: «Они очень заботятся о порядке на дорогах. Они додумались даже до того, что люди, следующие в столицу, всегда придерживаются левого края дороги, а



для тех, кто движется им навстречу, предназначена правая сторона. Вот правило, которое очень пригодилось бы в Европе».

Правда, два столетия спустя Японию уже, пожалуй, никто не назовет образцом порядка на дорогах. Если что и соблюдается неукоснительно, так это лишь принцип левостороннего движения.

Колеса впервые вошли в японский обиход как часть отнюдь не самого славного для цивилизации изобретения — одноосной повозки, в которую впрягался человек. И хотя слово «рикша» привычно ассоциируется с образом старого Китая, обычай ездить на людях отнюдь не относится к многочисленным японским заимствованиям у китайского соседа. Сомнительная честь этого изобретения принадлежит американцу Гобле. Он попал на Японские острова как один из матросов коммодора Перри, «черные корабли» которого были первой попыткой взломать запретные двери феодальной Японии. Ознакомившись со средствами сообщения в Стране восходящего солнца, предприимчивый американец первым наладил производство двухколесных колясок, получивших японское название «дзин-рики-ся», что при переводе каждого из трех иероглифов означает «человек-сила-повозка». В английском языке слово это трансформировалось в «джин-рик-ша» и уже потом вошло в обиход иностранцев не только Японии, но и в других азиатских странах просто как «рикша».

История японских железных дорог началась в 1872 году, когда из Токио в Иокогаму отправился первый пассажирский поезд.

Приглашенные на это торжество высокопоставленные лица поднимались в вагоны так же, как японец привык входить в дом: прежде чем ступить на подножку, каждый из них машинально разувался. Когда через пятьдесят семь минут



восхищенные сановники сошли в Иокогаме, они с удивлением и раздражением обнаружили, что никто не позаботился заранее перевезти и расставить на перроне их обувь. Видимо, именно этот случай на целое столетие вперед отучил японцев отождествлять вагон с жилым помещением.

Железные дороги прочно вошли в японский быт. Рельсовый транспорт играет в жизни страны поистине незаменимую роль. И не только как самое удобное средство сообщения для обитателей непомерно разросшихся городских предместий. В Японии редко увидишь товарный поезд — острова богаты побережьем и цехи обычно строят возле причалов. Так что грузы дешевле доставлять по воде.

Но в компактной стране, где на площади чуть больше Финляндии живут 127 миллионов человек — немногим меньше, чем в необъятной России, — именно поезда остаются самым предпочтительным видом междугородного транспорта. Суперэкспрессы победили в конкуренции и с автомобилем, и с самолетом. Чем час добираться до аэропорта, час ждать и час лететь, проще и надежнее ехать поездом.

В отличие от Западной Европы и Северной Америки японские железные дороги не приходят в упадок с ростом числа личных автомобилей и развитием гражданской авиации. Это наглядно видно при сопоставлении Японии с Германией. Японская железнодорожная сеть имеет общую протяженность 27 тысяч километров, германская — 41 тысячу. Но если в Японии поезда ежегодно перевозят 22,6 миллиарда человек, то в Германии всего 1,6 миллиарда. На душу населения там приходится в десять раз меньше пассажироперевозок. Японию можно назвать царством суперэкспрессов.

До войны в японских городах жило 40 процентов населения. Теперь — 271



90 процентов. Однако японский горожанин — это чаще всего житель пригорода. Если раньше окраины из тесно сгрудившихся деревянных домиков тянулись на полчаса езды от центральных районов, то теперь тянутся на два-три часа. Общественный транспорт Токио ежедневно перевозит 23 миллиона пассажиров, хотя население самой столицы составляет 12 миллионов человек.

Тридцать лет назад я рассказывал в своих репортажах о том, что на узловых станциях городской электрички и метро в часы «пик» занимали крепких мускулами студентов, чтобы запрессовывать пассажиров в вагоны, поезда заполнялись на 220 процентов своей официальной вместимости. Но если прежде пассажиры еле могли дышать, то теперь они умудряются даже читать прижатые к груди журналы. За 30 лет пропускная способность токийского транспорта возросла больше, нежели число пассажиров. В итоге вагоны в часы «пик» заполняются на 180 процентов официальной вместимости, а через 15 лет этот показатель снизится до 150 процентов — уровня Парижа и Лондона.

Зимой транспортная проблема обостряется. Ведь пассажир в пальто занимает на 10 процентов больше места. Куда болезненней, чем поезд, входит в жизнь Японии автомобиль. Никому не пришло бы в голову плодить паровозы и вагоны раньше, чем будут проложены рельсы. А между тем с автомашинами получилось именно так: их поток хлынул с конвейера и уперся в бездорожье.



После войны большинство японцев ездили на велосипедах или ходили пешком. Во всей стране насчитывалось лишь около полутора миллионов автомашин (в большинстве американских), выпускалось же каких-нибудь пять тысяч в год. В 60-х годах, 272 когда названия японских автомобиль-

ных фирм были практически неизвестны на мировом рынке, Страна восходящего солнца вступила в период массовой моторизации. С тех пор ее автомобильный парк увеличился в 50 раз: с полутора до семидесяти пяти миллионов машин. (Это больше, чем в любой другой стране, кроме США, где насчитывается свыше ста миллионов автомобилей.) Японские марки «Тойота», «Ниссан», «Хонда» начали вторжение на мировой рынок. А в 1980 году произошло то, что еще десятилетия назад показалось бы любому американцу абсолютно невыносимым. Выпуск автомашин в Японии перевалил за 10 миллионов, две пятых из них, то есть примерно 4 миллиона, предназначены для экспорта, причем более миллиона — в Соединенные Штаты. Японские марки не только опередили там по своей популярности всех западноевропейских конкурентов, но и стали теснить американские концерны на их собственном рынке.

Для самой Японии с ее отсталой дорожной сетью, узкими улицами городов и поселков столь стремительная моторизация была подобна стихийному бедствию. Страна была обречена как бы на гипертонию, на хроническое перенапряжение транспортных артерий. Ее уделом стали бесконечные пробки, а также самое высокое в мире число дорожных катастроф. Более 10 тысяч убитых, 500 тысяч раненых — таков ежегодный счет жертв уличного движения. И все-таки современный японец — это человек за рулем. Каждый третий житель страны является обладателем водительских прав. Жизнь на колесах стала уделом народа, который всего полтора столетия назад вовсе не знал колес.

Токио — наиболее японский город из всех, какие я до сего времени видел. Европейское влияние совсем не-



заметно в этом огромном центре, насчитывающем у себя свыше полутора миллионов жителей и превосходящем своей территорией Лондон, Москву, Нью-Йорк и все прочие главные города мира. Центр города занимает Дворец императора. Торговая часть Токио тянется дальше к востоку. Кто не был здесь, тому трудно представить себе, что такое Гиндза — этот Невский проспект японской столицы. Когда с наступлением вечера вся Гиндза, рынки и лавки освещаются разноцветными бумажными фонариками, то вся эта часть города принимает почти сказочный вид. За Гиндзой тянутся уже жилые улицы города. Они до невероятного узки и кривы. Разобраться в этом крайне запутанном лабиринте однообразных двухэтажных, почерневших от времени деревянных домов почти невозможно.

Д. Шнейдер (Россия).
Япония и японцы. 1895

Токио — это лабиринт без путеводной нити. Пользоваться здесь городским транспортом — значит обрекать себя на казнь; садиться за руль — значит отправляться в бой; ходить пешком — значит совершать самоубийство.

Уолт Шелдон (США).
Наслаждайтесь Японией. 1961

Говорят, что руль автомобиля порой оказывает на современного цивилизованного человека такое же действие, как запах крови на тигра. А ведь японец не просто тигр. Это тигр, замученный и озлобленный укротителем, который его заставляет улыбаться и кланяться, в то время как зверю хотелось бы разорвать своего хозяина на куски. Садясь за руль, японец вовсе не жаждет крови. Он лишь отбрасывает на ветер всю дисципли-



ну, все ограничения, которые ему осточертели. Он не желает вреда другим. Он хочет исцелить самого себя, избавиться от своих забот, от неприятных воспоминаний, от всего, что его подавляет. Когда он ведет машину, он свободен и безымянен.

Джордж Микеш (Англия).
Страна восходящей иены. 1970

Будущее Японии не лишено опасностей. Не таят ли в себе угрозу для японской экономики ее явно уязвимые места? Не слишком ли сильно управляющие подталкивают страну вперед? Не переоценивают ли они ее возможности, как в свое время генералы, не приведут ли страну к краху? Уже встают и становятся все более серьезными проблемы сегодняшнего дня. Даже если экономическая машина будет работать нормально, не окажется ли японское общество, поколебленное и разобщенное побочными последствиями научно-технической революции, перед кризисом, который поставит под сомнение экономический успех?

Япония является страной сюрпризов. Она часто подтверждала это своей историей вплоть до самого недавнего времени. Случается, что после продолжительного движения в одном направлении она внезапно меняет курс. Это — страна неожиданных взрывов, и неизвестно, где следует искать им объяснение: то ли в окружающей природе — землетрясениях, вулканах, тайфунах, то ли в философии этого народа — буддизме или синто. За безмолвным долготерпением вдруг следует внезапная резкая вспышка, которая в корне меняет все.

Сколь прочной проявит себя японская демократия, если она окажется под серьезной угрозой? Полностью ли излечились японцы от соблазна тоталитар-



ного равнения и тоталитарной дисциплины? Будут ли эти неистовые, одержимые люди всегда благоразумными в международных делах?

Робер Гийен (Франция).

Япония: третья великая держава. 1969

Не знаю, есть ли на свете страна, где государственная идеология была бы столь прочно сплетена с обычаями, верованиями, традициями народа, как в Японии, так глубоко проникала бы во все слои населения. Если в Германии фашизм был приметан к культуре на скорую руку и его идеология была бесконечно глупее великих традиций одной из самых образованных и талантливых наций мира, то в Японии дело обстояло иначе. Мировоззрение, сплавившее в себе буддизм, даосизм, конфуцианство и синтоистское язычество, было построено так, что годилось и для малограмотного человека, и для высших интеллигентов и, таким образом, обладало свойством всеобщности. Может быть, это объясняется тем, что ни в какой другой из современных стран религия и философия не были так связаны с искусством, как здесь. Вернее сказать, вся идеология Японии, от официальной до самых тонких вариантов философии, была прежде всего эстетикой...

Государственный миф Японии был полон гордой заносчивости, коренился в рыцарском кодексе бу-сидо, составленном еще для кровавых бездельников феодализма, вытекал из презрения к смерти, возвещенного философией дзэн, обращался к прошлому страны, которую действительно никто и никогда не завоевывал. Третье отличие от Германии — позитивная наука не пользовалась здесь всеобщими симпатиями, в то время как созерцательный мистицизм составлял основание этики и



мых рядовых людей. О доблести довольствоваться малым написаны здесь многие труды, и в них есть подлинно вдохновенные страницы. Пренебрежение к вещам, даже к удобствам, умение переносить холод, ограничиваться самой скудной пищей — все это входит в мировоззрение дзэн под общей категорией «ваби-саби», которой нельзя отказать в величии. Спартанская суровость была свойственна всегда японской идеологии, она соответствовала условиям жизни самых широких масс народа...

Борис Агапов (Россия).
Воспоминания о Японии. 1974





ВОСХОЖДЕНИЕ НА ФУДЗИ

Буду откровенным: когда служитель поднебесного храма выжигал на моем посохе последнее, десятое клеймо «Вершина Фудзи, 3776 метров», в голове у меня была лишь далекая от поэтического пафоса японская поговорка: «Кто ни разу не взобрался на эту гору, тот дурак; но кто вздумал сделать это дважды, тот дважды дурак». Хотя из десяти этапов древней паломничьей тропы я прошел лишь половину (восхождение в наши дни начинают с пятой станции, до которой проложена автомобильная дорога), пеший подъем с трех часов дня до трех часов ночи нельзя назвать пустяковой прогулкой. Особенно когда весь опыт альпинизма ограничивается детскими воспоминаниями о грудке шлака у котельной во дворе старого ленинградского дома. Кстати, именно эта грудка вставала в памяти, когда я карабкался по бесконечному склону священной японской горы, увязая ногами в пористых острых осколках и въедливом вулканическом пепле. Фудзи — это тысячекратно увеличенный отвал шлака. Та же фактура, тот же цвет от темно-серого до буроватого, та же крутизна. Впрочем, точнее будет сказать: чем выше, тем круче. Даст о себе знать чуть заметный прогиб склонов, который так любил подчеркивать художник Хокусай в своих картинах «Сто лиц Фудзи».



За пятой станцией остался шум сосновых лесов. За шестой исчезли следы растительности. Тропа, по словам японцев, 278 пересекает здесь «границу земли и

неба». Но чем безжизненнее становится склон, тем он многолюднее.

Попутчиков столько, что вполне можно обойтись и без проводника. Между седьмой и восьмой станциями назначен ночлег. В приземистой хижине из лавовых глыб постояльцу дают миску горячего риса, несколько ломтиков соленой редьки, сырое яйцо, место на нарах, пару одеял. С восьми вечера до часу ночи полагается спать. Но где там! Ощущение такое, будто ты улегся не в горном приюте, а на перроне вокзала или у дороги, по которой гонят гурты скота. Словно копыта, цокают по камням сотни посохов, звякают бубенчики, привязанные к каждому из них, чтобы путник не отстал в тумане. Ни на минуту не стихают топот, свистки. Как из вокзального громкоговорителя, доносятся голоса проводников, перекликающихся с помощью карманных раций. Давно стемнело, а люди все идут и идут.

Пора двигаться дальше. Вклиниваюсь в строй, и в глазах начинает рябить от пляшущих по камням лучей карманных фонариков. Лучше уж не смотреть под ноги, а оглядеться по сторонам, тем более что зрелище того заслуживает. Ночное шествие выглядит как сплошная вереница огней, которая начинается где-то у подножия и, извиваясь зигзагами, уходит ввысь, к звездам. Начинает светать. Прибавляю шаг: не пропустить бы восход! Однако общий темп движения, наоборот, замедляется. Торопить впереди идущих бесполезно: им некуда ступить. В предрассветных сумерках видно, что оставшийся отрезок тропы сплошь забит людьми, которые движутся к вершине со скоростью очереди за газетами.

Самое время присмотреться к попутчикам. Идут целые семьи со старыми и малыми. («Ну что ты хнычешь! Осталось совсем немного. Помоги-ка



лучше бабушке. Видишь, она и то не жалуется!») Для двух молодых пар восхождение на Фудзи заменяет свадебное путешествие. («Мы оба работаем в шахте, вот и решили: не все же спускаться вниз, надо хоть раз поближе к небу подняться. По крайней мере, будет что вспомнить и нам, и невестам...») Учитель рассказывает в мегафон колонне заспанных школьников о природе вулканов. К словам его почтительно прислушивается экскурсия крестьянок с Хоккайдо.

Пять миллионов экскурсантов приезжают каждый год к подножию Фудзи. Четверть миллиона человек ежегодно совершают восхождение на вершину. Здесь как нигде постигаешь меру народной любви к священной горе. Здесь убеждаешься, что восхищение ее красотой воплощает культ родной природы, который для японца важнее всех религий. Легко понять, какое смятение вызвала в стране весть, что безупречные очертания горы — излюбленный образ японского искусства — находятся под угрозой. Гора-святыня разрушается. Даже издали, из окна экспресса Токио-Осака, на темном конусе Фудзи видна вертикальная белая полоса. Это остатки снега на теневой стороне Большого провала, который глубоким трехкилометровым шрамом прорезает западный склон.

Сравнение Фудзи с гигантским отвалом шлака можно отнести не только к поверхности, но и к структуре этой вулканической горы. В японских летописях упоминаются восемнадцать ее извержений, последние из которых произошли в 800-м, 864-м, наконец, в 1707 году, когда даже удаленный на сто километров Токио был засыпан слоем пепла пятнадцать сантиметров толщиной. Из этой же бурой пыли и пористых осколков, то есть грунтов рыхлых, непрочных, и сложены склоны горы, если не считать



токов. Когда стоишь перед Большим провалом, кажется, что его дно поминутно простреливают пулеметные очереди: то тут, то там взмываются облачка вулканической пыли от падающих камней.

Оползни и обвалы учащаются весной, когда из-под снеговой шапки горы сочатся талые воды, а также в пору осенних тайфунов, когда ливневые потоки катят вниз глыбы застывшей лавы. Специалисты утверждают, что, если не принять срочных мер, Большой провал вскоре прорежет кромку кратера. Процесс эрозии тогда резко усилится, и через несколько десятилетий Фудзи станет похожа на половину зуба, выщербленного огромным дуплом.

...Еще десять шагов. Еще пять. Вершина! Наконец-то удалось ступить ногой на высшую точку Японских островов, чтобы увидеть оттуда восход над Страной восходящего солнца. Внизу в волнах розового света плавают горные цепи — еще более невесомые, чем ряды облаков над океаном. Все зыбко, все фантастично, как в древней легенде о богатыре Идзанаги, который сотворил Японию из вереницы капель, сбегавших с его копья. На высоте 3776 метров сами собой приходят возвышенные мысли. Но, взобравшись на Фудзи, лучше любоваться далями и не приглядываться к самой вершине, не смотреть под ноги. Согласен с японцами, что традиционное паломничество делает человека чище. Но четверть миллиона восхождений в год отнюдь не очищают саму святыню. Вершина вулкана похожа уже не столько на отвал шлака, сколько на свалку мусора. Повсюду разбросаны консервные банки, пестрые обертки, пустые бутылки. На гребне кратера расположилась метеостанция. Белый купол делает ее похожей на астрономическую обсерваторию. Но стоит там не телескоп, а параболическая антенна одного из самых высоких в мире



радаров. Отсюда не наблюдают звезды, а шарят восьмисоткилометровым лучом по тихоокеанским просторам. Отсюда можно обнаружить око очередного тайфуна задолго до того, как он обрушится на японское побережье.

Служба погоды в Японии — почетное дело. Но о радаре, что смонтирован на вершине Фудзи, в народе говорят с тревогой. Ведь он передает свои сигналы не только для метеостанций страны, но и для американских военных баз на японской земле, для 7-го флота США в Тихом океане. В конце Второй мировой войны Фудзи служила главным ориентиром для американских «летающих крепостей», которые сбрасывали на японские города свой смертоносный груз. Теперь ей снова выпала подобная же роль. Местные старожилы помнят со слов своих дедов народные приметы, которые предвещают очередное извержение Фудзи. Нынешнее поколение окрестных жителей научилось распознавать приближение бедствий иного рода. Корея, Вьетнам, Персидский залив — каждому региональному конфликту в Азии предшествовали военные учения на склонах Фудзи. Подножие священной горы все послевоенные годы служит полигоном для морской пехоты США.

Сезон восхождений на Фудзи длится всего два месяца — июль и август. Но как раз летом туристская тропа к вершине то и дело оказывается перекрытой из-за учебных стрельб. Вереницы экскурсионных автобусов движутся по шоссе, которое опоясывает гору, связывает пять озер, лежащих у ее подножия. Альпийские луга, сосновые рощи, виноградники. Женщины срезают и укладывают в корзины тугие гроздья. Но все это лишь первый план, лишь рамка, за которой глаз все время ищет священную гору.



И каждый раз она предстает иной,
282 как на прославленной серии гравюр

Хокусая «Сто лиц Фудзи». То она выглядит как серый призрак, плавающий в дымке утреннего тумана, то щедро удваивает свою красоту в глади озер, то — после заката — докрасна раскаляет края своего кратера отблесками ушедшего дня.

— Фудзи — это вулкан правильной конической формы, самая высокая и самая красивая гора в Японии... — Девушка-экскурсовод смущенно опускает на колени микрофон.

Да, человеческие слова здесь слишком бедны. Но легко ли объяснить, почему столь знакомая, даже примелькавшаяся на открытках, веерах, вазах, картинах гора, представ перед глазами, заставляет сердце учащенно биться? Чем же больше всего впечатляет Фудзи? Может быть, сочетанием своего величия с гордым одиночеством? Первая вершина Японии возвышается как бы на ровном месте. Другие горы стоят на почтительном расстоянии, словно не решаясь заслонить, исказить ее безупречных очертаний. Фудзи волнует своей картинностью, в благородном смысле этого слова. Кажется, перед тобой не явление природы, а произведение искусства...

Автобус вдруг резко тормозит, прижимаясь к обочине. Из-за поворота вырывается колонна бурозеленых грузовиков с зажженными фарами. Они вихрем проносятся по оцепеневшему шоссе. В глазах остаются только огромные белые буквы, написанные на каждой машине: «Боеприпасы». Хочется зажмуриться, убедить себя в том, что это могло лишь привидеться на дороге, проложенной ради того, чтобы священная гора раскрывала людям свои сто прославленных художником лиц.

Иностранные туристы падки на сувениры с изображением Фудзи. Для них это марка местной экзотики, вроде наклейки на чемодан. Да, Фудзи



действительно можно считать национальным символом Японии. И будь жив Хокусай, он запечатлел бы на своей очередной гравюре ее сто первое лицо. Он изобразил бы не только воронки на теле горы, но и местных крестьянок, которые в дни учебных стрельб бесстрашно загорали своими телами боевые мишени. Он сумел бы показать, что святыня, символизирующая собой японский народ, — вулкан дремлющий, но не потухший.

Все больше людей хотят, чтобы Япония избавилась от американских баз и войск. На то есть причины. Из-за авиационных катастроф гибнут местные жители, рушатся постройки. Когда американские солдаты бесчинствуют, их нельзя предать японскому суду. Шум реактивных двигателей не дает покоя тем, кто живет по соседству с военно-воздушными базами США. Гражданское население становится жертвами тренировочных стрельб. Военно-морские учения мешают прибрежному рыболовству.

Уиллард Прайс (Канада).

Японское чудо и японская опасность. 1971

Не касаясь того, что после войны между американцами и японцами существовали взаимоотношения победителей и побежденных, что всегда затрудняет взаимопонимание, есть много причин, по которым даже в наиболее благоприятных обстоятельствах японо-американское сближение имело бы мало шансов на успех. С одной стороны, перед нами Америка, страна пуританских традиций, прямых, практических людей, лишенных подлинного, постоянного интереса к искусству и духовным ценностям вообще, людей, всегда готовых разрубить гордиев узел. С другой стороны, перед нами



языческим, как древние обитатели Средиземного моря; люди, которые всегда склонны рассуждать терминами настроения и повиноваться обстоятельствам; чрезвычайно сложный народ, полный древнего страха и новой амбиции, обостренно чуткий ко всем формам красоты, духовным ценностям и эмоциональным порывам; люди, которые, оказавшись перед гордиевым узлом, всегда предпочтут не разрубать его, но завязать вокруг него новый, более крупный, и таким образом скрыть его из виду. Перед нами, по существу, два подхода к жизни, которые столь глубоко несхожи, что трудно даже представить себе более разительный контраст.

Фоско Мараини (Италия).

Встреча с Японией. 1959

С тех пор как Япония открыла свои двери перед внешним миром, вряд ли был еще какой-нибудь народ, при описании характера которого столько раз повторялись бы слова: «Но также...»

Когда серьезный наблюдатель пишет о людях какого-либо народа и говорит, что они несравненно учтивы, вряд ли он станет добавлять: «Но также дерзки и надменны». Когда он говорит, что эти люди чрезвычайно неподатливы, он не присовокупит: «Но также восприимчивы ко всему новому». Когда он говорит, что люди эти послушны, он не станет тут же объяснять, почему их нельзя подталкивать. Когда он говорит, что эти люди преданны и великодушны, он не предостережет: «Но также коварны и подозрительны. Когда он говорит, что эти люди поистине храбры, он не станет расписывать их робость. Когда он ведет речь о людях, которые охотно отдаются изучению всего, что приходит с Запада, он не станет также подчеркивать их непоколебимый консерватизм. Когда он пи-

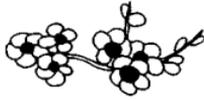


шет книгу о народе, который поклоняется красоте, славит актеров, художников и возводит в ранг искусства выращивание хризантем, такая книга обычно не требует приложения, посвященного культу меча и непререкаемому престижу, который принадлежит воинам.

Все эти противоречия составляют, однако, начало и конец книг о Японии, все они действительно существуют. Как меч, так и хризантема являются частью картины. Японцы в одно и то же время напористы и сдержанны; воинственны и артистичны; дерзки и вежливы; неподатливы и восприимчивы; послушны и непокорны; преданны и коварны; отважны и робки; консервативны и жадны до нового.

Рут Бенедикт (США).
Хризантема и меч. 1946





108 УДАРОВ КОЛОКОЛА

Рассекая тихоокеанскую волну, корабль мчался к японским берегам. Его квадратный парус казался алым от заходящего солнца, за которым он настойчиво гнался. Семеро на борту парусника очень спешили. Но ветер народной фантазии, как всегда, доставил их к сроку — когда гулкие раскаты старых бронзовых колоколов начали отбивать новогоднюю полночь.

Япония замерла, отсчитывая эти сто восемь ударов. Ведь Новый год там не просто праздник из праздников, а как бы общий для всего народа день рождения. У японцев до недавнего времени не было обычая праздновать дату своего появления на свет. Сто восьмой удар новогоднего колокола добавляет единицу сразу ко всем возрастам. Даже младенца, родившегося накануне, наутро считают годовалым. В новогоднюю полночь человек становится на год старше и к тому же переступает некий порог, за которым его ждет совершенно новая судьба. Двери жилищ принято украшать в эту пору ветвями сосны, бамбука и сливы. Вечнозеленая сосна олицетворяет для японцев долголетие, бамбук — стойкость, а расцветающая в разгар зимы слива — жизнерадостность среди невзгод.

К этим общим пожеланиям каждый вправе добавлять свои личные надежды. Вот почему в канун праздника по всей Японии бойко раскупаются картинки с изображением сказочного парусника.



Их кладут под подушку, чтобы увидеть в новогоднюю ночь самый желанный сон: семь богов счастья на Драгоценном корабле. Сон же этот предвещает человеку исполнение его самой заветной мечты. Итак, парусник мчался к японским берегам. Человек непосвященный заметил бы на борту трех толстяков, двух старцев, воина и женщину. Однако каждый из семерых вполне заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Бога удачи Эбису сразу отличишь от двух других толстяков по удилицу в руке и окуню под мышкой. Иным и не может быть бог удачи в стране, где все жители — заядлые рыболовы и даже сам император пристрастен к рыбалке. За помощью к Эбису обращаются те, кому, помимо снасти и сноровки, требуется еще и везение: рыбаки, мореходы, торговцы. Изображение толстяка с удочкой найдешь почти в каждой лавке. Эбису, однако, вместе с удачей олицетворяет еще и честность. Так что один день в году торговцы обязаны отпускать товары в полцены, как бы извиняясь за полученные сверх меры барыши. Может быть, именно поэтому дельцы больше, чем Эбису, уважают Дайкоку — дородного деревенского бородача, восседающего на куле с рисом. Когда-то его почитали лишь крестьяне как бога плодородия. Но с тех пор как в руках у бородача оказался деревянный молоток, Дайкоку стал к тому же покровителем всех тех, кому требуется искусство выколачивать деньги — торговцев, биржевиков, банкиров; словом, он из бога плодородия превратился в бога наживы.



Наконец, третий толстяк — улыбчивый круглолицый бог судьбы Хотэй. Его приметы: бритая голова и круглый живот, выпирающий из монашеского одеяния. Нрава он беззаботного, даже непутевого, что

но рискованно, ибо не кто иной, как Хотэй, таскает за спиной большущий мешок с людскими судьбами. Богу судьбы поклоняются прорицатели и гадалки, а также политики и повара (те и другие иной раз заварят такое, что сами не ведают, что у них получится).

Впрочем, втайне почитая Хотэя, политики любят публично называть своим кумиром бога мудрости Дзюродзина. Это ученого вида старец с длиннейшей бородой, который держит в руке еще более длинный свиток знания, то и дело дополняя его. Дзюродзин слывет к тому же любителем выпивки и женщин, без чего он попросту не был бы достаточно мудрым, в понимании японцев. Философы, юристы, литераторы, как и упоминавшиеся уже политики, считают Дзюродзина своим покровителем.

Бог долголетия Фуку-Року-Дзю — это маленький лысый старичок с непомерно высоким лбом (считается, что с годами череп вытягивается в длину). Его неразлучные спутники — журавль, олень и черепаха. Не в пример богу мудрости, бог долголетия отличается тихим нравом. Он любит играть в шахматы и в силу личного пристрастия опекает шахматистов, а также часовщиков, антикваров, садовников — людей, труд которых имеет отношение ко времени настоящему, прошедшему или будущему.

Особняком стоит на палубе Бишамон — рослый воин с секирой, в шлеме и доспехах, на которых написано «Верность, долг, честь». Бишамон не любит, когда его называют богом войны, доказывая, что он не воитель, а страж, отчего и наречен покровителем полицейских и лекарей (военных, кстати, тоже).

И наконец, единственная женщина в обществе богов — это покровительница искусств Бентен с лютней в руках.

Когда-то японки, игравшие на этом



инструменте, не решались выходить замуж, боясь, что разгневанная богиня лишит их музыкального дара. Бентен действительно не в меру ревнива — к чужим талантам, к чужой славе, к чужим почитателям, что, впрочем, свойственно слугителям искусства отнюдь не только в Японии.

С какими же мыслями хотели японцы увидеть в новогоднюю ночь этих семерых на Драгоценном корабле? Самая, казалось бы, бесхитростная мечта была у мальчугана из горного селения в префектуре Иватэ. Ему хотелось, чтобы на праздники домой вернулся отец и помог ему сделать большущего новогоднего змея с лицом сёгуна Иэясу. Отец еще с жатвы уехал в Токио на какую-то стройку. Мальчугана послали на почту получить от него очередной перевод, а заодно узнать, ходят ли автобусы после метели. На беду оказалось, что из-за заносов сообщение опять прервано. Шагая назад по глубокому снегу, мальчуган думал: почему бы отцу не проложить через здешние горы такую же диковинную дорогу на столбах, какую он строит над токийскими улицами? Дома мать с бабушкой смотрели по телевизору новогодний концерт. На экране отплясывали девицы в немислимых нарядах. Тут, как всегда, начались севания, что хоть и нет войны, а крестьянки живут будто солдатки: мужья чаще в отходе, чем дома.

Между тем городские девушки, руками которых был собран стоявший в крестьянском доме цветной телевизор, тоже готовились к празднику. В комнате заводского общежития, украшенной ветками сосны, бамбука и сливы, чинно сидели ожившие красавицы с картины Утамаро. Пусть не черепаховые, а пластмассовые гребни украшали их сложные прически; пусть узорные праздничные кимоно были не из тканного вручную шелка, а из нейлона.



та же изысканная женственность, которую прославлял когда-то великий художник.

На первый взгляд могло показаться, что в руках у девушек две колоды карт. Но это были не просто карты. Рабочее общежитие состязалось в знании древней поэзии. Семь веков назад были отобраны сто лучших стихов ста лучших поэтов. Они обрели такую популярность, что донныне остались у молодежи темой излюбленной новогодней игры. На картах первой колоды целиком печатается каждое из ста четверостиший; на другой, которая раскладывается на столе, лишь завершающие строфы. Выигрывает тот, кто, услышав начало стиха, первым найдет и прочтет его окончание. Еще сто лет назад игра в сто четверостиший была единственным случаем, когда юношам и девушкам приличествовало находиться вместе. Нынче таких возможностей куда больше. Однако картинку с Драгоценным кораблем все же положила себе под подушку каждая обитательница рабочего общежития. И хотя девичьи мечты легко угадать, ибо они очень схожи во все века и у всех народов, рассказывать о них было бы нескромно.

А поэтому обратим лучше взгляд на ту из подруг, которая год назад встречала праздник в общежитии, а минувшим летом вышла замуж. Молодая пара, о которой пойдет речь, медленно двигалась по центральной улице Токио в потоке гуляющих. Гиндза сверкала в новогодний вечер куда ярче своего старинного имени. Слова «Серебряный ряд» были бы слишком тусклыми для этого безумства огней. Молодожены шли, искренне восхищенные неоновым сиянием. Оба они редко бывали здесь с тех пор, как сняли комнату на окраине, в полутора часах езды на электричке. Возле прозрачной цилиндрической башни все останавливались, чтобы посмотреть, как освещена ее вершина.



(По цвету огней можно судить о завтрашней погоде.) На середине же башни неизменно горели три красных ромба. Они видятся в Японии чаще, чем хризантема с шестнадцатью лепестками — официальный герб императорского двора. Эмблема концерна «Мицубиси» словно давала понять, что именно эти три красных ромба делают погоду в стране.

Молодой муж рассказал, что своеобразная конструкция здания в виде башни объясняется тем, что она построена на самом дорогом в Японии участке земли. Заговорив о ценах на недвижимость, супруги нарушили зарок не касаться этой невеселой темы. Дело в том, что молодая пара без гадалок и прорицателей знала, что новый год сулит им прибавление семейства. А домовладелец, у которого они снимали комнату, включил в контракт условие: пока не будет ребенка. Под праздник хотелось гнать от себя заботы. Впереди было три выходных дня. Они взяли экскурсионный тур с заездом на вулкан Асо, который почему-то любят посещать молодожены и... самоубийцы.

Возле кратера вулкана Асо коротал новогоднюю ночь полицейский патруль. Один из полицейских попал сюда впервые и увидел совсем не то, что ожидал. Вместо огнедышащей горы, вместо вздувшегося нарыва перед ним была болезненная язва на теле земли. Вокруг громоздились пепельные груды шлака. Они напоминали лунный пейзаж. И это сходство усиливалось тем, что большие пористые глыбы были неожиданно легки — их можно было в одиночку сдвинуть с места. Патруль на этот раз дежурил у кратера не для того, чтобы в случае извержения сгонять экскурсантов в бетонированные укрытия. Вулкан был безлюден. Но охранять его в новогоднюю ночь приходилось от тех, кто не хочет класть себе под подушку картинку с Драгоценным



Взбалмошный и непредсказуемый бог судьбы Хотэй, заставляющий ошибаться даже профессиональных гадалок, лишь перед Новым годом как бы раскрывает карты. За 365 дней у людей на улицах могут быть разные поводы радоваться или горевать, нестись сломя голову или брести в задумчивости. Но заранее известно, что из всех пятидесяти двух недель года именно на две предпраздничные приходится наибольшее число жертв уличного движения и наибольшее число самоубийств. Никакие меры не в силах повлиять на эту статистику, которую иногда хочется назвать мистикой. Таков уж неотвратимый рок этой лихорадочной поры. Ведь Новый год приносит не только надежды, но и заботы. Заново раскрывая в книге жизни чистую страницу, он в то же время служит порогом, за который нельзя переносить невыполненных обещаний, неоплаченных долгов.

Но вот и подошла новогодняя полночь. Затаив дыхание, прислушиваются японцы к раскатистому басу бронзовых колоколов. Считается, что каждый из этих ударов изгоняет одну из ста восьми бед, которые омрачают человеческую жизнь. Если бы этот торжественно-неторопливый звон действительно был способен изгонять беду за бедой! Удар — и у берегов Японии появился бы Драгоценный корабль с семью богами, способными сделать явью счастливые сны. Жаль, что подобные чудеса происходят лишь в новогодних сказках...

Некоторые американцы или европейцы видят в Японии первую действительно американизированную или европеизированную страну Азии. Отмечая перемены, происшедшие в Японии за последнее столетие, многие на Западе считают, что и сами японцы переменялись настолько, что стали похожими на американцев или



европейцев, оставаясь японцами и азиатами лишь вследствие географической случайности.

Этот образ, однако, является иллюзией, отражением поверхностных явлений японской жизни. Сущность же ее проистекает из взглядов, обычаев, привычек, установлений, которые глубоко коренятся в японской культуре и истории. Сердцевина японской традиции по-прежнему оказывает направляющее воздействие на повседневную жизнь японцев, на политику страны, и сердцевина эта мало затронута внешними воздействиями. Западное влияние изменило лицо Японии, но не проникло в души японцев.

Мы, иностранцы, предпочитаем замечать у японцев те внешние черты, которые нам знакомы. Приезжая в Японию, мы ищем глазами привычные предметы, чтобы с их помощью ориентироваться в новом, непривычном окружении. При виде неоновых реклам мы замечаем буквы, а не иероглифы. Мы прежде всего видим бейсбол, но не сумо; виски, но не саке; мини-юбки, но не кимоно; рукопожатия, но не поклоны. Мы чувствуем себя привычнее с людьми, которые пользуются такими же вещами, как и мы. Нам кажется, что и сами эти люди схожи с нами.

Западная печать мало сделала для того, чтобы исправить эту искаженную картину. Да и сами японцы лишь способствовали подобной иллюзии насчет своей страны. Тема модернизации, индустриализации, американизации и европеизации долгое время была излюбленной в Японии.

Ричард Халлоран (США).

Япония, образ и действительность. 1969



Тридцать лет изучения Японии, ее народа, языка, культуры все явственнее раскрывают мне черты общности и

преемственности, лежащие под всем тем, что перемешивается и меняется. Конечно, было бы наивно отрицать внешний хаос, бросающийся в глаза: внутренние сотрясения, резкие сдвиги, внезапные скачки кровяного давления. Но глубоко под всем этим обнаруживается нечто монолитное, подобное опорной раме, скрепляющей воедино части сложной машины.

Эта рама принимает на себя удары, встряски, толчки и даже превращает их в импульсы дальнейшего движения.

Фоско Мараини (Италия).

Япония: черты преемственности. 1971

Если новое в Японии поражает, то старое содержит даже больше того, чему можно дивиться. Каким-то подспудным стержнем своей природы японцы бескомпромиссно придерживаются эстетических норм, идеалов и общинных уз, которые остаются неизменными на протяжении двадцати веков. Больше чем какая-либо страна Востока Япония перенимала, воспринимала и даже похищала у Запада все лучшее. Но больше чем какая-либо другая страна Востока Япония осталась сама собой.

Скупая на Западе технологические процессы и современные удобства, Япония решительно отказывалась допустить, чтобы эти приобретения вытеснили, подменили собой прочную, неизменную сердцевину японской традиции. В какой-то конечной точке японцы неподкупны — надменность западного материализма их не ошеломляет, даже не впечатляет. Япония уверена, что ее прошлое столь же ценно, как и настоящее.

Уильям Форбис (США).

Япония сегодня. 1975





ДОЛГ ПЕРЕД ВИШНЯМИ

За годы журналистской работы в Токио мне часто вспоминались слова Маяковского, который считал себя в долгу

...перед вишнями Японии,
перед всем, о чем не успел написать.

Постоянная гонка за текущими событиями политической и общественной жизни почти не оставляет журналисту, пишущему в газету из-за рубежа, времени для обстоятельного рассказа о самом народе, о чертах его портрета. Перелистываешь потом объемистые папки переданных материалов и с горечью убеждаешься, что так и не успел толком ответить на вопрос: что же они за люди, японцы? Об этом соседнем народе наша страна с начала нынешнего века знала больше плохого, чем хорошего. Тому были свои причины. Да и то плохое, что мы привыкли слышать о японцах, в целом соответствует действительности и нуждается скорее в объяснении, чем в опровержении. Однако если отрицательные черты японской натуры известны нам процентов на девяносто, то положительные лишь процентов на десять.

Разумеется, оценка той или иной черты характера всегда относительна, субъективна.

Американец, к примеру, скажет: «Японцы предприимчивы, но непрактичны.



Они серьезно относятся к работе, но весьма беспечно — к деньгам».

Немец добавит: «И ко времени тоже. Им не хватает пунктуальности, приверженности разумному порядку». Против этого трудно возразить. Хотя русской натуре импонирует как раз то, что японцы даже при бедности не мелочны, при организованности — не педантичны, что они неохотно подчиняют душевные порывы голосу рассудка. Японец любит показать, что равнодушен к деньгам (может быть, даже больше, чем это присуще ему на самом деле). Пересчитывать сдачу не принято. Если пятеро рабочих зайдут выпить пива, расплатится кто-нибудь один, и никто не будет всучивать ему потом свою долю.

Заезжих иностранцев Япония поражает как страна, где не берут чаевых. Шофер такси, разносчик из лавки вручит сдачу до последней монетки и поблагодарит. Народ в целом отличает какая-то моральная чистоплотность в отношении к деньгам. Люди не разучились ставить духовные ценности превыше материальных благ. Японец любого положения и достатка много читает, многим интересуется. Общий тираж японских газет перешагнул за семьдесят миллионов экземпляров, приближаясь к мировому первенству.

Причем здесь надо отметить любопытную особенность. В западной прессе принято делить газеты на «качественные» и «массовые». Первые из них, то есть самые солидные, влиятельные, имеют куда более узкий круг читателей, чем бульварные издания, выходящие миллионными тиражами. В США, например, серьезная «Нью-Йорк таймс» втрое уступает по тиражу куда более легковесной «Нью-Йорк дейли ньюс», а тираж наиболее уважаемых в Англии газет «Таймс» и «Гардиан» в десять—двенадцать раз меньше, чем



у «массовой» «Дейли миррор». В Японии же именно «качественные» газеты одновременно являются и «массовыми», то есть наиболее популярными. «Асахи», «Иомиури», «Майнити» имеют по семь—восемь миллионов подписчиков. Дело здесь, разумеется, не в издателях, а в читателях — в уровне их запросов.

Есть типичная шкала чувств, которые сменяются у иностранца по мере того, как он «вживается» в Японию: восхищение — возмущение — понимание. Та самая экзотика, которая умиляет туриста, подчас раздражает человека, прожившего в стране год или два, то есть срок достаточный, чтобы сама по себе необычность перестала отождествляться с привлекательностью, но, как правило, недостаточный, чтобы преодолеть привычку подходить к чужому народу со своими мерками. Японцы иногда сравнивают свою страну со стволом бамбука, окованным сталью и завернутым в пластик. Это точный образ. Туристские достопримечательности, которые прежде всего предстают взорам иностранцев, и впрямь кое в чем схожи с экзотической оберткой, сквозь которую местами проглядывает сталь современной индустриальной Японии. Легко подметить новые черты на лице этой страны. Труднее заглянуть в ее душу, прикоснуться к скрытому от посторонних глаз бамбуковому стволу, почувствовать его упругость.

Всякий, кто впервые начинает изучать иностранный язык, знает, что проще запомнить слова, чем осознать, что они могут сочетаться и управляться по совершенно иному, чем у нас, правилам. Грамматический строй родного языка тяготеет над нами как единственный универсальный образец. Это в немалой степени относится и к национальным особенностям (то есть как бы к грамматике жизни того или иного народа).



По мере того, как нарастает поток информации о зарубежных странах, все более нужным становится умение осмысливать эти факты. Иначе копить их так же бесполезно, как заучивать иностранные слова, не зная грамматики. Подметить черты местного своеобразия, экзотические странности — это лишь шаг к внешнему знакомству. Для подлинного познания страны требуется нечто большее. Нужно приучить себя от вопроса «как?» переходить к вопросу «почему?». Иначе говоря, необходимо, на мой взгляд, разобраться в системе представлений, мерок и норм, присущих данному народу; проследить, как, под воздействием каких факторов эти представления, мерки и нормы сложились; наконец, определить, в какой мере они воздействуют ныне на человеческие взаимоотношения и, стало быть, на современные политические проблемы.

Может возникнуть вопрос: правомерно ли говорить о каких-то общих чертах целого народа? Ведь у каждого человека свой характер и ведет он себя по-своему. Это, разумеется, верно, но лишь отчасти. Ибо разные личные качества людей проявляются — и оцениваются — на фоне общих представлений и критериев. И, лишь зная образец подобающего поведения — общую точку отсчета, — можно судить о мере отклонения от нее, можно понять, как тот или иной поступок предстает глазам данного народа. В Москве, к примеру, полагается уступать место женщине в метро или троллейбусе. Это не означает, что так поступают все. Но если мужчина продолжает сидеть, он обычно делает вид, что дремлет или читает. А вот в Токио притворяться нет нужды: подобного рода учтивость в общественном транспорте попросту не принята.

Правомерен и вопрос: как можно говорить о национальных чертах, если

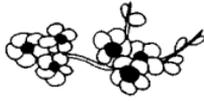


жизнь так насыщена переменами, а стало быть, непрерывно меняются и люди? Споры нет, японцы стали в чем-то иными, чем прежде. Но даже сами перемены происходят у них по-своему, по-японски. Подобно тому, как постоянный приток новых слов укладывается в языке в устойчивые рамки грамматического строя, национальный характер меняется под напором новых явлений тоже весьма незначительно.

За семь лет журналистской работы в Токио я постоянно писал о текущих проблемах, которые становились злобой дня. Однако чем глубже я вживался в японскую действительность, тем острее чувствовал потребность более обстоятельно рассказать о самой атмосфере страны, о характере ее жителей — обо всем том, что поневоле остается за рамками газетных репортажей, но составляет немаловажную подоплеку событий. Авторский замысел состоял, стало быть, в том, чтобы нарисовать — разумеется, в своей личной, может быть, в чем-то спорной интерпретации — психологический портрет японского народа. Хотя, повторяю, судить о характере человека и тем более целого народа дело весьма субъективное. Так что я смог поделиться лишь своими личными впечатлениями о японцах и опять-таки личными размышлениями о них.

Национальные особенности заслуживают изучения не только ради познавательного, этнографического интереса. Знание этих особенностей помогает глубже вникать в суть современных проблем, лучше понимать подоплеку явлений и процессов, механику взаимодействия общественных и политических сил. Словом, поняв, что за люди японцы, легче понять, что за страна Япония. С этим дальневосточным соседом нам суждено всегда жить бок о бок. А кому неизвестна истина: у соседа могут быть свои взгляды, склонности, привычки, но чтобы ужиться с ним, надо знать его характер.





«ВЕТКА САКУРЫ» В ЯПОНИИ

Одновременно три японских издательства — «Токума», «Синте» и «Иомиури», прекрасно осведомленные о планах друг друга, выпустили в начале мая 1971 года книгу В. Овчинникова «Ветка сакуры» (впервые она была опубликована в «Новом мире» № 2, 3 за 1970 год) — случай в условиях жесткой конкуренции беспрецедентный. Но, как показали последующие события, расчет предпринимателей был верен — все три издания разошлись в первые же дни после выхода. Множество откликов, появившихся на страницах японской прессы, объясняют причины успеха книги.

«Автор точно и образно описывает внутренний мир японца, культуру и экономику нашей страны» (газета «Киото симбун»). «Вопрос, систематически исследуемый автором, — сложный дуализм японца. Это японец, который носит улыбку на лице и плачет в душе; это вежливость японской речи, доведенная до уровня абстрактного искусства. Это учтивость в личной жизни и грубость на улице; это священная вершина Фудзи и куча мусора на ней; это девушка, которая танцует шейк и соглашается на брак по сватовству» (газета «Асахи»). «Когда автор говорит о чем-то непонятном для иностранцев, он так глубоко понимает суть дела, что даже мы, японцы, не можем не согласиться с ним... Как он умудрился докопаться до таких вещей! — невольно удивляемся и улыбаемся мы» (газета «Комей симбун»).



Журнал «Тойо Кэйдзай» пишет, что В. Овчинникову помогло разобраться во многих проблемах японской жизни «...глубокое знание культуры Востока». На это же обращает внимание и газета «Тосе симбун»: «Ветка сакуры»... — вдумчивое толкование Японии человеком, прожившим в стране семь лет. Для японцев книга эта — зеркало, которое позволяет нам критически взглянуть на самих себя».

Журнал «Дзицуге но Нихон» отмечает широту, с которой В. Овчинникову удалось охватить разнообразные стороны современной японской действительности: «Эта книга — подлинная энциклопедия Японии». В «Ветке сакуры», говорится в рецензии, «ценна и справедлива критика современной японской культуры». А еженедельник «Сюкан бунею» подчеркивает, что в книге В. Овчинникова чувствуется дружественное отношение автора к народу Японии: «...на каждой странице книги чувствуется доброжелательность, широта души и теплота, с которой советский человек смотрит на Японию». В связи с этим газета «Киото симбун» приходит к выводу: «Книга “Ветка сакуры” имеет большое значение для углубления взаимопонимания между нашими народами».

Журнал «Новый мир», № 11, 1971



КОРНИ ДУБА
Впечатления
и размышления
об Англии
и англичанах





УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПРОБКИ И ВАННА БЕЗ ДУША

Дело было в Лондоне в середине 70-х годов. Мы обедали в английской семье, которая собиралась в двухнедельную поездку по Советскому Союзу. Разговор шел о Москве, Ленинграде, Сочи, о том, что лучше всего посмотреть в этих городах за считанные дни. После пудинга, как водится, подали сыр, а потом пригласили гостей пить кофе к камину.

Улучив минуту, хозяин отвел меня в сторону и сказал, что хотел бы доверительно поговорить на одну щекотливую тему. Может ли он рассчитывать, что я, во-первых, правильно пойму мотивы его вопроса, а во-вторых, отвечу на него вполне искренне? Я, разумеется, кивнул, хотя и не представлял, что может последовать за подобным предисловием.

— Видите ли, — продолжал хозяин после нерешительной паузы, — мы с женой едем в СССР вперые. И все, кто там бывал, советуют нам непременно захватить с собой пробку для умывальника. Говорят, что в гостиницах у вас тепло, даже есть горячая вода. Но вот раковину затыкать нечем — так что ни умыться, ни побриться. Какого же диаметра везти пробку? Одинакова ли она в разных городах? И не подумайте, что нас пугают какие-то мелкие неудобства. Дело не в них, и каждый друг Советского Союза понимает, что всего сразу не напасешься: революция, война... Но почему пробок для ванн давно хватает, а с пробками для раковин дело так затянулось?



Умывальник без пробки. Сколько раз вопросами о нем меня ядовито донимали недоброжелатели, сколько раз недоуменно спрашивали о нем наши друзья! Сколько раз при публичных выступлениях и в частных беседах мне доводилось объяснять, что привычка умываться под струей воды — это не суровое наследие революций, войн, а национальный обычай, сложившийся с незапамятных времен, что еще задолго до появления водопровода у нас было принято поливать на руки из ковша или набирать воду в ладони из раковины. Именно поэтому, добавляя я, россиянин так же сетует в Англии на ванну без душа, как английский турист у нас — на умывальник без пробки. Остановившись в английской гостинице, всякий раз недоумеваешь: во-первых, как раздеваться при таком холоде, во-вторых, как сполоснуть ванну, если нет ни таза, ни гибкого шланга, и, в-третьих, как сполоснуться самому, если нет ни душа, ни смесителя — только краны с холодной и горячей водой.

Ночуя в английских семьях, убеждаешься, что это общее явление. В квартире, которую снял в Лондоне еще предшественник моего предшественника, домовладелец лишь после многолетних просьб установил в ванне душ с гибким шлангом. Однако умывальник по традиции не имеет смесителя, так что воду из двух кранов можно смешивать только в закупоренной пробкой раковине. А поскольку плескаться в умывальнике, как это делают англичане даже в гостиницах, поездах и общественных туалетах, я так и не полюбил, мне приходилось после бритья споласкивать лицо теплой водой из кружки. В отличие от нас англичане никогда не умываются под струей. Не имеют они обыкновения и окатываться водой после ванны, а прямо в мыльной пене начинают вытираться. Но еще труднее, пожалуй,



свыкнуться с тем, что этот обычай распространяется и на мытье посуды.

Помнится, я был впервые поражен этим на дне рождения у одной лондонки. Когда гости встали из-за стола, хозяин объявил, что по случаю юбилея жены он сам соберет тарелки и бокалы. Мужчины из солидарности отправились за ним на кухню. По рукам пошел графин портвейна, начались анекдоты. Хозяин тем временем наполнил мойку, добавил в воду жидкого мыла, а потом принялся просто окунать туда тарелки, проводить по ним щеткой и тут же ставить их на сетку. Тогда я, грешным делом, подумал, что он, будучи навеселе, просто забыл ополоснуть посуду под краном, прежде чем высушить и протереть ее. Однако впоследствии убедился, что это было не случайное исключение, а общее правило. Именно так — и только так — моют бокалы и кружки, тарелки и вилки во всех английских пабах и ресторанах.

Умывальник без пробки и ванна без душа — лишь один из множества подобных примеров. Все они иллюстрируют непреложную истину: сталкиваясь за рубежом с чем-то необычным и непривычным, люди порой превратно судят о нем из-за инстинктивной склонности мерить все на свой аршин. Мораль сказанного выше, пожалуй, исчерпывающе выражена в известном четверостишии:

Лошадь сказала, увидев верблюда:

«Какая нелепая лошадь-ублюдок!»

Верблюд подумал: «Лошадь разве ты?

Ты же просто верблюд недоразвитый».

Чтобы познать чужую страну, нужно отказаться от привычки мерить все на свой аршин. Следует разобраться в системе представлений, мерок и норм,



присущих данному народу. Эту мысль я уже высказывал, прежде чем делиться своими впечатлениями и размышлениями о японцах. И ее же хочется вновь повторить, приступая к рассказу об англичанах.

Национальный характер повсюду живуч. Но ни к какому народу это не относится в большей степени, чем к англичанам, которые, судя по всему, имеют нечто вроде патента на живучесть своей натуры. Такова первая и наиболее очевидная черта англичан. Стабильность и постоянство их характера. Они меньше других подвержены веяниям времени, преходящим модам. Если авторы, пишущие об англичанах, во многом повторяют друг друга, объясняется это прежде всего неизменностью основ английского характера. Важно, однако, подчеркнуть, что при своей стабильности характер этот составлен из весьма противоречивых, даже парадоксальных черт, одни из которых весьма очевидны, другие же — трудноуловимы; так что каждое обобщение, касающееся англичан, тут же может быть оспорено.

Материалистичный народ — кто усомнится в этом? — англичане дали миру щедрую долю мистиков, поэтов, идеалистов. Народ колонистов, они проявляют пылкую приверженность к собственной стране, к своему дому.

Неутомимые мореплаватели и землепроходцы, они одновременно страстные садоводы. Их любознательность позволила им познакомиться с лучшим из того, чем обладают другие страны, и все-таки они остались верны своей собственной. Восхищаясь французской кухней, англичанин не станет имитировать ее у себя дома. На редкость законопослушный народ, они обожают читать о преступлениях и насилиях. Являя со-



бой воплощение конформизма, они в то же время заядлые индивидуалисты, и среди них полно эксцентриков.

Все это парадоксы, к которым, пожалуй, следует добавить еще один: при всей своей парадоксальности английский характер редко бывает загадочным и непредсказуемым. Его главные черты достаточно ясны, они проходят сквозь все классы общества и почти не поддаются воздействию времени.

Генри Стил Коммаджер (США).
Британия глазами американцев. 1974

Я не пытаюсь утверждать, будто англичане никогда не менялись. Перемены происходят всегда. Но эти различия, столь заметные внешне, не проникают вглубь, до корней. К лучшему или к худшему, исконные черты английской природы по-прежнему остаются неким общим знаменателем, оказывают глубокое влияние на национальный характер и общий стиль жизни.

Джон Б. Пристли (Англия).
Англичане. 1973

Национальный характер во многом аналогичен языку. Грамматика и словарный запас являются общими для всех. Интонация, подбор слов, построение фраз у каждого человека в какой-то степени свои. Говоря о национальном характере, мы говорим о попытке выделить нечто подобное грамматическим правилам в области психологии, то есть общие побуждения, мерки, представления. Национальный характер так же мало говорит о чертах отдельного человека, как грамматика — о личном стиле речи или письма.

Джеффри Горер (Англия).
Исследуя английский характер. 1955



Ничего, казалось бы, не скрывает о себе Англия.

Ни в каких, казалось бы, выражениях не стесняется она, открывая свое лицо. И никто так не умеет смеяться над ней, как она сама над собой...

Но что, собственно, знаем мы глубоко об Англии, как представляем себе ее лицо, казалось бы, совершенно открытое чужому взгляду?

Мне думается, нет маски более загадочной, чем это открытое лицо. И нет более интересной задачи сейчас для журналиста-международника, нежели разгадать эту загадку Англии, разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее, вернее, представить себе желательность того будущего, которое было бы не только наилучшим для нее, но и органичнее, отвечающим ее самым глубоким национальным корням...

**Мариэтта Шагинян (СССР).
Зарубежные письма. 1971**





КАПЛИ НА ПЛАЩЕ

С чего начинаешь, впервые попав в чужую, незнакомую страну? Как губка, впитываешь впечатления, жадно ловишь звучащую вокруг речь. Пытаешься разговориться со случайными встречными: с попутчиком в автобусе, с соседом на садовой скамейке. Словом, окропляешь животворной влагой личных впечатлений сухие зерна заочных знаний о стране. Все это довелось изведать уже не раз. И до приезда в Лондон я был убежден, что процесс вживания пойдет в Англии быстрее, чем в Японии. Все-таки там, думалось мне, передо мной был куда более трудно постижимый мир, а уж насчет языкового барьера и вовсе не может быть сравнения.

И вот первая неожиданность, первое открытие: к английской жизни, оказывается, подступиться не легче, чем к японской, а может быть, и труднее. Это непросто объяснить словами: вроде бы постоянно находишься среди англичан, а непосредственного контакта с ними почти не имеешь. Кажется, будто вместо человеческих лиц к тебе повернуты спины. Как всякий новичок, спешишь погрузиться в английскую жизнь. Но, оказывается, это не так-то просто. Впечатление такое, словно на тебя надели скафандр, из-за которого, как глубоко ни опустишь, все равно остаешься для окружающих инородным телом. Это как бы погружение без соприкосновения.

Волей-неволей убеждаешься, что в английскую жизнь нельзя разом оку-



нуться с головой. Ею можно лишь постепенно пропитываться, капля за каплей, как намокает плащ путника под неторопливо морозящим английским дождем. Прежде всего понимаешь, что с англичанами не только невозможно разговориться на улице, но и трудно прислушиваться к их разговорам со стороны. Даже в густой человеческой толпе — на перроне вокзала или в театральном фойе — чувствуешь себя будто отделенным от этого скопления людей незримой звуконепроницаемой стеной.

Над английской толпой всегда как бы приспущена завеса молчания. Она приспущена не до конца, не настолько, чтобы превратить массовую сцену в кадр из немого кинофильма. И все-таки не можешь отделаться от ощущения, что какой-то невидимый звукооператор убавил регулятор громкости до каких-то минимальных и непривычных нам пределов. Эта приспущенная над английской толпой завеса молчания (или, на худой конец, полумолчания) особенно поражает потому, что люди вокруг отнюдь не молчат, а разговаривают друг с другом. Да, да! Дело не в том, что англичане немногословны (хотя это присуще им куда больше, чем другим народам). Дело в том, что эти островитяне разговаривают каким-то особым голосом: приглушенным, почти усталым. Они беседуют так, словно каждый из них в одиночестве выражает вслух собственные мысли. Мы, по-видимому, так привыкли без нужды повышать голос, что перестали замечать это. Когда, привыкнув к полубезмолвию английской толпы, вновь попадаешь на континент, например во Францию или к себе домой, ловишь себя на мысли, что человеческая речь режет ухо; люди кажутся излишне шумливыми.

Но вернемся к нелегкому процессу вживания. Торопись слиться с уличной жизнью и вскоре задаешься воп-



росом: а существует ли она? Мало-помалу убеждаешься, что английская улица не живет сама по себе. Это лишь поток безучастных друг к другу людей, каждый из которых спешит на работу или торопится попасть домой. Английская улица не предназначена быть местом встреч, споров, свиданий или прогулок. Она не служит для того, чтобы развлечься, побродить без цели, побеседовать с приятелем, поглазеть по сторонам. Люди, которые собираются группами на тротуаре или праздно слоняются туда-сюда, мешая потоку пешеходов, привлекают неодобрительные взгляды.

Англичанин молчаливо шагает по своим делам, словно не замечая уличной толпы, не являясь ее частью. Никогда не увидишь, чтобы он обернулся, проводил кого-то взглядом. Отчасти потому, что незнакомцы не существуют для него, отчасти потому, что это было бы недопустимым вторжением в чужую частную жизнь. Считается, что улицы существуют не для человеческого общения, а для того, чтобы без помех добраться из одного места в другое. Поэтому попытка вступить в разговор с незнакомым человеком на улице, на взгляд англичанина, столь же неуместна и даже антиобщественна, как попытка завязать флирт с водительницей соседней автомашины на перекрестке перед светофором.

Английская улица — это лишь русло, по которому протекает жизнь, ибо англичанин живет дома, а не на людях. Причем даже на людях он умудряется охранять собственное одиночество и сохранять одиночество других. Если четыре англичанина входят в пустой вагон, они инстинктивно рассядутся по разным купе. И каждый новый пассажир непременно обойдет весь вагон, прежде чем решится подсесть к кому-либо из них.



Находясь на людях, англичанин способен мысленно изолировать себя от окружающих. Сотни незнакомых людей ежедневно обедают вместе в одних и тех же закусочных. Но даже если соседи по столу знают друг друга в лицо, отчужденность сохраняется. И когда один из них просит другого передать ему соль или горчицу, голос его столь же безукоризненно вежлив, сколь холодно безразличен. Соседство с незнакомым человеком не стесняет англичанина. Но уже самым тоном обращения к нему он как бы отстаивает свое право на одиночество среди других людей.

Куда ни кинь, а Британия — это царство частной жизни, что заведомо ставит приезжего в невыгодное положение: он чаще видит перед собой ограду, чем сад, который она обрамляет. Впрочем, в этой изгороди, скрывающей от посторонних взоров частную жизнь загадочных островитян, есть, пожалуй, две отдушины, позволяющие наблюдать их как бы на воле, будто львов в вольерах Виндзорского зоопарка. Первая из этих отдушин — английский парк. Вторая — английская пивная, или паб.

Да, английские парки — это не только заповедники сельской природы внутри города. В парке англичанин становится иным. Его отчужденность разом сменяется непринужденностью. Здесь не только можно, но и нужно освободиться от пут подобающего поведения, снять с себя бремя забот, дать волю своим порывам. В английском парке человека ничто не стесняет. Он может резвиться, как ребенок, или мечтать, сидя под развесистым дубом. Он может бродить по лужайкам, валяться на траве или играть в мяч.



Что же касается английского паба, то для людей, которые волей-неволей обрекли себя на одиночество, возведя в культ понятие частной жизни, эти питейные заведения призваны, по-моему, играть

ту же роль, что отведена острому вустерскому соусу среди пресного однообразия английской пищи.

Английский паб представляется мне неким антиподом французского кафе. Идеал парижанина — сидеть за столиком на тротуаре перед потоком незнакомых лиц. Идеал лондонца — укрыться от забот, чувствуя себя в окружении знакомых спин. Разумеется, паб служит и для общения. Но прежде всего он способен дать каждому посетителю радость уединения в той мере, в какой он сам того пожелает.

Англичанин ценит паб прежде всего как место встречи соседей; далее — по важности — как место отдыха коллег и лишь затем как приют для незнакомца. Для новичка же эти три функции обычно раскрываются в обратном порядке. Прежде всего постигаешь, что паб незаменим как оазис, дающий приют путнику в пустыне городских улиц. Как выручает он, когда хочется дать отдых ногам после осмотра лондонских достопримечательностей — Вестминстерского аббатства и залов парламента, Национальной галереи и Британского музея! Как выручает паб в чужом городе, когда на улице дождь, а до поезда еще полтора часа или когда удалось быстрее обычного отыскать место для автомашины и надо скоротать время до начала приема или спектакля! Как выручает паб, когда требуется наскоро перекусить или назначить место встречи или, наконец, когда (прошу прощения!) не знаешь, где находится ближайшая общественная уборная. Не дай бог только, чтобы подобная потребность возникла после трех часов дня и до шести вечера, когда пабы закрываются (даже в разгар лета, когда весь Лондон умирает от жажды, а иностранные туристы тщетно мечтают о глотке пива и на чем свет клянут английские обычаи).



Впрочем, всякая странность английского образа жизни обычно таит в себе некий компромисс, в данном случае между двумя национальными пристрастиями: к пиву и к чаю; подобно тому, как правило открывать питейные заведения по воскресеньям на час позже обычного воплощает компромисс — или, точнее, формулу мирного сосуществования — между пабом и церковью.

Многие из загородных пабов с незапамятных времен соседствуют с божьими храмами, к общему удовольствию их содержателей и благочестивых прихожан. Кстати сказать, именно эти загородные пабы с их пылающими каминами, дубовыми стропилами под потолком и старинной медной утварью в наибольшей степени хранят уют старой английской таверны, воспетой Сэмюэлем Джонсоном. По достоинству оценить их очарование редко удастся мимолетному туристу. Ведь для этого нужно не только время, чтобы их разыскать, но и знакомство с кем-то из местных жителей, кто ввел бы своего гостя в круг завсегдатаев.

Только тогда можно осознать незаменимую роль паба как универсального центра общинных связей, как места, где можно получить дельный совет насчет ремонта крыши или прививки яблонь, по случаю приобрести подстреленных на охоте зайцев или удачно сбыть подержанную автомашину.

Возможности да и потребности заставляют иностранного журналиста раньше познакомиться с той категорией пабов, где посетителей объединяет не место жительства, а место работы. Как заманчиво, например, посетить после полудня один из пабов Сити, где можно вблизи наблюдать загадочных обитателей крупнейшего финансового центра. (Бываешь лишь чуть разочарован, что немногие из них носят традиционные



котелки, точно так же как мои московские гости в Токио сокрушались, что не все японки на улицах одеты в кимоно.)

На вечерней Шафтсбери-авеню после спектакля «Иисус Христос — суперзвезда» можно оказаться в пабе, где Мария Магдалина пьет джин с тоником, а Иуда заказывает себе вторую пинту темнейшего ирландского «Гиннеса». Однако, попав в чужую компанию людей с общими профессиональными интересами, удивляешься тому, что это почти не проявляется в разговорах. Наоборот, создается впечатление, что собеседники умышленно предпочитают не касаться всего того, что имеет отношение к главному делу их жизни, что составляет круг их повседневных забот. Даже о политике в пабах спорят меньше, чем в любом питейном заведении на континенте.

В пабе, где собираются актеры, познакомишься с двумя драматургами. Думаешь: вот счастливый шанс войти в курс театральной жизни! А собеседники весь вечер толкуют о новой системе обогрева теплиц для цветочной рассады или о том, как выступает нынче в Индии английская сборная по крикету. Менее всего вероятно, чтобы кто-нибудь из них упомянул о недавней премьере нашумевшей пьесы — о чем как раз и хотелось бы узнать их мнение.

И это не досадная случайность, а роковая для иностранца местная особенность, которая изрядно досаждала ему и на последующем этапе тернистого пути к познанию страны — когда он наконец обретает долгожданную возможность переступить порог английского дома.

Уже отмечалось, что с англичанами, во-первых, трудно разговориться на улице, что их жизнь, во-вторых, наглухо скрыта от посторонних взоров тем, что они именуют «мой дом — моя крепость». Обзаведясь наконец первыми знакомствами и впи-



савшись в ритуальную схему взаимных представлений и приглашений, без которых личные контакты тут вообще невозможны, с горечью убеждаешься, что есть еще и «в-третьих». Даже разговор со знакомым англичанином, который представлялся таким желанным и недоступным, на поверку дает гораздо меньше, чем от него ждешь.

Начать с того, что, попав в гости в английский дом, обычно остаешься в неведении: с кем, кроме хозяев, свела тебя судьба под одной крышей? Тут не принят обмен визитными карточками, непременный у японцев, стремящихся получить при встрече максимальный набор сведений друг о друге. Тем более чужд здесь американский обычай прикалывать приглашенным на грудь именные таблички.

Знакомя гостей, хозяева обычно представляют их друг другу просто по именам: «Это — Питер, это — Пол, а это — его жена Мэри». Если и добавляется какая-то характеристика, то чаще всего шутливого характера: «Вот наш сосед Джон, принципиальный противник мытья автомашины» или «Позвольте представить вам сэра Чарльза, который не живет в Лондоне, так как его ирландский терьер предпочитает свежий воздух». Тут сама собой завязывается длительная беседа о последней собачьей выставке, о родословной призера, о новом виде консервированного корма для щенков, который недавно начали рекламировать по телевидению. И, может быть, уловив, что чужеземца не так уж волнует собачья жизнь, сэр Чарльз из вежливости осведомляется, сохранилась ли еще в России псовая охота на зайцев и лисиц.



Лишь недели три спустя, упомянув при новой встрече с хозяином, что «давешний седой собаковод на удивление хорошо знает Тургенева», с досадой узнаешь, что сэр Чарльз — известный писатель,

побеседовать с которым о литературе было бы редкой удачей, ибо он почти не бывает в Лондоне.

— Что же вы не сказали мне об этом раньше! — упрекаешь своих знакомых.

Но даже когда в другой раз тебе шепнут пару слов о собеседнике, результат бывает тот же самый. Директор банка в Сити уклонится от расспросов об экспорте капитала и заведет речь о коллекции старинных барометров или об уходе за розами зимой. А телевизионный комментатор по проблемам рабочего движения проявит жгучий интерес к методам тренировки советских гимнастов. Несколько упрощая, можно сказать, что англичанин будет, скорее всего, разговаривать в гостях о своих увлечениях, искать точки соприкосновения со своим собеседником именно в подобной области и почти никогда не станет касаться того, что является главным делом его жизни, особенно если он на этом поприще чего-то достиг. Так что при знакомстве нечего рассчитывать на серьезную беседу о том, что тебя в этом человеке больше всего интересует, услышать о вещах, которые прежде всего хотелось бы выяснить.

Англичанин придерживается правила «не быть личным», то есть не выставлять себя в разговоре, не вести речи о себе самом, о своих делах, профессии. Более того, считается дурным тоном неумеренно проявлять собственную эрудицию и вообще безапелляционно утверждать что бы то ни было (если одни убеждены, что дважды два — четыре, то у других на сей счет может быть иное мнение).

На гостя, который страстно отстаивает свою точку зрения за обеденным столом, в лучшем случае посмотрят как на чудака-эксцентрика, а в худшем — как на человека, плохо воспитанного. В Англии возведена в культ легкая беседа, способствующая приятному расслаблению ума, а



отнюдь не глубокомысленный диалог и тем более не столкновение противоположных взглядов. Так что расчеты блеснуть знаниями и юмором в словесном поединке и завладеть общим вниманием не сулят лавров. Каскады красноречия разбиваются об утес излюбленной английской фразы: «Вряд ли это может служить подходящей темой для разговора».

Остается лишь нервно звякать льдинками в бокале джина с тоником (завидуя тем, кто может солидно набивать или выколачивать трубку) и размышлять: как же все-таки проложить путь к сердцам собеседников сквозь льды глубокомысленного молчания и туманы легкомысленного обмена ритуальными, ни к чему не обязывающими фразами? Почему же все-таки так мучительно труден процесс вживания в эту страну? Ведь здесь не ощущаешь, как на Востоке, труднопреодолимого языкового барьера. И дело не только в том, что выучить английский куда легче, чем китайский или японский. Каждый проявляет тут поразительное терпение, сталкиваясь с неуклюжими попытками иностранца говорить по-английски. Никто никогда не улыбнется, не проявит раздражения, пока ты с трудом подыскиваешь нужное слово.

Видимо, считая себя вправе не говорить ни на одном языке, кроме своего собственного, англичанин честно признает за иностранцем право говорить по-английски плохо (хотя в отличие от японца он никогда не сочтет долгом отметить, что ты владеешь его языком хорошо). Словом, нет нужды опасаться ошибок или извиняться за плохое произношение. Вопрос о том, как ты говоришь по-английски, попросту не бывает темой обсуждения. Но, с другой стороны, англичанин никогда не станет упрощать свою речь, как это порой инстинктивно делаем мы, объясняясь с иноязычным собесед-



ником. Он не представляет себе, что его родной язык может быть не понятен кому-то.

Отсюда следует отнюдь не утешительный вывод: в стране, где языковой барьер не служит помехой, не сможет стать подспорьем и языковой мост. В Китае или Японии порой достаточно было прочесть иероглифическую надпись на картине, процитировать к месту или не к месту какого-нибудь древнего поэта или философа, чтобы разом расположить к себе собеседников, вызвать у них интерес к «необычному иностранцу», словом, навести мосты для знакомства. Разве способен сулить подобные дивиденды английский язык?

Англичане не то чтобы чураются иностранцев, но и не проявляют к ним особого интереса. Они относятся к чужеземцам несколько снисходительно, словно к детям в обществе взрослых.

Вряд ли можно сказать, что быть иностранцем в Лондоне — значит обладать какими-то преимуществами. Скорее наоборот. Его приглашают домой, присматриваются к его необычному поведению, прислушиваются к его прямолинейным высказываниям. Но если заморский гость проявит себя в чем-то как личность явно незаурядная, окружающие отнесутся к его талантам и достоинствам с изумленным любопытством.

Чем глубже вживаешься в английскую действительность, тем труднее становится дать односложный ответ на простой вопрос: дружелюбны ли в целом англичане по отношению к иностранцам?

С одной стороны, постоянно убеждаешься, что способность не замечать, игнорировать незнакомых людей вовсе не означает, что англичане черствы, безразличны к окружающим. Отнюдь нет! При всей своей замкнутости и отчужденности они на редкость участливы, особенно к существам бес-



помощным, будь то потерявшие хозяев собаки или заблудившиеся иностранцы. Можно остановить на улице любого лондонца и быть наперед уверенным, что он, не считаясь со временем, окажет любое возможное содействие.

Если в незнакомом поселке у тебя сломалась машина, тут же найдутся люди, готовые съездить за механиком в ближайшую автомастерскую. Если ребенок в дождливый день не может попасть домой из-за того, что потерял ключи, незнакомые соседи тут же уведут его к себе, согреют, напоят чаем. Но с другой стороны, вновь и вновь с сожалением отмечаешь и другое — что всякая подобная услуга (полученная или оказанная) отнюдь не разбивает лед отчужденности, не служит мостом к более близкому знакомству. Соседи, к которым ты преисполнишься благодарности, подчеркнута держатся так, словно никакого сдвига в отношениях с ними не произошло.

Повествуя о других народах, путешественники любят начинать с фразы: «Что меня больше всего поразило в них с первого взгляда, так это...» Для рассказа об англичанах такая строчка, пожалуй, меньше всего подходит, ибо их самой типичной чертой является как раз отсутствие чего-либо характерного, броского, нарочитого. Можно довольно долго жить в Британии с тем же багажом представлений об этой стране, с каким в нее приехал.



Здесь улица — самое скучное место, тут вы не увидите тысяч захватывающих зрелищ и не столкнетесь с тысячами приключений. Это не то место, где люди свистят или дерутся, любезничают, отдыхают, сочиняют стихи или философствуют, где заводят интрижки на стороне и пользуются жизнью, острят, занимаются политикой и со-

бираются по двое, по трое, в группы, в толпы, в революционную грозу. У нас, в Италии, во Франции, улица — нечто вроде большого трактира или общественного сада, площадь, место сборищ, стадион и театр, продолжение дома или завалинки. Здесь она не принадлежит никому и никого не сближает; вы не встречаете здесь ни людей, ни вещей, вы только проходите мимо них.

Карел Чапек (Чехословакия).

Письма из Англии. 1924

На этом острове не считается грубым хранить молчание; наоборот, грубым считается слишком много говорить, то есть силой навязывать себя другим. В Англии никогда не нужно бояться молчать. Можно ничего не говорить годами, не опасаясь сойти за слабоумного. Зато если вы говорите слишком много, у шокированных этим англичан тут же появляется основание не доверять вам. И если они не разговаривают с вами, то не от злой воли или от дурных манер, а из боязни втянуть вас в беседу, которая может вас не интересовать.

Паоло Тревес (Италия).

Англия — таинственный остров. 1948

Они не любят раскрывать свое положение. Я встречал выдающихся людей, но, не зная наперед, кто они, никогда не догадался бы, что они вообще чего-то достигли. Если это писатели, они не говорят о своих книгах. Если они политики, они не раскрывают своих программ. Проще говоря, они как бы считают свою трудовую жизнь чем-то отделенным от своей жизни в обществе.

Нирад Чаудхури (Индия).

Путь в Англию. 1959



Вы не должны здесь спешить. Вы находитесь в стране терпения, настойчивости, неторопливой последовательности в мыслях; в стране, которая чтит не кучевые облака абстрактной теории, а маленькие твердые камешки повседневного опыта, вы должны оставаться спокойным, молчаливым, терпеливым.

Вы должны приспособиться к ритму Англии — ее климату, морю, зеленой траве, ее общественной жизни, старым университетам, теннису, гольфу, портам, заводам, встречам и беседам с людьми — и вы должны позволить всему этому стать ритмом вашего сердца.

Никос Казандзакис (Греция),
Англия. 1965





СТРАНА ЗЕЛЕННЫХ ЛУГОВ

Англия встает из морских волн, как подернутая загадочной дымкой бело-зеленая линия на горизонте. Такой она представала взорам завоевателей. Именно эти меловые обрывы побудили легионеров Юлия Цезаря дать острову имя Альбион, то есть Белый. Но даже пришедших с юга римлян поразила щедрость растительного покрова, способность английской травы круглый год сохранять изумрудную свежесть. Даже они, пришельцы из солнечного Средиземноморья, назвали Англию страной зеленых лугов.

Сочетание ухоженности и безлюдья, умеренности и покоя — вот чем впечатляет Англия, когда впервые воочию познакомишься с ней. Не краски, а оттенки составляют портрет этой страны. Такую приглушенную гамму полутонов лучше всего передает акварель. И, видимо, не случайно именно она заняла столь высокое место в английском искусстве.

Пологие склоны холмов, расчерченные живыми изгородами; одинокие вековые дубы на сочных лугах; привольно пасущиеся стада овец; шпили сельских церквей на пригорках; опрятные домики, белеющие среди зелени рощ.

Есть много стран, способных похвастать более величественными панорамами, более яркими красками, более определенным настроением всего ландшафта: крутизна и сверкание альпийских вершин, угрюмое величие скандинавских фиордов, солнечная щедрость Средиземноморья...



Природа Англии помогает понять такую черту английского характера, как сдержанность, склонность к недосказанности. В ней нет ничего нарочито броского, грандиозного, захватывающего дух. Не патетическая страстность, а затаенный лиризм — вот тональность английского пейзажа, которая чем-то роднит его с природой средней полосы России. И не случайно Констебль так же почитаем англичанами, как у нас Левитан. Отсутствие резких контрастов, то есть опять-таки умеренность, — вот ключевая характеристика не только английского ландшафта, но и английского климата.

Английская погода неустойчива. Она меняется часто, но незначительно. Такой климат способствует уравновешенности, даже флегматичности характера: стоит ли сетовать на перемены, если они, во-первых, недолговечны, а во-вторых, не сулят больших отклонений от того, что было до них...

— Климат-то у нас неплохой, вот если бы только погода была получше, — шутят англичане. Нужно прожить в Лондоне хотя бы год, чтобы до конца осознать смысл этих слов.

Незадолго до приезда в Англию я смотрел в Москве телевизионный фильм «Чисто английское убийство». Действие этого детектива происходило на Рождество в загородном доме, утопавшем в снежных сугробах. Случилось так, что день моего прилета в Лондон пришелся как раз на Рождество.

Никакого снега в английской столице не было и в помине. Вместо него на зеленых лужайках Гайд-парка кое-где белели россыпи ромашек.



— Январь у вас тут, будто апрель или октябрь, — подивился я в разговоре с домовладельцем.

— Да, действительно, погода в январе бывает очень похожа на апрельскую

или октябрьскую, — охотно согласился лондонский старожил.

Лишь впоследствии я понял, что слова мои были восприняты не только как точка зрения москвича. Оказывается, погода в Англии как бы не зависит от календаря, от времени года.

Если мое первое лондонское Рождество оказалось по-весеннему солнечным и теплым, то разгар календарной весны ознаменовался «белой Пасхой». Хотя на дворе был апрель, все вокруг засыпало снегом. Зеленый газон под окном был застлан белым ковром, из которого торчали желтые нарциссы, припудренные снегом. Даже поздней осенью, в конце ноября, в Лондоне может выдаться совершенно летний день, когда на шезлонгах парка Сент-Джеймс люди умудряются загорать. А бывает, что и в середине лета найдет такое ненастье со свинцовыми облаками, пронизывающим ветром и обложным дождем, что, несмотря на июль, в квартире волей-неволей приходится включать отопление.

Небо над Англией редко бывает безоблачным. Эти напоенные влагой Атлантики быстро бегущие облака создают переменчивое, своеобразное освещение. Английский пейзаж всегда подернут голубовато-серой дымкой, которая, словно ретушь, приглушает краски и придает расплывчатость очертаниям. Можно сказать, что такая туманная мгла имеет свою параллель и в английском мышлении. Избегая предельной четкости и категоричности, оно предпочитает сохранять некий допуск на неточность, простор для домысливания, возможность компромисса.

Зрительный образ Англии — страны зеленых лугов — впечатляет прежде всего сочетанием ухоженности и безлюдья. Как трудно увязать это с заочным представлением об одном из самых густонасе-



ленных государств, о родине промышленной революции, которая слыла мастерской мира! Сельский ландшафт Англии с его живыми изгородями на плавных изгибах холмов, хорошо ухоженными лугами и рощами, с извилистыми, как встарь, но одетыми в асфальт и бетон проселочными дорогами — это ландшафт цивилизованный, созданный руками человека. Тем не менее он в очень незначительной степени служит практическим нуждам. Здесь редко увидишь пахаря за плугом, тем более человека, который, согнув спину, копался бы в земле.

Сельский ландшафт Англии можно назвать бесполезным, если употребить это слово в том смысле, который имел в виду Оскар Уайльд, возводя бесполезность в один из критериев искусства. В узкоутилитарном смысле от этих расчерченных изгородями лугов и заботливо сохраненных рощ не больше проку, чем от заповедного лесопарка.

Став родиной промышленной революции, центром крупнейшей колониальной империи, некогда сельскохозяйственная страна избавилась от необходимости производить хлеб насущный. Она могла позволить себе стать красивой, и действительно стала таковой. Загородная Англия, по существу, стала тем, что мы привыкли называть английским парком, то есть заповедником не первозданной, а в меру облагороженной человеком природы. Она предназначена «для услаждения взора». И в этом, увы, то и дело

убеждаешься, натываясь в самых живописных местах на лаконичные таблички: «Частное владение». Здесь не пишут: «Посторонним вход строго воспрещен». Не грозят штрафом. Всего два слова — и тенистая дубовая роща или спускающийся к реке луг разом становятся недосыгаемыми, как мираж в пустыне.

Статистика свидетельствует, что население Великобритании в своем боль-



шинстве является городским, а не сельским, промышленным, а не сельскохозяйственным. И тем не менее основополагающие черты английской жизни доныне коренятся не в городе, а на селе. Англичанин не стремится жить в Лондоне, как француз мечтает жить в Париже. В душе он так и не сделался горожанином, хотя его тягу к земле отнюдь не назовешь крестьянской. Предел мечтаний для него состоит не в том, чтобы быть земледельцем, а в том, чтобы стать землевладельцем. Именно владение землей издавна служило тут вершиной человеческих амбиций, мерилом социального положения. Чем состоятельнее человек, тем настойчивее стремится он иметь загородный дом. Уютные сельские поместья и леденящие душу городские окраины образуют контраст, не имеющий себе равных за Ла-Маншем.

Сельская Англия с ее усадьбами и парками, лугами и охотничьими угодьями несет в своем облике несомненную печать быта и нравов старой земельной аристократии. В течение многих веков она была единственным правящим классом в стране. Однако в отличие, скажем, от французской аристократии никогда не тяготела к жизни в столице.

Нетрудно проследить, что наиболее традиционные, так сказать классические, виды спорта — верховая езда, гольф, теннис, крикет — родились в Англии как развлечения обитателей загородных поместий. Это, в сущности, форма досуга для людей, которые любят находиться на воздухе, но в условиях английского климата должны постоянно двигаться, чтобы получать от этого удовольствие. Городская жизнь не стала в Англии центром притяжения для правящей элиты по ряду исторических причин. Из-за раннего объединения страны английские провинциальные города не обрели той роли, которую играли на континен-



те Любек и Авиньон, Веймар и Флоренция... Они не стали центрами политической, культурной или хотя бы светской жизни.

С другой стороны, стремительно разбогатевшая буржуазия, выдвинутая на авансцену промышленной революцией, отнюдь не помышляла о том, чтобы сделать новые индустриальные города средоточием национальной жизни. У фабрикантов и заводчиков, определявших лицо Манчестера и Ливерпуля, Бирмингема и Шеффилда, не было охоты сочетать погоню за прибылью с какими-то иными соображениями. Отсюда унылое, удручающее однообразие, или, точнее сказать, безобразие, рабочих окраин и горняцких поселков: эти бесконечные и безрадостные шеренги жалких жилищ, прижатых друг к другу, словно доски забора; эта подавляющая душу безысходность прокопченных кирпичных стен.

Воротилы промышленной революции спешили перебраться куда-нибудь за город, подальше от «черных сатанинских мельниц» (мельницами англичане поначалу называли любые цехи, где использовался механический привод), едва лишь чувствовали, что урвали достаточно денег для этого. Образ жизни старой земельной аристократии остался в Англии непререкаемым идеалом. Промышленная и коммерческая элита не создала, да и не пыталась создавать, собственных традиций. Новые города не влекли к себе ни тех, по чьей воле они родились, ни обитателей загородных поместий.

Британия заплатила дорогую цену за то, что именно она явилась родиной промышленной революции. Где еще увидишь более разительный контраст между красотой благоуханного труда многих поколений сельского ландшафта и вопиющей безобразностью, удручающей безысходностью пролетарских предместий!



Возвращаясь к зрительному образу Англии, который складывается из первых впечатлений, хочется повторить, что это все-таки прежде всего страна зеленых лугов, а не край «черных сатанинских мельниц»; страна более красивая — более облагороженная и в целом менее обезображенная человеком, — чем ожидаешь ее увидеть.

Сельская, или, точнее сказать, загородная, Англия помогает понять суть национальной психологии, подхода к жизни, к природе, к соотношению естественного и искусственного. Англичанам, как и японцам не свойственно совершать насилие над природой, подчинять ее воле человека, навязывать ей геометрическую правильность форм. Они стремятся сохранить в облике природы естественные черты, но до такой степени, чтобы она при этом была удобна для обитания. В Англии редко попадешь в непроходимую лесную чащобу. Но, пожалуй, реже, чем в других странах, видишь здесь и аллеи, где деревья росли бы строго в шеренгу, да еще были подстрижены на один манер. Здесь более типичны рощи, перелески, отдельные деревья, разбросанные среди лугов. Потому что чаща — это нечто уж слишком первозданное, а аллея — нечто уж чересчур искусственное. Сельская Англия являет собой поистине английский компромисс между природой и искусством.

Англия — остров. Но из этого отнюдь не следует, что об английской жизни больше всего способны рассказать ее порты. Куда более обильную пищу для размышлений дают здесь дороги. Нередко узкие, чаще всего извилистые, но всегда покрытые асфальтом и снабженные безукоризненной системой указателей, английские дороги — не магистральные, а местные — способны оказать неоценимую помощь в познании страны. Человека, свыкше-



гося с бездушной прямолинейностью современных автострад, поначалу удивляет и даже раздражает, что в Англии вроде бы никто не стремится попасть из одной точки в другую кратчайшим путем. Изгибы здешних дорог будто игнорируют законы не только геометрии, но и логики.

Английские дороги чаще всего бывают рождены не воображением инженеров, а историей страны. Они редко прорезают холмы и перекрывают эстакадами долины. Они петляют, огибая чьи-то давно исчезнувшие владения или соединяя переставшие существовать села. И по ним, как по линиям ладони, можно не только прочесть прошлое страны, но и многое узнать о характере ее народа.

Английские дороги предпочитают не противоборствовать с природой, а следовать ее чертам. Они воплощают скорее терпимость к местным особенностям, чем попытку навязать некое единообразие. Они отражают склонность скорее подправить то, что уже есть, чем создавать что-то заново, скорее найти компромисс со старым, чем отказаться от него ради нового.

Английская дорога похожа на тропинку в английском парке. Она не рассекает естественного узора, который время оставило на лице земли. Она приближает путешественника к тому исконному руслу, по которому в этих местах издавна текла жизнь.

Если бы у меня спросил совета человек, желающий изучать Англию, я бы сказал: «Ходи по дорогам, проселкам и тропинкам, постарайся сначала ощутить эту страну, а потом уже познать ее, избавившись от предубеждений».

К этой стране нет волшебного ключа, она не поддается никакому единому и всеохватывающему объяснению. Но ее можно почувствовать. И я убежден,



что ее легче всего почувствовать изнутри — оттуда, где коренятся ее самые ранние, самые подлинные и менее всего видоизмененные черты.

Пьер Мэйо (Франция).
Английский образ жизни. 1945

Но куда же подевались люди? Неужели все они остались в Лондоне, Бирмингеме или Оксфорде?

За полдня пути я насчитал из окна вагона больше домов и наверняка больше овец, чем человеческих фигур. Однако при этом все так ухожено, так облагорожено столетиями труда, что незримое присутствие человека создает своеобразное чувство уединенности без одиночества.

Прайс Кольер (США).
Англия и англичане — с американской точки зрения. 1912

Англия раскрывает свое лицо не как ярко раскрашенная карта. Ничто четко не обозначено, границы не оттенены. Это земная твердь, но солнце и туман придают ей смутное очарование. Стоит исчезнуть солнечному свету, как все вокруг становится серым, выглядит угрюмым и промозглым. Стоит туману исчезнуть полностью, как земля предстает обнаженной в потоках солнечного света и наступает конец очарованию. Такова, стало быть, и английская душа, где радость и печаль играют, как свет и тени, как солнце и туман. Душа, которая без этой туманно-золотистой дымки полностью лишается очарования, являя нам англичанина со свинцовыми глазами, которого изображают сатирики.

Джон Б. Пристли (Англия).
Английский юмор. 1929

Если бы вам вздумалось вскрыть сердце англичанина, вы обнаружили бы в са-



мой середине его клочок подстриженной лужайки. При первой же возможности англичанин любого общественного класса стремится усесться под деревом, или растянуться на траве, или неторопливо и безмолвно шагать под зеленым шатром дубов с сосредоточенным, слегка грустным выражением лица.

Рай англичанина украшен газонами. И по этим газонам разгуливают британские праведники, покуривая свои трубки и держа свои неразлучные зонтики.

Никос Казандзакис (Греция).
Англия. 1965

Английский спорт, английское искусство, английское общество — все это уходит своими корнями в исполненную покоя сельскую Англию с ее пологими взгорьями, с ее стадами на зеленых лугах, с ее грудями облаков, с ее переменчивой погодой и освещением. Но вокруг этой сельской Англии всегда бушевало море, не позволяя забыть о себе.

Требовалось сочетание этих двух противоположностей, чтобы сделать Англию тем, что она есть. Земля идиллична, но море требует борьбы и широких горизонтов. Земля сама по себе породила бы нацию земледельцев и землевладельцев, но море, развивая воображение и страсть к приключениям, породило моряков, торговцев, авантюристов, колонизаторов, создателей империи.

Каждый англичанин имеет в себе немного от крестьянина и немного от моряка. Без этой комбинации нельзя понять его характер, в котором практичность и консерватизм первого сочетаются с романтичностью и авантюризмом второго.



Пауль Кохен-Портхайм (Австрия).
Англия — неведомый остров. 1930



ВЗГЛЯД ЗА ИЗГОРОДЬ

Немец живет в Германии.
Янки живет в Оклахоме.
Испанец живет в Испании.
Но англичанин — дома...

Этот популярный куплет вспомнился мне во время беседы с журналистом-парижанином, которому выпала судьба провести полжизни в Лондоне. Речь у нас шла о том, что понятие патриотизма имеет на каждом из берегов Ла-Манша свои нюансы. Если француз, утверждал мой собеседник, любит свою землю за то, что она полита потом и кровью поколений, за тот труд, который с ней связан, — труд пахаря и труд воина, то англичанин любит свою землю прежде всего как родной дом, как то место, с которым у человека связаны не тяготы повседневного труда, а радости досуга. Образ родины для него — это обнесенный живой изгородью палисадник под окнами, который он охорашивает, радуясь воскресному дню. Именно эту изгородь, а не розу и не античную деву с трезубцем владычицы морей следовало бы считать национальным символом англичан.

Действительно, Англия — это царство частной жизни, гербом которого могло бы стать изображение изгороди и девиз: «Мой дом — моя крепость!» Англичанин подсознательно стремится отгородить свою частную жизнь от внешнего мира. И порог его дома служит в этом смысле заветной чертой.



«Мы любим быть сами по себе» — гласит излюбленная фраза. Какие бы отношения ни сложились между соседями, каждый из них строго держится своей стороны изгороди. Даже если смежные участки не разгорожены, граница их все равно соблюдается, словно глухая стена. Когда дети по неведению пересекают эту невидимую межу, их тут же с извинениями забирают обратно.

С соседями принято держаться приветливо, предупредительно, но без какой-либо фамильярности, способной показаться непрошеным вторжением в частную жизнь.

Первая заповедь тут: «Не лезь в чужие дела». Как живет сосед, какие обычаи и порядки заводит он в своем доме — не касается никого другого. Англичанин инстинктивно относится к своему дому как к осажденной крепости. Жилище его как бы повернуто спиной к улице. И если хозяин вздумает летом погреться на солнышке, он всегда усядется позади дома, а не перед ним.

Окружающий мир должен оставаться за порогом. С незнакомцами или незваными посетителями обычно разговаривают только через дверь, не приглашая их внутрь. Это вовсе не означает, что англичане негостеприимны. Однако гостей приглашают только заблаговременно (обычно за две-три недели) и на определенный час. Дом служит англичанину крепостью, где он может укрыться не только от непрошенных посетителей, но и от надоевших забот.

Переступить этот порог — значит для англичанина переместиться в совершенно другой мир, абсолютно не связанный с миром его повседневного труда.

За порогом своего жилища англичанин полностью освобождается не только от повседневных забот, но и от постороннего нажима. В этих стенах он волен



вести себя как ему вздумается, допускать любые странности при единственной условии, что его эксцентричные выходы не причинят беспокойства соседям.

Об умении англичан чувствовать себя дома словно в ином мире и в то же время уважать домашнюю жизнь других мы как-то разговорились с одной лондонской журналисткой, которая много лет работала в США.

— В американцах, — говорила она, — меня больше всего поражала и угнетала их неспособность отключаться. Даже свободные вечера, даже выходные дни они, как правило, проводят в обществе тех же людей, с которыми ведут дела. И это неизбежно ведет к тому, что и дома, и в гостях они продолжают думать и говорить о том же, что волнует их на работе. Англичанину это отнюдь не свойственно. Придя домой, он разом отключается от всего, чем были заняты весь день его мысли. Люди, с которыми он общается, чаще имеют с ним общие интересы не в труде, а в досуге. У меня муж — поляк, — продолжала собеседница. — Но, прожив полвека среди англичан, он так и не научился отключаться от того, чем он увлечен на службе. Если в субботу утром его вдруг осеняет какая-то инженерная идея, он тут же порывается обсудить ее по телефону со своими сослуживцами, и мне каждый раз приходится удерживать его, ибо звонить по делу домой ни подчиненному, ни начальнику в Англии не принято. Это допустимо лишь в каких-то исключительных, экстренных случаях: то ли загорелся завод, то ли ограблен банк, то ли перед операцией заболел хирург...

Примечательно, что англичане с их щепетильным отношением к частной жизни друг друга вообще считают телефон менее подобающим каналом общения, чем



почту. Телефонный звонок может неудачно прервать беседу, чаепитие, телевизионную передачу. К тому же он требует безотлагательной реакции, не оставляя возможности продумать и взвесить ответ. Почту же получатель может вскрыть, когда ему удобно, и ответить на каждое письмо с учетом содержания других. Именно письменно, а не по телефону принято, например, договариваться о деловой встрече. Депутат парламента, директор банка, адвокат, врач и даже портной предпочитают письменную форму обращения, так как она помогает им гибко планировать свое время.

Было бы, однако, неверно считать, что склонность предпочитать письменное обращение устному, то есть почту — телефону, умножает в Англии бюрократическую волокиту. Хотелось бы подчеркнуть другое: англичане умело используют почту для того, чтобы избавлять человека от хождения по конторам. Если, к примеру, нужно зарегистрировать автомашину, англичанин посылает в соответствующее ведомство письменный запрос: что требуется для этого сделать, прилагая конверт с маркой и собственным адресом. В ответ он получает по почте бланки для заполнения, а также инструкцию, какие документы должны быть к ним приложены (например товарный чек, водительские права, свидетельство о страховке). Все это заказным письмом снова посылается в бюро регистрации, и через несколько дней документы по почте приходят обратно вместе с выписанным на их основе удостоверением.



Всякий раз, когда у меня кончался срок аренды телевизора, или страховки квартиры, или сезонного билета на право держать автомашину перед домом, меня заблаговременно извещали об этом по почте с приложением нужных блан-

ков, чтобы я мог по почте оформить соответствующие платежи.

Первые месяцы работы в Лондоне меня очень угнетала необходимость возить в Министерство иностранных дел нотификацию о каждом выезде за 35 миль от столицы. Мало того, что эти бумаги нужно заполнять в четырех экземплярах, подробно указывая маршрут поездки и места ночлега; еще обременительнее возить их на Уайтхолл, ибо там, в центре, негде даже на пять минут поставить машину. Когда я посетовал на это одному чиновнику из МИДа, тот пожал плечами: «Но почему вы решили, что должны привозить эти нотификации лично? Заклейте их в конверт, бросьте в почтовый ящик, и они завтра же будут у меня на столе».

С тех пор я стал поступать именно так. И когда рассказал об этом своим коллегам, все мы посмеялись, что никому из нас, советских журналистов в Лондоне, такой элементарный способ попросту не пришел в голову. Характеризуя англичан, хочется прежде всего сказать: они домолюбивы. Домашний очаг и досуг, который с ним связан, занимает в их жизни огромное место. Дом для них — поистине центр существования. И самым убедительным подтверждением этому служит семейный бюджет.

Англичане весьма непритязательны к повседневной пище. Деньги, израсходованные на питание, кажутся им потраченными впустую. Тут они готовы идти на самую жестокую и скрупулезную экономию. Они, безусловно, не делают культа и из одежды — во всяком случае, отнюдь не считают ее мерилom человеческого благосостояния.

Собственный кров — вот предел мечтаний английской семьи, вот цель, ради которой она готова из года в год отказывать себе во всем, идти на любые жертвы.



Когда соседи в воскресенье встречаются в пабе и один задает другому традиционный вопрос: «Что ты сделал за эту неделю?» — под этим имеется в виду не работа в лаборатории, не игра на бирже и не участие в предвыборной кампании. Каждый понимает, что речь идет о ремонте крыши, или о смене обоев в спальне, или о поездке за навозом для клумбы. Англичанин любит жить в окружении хорошо знакомых вещей. В убранстве дома, как и во многом другом, он прежде всего ценит старину и добротность (часто отождествляя эти понятия). Когда в семье заходит речь, что пора, пожалуй, обновить обстановку, под этими словами имеется в виду реставрация, а не замена того, что есть.

Будучи в Соединенных Штатах, я, как журналист, всегда радовался тому, что каждый американец, который приглашал меня в гости, сам, не дожидаясь моей просьбы, перво-наперво принимался показывать дом. У англичан же редко увидишь что-нибудь, кроме комнаты, где принимают гостей. И уж вовсе нечего ждать, что гостям станут демонстрировать какую-нибудь круглую ванну с золочеными кранами, которая была бы предметом гордости на другом берегу Атлантики. (Зато весьма вероятно, что они похвалятся своей теплицей, продемонстрируют горшки с рассадой и покажут, как хорошо разрослась на кирпичной стене вьющаяся роза.)

Англичане склонны сурово относиться к собственной плоти, и их жилища во многом отражают эти спартанские нравы. Лишь около трети жилищ в Британии имело центральное отопление — в два-три раза меньше, чем в европейских странах такого же климатического пояса. Отапливать спальни, например, у англичан считается чуть ли не аморальным, да и ванны по-настоящему вошли в быт лишь перед войной. Для многих,



особенно для детей и подростков, их заменяло холодное обтирание губкой из таза. Как знать, может быть, при английской погоде такая суровая закалка с малых лет действительно необходима. В промозглые зимние дни всегда поражаешься, как много лондонцев почтенного возраста разгуливают без пальто, а то и в одной рубашке.

Многие американцы среднего достатка, чтобы не возиться с домашним хозяйством, предпочитают доживать свой век в пансионатах или отелях — их особенно много в Калифорнии, во Флориде. Англичанин же держится за собственное жилье до конца дней. Это для него — самый надежный пенсионный фонд, не обесценивающийся при инфляции. Женив или выдав замуж детей и уйдя на пенсию, англичанин при нужде продаст дом или квартиру и купит жилье подешевле, но постарается любой ценой избежать кабальной участи квартиросъемщика.

Английский горожанин обычно называет домом то, что, в сущности, представляет собой вертикально расположенную квартиру: внизу — жилая комната, выше — спальня, а над ней, под самой крышей, помещают детей или сдают такую мансарду холостякам. Поскольку каждый хозяин красит свой фасад и наличники как ему вздумается, уличная застройка подчас напоминает глухой забор из вертикально сбитых разноцветных досок. Зато — собственный номер (причем, номер дома, а не квартиры!), свой палисадник, своя входная дверь с улицы и, наконец, своя внутренняя лестница, которая почему-то особенно мила сердцу англичан.

Лондон доныне остался в основном трехэтажным именно из-за предубежденного отношения англичан к многоквартирным и особенно высотным домам. (Ряды трехэтажных квартир, тянущиеся иногда во всю длину улицы, называются здесь 341



«террасами».) О людях, живущих где-то на восьмом этаже, принято говорить с неким сочувствием: на такой, мол, высоте и к окну не подойдешь — голова закружится. Даже в благоустроенных и удобно расположенных многоквартирных корпусах Вест Энда чаще предпочитают жить не англичане, а состоятельные иностранцы.

Каждый год в лондонском зале «Олимпия» проходит выставка «Идеальный дом». Фирмы, выпускающие отделочные материалы, мебель, ковры, бытовую электротехнику, посуду, демонстрируют свои новинки, изоцряются в поисках все новых способов сделать жилище удобнее, уютнее, красивее. Покидая павильон, переполненные впечатлениями и нагруженные глянцевыми рекламами и проспектами, посетители видят у выхода людей с пачками листовок. Их лаконичный текст как бы перечеркивает все то, что оставляет в памяти этот храм благополучия, проповедующий культ домашнего очага: «Знаете ли вы, что в Британии около ста тысяч бездомных? Что на каждого из них приходится по десять пустующих домов или квартир. Справочная служба комитета сквоттеров».

Сквоттеров, то есть людей, которые в поисках крова самовольно вселяются в пустые дома, в Британии несколько десятков тысяч.

Разумеется, проблема бездомных стоит в Лондоне иначе, чем скажем, в Калькутте; все относительно.

Англия веками богатела за счет империи. На ее землю больше тысячи лет не ступала нога завоевателей. Перед Второй мировой войной Великобритания располагала лучшим жилым фондом в Западной Европе. В послевоенные годы к тому же существенно изменилась его структура. Важным завоеванием рабочего и демократического движения



жилищного строительства. В домах, принадлежащих местным муниципалитетам, проживает сейчас третья часть семей — в шесть раз больше, чем до войны.

Более чем удвоилось количество домов и квартир, принадлежащих самим жильцам, чаще всего купленных ими в рассрочку. В них проживает примерно половина английских семей. Однако и в довоенные, и в послевоенные годы неуклонно сокращается число жилищ, которые сдаются внаем частными домовладельцами. Они составляют ныне лишь одну шестую жилого фонда.

Табличка с надписью «Сдается внаем» стала редкостью на улицах английских городов. А нужда в недорогом, хотя бы временном пристанище обостряется. Для людей малообеспеченных, еще не ставших на ноги или, наоборот, выбитых из колеи — разнорабочих, живущих на случайные заработки, студентов, молодоженов, пенсионеров, — жилищная проблема стала еще более мучительной и неразрешимой. Автор книги «Бездомные» Дэвид Брэндон приходит к выводу, что в английской столице и других городах «существует настоятельная необходимость возродить тип жилищ по образцу существовавших в XIX веке ночлежных домов для одиноких».

Предпринятая в свое время лейбористами попытка обуздать произвол домовладельцев и ограничить рост квартирной платы не улучшила, а, наоборот, ухудшила положение тех социальных слоев, которые страдают от жилищного кризиса.

Снять недорогую квартиру, а тем более комнату стало неизмеримо труднее. Дело в том, что домовладельцы предпочитают теперь не сдавать, а продавать жилье в рассрочку на 25–30 лет по взвинченным ценам, да еще с высокими процентами, преспокойно обходя, таким образом, любые огра-



ничения. Они умышленно не заселяют пустующие квартиры, дожидаясь, пока освободится все здание, чтобы целиком переоборудовать или вовсе снести его — словом, найти наиболее прибыльную форму спекуляции своей недвижимостью.

Так растет число безлюдных, необитаемых домов — явление, которое депутат-лейборист Фрэнк Оллаун назвал в парламенте «национальным позором». Он обратил внимание палаты общин на то, что в Великобритании пустует втрое больше домов или квартир, чем ежегодно строится новых.

Фрэнк Оллаун предложил предоставить местным властям право временно реквизировать и заселять жилые помещения, пустующие более шести месяцев. Законопроект Оллауна отнюдь не покушался на ниспровержение основ. В нем было оговорено, что право собственности на землю и строение остается за домовладельцем. Муниципалитет реквизировал бы лишь право распоряжаться жилыми помещениями, провести там самый необходимый ремонт и сдать их наиболее нуждающимся семьям из списка очередников. Причем квартирную плату по муниципальным ставкам получал бы (за вычетом расходов на ремонт) сам домовладелец.

Однако законопроект не был поддержан. Судя по всему, весьма влиятельные круги на Британских островах заинтересованы в том, чтобы нынешнее парадоксальное положение сохранилось. Головокружительный рост цен на недвижимость, далеко обгоняющий рост дороговизны, открыл совершенно новые возможности для спекулятивных махинаций в этой области. Теперь нередко бывает, что владельцу недвижимости выгоднее какое-то время держать участок или даже заново построенный дом незанятым, довольствуясь тем, что



получать от съемщиков арендную плату и платить с нее налог казне. Причем понятие «какое-то время» весьма растяжимо. Для сотен тысяч квадратных метров жилой и служебной площади в 35-этажном Лондонском небоскребе «Сентр-пойнт» оно составило, например, целое десятилетие.

Лондон богат историческими памятниками. Каждая страница истории страны воплощена здесь в бронзе и мраморе. Но что может сравниться по выразительной силе с необитаемым небоскребом «Сентр-пойнт» на оживленнейшем перекрестке столицы? Он возвышается над потоками людей и машин, безразличный к архитектурному облику Лондона, к пропорциям окружающих зданий, к заботам города, задыхающегося от тесноты. Десять лет на этажах этого здания обитала гулкая тишина. Не раз у стен небоскреба бушевали возмущенные демонстрации. В него в знак протеста вселялись сквоттеры.

Всякий раз, когда заходит речь о жилищной проблеме в Англии, у меня встает перед глазами контур небоскреба, дерзко вклинившегося своими стремительными вертикалями в панораму английской столицы, а на его фоне — шеренги демонстрантов: каменщиков, землекопов, бетонщиков с самодельными плакатами: «Бездомные люди; безлюдные дома; безработные строители — этот безумный, безумный, безумный мир!»

Жители современной Британии (и особенно юго-востока) прославились своим нежеланием разговаривать с незнакомыми людьми в автобусах и поездах. Их может оскорбить, даже если случайный сосед заглянет в газету, которую они держат в руках. Житель Лондона менее охотно, чем житель Нью-Йорка, станет заполнять какие-либо анкеты, или давать ответы при каких-либо



опросах общественного мнения, или даже говорить с друзьями о своей семейной жизни или о своих доходах. И в отличие от американца англичанин никогда не пишет свой обратный адрес на письме, которое он бросает в почтовый ящик.

Даниэл Сноумен (Англия).

Лобызающиеся кузины.

Сравнительная интерпретация
британской и американской культуры. 1977

Объяснить Англию подчас легче через отсутствие центрального отопления, чем через присутствие там в какое-то время Плантагенетов. Золотой век британского комфорта датируется 43 годом до нашей эры, когда там были в наличии как римляне, так и центральное отопление. И то и другое исчезло почти одновременно. И если римляне больше не возвращались, то центральное отопление было вновь принято впоследствии лишь с большими колебаниями — чаще всего владельцами многоквартирных домов либо космополитических отелей.

Пьер Данинос (Франция).

Майор Томпсон и я. 1957





ЛЮБИТЕЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ

Культ частной жизни, возвеличивание домашнего очага дают ключ к пониманию многих своеобразных черт характера англичан. Взять, к примеру, излюбленное ими противопоставление любителей и профессионалов. Понятия эти, сохранившие свой первоначальный смысл, пожалуй, лишь в спорте, доньше остаются на Британских островах важным этическим водоразделом. Принято считать или хотя бы делать вид, что более важное место в жизни человека занимает то, чем он увлекается в часы досуга, а не то, чем он занимается во время работы. Стало быть, любительское отношение к делу ценится выше специальных знаний, а любитель почитается больше, чем профессионал.

Деление на любителей и профессионалов идет из крикета. А крикет — поистине святая святых для англичан, национальная игра, которую они считают праматерью не только спорта, но и морали. Именно от крикета ведут свою родословную те принципы спортивной этики, которые стали для англичан основами подобающего поведения, мерилom порядочности. Когда оксфордский проректор говорит, что его цель — научить юношей играть прямой битой, смысл этой фразы выходит далеко за пределы спорта.

Иностранному журналисту, работающему в Лондоне, должен знать термины и эпитеты, принятые при описании



крикетных матчей, так же хорошо, как популярные библейские выражения или латинские пословицы — без этого нельзя понять ни полемики в парламенте, ни газетных передовиц. Крикет явился первым видом спорта, где деление на любителей и профессионалов было официально зафиксировано в правилах. Причем предпочтение первой из этих категорий выражено в них совершенно недвусмысленно. Капитанами ведущих команд, например, до недавних пор могли быть только любители. И хотя в наши дни соблюдать этот принцип уже не удается, прежняя градация продолжает сохранять силу в мелочах. Раздевалки для любителей по традиции оборудуются отдельно от раздевалок профессионалов и отличаются от них так же, как корабельные каюты первого класса отличаются от кают второго.

Достаточно взять программу любого крикетного матча, чтобы увидеть, кто из игроков — любители, а кто — профессионалы: если у первых значатся фамилии и инициалы, то вторых принято перечислять лишь по фамилиям. Помимо любителей и профессионалов, в крикете существуют еще и параллельные термины: джентльмены и игроки. Это второе противопоставление помогает понять, почему любительское отношение к делу стало отождествляться с принадлежностью к избранному классу. Статус джентльмена — как и владение землей — был вершиной человеческих амбиций. Считалось, что хозяин загородного поместья если и пробовал свои силы на каком-то поприще, то не ради корысти, а из чувства долга перед обществом или для собственного удовольствия.



Принадлежность к регулярной рабочей силе выглядела следствием экономической или социальной зависимости. Так что даже если джентльмен трудился по необходимости, он все равно старался

делать вид, что относится к работе как к некоему побочному увлечению, то есть изображал любителя. Эта своеобразная шкала социальных ценностей дает больше престижа тому, кто может оставаться дома, чем тому, кто вынужден уходить по делам. Поэтому англичанин подсознательно склонен считать, что дом занимает в его жизни более существенное место, чем работа, — независимо от того, так ли это на самом деле.

В этом, пожалуй, его самое разительное отличие от заокеанского кузена. Дело не только в том, что американец, как правило, раньше уходит по утрам, позже возвращается, — он даже дома не может расстаться с мыслями о том, что волнует его на работе. Англичанину же с его культом домашнего очага скорее свойственно обратное.

У американцев принято считать, что чем больше дел держит в своих руках человек, тем выше его престиж и в собственных глазах, и в глазах окружающих. Миллионер из Калифорнии, принимающий гостя в своей загородной вилле с бассейном, будет лишь рад, если во время купания ему поднесут телефонный аппарат и доложат о срочном звонке откуда-нибудь из Парижа или Сингапура. Английский же аристократ, даже если он отдает работе не меньше времени и сил, предпочитает выглядеть на людях ленивым бездельником. Отсюда же произрастает его глубоко укоренившееся недоверие к профессионалам, врожденная привычка смотреть на советников и экспертов, как средневековые рыцари взирали на алхимиков, то есть как на обладателей таинственных знаний, готовых служить не то Богу, не то сатане.

Превосходство дилетанта над специалистом утверждает в целой галерее своих героев английская литература. Достаточно вспомнить Шерлока Холм-



са, который, будучи любителем, неизменно оказывался проницательнее профессиональных сыщиков Скотленд-Ярда. Склонность англичан предпочитать любителя профессионалу (причем не только в спорте или искусстве) сложилась, разумеется, у определенного класса в определенную историческую эпоху. Имея за плечами обширную колониальную империю и потенциал «промышленной мастерской мира», можно было позволить себе относиться к труду с аристократической легкостью и свысока смотреть на тех, кто с фанатической одержимостью лез из кожи вон, чтобы выбиться в люди. Однако любительский подход к делу, которым когда-то кичились господствующие классы, наложил свой отпечаток на многие стороны жизни народа в целом. Отличительная черта англичан — их презрительное отношение к так называемым «крысиным гонкам», то есть к готовности жертвовать радостями жизни ради голой корысти.

У всякого, кто попадает на Британские острова с другой стороны Ла-Манша и тем более Атлантики, складывается впечатление, что англичане не склонны отказываться от любимого досуга ради дополнительного заработка. После того как концерн Форда построил на Британских островах свои автомобильные заводы, американская администрация не раз пыталась сократить время остановки конвейеров на обеденный перерыв. Хотя рабочим твердили, что это позволит им раньше кончать смену, подобные попытки всякий раз наталкивались на непреклонное сопротивление профсоюзов.



Чтобы в положенный час выпить чашку чая из термоса и полистать вечернюю газету, шофер такси откажется от выгодного клиента. Ради того, чтобы сыграть в теннис в среду или пораньше уехать за город в пятницу, биржевый брокер по-

жертвует прибыльной спекуляцией. Найти людей, чтобы выполнить в Лондоне какой-то срочный ремонт, крайне трудно: мастерские расписывают свое время на две-три недели вперед, а перспектива работать сверхурочно, даже за двойную или тройную плату, мало кого прельщает.

Англичане не демонстративны в своем отношении к труду, как не демонстративны они в проявлении своих чувств вообще. Поначалу может показаться, что они делают все с прохладцей, спустя рукава. Но постепенно начинаешь понимать, что их неторопливость отражает общий ритм жизни. Сочетание раскованности с отлаженностью — характерная черта английского быта. В этом англичанин чем-то схож с опытным игроком на теннисном корте: он не мечется из угла в угол, а отбивает мячи легко, будто бы даже небрежно. Англичане работают, пожалуй, именно так. И даже если водитель автобуса остановится на пути, чтобы купить себе сигарет, то это еще не значит, что график движения ему безразличен.

Неприязнь английского труженика к «крысиным гонкам» проявляется и в том, что он очень неохотно идет работать к конвейеру. Трудовые конфликты наиболее часты именно в таких отраслях, как автомобилестроение, хотя зарплата там выше, а рабочий день короче, чем в устаревших мелких мастерских. Англия была родиной промышленной революции. Однако современное массовое производство, где человек должен безоговорочно подчиняться ритму машин, плохо приживается на местной почве.

Англичане — родоначальники побочных увлечений, которые принято называть ими же изобретенным словом «хобби». Это не только отдушина от повседневной рутины, но и возможность проявить свои таланты. Побывав полдюжины раз в гостях у англичан, убеждаешься, что именно



поиски общих склонностей и интересов, связанных с досугом, составляют канву их общения. По части хобби фантазия англичан поистине неисчерпаема. Не будет преувеличением назвать Британию страной коллекционеров. Где еще в мире есть столько магазинов, специально предназначенных для филателистов и нумизматов. Но, кроме марок и монет, существует множество, так сказать, «оригинальных жанров» в области коллекционирования, рассчитанных на любой вкус и достаток. Лорд Монтегю, например, увлекается старыми автомобилями начала века. Но, видимо, не меньше горд своей коллекцией его соотечественник, который собирает бляхи носильщиков с названиями вокзалов на давно закрытых железнодорожных линиях. Ходишь по лондонским рынкам и дивишься эксцентричности подобных увлечений. Вот лоток, возле которого толкуются собиратели наперстков. Рядом продают только корабельные штурвалы и рынды, дальше — старинные плотницкие инструменты, а там — медные грелки на длинных деревянных ручках, с которыми англичане до недавних пор укладывались под одеяло в своих нетопленных спальнях.

Страна коллекционеров, Британия в еще большей степени является страной садоводов. Это излюбленное хобби и для биржевого брокера, и для шахтера, для адвоката и для почтальона. Среди англичан насчитывается свыше 20 миллионов садоводов-любителей. Далеко не все они, разумеется, обладают возможностью иметь сад. Часто это просто крохотный палисадник под окном. А уж если нет и его — остается выращивать цветы в ящике на подоконнике.

Садоводство — национальная страсть англичан, ключ к пониманию многих сторон их характера, их отношения к жизни. Сама английская погода, по поводу



которой принято так много ворчать, служит, безусловно, лучшим другом садовода, позволяя жителям Туманного Альбиона круглый год иметь досуг, куда менее доступный народам других стран. Благодаря влажному, умеренному климату в Лондоне круглый год зеленеет трава и почти всегда что-то цветет. Так что садовод может не только трудиться на свежем воздухе, но и любоваться плодами своего труда. Розы и хризантемы продолжают цвести в открытом грунте чуть ли не до Рождества, а уже в конце февраля о приходе весны напоминают бутоны крокусов и нарциссов. Таким же важным событием традиционного летнего календаря, как скачки в Эскоте, теннисный турнир в Уимблдоне или гребная регата в Хэнли, служит ежегодная выставка цветов в Челси — на нее съезжаются селекционеры-любители со всей страны.

Подчеркивая, что англичане на редкость домолюбивы, порой даже трудно сказать, к чему прежде всего относится эта страсть — к домашнему очагу или к палисаднику под окном. Физический труд в саду, практические навыки в этом деле одинаково чтимы во всех слоях британского общества.

Наконец, третьим излюбленным увлечением англичан наряду с коллекционированием и садоводством следует назвать домашних животных. Однако их пылкую любовь к собакам и кошкам было бы кощунством относить к числу хобби. В силу местных особенностей тема эта вторгается в область семейной жизни, и потому речь о ней пойдет в следующей главе.

В Англии у людей больше забав, увлечений и интересов вне рутины повседневных дел, чем у нас, американцев. Процент тех, кто, кроме забот, связанных со своим бизнесом или профессией, име-



ет какие-то хобби, несравненно выше, чем у нас. Здесь поразительно велико число людей, которые разводят лошадей, или собак, или свиней, или овец, или коров; которые играют в крикет, гольф, теннис или занимаются греблей; которые изучают какой-то древний язык или совершают путешествия в неведомые страны; которые увлекаются охотой, рыбной ловлей или ботаникой; которые изучают какую-то область археологии или исследуют корни своего генеалогического дерева.

Прайс Кольер (США).

Англия и англичане — с американской точки зрения. 1912

Садоводство для британца — это больше чем хобби; даже больше чем страсть. Это кодекс моральных ценностей, почти религия. Именно в такие моменты он раскрывает себя и свою подлинную сущность. Именно в саду англичанин отбрасывает свою тщательно привитую сдержанность, позволяет своей жесткой верхней губе расплыться в улыбке, как бы снимает свой застегнутый на все пуговицы мундир. Его вкусы, его поведение в саду говорят о его личности и характере гораздо правдивее, чем любая автобиография. Он проявляет здесь свою глубокую любовь к природе, которая на его взгляд, должна быть подправлена и облагорожена как можно меньше.

Энтони Глин (Англия).
Кровь британца. 1910





СОБАКИ, КОШКИ И... ДЕТИ

Лондонские парки хочется назвать краем непуганых птиц. Их многочисленные пернатые обитатели нисколько не боятся человека. Это особенно заметно в будни, когда людей мало: гордые лебеди устремляются со всех концов пруда к случайному прохожему, а утки даже вылезают из воды и вперевалку ковыляют вслед за ним.

Стоит присесть на скамейку, как к ней тут же слетаются воробьи, которые тут, в центре Лондона, совершенно беззастенчиво лакомятся прямо из человеческих рук. По части попрошайничества с ними активно конкурируют белки: они могут взобраться человеку на колени, даже на плечо, нахально и требовательно заглядывая в глаза. Не только птицы в парках — любая живность в Англии привыкла видеть в человеке не врага, а друга и благодетеля. Пушистый серый кот из соседнего дома, взобравшийся на подоконник нашей кухни, был явно удивлен, когда его ничем не угостили, а погнали прочь. Даже незнакомая собака, встреченная в лесу, вместо того чтобы залаять, тут же начинает приветливо вилять хвостом.

Если верно, что на свете не сыщешь травы зеленее английской, то еще бесспорнее, что нигде в мире собаки и кошки не окружены таким страстным обожанием, как среди слывущих бесстрастными англичан. Собака или кошка для них — это любимый член семьи, самый преданный



друг и, как порой поневоле начинаешь думать, самая приятная компания. Когда лондонец называет своего терьера любимым членом семьи, это вовсе не метафора. Французских или немецких студентов обычно поражает, что в английских семьях домашние животные явно занимают более высокое положение, чем дети.

Это проявляется и в моральном плане (ибо именно собака или кошка служат центром всеобщих забот), и в плане материальном. Девушка с континента, гостящая в лондонской семье ради практики в языке, с удивлением замечает, что если бульдогу или сеттеру дают хороший мясной ужин, то дети, обедающие в школе, получают вечером лишь кусок хлеба с консервированными бобами да чашку чая.

Австралийские чиновники не могут взять в толк, почему семьи британских эмигрантов готовы пойти на невысказанные хлопоты, связанные с карантином для своих кошек и собак, вместо того чтобы оставить их в Англии, а в Австралии приобрести других. Однако англичанину подобная мысль попросту не может прийти в голову. Для него это все равно что бросить на произвол судьбы собственное дитя. Чтобы не задавить щенка или котенка, лондонский водитель без колебания направит машину на фонарный столб или, рискуя жизнью, врежется в стену. Гуляя в дождливый день, англичанин часто держит зонтик не над головой, а несет его на вытянутой руке, чтобы капли не попадали на собаку.

Человеку, который не любит домашних животных или которого, упаси бог, невзлюбят они, трудно завоевать расположение англичан. И наоборот. Если приходишь в гости и огромный дог радостно бросается тебе лапами на плечи, не стоит горевать о выпачканном костюме. Англичане убеждены, что собака способна безошибочно рас-



познать характер человека, которого видит впервые. Можно почти не сомневаться, что хозяин разделит как симпатию, так и антипатию своего пса. Если тот же дог вдруг проявит неприязнь к кому-то из гостей, в доме станут относиться к нему настороженно.

Человек, впервые попавший в Англию, отметит, как безупречно воспитаны здесь дети и как бесцеремонно, даже нахально ведут себя собаки и кошки. И с этим хочешь не хочешь, а надо мириться. Вот назидательный пример, рассказанный японским диктором из Би-би-си. Пригласив сослуживцев к себе на новоселье, он с удивлением почувствовал, что после этой встречи английские коллеги стали относиться к нему более холодно, чем прежде. Причина, выясненная лишь много времени спустя, оказалась самой неожиданной: предлагая кому-то сесть, японец бесцеремонно выдворил прочь кота, дремавшего в хозяйском кресле. (Совершить такое в чужом доме было бы вовсе святотатством.)

Выступая перед английской аудиторией, мне неоднократно доводилось рассказывать о том, что пережила наша семья во время ленинградской блокады. Слушая о коптилках и снарядах, о 125 граммах хлеба и трупах на детских саночках, кто-нибудь всякий раз спрашивал: «Как же переносили голод кошки и собаки, особенно те, что остались без хозяев? Выдавались ли на них продовольственные карточки?» Рассказывать англичанам о том, как мы с братом ловили одичавших кошек на рыболовный крючок, носили их усыплять в соседний госпиталь, а из освежеванных тушек варили суп, можно было лишь с оговоркой, что это избавляло от страданий бездомных животных, обреченных на неминуемую гибель.

Уже в Лондоне я прочел остроумную, меткую и в целом доброжелательную к жителям Туманного Альбиона книгу



под интригующим заголовком «Люди ли они — англичане?». Ее автор, голландец Г. Реньер, рассказывает об эксперименте, который он провел, задавая различным группам англичан один и тот же гипотетический вопрос. Путешественник встречается нищего с собакой, умирающих с голоду. В сумке у него один-единственный кусок хлеба, которого никак не хватит на двоих. Кому же его отдать: нищему или собаке? Житель континента в такой ситуации наверняка накормит нищего. Но трудно сказать, как тут поступит англичанин. Реньер ожидал, что ему будут возражать, обвинять его в тенденциозности. Но собеседники были на диво единодушны: «О чем тут говорить! Конечно, нужно прежде позаботиться о собаке! Ведь бессловесная тварь не способна даже попросить за себя!»

Настоятель соседней церкви посетовал мне однажды на своих прихожан: воскресный сбор пожертвований в пользу бездомных собак и кошек неизменно составляет куда большую сумму, чем сбор в пользу беспризорных детей. Я, признаться, усомнился: типично ли это? Решил навести справки. Мой исторический экскурс выявил две примечательные даты:

1824 год: создание Королевского общества по предотвращению жестокости к животным.

1884 год: создание Национального общества по предотвращению жестокости к детям.

Второе общество родилось, стало быть, на 60 лет позже первого, да к тому же под менее респектабельным именем (в Англии все «королевское» котируется куда выше, чем «национальное»). А о том, сколь нужна была подобная организация, свидетельствует «Доклад комиссии по детскому труду» 1842 года.

Потрясенная им британская общественность впервые осознала тогда,



какой ценой далось стране превращение в «мастерскую мира», услышала про семилетних детей, по двенадцать часов ползавших на четвереньках в темных забоях. Первое местное общество защиты детей от побоев было создано в 1882 году в Ливерпуле в освободившемся помещении дома для бездомных собак.

Национальному обществу по предотвращению жестокости к детям донныне хватает дела: оно ежегодно расследует по нескольку десятков тысяч случаев. Однако Королевское общество по предотвращению жестокости к животным имеет куда более солидную материальную базу: три тысячи местных отделений, добрая сотня клиник, свои ветеринарные госпитали, а главное — штат инспекторов, по докладам которых весьма легко угодить под суд и даже попасть в тюрьму.

Меры против тех или иных форм жестокого обращения с животными — излюбленная тема так называемых частных законопроектов, которые вносятся в парламент от имени отдельных депутатов. При каждом политическом затишье газеты возобновляют дебаты о том, как положить конец китобойному промыслу, избавить от смерти новорожденных ягнят, чьи шкурки идут на выделку каракуля, или как уговорить английских туристов бойкотировать бой быков в Испании. Когда в качестве пассажира одного из первых «спутников» советские ученые отправили в космос Лайку, заранее зная, что она не сможет вернуться на Землю, это вызвало в Британии поистине бурю протестов.

По мнению англичан, многие народы (в частности итальянцы) слишком жестоки с животными и слишком мягки с детьми. Итальянцам же свойственно упрекать англичан как раз в обратном: что они чересчур обожают животных и чересчур суровы к детям. Во всяком случае у



англичан куда больше негодования вызывает жестокость с животными, чем с детьми. Проблема эта отнюдь не нова.

Диккенс одним из первых привлек к ней внимание в романе «Дэвид Копперфилд».

Разумеется, со времен Диккенса многое изменилось. Эксплуатация детского труда запрещена законом. И все-таки не будет преувеличением сказать, что англичане меньше чем другие народы стыдятся случаев жестокого обращения с детьми. Что же касается телесных наказаний в учебных заведениях, то они до сих пор не отменены. В глубине души англичане убеждены, что родителям лучше быть чересчур строгими, чем чересчур мягкими, что «пожалеть розгу — значит испортить ребенка» (распространенная поговорка). В Британии принято считать, что наказывать детей — это не только право, но и обязанность родителей. Баловать детей — значит, на взгляд англичан, портить их. И самыми разительными примерами таких испорченных детей служат, разумеется, дети иностранцев.

Мне было достаточно издали бросить взгляд на семью, гуляющую в Гайд-парке. Если ребенок восседает на плечах у отца или цепляется за подол матери, если он хнычет, чего-то просит, словом, требует внимания к себе, или же если родители поминутно обращаются к детям, то понукая, то одергивая их, — я был на сто процентов убежден, что это семья не английская.

В Лондоне с его многонациональным населением подобный контраст особенно бросается в глаза. Англичане считают, что неумеренное проявление родительской любви и нежности приносит вред детскому характеру. В их традициях относиться к детям сдержанно, даже прохладно. Это заставляет родителей обуздывать свои чувства, а



детей — волей-неволей свыкаться с этим. Даже коляску с младенцем принято ставить так, чтобы плач его не был слышен матери и не рождал у нее соблазна подойти к ребенку и успокоить его.

В Холланд-парке, неподалеку от дома, где я жил, есть детская площадка. Там можно ходить по бревну, лазить по канату, взбираться по вантам на корабельную мачту, сидя съезжать с крутой горки. Перед входом на площадку красуется неожиданная, на взгляд москвича, надпись:

«Взрослым вход воспрещен». Надпись эта, судя по всему, адресована иностранцам, которых вокруг обитает довольно много. Это им нужно напоминать, что естественная потребность детворы карабкаться, взбираться, съезжать и спрыгивать способствует формированию самостоятельности и что, если мальчуган сорвется и заработает пару синяков, он извлечет для себя поучительный урок на будущее.

Если наши матери подчас одергивают детей без нужды, то англичанки избегают вмешиваться в их поведение, даже когда это, казалось бы, необходимо. Помню молодую мать, сидевшую с книгой на соседней скамейке. Ее старший сын лет четырех маршировал в резиновых сапожках вдоль и поперек лужи. Причем шлепал так, что брызги летели не только на его куртку, но и на годовалого брата-ползунка, которого высадили из коляски и поставили стоять у скамейки. Когда этому еще не научившемуся ходить малышу надоело делать шаги влево и вправо, держась за скамейку, он уселся на сырую землю, начал размазывать по себе грязь, а потом на четвереньках полез в лужу. Я следил за этой сценой затаив дыхание и, видимо, с выражением ужаса на лице, потому что женщина, оторвав на секунду глаза от детектива Агаты Кристи, улыбнулась мне и сказала:



— Просто удивительно, до чего они всегда любят лезть в самую лужу...

И после этого невозмутимо продолжала читать.

Важно подчеркнуть, однако, что подобное отношение к детям отнюдь не означает, что они растут в атмосфере вседозволенности. Напротив, дисциплинирующее воздействие родители оказывают на них уже с очень раннего возраста. Но оно четко нацелено против определенных задатков и склонностей, которые считается необходимым беспощадно подавлять. Если ребенок вздумает мучить кошку или собаку, если он обидит младшего или нанесет ущерб чужому имуществу, его ждет суровое, даже жестокое наказание. Однако внутри ясно обозначенных границ запретного дети свободны от мелочной опеки и постороннего вмешательства, что приучает их не только к самостоятельности, но и к ответственности за свои поступки. Едва научившись ходить, английский ребенок уже слышит излюбленную в этой стране фразу: «Возьми себя в руки!» Его с малолетства отучают лезть к родителям за утешением в минуты боли или обиды. Детям внушают, что слезы — это нечто недостойное, почти позорное. Мальчи, который плачет потому, что ушибся, вызывает откровенные насмешки сверстников и молчаливое неодобрение родителей. Если ребенок свалится с велосипеда, никто не бросится к нему, не проявит тревоги по поводу кровавой ссадины на колене. Считается, что он должен сам подняться на ноги, привести себя в порядок и, главное, ехать дальше.

Поощряемый к самостоятельности английский ребенок мало-помалу свыкается с тем, что, испытывая голод, усталость, боль, обиду, он не должен жаловаться, беспокоить отца или мать по пустякам. Английские дети и не ждут, что кто-то будет кудахтать над ними, потакать их капризам, окружать их неумеренной нежностью и лаской. Они понимают, что живут в царстве взрос-



лых, где им положено знать свое место, и что место это — отнюдь не на коленях у папы или мамы.

Независимо от семейных доходов одевают детей очень просто — младшие донашивают то, что когда-то приобреталось для старших. А в восемь часов вечера не только малышей, но и школьников безоговорочно и бескомпромиссно отправляют спать, чтобы они не мешали родителям, у которых на вечер могут быть свои дела и свои планы. Детей до пятилетнего возраста сажать за общий стол вообще не принято — даже когда дома нет гостей.

Однажды мы с женой гостили на севере Англии в семье преподавателей русского языка. Супруги проходили практику в Москве, неплохо знали наш быт и учили говорить по-русски своего шестилетнего сына.

— Ну-ка, Тони, иди сюда. Расскажи нам, как ты себя ведешь, как ты кушаешь, — обратилась к нему моя жена.

Эта привычная нам фраза заставила хозяев весело смеяться.

— Нас всегда удивляло и даже забавляло, — говорили они, — что в представлении советских родителей хорошо кушать — значит хорошо себя вести. Если ребенок может сам держать ложку, английской матери вряд ли придет в голову обращать внимание на его аппетит. Как и сколько он ест — его дело. Тем более что дети, как правило, съедают все, что им дают, ведь их куда чаще недокармливают, чем перекармливают...

Действительно, англичанам свойственно считать голод одним из рычагов воспитания, эффективным средством закалки воли и формирования твердого характера, равнодушного к лишениям и невзгодам. Предполагается, что обладатель подобных качеств должен быть худощавым,



поджарым. И подчас кажется, что английских родителей больше всего беспокоит, как бы их дети не переели.

Когда итальянская мать хочет похвалиться своим ребенком, она с гордостью показывает его пухленькие ручки и ножки. Но при виде их английская туристка с трудом скроет неодобрительную гримасу. Пухлый ребенок считается здесь перекормленным и нездоровым. А полные дети — поистине несчастные существа в условиях английской школы. Их не только дразнят, но прямо-таки травят.

В Лондоне редко увидишь не то чтобы полного, а действительно упитанного ребенка; если и бывают исключения, то, как правило, не в английских семьях. Пищу для размышления дает и такой парадокс. Англичане большие сладены, причем бросается в глаза, что реклама шоколада или конфет адресована в этой стране не детям, а именно взрослым. Чтобы подобное пристрастие не повлияло на стройность фигуры, мужчинам и женщинам на каждом шагу внушают есть больше овощей и фруктов, исключая из рациона хлеб и мучные изделия. Однако, когда речь заходит о детях, которым тоже полагается быть худощавыми и стройными, никто уже не вспоминает о витаминах и соках, и упор делается на «простую», то есть преимущественно мучную, пищу.

В стране Оливера Твиста детей отнюдь не балуют в смысле лакомств. Телевизионная реклама куда чаще, чем мороженое и леденцы, восхваляет консервированный корм для кошек и собак.

И если содержание домашних животных — неприкосновенная статья в семейном бюджете, то экономить на питании детей считается вполне допустимым. Английские школьники возвращаются домой в половине пятого. Многие из них за весь день имеют горячую пищу только в школь-



ной столовой. Прославленный английский завтрак из овсяной каши и яичницы с беконом сохранил свое существование в большинстве семей лишь в выходные дни. Матери подчас полагаются на то, что дети как следует обедают в школе. Но нередко бывает, что подросток предпочитает не передавать по назначению плату за школьные обеды, а оставляет эти деньги себе на карманные расходы.

Словом, преобладает мнение, что голод не только воспитывает характер, но и идет на пользу детскому организму. Считается, что полный ребенок — это испорченный ребенок. Худощавость же служит признаком крепкого здоровья, хорошего воспитания. Набалованные дети, которые постоянно требуют внимания к себе, то и дело чего-то просят или на что-то жалуются, — большая редкость в английских семьях. Ребенок здесь привык быть предоставлен самому себе и как можно реже напоминать родителям о своем существовании. Пока дети растут дома, их не должно быть слышно. А со школьного возраста их, в идеале, не должно быть и видно.

Это — характерная черта английского уклада жизни. Непосредственное влияние родителей в воспитании школьников и тем более студентов сказывается здесь куда меньше, чем в других странах. Считается, что давняя традиция отсылать детей учиться подальше от дома отражает не суровость родительского сердца, а, наоборот, боязнь, что оно окажется слишком мягким. По мнению англичан, дети ведут себя среди чужих людей лучше, чем под родительским кровом, скорее приучаются стоять на собственных ногах. Для состоятельных родителей главные заботы и волнения сводятся к тому, чтобы устроить сына в «подобающую школу», то есть в частный интернат. Это требует расходов, связей, хлопот. Но с благополучным за-



числением подростка родители как бы откупаются от дальнейших забот о его воспитании. Однако платой за такое раскрепощение неизбежно становится отчуждение собственных детей. Проводя большую часть года лишь среди своих сверстников и воспитателей, лишаясь возможности регулярно общаться с родителями на семейной основе, дети начинают чувствовать себя как бы чужими в доме. Приезжая на каникулы, они относятся к отцу и матери, к братьям и сестрам почтительно и вежливо, но подчас тяготятся родительским кровом и с облегчением возвращаются в интернат.

В рабочих семьях, которым не по карману частные школы, дети растут ближе к родителям. Но и тут они чувствуют себя в царстве взрослых, отнюдь не являясь центром семейных забот. Уже говорилось, что английские школьники приходят домой в половине пятого. И этот продленный день, как бы его у нас называли, существует прежде всего для удобства родителей. По той же самой причине в английских школах нет, как у нас, продолжительных летних каникул. Детей было бы попросту некуда девать, ибо у многих из них работают не только отцы, но и матери. А летние лагеря и дачи здесь такие же неведомые понятия для детей, как дома отдыха и санатории для взрослых. Трудовая семья имеет, как правило, лишь двухнедельный отпуск и проводит его, снимая комнату где-нибудь на побережье или в сельской местности.

И наконец, еще одна примечательная черта английского уклада жизни. Дети часто покидают здесь родительский дом даже раньше того, как женятся или выйдут замуж. Будучи любителями птиц, англичане сложили на сей счет поговорку: «Птенцов нужно выкидывать из гнезда, чтобы они быстрее выучились летать». Независимо от доходов родителей и независимо от того,



есть ли практическая нужда в переезде, юноши и девушки после завершения среднего образования, то есть в шестнадцатилетнем возрасте, обычно поселяются отдельно и начинают жить самостоятельной жизнью.

Обычай обитать под одной крышей трем поколениям сразу, свойственный большим патриархальным семьям в Японии, представляется англичанам немислимым и недопустимым посягательством на неприкосновенность частной жизни. Однако те самые подростки, которые, как принято считать, не могут жить вместе с другими членами семьи, ничуть не страдают от казарменного быта в школах-интернатах и преспокойно уживаются с двумя-тремя сверстниками, сообщая снимая одну комнату после ухода из родительского дома.

«Страна, где собаки не лают, а дети не плачут» — так хочется порой сказать об Англии на основе первых впечатлений. Позднее понимаешь, что это — сходные следствия разных причин. Не следует думать, что собаки тут слишком выдрессированы, чтобы лаять, а дети слишком окружены заботой, чтобы иметь повод заплакать. Вернее, пожалуй, сказать, что дело обстоит как раз наоборот.

Впору, однако, задаться вопросом: не связаны ли между собой две своеобразные черты характера англичан, проявляющиеся в отношении к домашним животным и в отношении к детям? Преувеличенная любовь к «бессловесным друзьям», видимо, свойственна им по той самой причине, по которой питают особую страсть к собакам и кошкам бездетные люди. Вынужденные подавлять или маскировать открытые проявления любви и нежности друг к другу, родители и дети поневоле делают неким эмоциональным громоотводом домашних животных.



Существует заблуждение о том, что англичане добрее и вообще милосерднее, чем другие народы. Многие англичане — и среди них прежде всего женщины, — охотно воспринимающие эту легенду, думают прежде всего о лошадях, собаках и кошках, но вовсе не о людях и отнюдь не о детях. Жестокость издавна была, да и поныне, пожалуй, остается, чертой, присущей характеру англичан.

Джон Б. Пристли (Англия).
Англичане. 1973

Чтобы познать англичан, видимо, лучше быть зоологом, чем психологом... Когда учителя ломают розги о спины школьников, им никто не говорит ни слова. Но если ударить собаку, которая вас укусила, можно оказаться в тюрьме.

Пьер Данинос (Франция).
Майор Томпсон и я. 1957

Мне всегда казалось странным, что англичане, которые вечно прославляют свои публичные школы, колледжи и университеты, никогда не воздают никакого формального долга благодарности своим родителям.

Нирад Чаудхури (Индия).
Путь в Англию. 1959





ОДИНОКИЕ ДЕРЕВЬЯ

Оправдана ли английская система воспитания? Идет ли она в конечном счете на пользу психологии и характеру детей? На сей счет могут быть разные мнения. Но вряд ли вызовет споры вывод о том, что система эта не проходит бесследно для самих родителей. Подавлять естественные проявления чувств к собственным детям, сдерживать душевные порывы уздой самоконтроля — все это неизбежно влечет за собой различные последствия, наиболее очевидным и безвредным из которых является страсть к домашним животным.

В родительском сердце кто-то должен занять место отчужденных детей. Чувства эмоциональной привязанности должны получить какую-то отдушину. Ведь если нежность к собственному ребенку не принято открыто выражать даже наедине с ним, то самое бурное и необузданное проявление любви к собаке даже на людях не считается зазорным. Но может ли пристрастие к домашним животным служить равноценной заменой?

Думается, что сознательное охлаждение родительских чувств, преднамеренное ужесточение сердец к собственным детям сказывается в конечном счете и на других формах личных отношений в семье, включая отношения между мужем и женой. Возводя в культ частную жизнь, независимость и самостоятельность человека, англичане обрекают себя на замкнутость и, стало быть, на одиночество.



Крепостные стены для защиты от непрошенных вторжений не только опоясывают домашний очаг, но и разделяют его обитателей. Если японская семья замкнута для посторонних, то английская семья замкнута еще и внутри — каждый из ее членов куда больше сохраняет неприкосновенность своей частной жизни. Словом, душа англичанина — это его крепость в не меньшей степени, чем его дом. Муж и жена там меньше вмешиваются в дела друг друга, чем это обычно свойственно супружеским парам в других странах. Внутрисемейную атмосферу отличает сдержанность, как своего рода самооборона от излишней фамильярности. Но если открытые проявления симпатий подавляются, то так же подавляются и знаки раздражения, обиды, гнева. Там, где супружеская пара в другой стране предпочла бы добрую ссору, которая разрядила бы атмосферу подобно грозе, англичане постараются как бы не замечать, игнорировать причину размолвки.

К разным классам общества сказанное выше относится, конечно, в неодинаковой степени. В трудовых семьях — особенно на севере, в Ливерпуле или Манчестере, — люди больше раскрыты друг другу, чаще дают волю своим душевным порывам. И уж вовсе исключением служат шахтерские поселки, будь то в Йоркшире или Южном Уэльсе, — их обитатели из поколения в поколение и трудятся, и живут бок о бок, ощущая себя одной большой семьей.

И все-таки, когда попадаешь в многонациональные рабочие предместья, всякий раз бросается в глаза, что английская беднота более замкнута и более одинока в своем труде и невзгодах, чем соседствующие с ней общины ирландцев, негров или пакистанцев.

Для англичан обычно существует два ярлыка: их принято считать либо по-детски сентиментальными, либо бесчувствен-



но невозмутимыми. Истина лежит, пожалуй, ближе к первому из этих стереотипов. Англичане болезненно чувствительны к обиде, но эту черту они глубоко прячут от окружающих. Неудивительно, что главными человеческими достоинствами в супружеской жизни три четверти опрошенных англичан назвали понимание, тактичность, предупредительность, а главной помехой для нее свыше половины опрошенных сочли плохой характер.

Эти данные, основанные на результатах авторитетного социологического исследования, приводит автор книги «Английский характер» Джеффри Горер. При всей относительности любых анкетных опросов, результаты их во многом показательны. Горер, в частности, обобщил мнения тысяч опрошенных о том, какие качества они ценят в своих супругах выше всего. Отвечая на вопрос о мужьях, 33% английских жен назвали понимание, 28% — заботливость, 24% — юмор, 23% — честность, 21% — верность, 19% — щедрость, 17% — любовь, 14% — терпимость. По мнению английских мужей, жена прежде всего должна быть хорошей хозяйкой (29%), затем непосредственно следуют такие качества, как уживчивый характер (26%), понимание (23%), любовь (22%), верность (21%), внешность (21%), умение готовить (20%), ум (18%).

С другой стороны, английские мужья больше всего осуждают в своих женах такие черты, как сварливость (29%), глупость (24%), сплетничество (21%), мотовство (17%), эгоизм (16%). Жены же считают наиболее нетерпимыми недостатками мужей эгоизм (56%), недостаток ума (20%), инертность, нежелание помогать жене по дому (18%), неопрятность (17%), нечестность (16%).

Приведенные цифры дают пищу для размышлений. Они, во-первых, поз-



воляют судить о слагаемых хорошего характера в представлении англичан. Во-вторых, они выявляют главенство этических критериев над эмоциональными: отметим, что ни любовь, ни верность не оказались на первых местах ни в одном из списков.

В представлении японцев семья — это как бы гавань, откуда человек отправляется в самостоятельное плавание и куда он вновь возвращается во время жизненных бурь. Англичане же не рассчитывают на поддержку со стороны близких родственников в случае каких-либо трудностей, но, с другой стороны, не испытывают по отношению к ним чувства долга или ответственности. Это, впрочем, скорее английская, чем британская, черта, менее присущая многосемейным ирландцам, а также шотландцам с их кланами. Семейные связи, понятие родственного долга ослаблены в Англии правом первородства. Все имущество (а в аристократических семьях — и титул) издавна переходит по наследству одному лишь старшему сыну. Его остальные братья и сестры в принципе не получают ничего и должны устраивать свою жизнь самостоятельно.

Примечательно, что в японской семье, где также существует право первородства, дело обстоит совершенно иначе. Отчий дом, а на селе семейный надел играют там роль некоего страхового фонда, к которому при необходимости вправе обращаться все родственники. Целиком наследуя отцовское имущество, старший сын одновременно принимает на себя роль и ответственность главы семьи, причем по отношению не только к престарелым родителям, но и к младшим братьям. Если кто-то из них остался без работы, он может рассчитывать, что его, жену и детей всегда приютят в родительском доме.

В Англии же сама идея о том, чтобы несколько поколений жили под одной



крышей, представляется совершенно несовместимой с канонами частной жизни. Английские бабушки могут очень любить своих внуков; они с удовольствием будут угощать их по субботам и воскресеньям; они охотно возьмут их к себе на пару недель во время отпуска родителей. Но они никогда не согласятся быть для них постоянными бесплатными няньками, слишком ценя свою независимость.

Англичанам присущ практический подход к морально-этическим проблемам. Другими словами, им свойственно вкладывать сугубо практический смысл и в такие вопросы, которые у других народов рассматриваются только в духовном плане. Школа, религия, правосудие — все эти силы делают в Британии упор на поведение человека, а не на его побуждения, все они направлены прежде всего на утверждение определенных этических норм. Примечательно, что именно на нравственную сторону религии делает упор английская церковь. Она считает, что утверждение моральных норм — более действенный путь к совершенствованию человека, чем такие средства воздействия на личность, как, например, исповедь у католиков. Не будет преувеличением сказать, что Англия является христианской страной главным образом в этическом смысле, где роль религии во многом подобна той, какую играет конфуцианство в Китае или Японии.

Стражем общепринятой этики служит в Британии и правосудие. Оно исходит в своих оценках только из поступков, а не из побуждений. Если адвокат будет строить защиту обвиняемого на объяснении мотивов или обстоятельств, которые толкнули его на подобный шаг, он вряд ли выиграет дело в Лондоне, где куда надежнее исходить из какого-то сугубо технического пункта закона. Наслышанные о терпимости англичан, многие



иностранцы ошибочно трактуют ее как способность одного человека понять побуждения и тем самым оправдать действия другого. На деле же англичане понимают под терпимостью невмешательство в чужую частную жизнь, предполагая, в свою очередь, что каждый должен так же уважать частную жизнь окружающих.

Общественная жизнь в Великобритании зиждется на любительстве. В ее основе лежит традиционное представление, что всякий человек, помимо основных дел или занятий, обязан отдавать часть своего времени и сил какой-то деятельности, лежащей вне его личных, грубо говоря, своекорыстных интересов. Самая распространенная черта общественной деятельности в Англии — это комитеты, которые создаются по самым различным поводам из людей самого разного положения. Редкий англичанин не является членом комитета содействия чему-то, а еще чаще — против изменения чего-то. Умение излагать и отстаивать свои взгляды, публично уверенно чувствовать себя перед большой и даже недружественно настроенной аудиторией присуще представителям всех классов британского общества.

Чем больше доводилось мне бывать на профсоюзных собраниях в рабочих коллективах — в том числе небольших, провинциальных, — тем чаще приходила мысль, что любой здешний цеховой староста вполне мог бы председательствовать в палате общин.

На заседаниях захолустного уличного комитета, где обитатели трущоб совещаются, как им сообщать противостоят выселению, споры ведутся в рамках безукоризненной, прямо-таки парламентской процедуры. Несмотря на обилие традиционных ритуалов, которые прежде всего бросаются в глаза иностранцу, англичанин не считает общественную деятельность чем-то изолированным от



повседневной будничной жизни. И правящая элита умело использует это врожденное представление в своекорыстных целях, создает у людей иллюзию сопричастности к процессу принятия решений, к управлению делами общества и государства.

Если в личном плане англичане, в противоположность японцам, возводят в культ независимость и самостоятельность человека, освобождая его от бремени родственного долга, то в общественном плане англичане, точно так же, как и японцы, дорожат чувством причастности. Наряду с общественным началом их натуре свойственно желание принадлежать к небольшой, избранной группе людей с аналогичными интересами, взглядами или стремлениями. Эта жажда причастности, которую, на первый взгляд, вроде бы трудно совместить с индивидуализмом, видимо, во многом порождена разобщенностью семьи. Это — форма бегства от одиночества, на которое волей-неволей обрекает англичан их культ частной жизни. Если семья перестает быть центром притяжения, остается полагаться на круг людей, которых объединяют то ли общий интерес к коллекционированию марок, то ли общие воспоминания о школе, то ли общее стремление не допустить строительства химического завода на берегу живописного озера.

Независимость, граничащая с отчужденностью, — вот основа человеческих взаимоотношений в Британии. Не только друзья и родственники, но даже родители и дети не чувствуют себя связанными долгом или ответственностью друг перед другом. Такое отсутствие моральных обязанностей являет собой полную противоположность японскому образу жизни с его понятием долга признательности и долга чести, с его неразрывными путями общинных связей. Дело тут не в пережит-



ках феодальной патриархальщины. И в Соединенных Штатах человек постоянно испытывает на себе различные формы морального нажима со стороны родственников, соседей, сослуживцев и подчас вынужден подчинять им свое поведение. В Англии же личные склонности и даже личные странности людей не вызывают противодействия со стороны окружающих. Невмешательство, которое, конечно, строго обоудно, — вот краеугольный камень английской этики.

Однако такая раскрепощенность от родственного долга, от бремени моральных обязательств имеет, разумеется, свою оборотную сторону. Это — палка о двух концах, одна из главных причин той отчужденности, на которую человек бывает столь часто обречен в Англии. Из-за того что детей принято поселять отдельно, родителям приходится доживать свой век в одиночестве, а порой — и в забвении. Эти одинокие старики, беспомощные в случае болезни и беззащитные перед лицом инфляции, старики, щепетильная гордость которых заставляет их скрывать от детей свою нужду и лишения, представляют собой одну из самых мучительных социальных проблем современной Британии. Проблема эта, разумеется, присуща и другим странам. Но здесь она особенно остра именно из-за предубеждения, что дети не несут ответственности за судьбу престарелых родителей и что с ними достаточно встречаться лишь раз-другой в год, на Рождество или Пасху.

Может быть, к этому в итоге привел метод воспитания детей? Когда у человека с малолетства развивают чувство самостоятельности, когда ему внушают, что он не должен рассчитывать на других, он учится полагаться на самого себя. Одних такая система воспитания действительно закаляет, помогает им потом сносить любые невзгоды. Другим же она подчас калечит жизнь. Люди



тут нередко жалуются, что испытывают неловкость и натянутость в отношениях с собственными детьми. Поскольку никто не поощряет их к искренности, к душевному контакту, они не смогли воспитать этих качеств и в следующем поколении.

Англичане любят повторять изречение Черчилля: «Если одинокое дерево выживает, оно вырастает крепким». Но все ли такие деревья выживают? Почему столь неизменным успехом пользуется у читателей газетная рубрика «Одинокие сердца». Откуда в Лондоне столько бюро знакомств, клубов для неженатых, брачных контор с их газетными объявлениями и компьютерами? Словом, откуда столько разнообразных и, судя по их числу, бесполезных средств борьбы с одиночеством?

Американцев, попадающих в Англию, поражает, что это страна мужчин. (Подобным же образом англичане, посещающие Америку, поражаются тому, что это страна женщин.) Это страна, послушная привычкам, удобствам и капризам мужчин, а не женщин. Здесь, как и в мире птиц, в ярком оперении щеголяет самец. Мужчины в этой стране наряжаются, женщины же лишь одеваются. Чтобы судить о процветании семьи, здесь скорее посмотрят на мужа, чем на жену.

В Англии уклад жизни прежде всего имеет в виду удобства мужчины, что в равной степени относится и к бедным, и к богатым, ко всем слоям общества. В Америке уклад жизни прежде всего имеет в виду удобства женщины.

Английские мужчины проводят больше времени с мужчинами как в делах, так и в увлечениях, которым они посвящают свой досуг, чем это свойственно американцам. Американка ожидает, требует и получает больше внимания со стороны мужчины,



чем англичанка. Сыну в английской семье с малолетства отдается предпочтение перед дочерью. Его воспитанию уделяется больше энергии и сил, на него затрачивается больше средств. В результате английские мужчины с детства привыкают считать себя обладателями особых прав и привилегий по сравнению с женщинами. Атмосфера английской семьи предполагает, что девочки смотрят на мальчиков снизу вверх, и большинство англичанок уже никогда не избавляются потом от этой привычки.

Прайс Кольер (США).

Англия и англичане — с американской точки зрения. 1912

Уважение к частной собственности побуждает мужчин в Лондоне с уважением относиться к чужим женам. Здесь, конечно, имеют место супружеские измены. Но в целом и чаще всего к замужним женщинам в Лондоне проявляется куда более осмотрительное отношение, чем где-либо еще. Флиртовать с ними попросту не принято. Это не спортивно, это противоречит правилам, это попросту не крикет. А играть по правилам — основной принцип поведения в Лондоне.

Уолтер Генри Нэлсон (США).

Лондонцы. 1975

Британцы, наверное, самый одинокий народ в мире. Многие из них живут в одиночестве физически. Другие даже у себя дома или в школе одиноки эмоционально и духовно. Это страна, где разрыв между поколениями не только признается, но и одобряется, где человеку некому открыть душу, кроме как занятому доктору или автору колонки «Одинокие сердца» в местной газете.



Энтони Глин (Англия).

Кровь британца. 1970

Вся система английского мышления, вся система образования вращается вокруг центрального принципа одиночества. Чуть ли не с шестилетнего возраста англичанин становится одиноким — вместе с другими, это верно, но одиноким, отдаленным от своей семьи в школе или колледже на все время, кроме каникул. И когда он возвращается домой через пятнадцать или двадцать лет с дипломом Оксфорда или Кембриджа, он, естественно, хочет вновь уехать как можно скорее, чтобы жить своей собственной жизнью. Иными словами, чтобы продолжать быть одному.

Паоло Тревес (Италия).
Англия — таинственный остров. 1948

Англичане честны, у них есть нравы, семейная жизнь, союз родства и дружбы... Позавидуем им! Их слово, приязнь, знакомство надежны: действие, может быть, их общего духа торговли, которая приучает людей уважать и хранить доверенность со всеми оттенками. Но строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. Таковы они в своей торговле, политике и частных отношениях между собой. Все продумано, все разočтено, и последнее следствие есть... личная выгода.

Н. М. Карамзин (Россия).
Письма русского путешественника. 1790





ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ ИНДИВИДУАЛИСТЫ

Когда живешь среди англичан, на каждом шагу убеждаешься, что они, во-первых, на редкость законопослушный народ и, во-вторых, заядлые индивидуалисты. Как же сочетаются в их характере две такие, казалось бы, несовместимые черты. Думается, что ключ к этому парадоксу, более того — ключ к пониманию английской природы, находится в словах «правила игры», в той особой смысловой нагрузке, которую они несут на Британских островах. Англичанам присуще смотреть на нормы поведения как на своего рода правила игры. Спортивная этика служит становым хребтом их общественной морали.

Хотя олимпийский факел был впервые зажжен в Древней Греции, именно Англия, по существу, явилась родиной современного спорта. Об этом напоминает вся международная спортивная терминология, которая, можно сказать, от старта до финиша заимствована из английского языка, включая, кстати, и слово «спортсмен».

В книге «Ветка сакуры» я начал распутывать клубок противоречивых черт японского национального характера с главы «Религия или эстетика?». В рассказе об англичанах подобную же роль могла бы сыграть глава «Религия или спорт?». Заимствовав из спортивной этики такие понятия, как честная игра, командный дух, умение проигрывать, официальная мораль придала им ха-



рактар моральных критериев, основ подобающего поведения. Англичан приучили уподоблять систему человеческих взаимоотношений правилам игры.

Жизнь, по подобной версии, — это игра, как теннис или футбол. И каждый участник ее должен признавать и соблюдать определенные правила. Даже если они выглядят устаревшими или запутанными, нужно подчиняться им, иначе игра теряет смысл. Теннисист получает удовольствие не только потому, что отбивает мяч ракеткой, но и потому, что существует сетка и что границы площадки четко очерчены. Англичан убеждают, что как в спорте, так и в жизни правила следует безоговорочно соблюдать, а нарушителей их — строго наказывать. Тогда в рамках этих правил человек сможет-де чувствовать себя так же раскованно, как игрок в пределах площадки.

На зеленых английских лугах круглый год привольно пасутся стада коров и овец, которым неведом кнут пастуха, так как свободу их ограничивает лишь живая изгородь. Этим, в представлении англичанина, породистый домашний скот отличается от диких зверей. И этим же, на их взгляд, то есть правами в рамках правил, личной свободой в пределах общественного порядка, цивилизованный человек отличается от дикаря. Именно на этой основе насаждается тезис о том, что понятие прав и понятие правил неотделимы друг от друга, что свобода личности и законопослушность представляют собой как бы две стороны одной медали.

«Бог и мое право» — гласит девиз на британском государственном гербе (по давней традиции он до сих пор пишется по-французски). Что касается Бога, то англичане вряд ли более религиозны, чем их соседи за Ла-Маншем, скорее — наоборот. Но вот обостренное сознание собственных прав действительно можно назвать английской чертой. Чтобы вести себя должным образом, гласит английская мораль,



человек должен хорошо знать как касающиеся его правила, так и принадлежащие ему права.

Оказавшись в новой, непривычной обстановке, англичанин прежде всего стремится сориентировать себя относительно действующих в ней правил. Впервые переступив порог школы, фирмы, клуба, парламента, он думает не о том, как привлечь к себе внимание каким-то своеобразным поступком, а о том, как вписаться в сложившийся там порядок. Иными словами, он видит свою цель не в том, чтобы выделиться, а в том, чтобы уподобиться.

В детском гомоне на лужайках лондонских парков то и дело слышатся слова: «Это не честно! Так не играют!» Люди тут с малолетства привыкли инстинктивно обращаться к подобным фразам. Осуждая тот или иной поступок, англичанин прежде всего скажет: «Это не спортивно!» или «Это попросту не крикет». Дать понять человеку, что он нарушает правила игры, что он, стало быть, не порядочен, несправедлив, — значит предъявить ему самое серьезное обвинение.

Однажды из-за непредвиденной поездки по стране я не успел вовремя продлить свой железнодорожный билет (в отличие от авиационного, который выписывается на год, обратный билет на поезд, купленный в Москве, приходится каждые три месяца продлевать, доплачивая в Лондоне определенную сумму). Хотя я явился всего на пару дней позже, чем следовало, и кассир, и директор касс были в самом полном смысле слова неумолимы, то есть умолять их оказалось бессмысленно: «По существующим правилам просроченный билет считается недействительным и, стало быть, продлению не подлежит».

На счастье, я вспомнил, что, когда нужно было продлевать билет в прошлый раз, меня попросили зайти неделей позже, так как предстояло повышение железнодорожных тарифов и еще не было извест-



но, какую следует брать доплату. Именно за это я и попробовал ухватиться:

— Если в прошлый раз оказалось возможным оформить продление моего билета позже положенного срока по особым обстоятельствам, касающимся железной дороги, я вправе ожидать, что это может быть сделано вновь в силу особых обстоятельств, имеющих отношение ко мне. Иначе — где же тут честная игра? Это, как у вас говорят, попросту не крикет...

К собственному удивлению, такая сугубо английская логика возымела действие. После продолжительных консультаций с вышестоящим начальством было сочтено, что прецедент, на который сослался клиент, может служить основанием, чтобы пойти ему навстречу. Зато без ссылки на принципы честной игры любые уговоры и просьбы сделать что-то в порядке исключения совершенно бесполезны. Бывает, пригнись в какой-нибудь музей в отдаленном городе, а служитель буквально перед носом запирает дверь.

— Очень прошу вас, пропустите меня хоть на полчаса. Поверьте, что у меня больше никогда в жизни не будет возможности попасть сюда...

Даже если подобные увещевания растрогают хранителя музея, он все равно холодно ответит:

— Весьма сожалею, но ничего не могу поделать. Не я ведь устанавливаю правила.

Услышав этот довод, англичане тут же смиряются с ним, ибо в глубине души убеждены, что никаких исключений действительно не может и не должно быть. Но не дай бог англичанину почувствовать себя как-то ущемленным в том, что он считает не привилегией, а правом. Он тут же превращается в гневного требователя.

Помню, как, прилетев однажды в Лондон из Дублина, мне пришлось вместе с другими пассажирами ждать четыре минуты, пока пришел чиновник паспорт-



ного контроля. Толпа готова была растерзать его на части.

— Нас здесь двадцать шесть человек, и вы обокрали нас в общей сложности на сто четыре минуты, — ледяным тоном отчитывал клерка представительный джентльмен, постукивая своим зонтиком.

Англичанин соблюдает те или иные правила не ради блюстителей порядка и не потому, что иначе может подвергнуться наказанию. Он поступает так, будучи убежденным, что от этого выигрывает как он сам, так и окружающие. Самая наглядная иллюстрация этого — уличное движение в Лондоне. Кроме автоматических светофоров и белых полос на асфальте, его вроде бы никто не регулирует. Полицейских регулировщиков практически нет. Случаи, когда патруль остановит водителя за нарушение правил, бывают крайне редко. И тем не менее на улицах Лондона царит порядок. Его начинаешь по достоинству ценить, оказавшись на несколько дней в Дублине или Париже.

Мало сказать, что водители неукоснительно соблюдают правила, даже когда им представляется возможность безнаказанно их нарушать. Они к тому же проявляют отменную предупредительность друг к другу, завидную сдержанность и терпимость к тем, кто допустил оплошность и невольно стал помехой для других. Увидев машину, которая дожидается возможности выехать из боковой улицы на главную, английский водитель сочтет долгом притормозить и мигнуть ей фарами. Это означает: «Хоть право преимущественного проезда принадлежит мне, я как привилегию уступаю его вам». В ответ положено с благодарностью поднять ладонь и без промедления воспользоваться оказанной услугой.

Когда какой-нибудь иностранный турист застревает на лондонском перекрестке, не зная, куда и как ему поворачивать, преграждает дорогу сразу двум автомобиль-



ным потокам, никто не торопит его, как в Париже, возмущенными гудками, не вращает указательным пальцем, приставленным к виску. Все вокруг проявляют сдержанность, понимание, готовность прийти на помощь. И, поездив по Лондону год-два, начинаешь получать удовлетворение не только от того, что тебе уступают дорогу другие, но и от собственной снисходительной галантности к какому-нибудь старику за рулем фургона.

Англичанина можно назвать человеком непокладистым. Однако английской толпе присуще врожденное чувство общественного порядка. Диву даешься, как дружно и быстро повинуется она безмолвным жестам нескольких полицейских, когда нужно освободить проход для какой-нибудь торжественной процессии. Можно ли представить себе, чтобы на бейсбольном матче в США или на велогонках во Франции кассир пропускал людей на трибуны без билетов, с тем чтобы они могли выбрать себе место по своему вкусу и уже потом вернуться, чтобы оплатить его. А на стадионе «Лордз», который считается меккой английского крикета, такое возможно, даже когда желающих посмотреть финальную игру втрое больше, чем билетов.

Туристы с континента часто шутят, что бесстрастные обитатели Туманного Альбиона одержимы одной-единственной страстью — стоять в очередях, что, появившись на пустой автобусной остановке, англичанин инстинктивно образует аккуратную очередь из одного человека. Англичане действительно склонны тут же выстраиваться в очередь, как только это представляется возможным (я не решаюсь сказать — необходимым). Вереницы людей терпеливо мокнут под дождем, и никто даже не вытянет шею, чтобы посмотреть, куда же в конце концов запропастился автобус. В дни распродаж в универмаге «Харродз» очередь перед его открытием опоясывает квартал и змеится по соседним переулкам.



Очередь, на взгляд англичанина, как бы приподнимает человека в его собственных глазах. Это повод продемонстрировать свою гражданственность. Ведь очередь наглядно олицетворяет собой идею о том, что соблюдение определенных правил дает человеку гарантию определенных прав. Англичанин с готовностью пропускает тех, кто пришел раньше его, будучи убежденным, что подобным же образом поступят те, кто пришел позже. Все, стало быть, следуют принципам честной игры. И можно представить себе, какое осуждение вызывает всякий, кто пытается нарушить этот священный ритуал!

На автострадах, ведущих из Лондона к аэродрому Хитроу и паромным переправам Фолкстауна и Дувра, порой образуются длинные пробки. Бывает, что кому-то приходится в голову словчить — объехать по обочине бесконечную вереницу скопившихся впереди автомашин. И когда полицейский патруль в назидание поворачивает нетерпеливца обратно, английские водители многозначительно переглядываются: подобная машина чаще всего имеет иностранный номер.

Характерно, что во время войны и в первые послевоенные годы, когда в Великобритании существовала карточная система, в стране практически не получил распространения «черный рынок», процветавший по другую сторону Ла-Манша. Люди жили на карточки. В одной состоятельной семье близ Ноттингема мне рассказывали, как местный лавочник из чувства симпатии к постоянной и к тому же самой доходной покупательнице — жене адмирала и матери двух офицеров в действующем флоте — послал ей на Рождество двойной рацион бекона, который был тут же возвращен обратно.



Законопослушность подчас заставляет англичан мириться с многими правилами и установлениями, которые они не одобряют или которые давно изжили себя и прино-

сят не пользу, а вред. В то время как американец смотрит на любое правило как на вызов, а на любой запрет — как на сигнал к протесту, англичанин считает сильной чертой характера способность подчиняться им.

Когда дочь королевы, принцесса Анна, была задержана на автостраде за превышение скорости, газеты сделали из этого сенсацию, подробно муссировали вопрос о штрафе, о письменном извинении в адрес суда. А если вдуматься, вся эта шумиха принесла британскому истэблিশменту куда больше пользы, чем вреда.

«Люблю англичан, каждый третий из них — чудак», — говорил когда-то Самуил Яковлевич Маршак. Чудаков в Англии действительно немало. Причем, попав в эту страну, отмечаешь не только самые неожиданные формы чудачества, но и терпимость, с которой окружающие относятся к эксцентрикам.

Важно, однако, понять, что английский эксцентрик — это не мятежник, а именно безвредный чудак. Индивидуализм в этой стране проявляет себя как бы боковыми путями. И если Англии, видимо, принадлежит первое место в мире по числу эксцентриков на душу населения, то по числу заядлых правонарушителей она занимает, наверное, одно из последних мест.

Английский образ жизни обладает способностью рождать индивидуалистов, которые не бросают вызова общепринятому порядку, но предпочитают отличиться от других людей какими-то специфическими склонностями или безвредными странностями. Разнообразие и своеобразие этих склонностей свидетельствует о том, что, делая упор на незыблемых правилах поведения, английское общество оставляет известную отдушину и для индивидуализма.

Английский эксцентрик платит неизбежную дань общественному порядку, а затем делает что ему заблагорассудится. Таким образом, человек, который не хочет поступать как все, в условиях английского об-



щества чаще становится чудачком, чем ниспровергателем основ. «Эксцентричность в Англии допустима лишь в рамках закона или, во всяком случае, в тех пределах, которые отведены для нее обществом. Как только эти границы оказываются нарушенными, эксцентрик становится преступником», — без обвиняков заявляет в сборнике «Характер Англии» член парламента Ричард Лоу. Такова, стало быть, концепция свободы, как ее понимает законопослушный индивидуалист. Это свобода овец, которые привольно пасутся на английском лугу, не зная, что такое кнут пастуха и не ведая иных преград, кроме живой изгороди, которой обнесено их пастбище.

Каждый такой баран может быть индивидуалистом. Он может, например, есть лишь одуванчики или одиноко пастись в стороне от других овец. Но если такой баран-эксцентрик вздумает бодать рогами изгородь и рваться за ее пределы или тем более увлечь за собой все стадо, он быстро угодит на бойню.

В Англии законы почти всегда являются отроутками обычаев и традиций. Те самые нравы и обычаи, из которых сложились законы, создали и тех, кто должен им подчиняться; так что люди воспринимают законы, как привычные, разношенные домашние туфли. В отличие от французов англичане не испытывают к законам ревнивого чувства, ибо убеждены, что они существуют для общего блага и имеют одинаковую силу для всех. Они не испытывают к ним пренебрежения в отличие от американцев, для которых многие новоиспеченные законы подобны тесной, еще не разносившейся фабричной обуви. В этом один из секретов законопослушности англичан.



В Англии, как ни и в какой другой стране, можно делать что угодно, не подвергаясь расспросам, упрекам, не вызывая сплетен и даже не привлекая удивленных взглядов. Зато при любом правонарушении

путь от полицейского до суда и от суда до тюрьмы здесь куда короче, чем где-либо еще.

Прайс Кольер (США).

Англия и англичане — с американской точки зрения. 1912

У англичан высоко развито чувство справедливости и права. В их обиходе нет более емкой фразы, чем «это несправедливо». Они хотят знать, где стоят, и они обычно знают это. Они исповедуют веру в честную игру — на спортивной площадке, в зале суда и в сделках. Они не терпят хитрости и коварства, ненавидят жуликов и ловкачей. Они стоят на том, чтобы каждый имел, что ему положено, — но не больше и не меньше. И они изобрели сложную и жесткую систему, предназначенную следить, чтобы каждый действительно имел не меньше и не больше положенного.

Генри Стил Коммаджер (США).

Британия глазами американцев. 1974

Переходы «зебра» есть и в других странах. Но достаточно сравнить, как пользуется ими немец и англичанин, чтобы понять всю разницу. Немец ступает на «зебру» со страхом в глазах, сознавая, что это смертельная ловушка, ибо ни один водитель и не подумает тормозить из-за пешехода. В Англии же человек на «зебре» — это не просто лицо, переходящее улицу. Это британец, пользующийся своим неотъемлемым правом. Он шагает медленно, с достоинством, как торжественная процессия из одного человека. Какую уверенность излучает его лицо, когда, чтобы остановить поток машин, он поднимает руку и повелительно помахивает ею! Мне в этом случае кажется, что в руках у него Великая хартия вольностей.

Джордж Микеш (Англия).

Как объединять нации. 1963





«ТУЗЕМЦЫ НАЧИНАЮТСЯ С КАЛЕ»

Приведенная выше поговорка многое говорит об отношении англичан к иностранцам. Она воплощает в себе врожденное представление о всех заморских народах как о существах иного сорта, подобно тому, как жители Среднего царства тысячелетиями считали варварами всех тех, кто обитал за Великой китайской стеной.

Англичанин чувствует себя островитянином как географически, так и психологически. Дувр в его представлении отделен от Кале не только морским проливом, но и неким психологическим барьером, за которым лежит совершенно иной мир. Если немцу или французу, шведу или итальянцу привычно считать свою родину одной из многих стран Европы, то англичанину свойственно инстинктивно противопоставлять Англию континенту. Все другие европейские страны и народы представляются ему чем-то отдельным, не включающим его.

Известный заголовок лондонской газеты: «Туман над Ла-Маншем. Континент изолирован» — пусть курьезное, но разительное воплощение английского эгоцентризма. Мы редко употребляем слово «континентальный» иначе как со словом «климат», имея прежде всего в виду резкие колебания температуры. Для англичанина же в слове «континентальный» заложен более широкий смысл. Это, во-первых, отсутствие уравновешенности, умеренности;



это чрезмерное шараханье из одной крайности в другую. Во-вторых, «континентальный» означает для англичанина не такой, как дома, точнее, даже хуже, чем дома. Таково, например, распространенное понятие «континентальный завтрак»: ни овсяной каши, ни яичницы с беконом — просто кофе с булочкой.

Ла-Манш для англичанина — все равно что крепостной ров для обитателя средневекового замка. За этой водной преградой лежит чуждый, неведомый мир. Путешественника там ожидают приключения и трудности («континентальный завтрак»), после которых особенно приятно испытать радость возвращения к нормальной и привычной жизни внутри крепости.

Главный водораздел в мышлении островитянина проходит, стало быть, между понятиями «отечественное» и «заморское», «дом» и «на континенте». В этом один из корней присущей англичанам настроенности, подозрительности и даже подспудной неприязни к иностранцам. Полушутя-полусерьезно англичане говорят, что попросту непривычны к иностранцам в больших количествах, так как нога заморских завоевателей не ступала на их землю с 1066 года. Действительно, в отличие от других европейских народов англичане из поколения в поколение привыкли жить, не зная врага, который периодически покушался бы на часть территории их страны, вроде Эльзаса, Силезии или Македонии.

Но если за последние девять веков Британия не знала иностранных вторжений, то в течение предыдущего тысячелетия она изведала их отнюдь немало. Иберы, кельты, римляне, англосаксы, юты, норманны волна за волной обрушивались на британские берега. Всякий раз заморские пришельцы прокладывали себе путь огнем и мечом, наводя ужас на местных жителей и оттесняя их дальше в глубь страны.



Войска Вильгельма Завоевателя, пересекшие Ла-Манш в 1066 году, были последними из заморских вторжений. Это, однако, вовсе не означало, что угроза их перестала существовать. Хотя Британию стали считать «владычицей морей» и одной из великих держав чуть ли не со времени гибели Испанской Армады, англичане почти всегда чувствовали за горизонтом присутствие более крупного и сильного соперника. Британия уступала в силе Испании Филиппа II, Франции Людовика XIV и Наполеона, Германии Вильгельма II и Гитлера.

Взять, к примеру, ближайшую соседку — Францию. Хотя Лондон издавна старался спорить с Парижем на равных, Британия лишь на рубеже нашего века сравнялась с Францией по населению. В эпоху Людовика XIV, когда французский король имел 20 миллионов подданных, англичан было лишь 7 миллионов. В 1700 году население Англии составляло четверть, а в 1800-м — треть тогдашнего населения Франции. Другими словами, Англия и Франция находились тогда по населению примерно в такой же пропорции, как сейчас Голландия в сравнении с Англией.

Итак, призрак заморской угрозы веками тревожил англичан. Он несколько отошел на задний план лишь при королеве Виктории, когда Британия не знала себе равных как промышленная мастерская мира и одновременно как обладательница крупнейшей колониальной империи. Взирая на мир с высоты имперского величия, легко было убеждать себя, что на свете нет и не может быть народа, похожего на англичан, и что «туземцы начинаются с Кале».

Впрочем, эпоха «блистательной изоляции» лишь усугубила предрассудки, существовавшие задолго до нее. Еще в 1497 году венецианский посол Андреа Тревисано доносил из Лондона: «Англичане большие почитатели самих себя и своих



обычаев. Они убеждены, что в мире нет страны, подобной Англии. Их высшая похвала для иностранца — сказать, что он похож на англичанина, и посетовать, что он не англичанин».

При всей скромности, присущей англичанам, при всей неприязни, с которой они относятся к любым проявлениям хвастовства, в телевизионном интервью, которое ведущий комментатор берет у премьер-министра, как нечто само собой разумеющееся, как аксиома звучит вскользь брошенная фраза: «Британия, без сомнения, самая цивилизованная страна в мире».

Даже самокритичность англичан является как бы оборотной стороной их самоуверенности. Во-первых, склонность бичевать или высмеивать самих себя вовсе не означает, что они охотно предоставляют это право кому-то со стороны. А во-вторых, чем больше знаешь этих островитян, тем чаще убеждаешься, что, даже когда они на словах поносят что-то английское, в душе они по-прежнему убеждены в его преимуществе над иностранным. В основе их суждений о вещах и явлениях лежит универсальный критерий: это по-английски, а это не по-английски. К критическим замечаниям иностранцев англичане относятся с поразительной терпимостью. Они готовы признать, что их кухня примитивна, что их художественный вкус оставляет желать лучшего, что они не в ладах с географией. Но под этой самокритичностью кроется непоколебимая уверенность в собственном превосходстве. Лондонец вряд ли способен объяснить, на чем она основана. Тем не менее фраза «Это так по-английски!» звучит в его устах как высшая похвала.

Обитатель Британских островов исторически тяготеет к двум стереотипным представлениям о заморских народах. В иностранцах он привык видеть либо соперников, то есть противников, которых надо было победить или перехитрить; либо дикарей, которых



надлежало усмирить и приобщить к цивилизации, то есть сделать подданными Британской короны. В обоих случаях британцы проявляли одинаковое нежелание знакомиться с языком и образом жизни иностранцев, с которыми они вступали в контакт.

Разумеется, для создания крупнейшей колониальной империи требовались не только завоеватели, но и исследователи. Править четвертью человечества было немислимо без знания местных условий. Имперское владычество опиралось на самоотверженность энтузиастов-первопроходцев, которые по 20–30 лет могли жить где-нибудь среди тамиллов или зулусов, досконально изучали их язык, нравы, обычаи, а заодно и слабости их правителей, видя в этом подвиг во славу Британской короны.

Однако плоды этого подвижнического труда редко становились достоянием общественности, расширяли кругозор жителей метрополии. Подобно данным агентурной разведки, они лишь принимались к сведению где-то в штабах, определявших стратегию и тактику в отношении колоний. В отличие, скажем, от французов, которые в Индокитае или Алжире значительно легче смешивались с местным населением, англичане жили в заморских владениях замкнутыми общинами, ни на шаг не отступая от традиционного уклада жизни.

Путешествуя по Индии, я поначалу недоумевал: почему в каждой гостинице меня будят чуть свет и прямо в постель, под марлевый полог москитника, подают чай с молоком? Лишь потом, в Лондоне, я оценил достоинства этого английского обычая — пить так называемый «ранний утренний чай», едва проснувшись, по крайней мере за час до завтрака. Традиция сия донныне жива не только в бывших британских колониях, но и на излюбленных европейских курортах англичан — от



в Испании. Англичанин действительно заядлый путешественник. Но чтобы чувствовать себя за рубежом как дома, ему, образно говоря, нужно возить свой дом с собой, отгораживаясь от местной действительности непроницаемой ширмой привычного уклада жизни. Стойкое нежелание изучать иностранные языки, например, не без основания слывет национальной чертой жителей Туманного Альбиона. Джентльмен в лондонском клубе может с искренним негодованием рассказывать своим собеседникам:

— Восьмой год подряд езжу отдыхать в Португалию; каждый раз покупаю сигары в одном и том же киоске в Лиссабоне, и, представьте, этот торговец до сих пор не удосужился выучить ни слова по-английски...

На все, что происходит за пределами Британских островов, лондонец смотрит, словно сквозь перевернутый бинокль. Англию издавна было принято считать лучшим приютом для изгнанников. Как же совместить прославленную терпимость к иностранцам с укоренившейся привычкой глядеть на них свысока? Англичане действительно терпимы к чужеземцам, оказавшимся в их стране (если только чужеземцы эти знают свое место и не лезут в английские дела). Никто здесь не вздумает вмешиваться в частную жизнь приезжих (как, впрочем, и своих соотечественников). Но сколько бы ни жил этот иноплеменник среди англичан, он не перестает чувствовать, что его по-прежнему не принимают за своего и с безупречной корректностью держат как бы на расстоянии вытянутой руки. Его инстинктивно сторожатся как неведомого существа, нрав которого невозможно предугадать.

В отличие от большинства стран Европы и тем более Азии, само слово «иностранец» не обозначает в Англии состоятельного путешественника. В иностранце здесь прежде всего привыкли видеть челове-



ка, которого толкнула на чужбину нужда, которому платят, когда нуждаются в его услугах. Немецкие и голландские художники, начиная с Гольбейна и Ван Дейка, пересекали Ла-Манш, чтобы писать портреты английских аристократов. Итальянские композиторы сочиняли для них музыку. Считалось само собой разумеющимся, что англичанин едет за границу, чтобы тратить деньги, иностранец же приезжает в Англию, чтобы заработать их. Если в других развитых странах Западной Европы рабочие-иммигранты, выполняющие самый непривлекательный и низкооплачиваемый труд, стали распространенным явлением лишь после Второй мировой войны, англичанину издавна было привычно считать себя хозяином, а иностранца — слугой. Новое здесь состоит лишь в попытках искусственно раздуть неприязнь к цветным иммигрантам, изобразить их виновниками нехватки рабочих мест, жилищ, школ и больниц. В черносотенном жаргоне Российской империи когда-то бытовало слово «инородец». В нем органически было заложено неприязненное отношение к обитателям национальных окраин. Нечто сходное с подтекстом этого слова англичанин бессознательно вкладывает в понятие «иностранец».

Англичанам свойственно считать свой образ жизни неким эталоном, любое отклонение от которого означает сдвиг от цивилизации к варварству. Представление о том, что «туземцы начинаются с Кале», отражает склонность подходить ко всему лишь со своей меркой, мерить все лишь на собственный, английский аршин, игнорируя даже возможность существования каких-то других стандартов. Натура островитянина не в силах преодолеть недоверие, настороженность, сталкиваясь с совершенно иным образом жизни, с людьми, которые, на его взгляд, ведут себя не по-че-



ловечески. В основе этого предрешенного отношения к иностранцам лежит подспудный страх перед чем-то внешне хорошо знакомым, но, в сущности, неведомым. Еще с прошлого века известен случай с английскими туристами на Рейне, которые оскорбились, когда кто-то из местных жителей назвал их иностранцами.

— Какие же мы иностранцы? — искренне возмущались они. — Мы англичане. Это не мы, а вы иностранцы.

Можно, разумеется, считать это старым анекдотом. Но и теперь, в сезон летних отпусков, из уст лондонцев нередко слышишь:

— Если вздумаете на континенте сесть за руль, не забывайте, что иностранцы ездят по неправильной стороне дороги.

По другую сторону морского пролива живут иные, чуждые народы, попросту говоря — варвары. Даже если они не враги — это люди непохожие, люди, которых никогда нельзя по-настоящему узнать, о чьих мыслях и чувствах никогда нельзя с уверенностью судить. Чужеземец не похож на своих и потому опасен, как малоизвестное животное, чью реакцию нельзя предсказать.

Паоло Тревес (Италия).

Англия — таинственный остров. 1948

Англия и англичане стали главенствовать в мире с наполеоновских войн. Трудно ожидать, чтобы, будучи столько времени доминирующими, англичане не стали высокомерными. Это в лучшем случае проявляется в форме непринужденной уверенности и невозмутимости, а в худшем случае — в форме провинциальной надменности, не знающей себе равных... Их непоколебимое



могущество позволяет им обретать союзников, но у них нет друзей. Для британского льва наступят печальные дни, когда он потеряет свои зубы и когти.

Прайс Кольер (США).

Англия и англичане — с американской точки зрения. 1912

Как быть иностранцем? Иностранцем вообще не следует быть. Это постыдно, это дурной вкус. Нет смысла притворяться, что дело обстоит иначе. И выхода из этого тоже нет. Преступник может исправиться и стать порядочным членом общества. Иностранец не может исправиться. Он всегда останется иностранцем. Он может стать британцем, но он никогда не может стать англичанином.

Так что лучше смириться с этой печальной действительностью. Есть некие благородные англичане, которые могут простить вас. Есть щедрые души, которые могут понять, что это не ваша вина, а ваша беда.

Не забывайте, что англичане считают иностранцев ужасно забавными. Им кажется комичным, что люди говорят на иностранных языках и пожимают друг другу руки. В зоопарке мне часто приходила мысль, что обезьянам или львам люди должны казаться такими же забавными, какими звери представляются нам. Ведь, с их точки зрения, мы тоже находимся за решеткой. Мы странно ведем себя.

Зато они обладают преимуществом оставаться дома и ничего не платить за удовольствие видеть нас. Так что не обманывайте себя в британском зоопарке, именуемом Англией. Вы приехали наблюдать и изучать странные живые существа — но прежде всего вами забавляется при этом сам британский лев.

Джордж Микеш (Англия).

Как быть иностранцем. 1946





СТАРЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ГАЛСТУК

«Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона...»

Англичане любят повторять эту фразу, сказанную когда-то герцогом Веллингтонским. Наиболее чтимый своими соотечественниками полководец подчеркнул в ней роль закрытых частных школ в формировании элиты общества. Назначение такой школы — воспитать джентльмена; назначение джентльмена — возглавить и повести за собой людей в час трудных испытаний. Так принято трактовать крылатую фразу «железного герцога».

Итон относится к числу наиболее привилегированных публичных школ. Уже само это название сбивает с толку своей парадоксальностью. Если «публичный дом» означает в Англии просто-напросто пивную, то «публичная школа» — это не что иное, как частная школа. Публичные школы существовали в Англии со Средних веков. Они давали классическое образование, необходимое для публичной карьеры, каковой в ту пору считалась деятельность служителя церкви или государственного чиновника. Ныне в подобных учебных заведениях насчитывается менее пяти процентов общего числа школьников. И все же влияние публичных школ не только на систему образования, но и на общественно-политическую жизнь страны и даже на национальный характер чрезвычайно велико.

В своем нынешнем виде публичные школы сложились полтора столетия



назад — со времени тех новшеств, которые ввел доктор Томас Арнольд, возглавивший публичную школу Регби в 1827 году. Реформы эти отражали новые потребности, порожденные ростом империи. Как военная, так и гражданская служба в заморских владениях нуждалась в людях, которые, кроме традиционного, классического образования, были бы наделены определенными чертами характера. Если в средневековых школах упор делался на совершенствование духа, а важнейшим рычагом для этого служила религия, то Томас Арнольд поставил во главу угла формирование характера, используя для этого такой рычаг, как спорт.

— Во-первых, моральные принципы, во-вторых, джентльменское поведение и, наконец, в-третьих, умственные способности. — В таком своеобразном порядке перечислил он воспитательные цели публичной школы. Со времени реформ Томаса Арнольда спортивные игры на свежем воздухе стали важной составной частью учебных программ. При этом спорт культивируется в публичных школах не только ради физической закалки, но прежде всего и как средство воспитания определенных черт характера. Вместо индивидуальных видов спорта — таких, как гимнастика или легкая атлетика, — в публичных школах доминируют спортивные игры, то есть состязания соперничающих команд.

Создатели публичных школ считают такое соперничество эффективным средством воспитания «командного духа», а через него — кастовой замкнутости и умения повиноваться дисциплине. Хороший игрок в составе школьной команды обретает, по мнению англичан, задатки руководителя и общественного деятеля, которые пригодятся ему на любом поприще.

Воспроизводя для нужд империи правящую элиту, публичные школы видо-



изменили средневековый рыцарский кодекс чести, сделав спортивную этику, понятие «честной игры», важнейшим нравственным принципом, мерилom порядочности. Если в средневековых школах основами воспитания считались латынь и розга, то Томас Арнольд, во-первых, добавил сюда третий рычаг — спорт, а во-вторых, вложил розгу в руки старшеклас- сников. О том, как командное соперничество на спор- тивных площадках дополнило изучение классиков, речь уже шла. Вторым же важным нововведением явилась система старшинства, то есть внутренней суб- бординации среди воспитанников, которая наделяет старшеклас- сников значительной властью над нович- ками. Для того чтобы эта субординация глубже про- низывала жизнь публичной школы, она организаци- онно делится не горизонтально, а вертикально, то есть не на классы, а на дома. Каждый из домов объединяет воспитанников всех классов, остающихся в нем весь срок обучения, от первого до последнего дня.

Именно через старшеклас- сников публичная шко- ла преподает новичку самый первый и самый су- ровый урок: необходимость беспрекословно под- чиняться всякому, кто по школьной субординации стоит хотя бы на ступеньку выше. Трудно предста- вить себе то огромное и безжалостное воздействие, которое, подобно нажиму валков прокатного стана, оказывается здесь на характер подростка. Все, что не совпадает с общепринятыми взглядами, безжа- лостно подавляется. Своими неписаными зако- нами и обычаями английская публичная школа многим напоминает бурсу. Идею субордина- ции новичкам прививают не нравоучениями, а унижительными обычаями, наряду с ко- торыми существует вполне официальная система телесных наказаний.

Да, в той самой стране, где так любят говорить об уважении человеческого до-



стоинства, телесные наказания школьников отнюдь не ушли в прошлое вместе со Средневековьем или с временами Диккенса. Розга доньше остается законным средством, чтобы сначала учить воспитанника безропотно подчиняться, а потом, когда он сам станет старшеклассником, учить его умению повелевать. Шестой, то есть выпускной, класс, в котором воспитанники обычно учатся два года, — это как бы унтер-офицерский костяк школы. Эти подростки отвечают за порядок в классах, на спортивных площадках, в спальнях. Они вправе применять к младшим дисциплинарные наказания и поощрения. Роль директора (он назначается советом попечителей, то есть независим от органов народного образования) проявляется в том, что именно он по своему усмотрению подбирает преподавателей и определяет содержание учебных программ, а также в том, что именно он формирует в образе старшеклассников ту человеческую модель, которая должна быть лицом школы.

Система воспитания, сложившаяся в публичных школах, требует изоляции подростка не только от семьи, но и от внешнего мира вообще. Считается, что лишь совместная жизнь в стенах интерната может привести к тому тесному и глубокому знанию друг друга, при котором эффективно прививаются и качества подчиненных, и качества руководителей. Этот замкнутый мир накладывает на молодежь столь глубокий отпечаток, что в выпускниках определенных публичных школ нередко можно распознать определенные человеческие типы.

Корпоративный быт, как и занятия спортом, имеет в публичных школах еще и побочную задачу: они в равной мере рассматриваются как средство закалки. Считается, что спартанские условия жизни, в частности холод и голод, воспитывают твердость духа, выносливость, самообладание



и другие ценные черты характера. Чем уважабельнее и, стало быть, дороже школа, тем более суровые условия существуют там для воспитанников. Девизом многих публичных школ поистине могли бы стать слова: «Чем хуже питание, тем лучше воспитание». Классы с центральным отоплением — нововведение, которое куда чаще встретишь в какой-нибудь захолустной общеобразовательной школе. Спальни в публичных школах, размещающихся обычно в старинных зданиях, построенных в стиле готики, никогда не отапливаются, как и раздевалки при спортивных залах. В публичной школе Гордонстоун на севере Шотландии, где в свое время учились муж королевы герцог Эдинбургский и наследник престола принц Уэльский, воспитанники ходят в шортах и принимают холодный душ даже зимой, когда вокруг лежит снег. Окна в спальнях держат круглый год открытыми, и никому не разрешается накрываться больше чем двумя тонкими одеялами.

У англичан есть выражение «старый школьный галстук», с которым они привыкли связывать другое распространенное словосочетание — «сеть старых друзей». Корпоративные галстуки выполняют в Британии ту же роль, какую в Японии издавна играют родовые эмблемы на черных парадных кимоно. Они служат средством социальной классификации. Существуют галстуки научных обществ, спортивных клубов, гвардейских полков. Но наиболее престижным считается галстук публичной школы. По лондонским понятиям, он позволяет судить не только об образованности человека, но и о достоинствах его характера, о круге его знакомств — словом, служит свидетельством принадлежности к избранной касте. Куда бы ни забросила судьба английского джентльмена, он всюду перво-наперво ищет собратьев по публичной школе, ко-



торые в любом обществе инстинктивно тяготеют друг к другу. На сей счет к тому же существует игра слов, так как выражения «школьные галстуки» и «школьные связи» по-английски звучат одинаково. Человек с галстуком публичной школы, стало быть, человек со связями. Повязывая темно-синий галстук в тонкую голубую полоску, воспитанник Итона знает, что этим самым узлом он накрепко присоединен к «сети старых друзей», которая всегда будет ему опорой.

Подобно тому, как жизнь юных затворников пронизана внутренней субординацией, такая же субординация существует и между самими публичными школами. Примерно треть из этих 260 частных учебных заведений считается более респектабельной, чем остальные, а внутри этой трети поистине элиту элит составляют наиболее старые школы: Итон, Винчестер, Регби, Харроу.

Всего в полудне ходьбы от Виндзорского замка, за мостом через Темзу, высится готический собор, окруженный старинными школьными зданиями Итона. Причем не меньшей достопримечательностью, чем эти архитектурные памятники, служат их современные обитатели. По узким извилистым улицам степенно расхаживают группы школьников, каждый из которых облачен во фрак и белый галстук-бабочку. Будущим джентльменам положено являться на занятия в наряде, который в наш век носят, пожалуй, лишь дирижеры и метрдотели.

Основанный в 1441 году, Итон всегда был ближе к королевскому двору, чем другие публичные школы. Лично монарх назначает туда главу совета попечителей, а формированием совета занимаются Оксфорд, Кембридж и Королевское общество, то есть Академия наук. Пост директора Итона доньше принято считать вершиной учительской карьеры. Вот уже пять с лишним веков



Итон воспитывает людей, считающих своим призванием стоять у кормила власти. Из стен этой школы вышло 18 премьер-министров. Поселившись на Даунинг-стрит, 10, Макмиллан любил повторять:

— При консерваторах дела обстоят вдвое лучше, чем при лейбористах: у Эттли было три итонца в правительстве, а у меня — целых шесть...

Благодаря высокой плате за обучение, а также щедрым денежным пожертвованиям от своих бывших питомцев Итон располагает средствами, чтобы нанимать лучших преподавателей. Доступное лишь для избранных, такое учебное заведение, стало быть, и наиболее привлекательно для этих немногих. Надо ли удивляться, что две трети итонцев составляют сыновья бывших итонцев. Эта публичная школа больше, чем другие, напоминает наследственный клуб для политических деятелей. В ее традициях развивать у воспитанников профессиональный интерес к политике.

Если Итон — самое династическое из частных учебных заведений, то Винчестеру свойственно уделять большее внимание отбору по способностям. Там строже и сложнее вступительные экзамены. Зато студентами Оксфорда и Кембриджа становится потом вдвое больший процент выпускников Винчестера, чем Итона. Если итонцам прививают находчивость профессиональных политиков и уверенность, что их удел — руководить другими, то Винчестер дает более основательную подготовку для университета, а также славится воспитанием «жесткой верхней губы», то есть таких высококочтимых качеств джентльмена, как самообладание и невозмутимость.

Мечтая о «подобающей школе», обивая пороги Итона или Винчестера, Харроу или Регби, английский отец или мать думают прежде всего не о том, чему их отпрыск



выучится на уроках, не о классическом образовании, сулящем сравнительно мало практической пользы. Они думают о воздействии, какое окажет публичная школа на характер их сына, о манере поведения, что останется с ним до конца дней, как и особый выговор, который проявляется с первого же слова и который можно выработать лишь в ранние юношеские годы. Они думают о друзьях, которых обретет их сын, о том, как эти одноклассники и сам «старый школьный галстук» помогут ему в последующей жизни. Публичные школы — это, разумеется, средство воспроизводства элиты, и само их существование свидетельствует об иерархической структуре общества. Именно в публичных школах проходит предварительную обработку тот человеческий материал, который поступает затем для окончательной шлифовки на «фабрики джентльменов» — в Оксфорд и Кембридж.

Вряд ли какая-либо другая страна стала бы терпеть, а тем более смогла бы создать столь жестокие заведения, как британские публичные школы. Первая неделя новичка в такой школе часто оставляет самый болезненный след в его жизни. Ему трудно даже осознать, что в мире может быть столько людей, желающих ударить его, причинить ему боль и имеющих полную возможность делать это в любое время дня и ночи.

Жестокие побои, которым старшины, старшекласники и даже сверстники подвергают новичков за малейшие проступки или за недостатки характера, не имеют параллели в британском обществе.

Нигде, даже в тюрьме, подростку не дадут семнадцать ударов розгами лишь за гримасу, сделанную другому подростку.

Однако в публичной школе такая мера одобряется — отчасти потому, что она



позволяет эффективно поддерживать дисциплину; отчасти потому, что учит младших чувству ответственности и повиновению власти; отчасти потому, что добрая порка считается полезной для воспитанников независимо от того, заслуживают они ее или нет.

Энтони Глин (Англия).

Кровь британца. 1970

Немногие британские установления столь трудны для понимания, как публичные школы. Тем не менее знать эту систему — как она действует, влияет на общество, знать ее обычаи и традиции необходимо для познания современной Британии.

Что же имеют в виду представители аристократии и буржуазии, когда говорят, что публичная школа формирует характер? Трудно дать исчерпывающий ответ, но я бы сказал, что тут подразумевается правдивость, самодисциплина, способность брать на себя ответственность, верность классовым представлениям о национальных интересах, готовность руководить (включая убежденность в своей пригодности для роли руководителя и в том, что существуют люди, согласные, чтобы ими руководили).

Выпускник публичной школы — это обычно энтузиаст спорта, человек весьма безразличный, а подчас поразительно неосведомленный во всем, что лежит за пределами Британии. Он обладает хорошими манерами, прямодушен и дисциплинирован. В толпе, будь то офицерские курсы или семинар промышленников, он прежде всего ищет собратьев по галстуку. Он готов служить государству, иногда идеализирует его. Он считает, что нужно ходить в церковь, хотя не обязательно делает это сам. Он верит в газету «Таймс» и в монархию.

Дрю Миддлтон (США).

Британцы. 1957 407





«ФАБРИКИ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

Излучины реки Кем плавно огибают задние фасады колледжей. Весна напоминает о себе нежно-серебристой листвой плакучих ив, золотыми россыпями нарциссов на подстриженных лужайках. А приглядевшись к готическим стенам, замечаешь, как на их каменном кружеве тут и там оживает набухшими почками деревянное кружево плюща. В водной глади двоятся арки горбатых мостиков. Какой же из них дал имя здешнему городу? Ведь слово «Кембридж» означает «мост через Кем».

О консерватизме англичан, об их любви к старине и приверженности традициям написаны многие тома. Но вместо того чтобы штудировать их, можно просто побродить по этому городу, проникнуться его духом. Колледжи, похожие на старинные крепости; готические соборы; трапезные с почетными помостами для преподавателей и портретами прославленных выпускников на стенах; увитые плющом аркады; зеленый бархат газонов на квадратных двориках; средневековая архитектура; изысканная, ухоженная столетиями природа; архаичные мантии профессоров и студентов — все вокруг гармонично, все источает аромат старины, преемственности и незыблемости традиций; все это не может не оказывать воздействия на молодые души, на мироощущение тех, кто проводит здесь важные годы жизни.

Как и Оксфорд, Кембридж относится к числу немногих сохранившихся в Европе университетских городов. Оба они вот



уже семь веков, бесспорно, доминируют в британском образовании. И хотя все это время между ними не утихает острое соперничество, провести грань между Оксфордом и Кембриджем отнюдь не легко. Кое в чем эти университетские центры воплотили в себе различия районов, где они расположены. Кембридж — ворота Восточной Англии, края во многом своеобразного не только равнинным рельефом. Еще в XIV веке порты Восточной Англии вели бойкую торговлю шерстью, и нарождавшийся купеческий класс все чаще спорил за власть с местными баронами. Потом на этих плоских равнинах, напоминающих Нидерланды, поселились голландские и фламандские беженцы от испанской тирании. Их появление еще больше укрепило вольнолюбивые традиции этого края.

В XVII веке, когда в Англии была свергнута, а затем снова восстановлена монархия, Оксфорд оставался городом роялистов, тогда как Кембридж был оплотом круглоголовых, как называли себя последователи Кромвеля, выходцы из купеческо-мещанской Восточной Англии. Будучи ближе к столице в прямом и переносном смысле слова, Оксфорд слыл более ортодоксальным и консервативным, чем сравнительно более изолированный, независимый и радикальный Кембридж. Считать, что подобный контраст сохранился доньше, было бы упрощением. Кембридж действительно воспринял кое-какие черты вольнолюбивой Восточной Англии. На берегах реки Кем когда-то преподавал греческий язык Эразм Роттердамский, там учились Кромвель и Милтон, Ньютон и Дарвин. В Кембриджском колледже Тринити мужало свободолюбие лорда Байрона. Но, с другой стороны, из стен Кембриджа вышли такие фигуры, как Пальмерстон и Бальфур, Болдуин и Чемберлен, которых никак не назовешь ниспровергателями или бунтарями.



Оксфорд уделяет сравнительно больше внимания гуманитарным наукам, особенно философии и литературе. В Кембридже наряду с классическими дисциплинами несколько шире поставлено преподавание точных и естественных наук. Однако сами соперники считают подобные противопоставления условными и утверждают, будто Оксфорд и Кембридж имеют лишь два бесспорных различия: первый построен из серебристо-серого, второй — из розовато-бурого камня; в первом красива главная улица, второй славится «задами», то есть фасадами колледжей, обращенными к реке.

Впрочем, если о различиях между Оксфордом и Кембриджем подчас спорят, то установить сходство между ними куда легче. Прежде всего примечательно следующее: англичанин, учившийся в Оксфорде, предпочтет сказать, что окончил Балиол или Крайст-Черс. Бывший студент Кембриджа обычно отрекомендуется как выпускник Тринити или Кингз. Оба, стало быть, перво-наперво назовут не университет, выдавший им диплом, а один из двадцати с лишним колледжей, из которых состоит каждый университет. Своего рода притчей стал случай с иностранцем, который сошел с поезда в Кембридже, взял такси и сказал:

— В университет, пожалуйста! На что шофер недоуменно ответил:

— А здесь нет университета...

Водитель этот по-своему был прав, ибо ни в Кембридже, ни в Оксфорде не существует адреса, который олицетворял бы собой понятие «университет». Иностранцу привычно связывать это слово со зданием или группой зданий, где размещается ректорат, факультеты, аудитории и лаборатории, куда студенты приходят на лекции и семинары, а затем получают диплом, подтверждающий, что они прошли определенный курс наук.



Кембриджский университет (подобно Оксфордскому) в этом смысле представляет собой нечто иное. Это прежде всего 23 автономных колледжа, которые играют в его структуре неизмеримо большую роль, чем существующее параллельно деление на факультеты. Именно колледжи, которым — как и публичным школам — присуща негласная градация, деление на более престижные и менее престижные, осуществляют набор студентов, то есть продолжают дело их социальной классификации. Именно колледжи служат центрами всех форм корпоративной жизни, то есть воспитательного воздействия на студентов. Факультеты, как общеполитическое начало, стали в послевоенные годы играть более заметную роль в учебно-педагогической деятельности колледжей. Однако видеть разделение труда между ними в том, что факультеты занимаются преподаванием, а колледжи — воспитанием, было бы неверно. Дело в том, что в отличие от прочих «красно-кирпичных» университетов Оксфорд и Кембридж имеют общую своеобразную черту — систему личных наставников, своего рода научных руководителей, персонально прикрепленных к каждому студенту. Эта дорогостоящая, недоступная для «краснокирпичных» вузов система осуществляется не факультетами, а колледжами (хотя в роли наставников выступают профессора и доценты факультетских кафедр). Скажем, чтобы подобрать личного наставника для студента, изучающего китайскую философию, колледж договаривается с факультетом востоковедения. Причем плату за каждую встречу со своим подопечным этот научный руководитель получает именно от колледжа. Таким образом, студент Оксфорда или Кембриджа ходит на факультет слушать лекции, а сверх того отрабатывает каждую тему на индивидуальных занятиях в колледже, представляя наставнику письменные работы и подробно обсуждая их со-



держание. Словом, точнее будет сказать, что факультеты занимаются деятельностью преподавателей, в то время как заботу колледжей составляют и воспитание, и успеваемость студентов.

Во всех формах университетской жизни, и, прежде всего, разумеется, в спорте, который играет в Оксфорде и Кембридже, пожалуй, не меньшую роль, чем в публичных школах, студенты прежде всего отстаивают честь своего колледжа. Быть членом команды, выигравшей первенство университета по крикету, или попасть в состав сборной восьмерки для ежегодной регаты гребцов Оксфорда и Кембриджа — это факт в биографии, который значит подчас для будущей карьеры не меньше, чем оценки на выпускных экзаменах. Нетрудно видеть, что роль колледжей в структуре Оксфорда и Кембриджа во многом схожа с делением публичной школы на дома. Здесь подобным же образом насаждается корпоративный дух, инстинктивная манера делить людей на своих и чужих. Здесь продолжается воспитание классово-верности. Основы ее закладываются как верность своему школьному дому в Итоне или Винчестере, закрепляются как верность своему колледжу в Оксфорде или Кембридже, чтобы перерасти затем в верность своему клубу, своему полку, своему концерну, своей парламентской фракции.

Формируя характер и мировоззрение будущих правителей страны, «фабрики джентльменов» используют те же методы, что и публичные школы. Но сверх того Оксфорд и Кембридж имеют одну своеобразную особенность, которая еще разительнее раскрывает их роль в воспроизводстве правящей элиты. Речь идет о дискуссионных клубах, специально предназначенных для того, чтобы со студенческой скамьи прививать студентам навыки профессиональных политических деятелей. Такими дискуссионными клубами являются в Оксфорде



и Кембридже студенческие союзы, которые не имеют ничего общего с аналогичными организациями в других английских вузах. Во всей своей деятельности — от выборов руководящих органов до процедуры дебатов и голосования — студенческие союзы полностью имитируют палату общин британского парламента.

Как использовать соперничество колледжей, чтобы устранить личных соперников, как блокироваться со слабым против сильного, как идти на открытые компромиссы и закулисные сделки — все эти приемы и методы предвыборной борьбы на полном серьезе достигаются здесь на практике. Мало, однако, удостоиться избрания в президенты студенческого союза. Надо успешно провести дебаты, подобрать для них такие темы, чтобы каждый выдвинутый тезис было легко защищать, а оппозиции трудно его оспаривать. Темы еженедельных дебатов могут быть самыми различными. Например: «Правильна ли нынешняя политика Лондона в Южной Африке?» или «Что важнее для общества: универмаг “Маркс и Спенсер” или философия Маркса и Спенсера?». Дискуссию по такому вопросу нередко открывают специально приглашенные из столицы видные политические деятели (выступать в студенческом союзе Оксфорда и Кембриджа считается весьма почетным). Студенческие дебаты, в ходе которых каждая из сторон отстаивает свои и парирует чужие аргументы, завершаются полным подражанием парламентскому ритуалу: голосующие «за» выходят из зала в одну дверь, голосующие «против» — в другую. Если за срок своих полномочий президент сумеет выиграть большинство организованных им дебатов, это считается куда более важным залогом успеха его будущей политической карьеры, чем диплом с отличием. Дискуссионные клубы Оксфорда и Кембриджа учат будущих членов правящей элиты отнюдь не маловажному ис-



кусству полемики: способности сочетать эрудицию с находчивостью, умению стройно и убедительно излагать свои аргументы и парировать доводы противника.

Мне довелось однажды беседовать с президентом студенческого союза Кембриджа. Он безукоризненно, без малейшего замешательства реагировал на сложные, даже каверзные вопросы, держал себя непринужденно, но с достоинством. И хотя в его поведении не было ничего напыщенного, ничего нарочитого, почему-то осталось чувство, что это студент театрального училища, играющий роль премьер-министра. Впрочем, разве должно было быть иначе? Ведь передо мной был конечный продукт изощренной, отлаженной столетиями системы выращивания лидеров. Диплом Оксфорда или Кембриджа — это не столько свидетельство определенных знаний, сколько клеймо «фабрики джентльменов». Старые университеты — это заключительный этап отбора, пройдя который человек на всю жизнь приобщается к правящей касте, чувствует себя окруженным «сетью старых друзей».

Однажды я дерзнул завести речь об элитарности традиционного английского образования в одном из лондонских клубов. Утопая в глубоких кожаных креслах и окутывая себя облаками сигарного дыма, мои собеседники со «старыми школьными галстуками» и соответствующим выговором развили в ответ свою теорию, основанную чуть ли не на дарвинизме. Да, признавали они, Оксфорд и Кембридж все чаще критикуют за

то, что эти университеты не уделяют должного внимания естественным наукам; что они копаются в мертвом прошлом, вместо того чтобы заниматься живым настоящим; что они мало готовят человека к практической работе по конкретной специальности; что они переоценивают значение спорта; что, наконец, они недемократичны.

Но можно ли винить скаковую лошадь за то, что она отличается от ломовой? Она прос-



то принадлежит к другой породе, доказывали мне рас­судительные джентльмены, потягивая из хрустальных бокалов старый шерри. Англичане, продолжали они, по природе своей селекционеры. Во всем — будь то розы, гончие или скакуны — они прежде всего ценят сорт, породу и стремятся к выведению призовых образцов. А каждый селекционер знает, что особо выдающихся качеств можно достичь лишь путем отбора, то есть за счет количества. Вырастить из всех лошадей породистых скакунов нет возможности, да нет и нужды. Точно так же нет необходимости делать все вузы похожими на Оксфорд и Кембридж. Публичные школы и старые университеты заняты выведением особой человеческой породы — людей, способных управлять страной. Цель эта уже сама по себе предполагает селекцию, отбор. А как можно совместить избранное меньшинство с разговорами о равенстве для всех?

Оторванный от семьи в раннем детстве, английский ребенок попадает в средневековую бурсу, именуемую публичной школой, где его вскармливают соской традиций. Есть лишь один способ надевать соломенную шляпу в Харроу, приветствовать учителей в Итоне, носить учебники в Чартерхаузе. Что за дело: хорош данный обычай или плох? Главное — он установлен триста или шестьсот лет назад, прочее не имеет значения. Полы, на которых воспитанники Харроу совершают свои первые шаги как джентльмены, сделаны из дубовых досок кораблей Трафальгара. На скамьях, где еще Питт и Гладстон вырезали свои имена, школьники растут убежденными, что все лучшее в мире является британским: суда и сукна, секретные службы и зоопарки, дворецкие и самолеты.

В тени высоких кирпичных стен, на зеленом ковре вековых газонов молодой англичанин обретает печать, которую уже ничто не может стереть. Привыкнув в течение



семи лет жить с восьмьюстами подростками, делать те же жесты, совершать те же ритуалы, носить ту же одежду, подчиняться тем же правилам, увлекаться тем же спортом с тем же командным духом, англичанин всю жизнь несет клеймо своей школы, какую бы карьеру он потом ни избрал. Когда вы увидите, с какой радостью почтенный епископ снимает с себя крест и митру и надевает шорты, чтобы быть судьей гребных состязаний на Темзе между Оксфордом и Кембриджем, вы поймете, что англичане рождаются джентльменами и умирают детьми. В каждом прелате церкви, в каждом государственном деятеле всегда живет школьник, который подходит к мировым проблемам все с теми же мерками клуба, крикета, школы.

Пьер Данинос (Франция).
Майор Томпсон и я. 1957

Я шагал от колледжа к колледжу, раздумывая об их великом вкладе, о том, что именно они дали Англии ритм жизни. Из всех человеческих добродетелей эти колледжи выделили одну, которая является отличительной национальной чертой. Они изучали английский способ двигаться — степенно и безмолвно — и закрепили эту черту, превратив ее в традицию.

Никос Казандзакис (Греция).
Англия. 1965

Влияние Оксфорда и Кембриджа прежде всего направлено на то, чтобы, вопреки тенденциям современности, сделать большинство студентов консервативными. Эти университеты видят свою роль в том, чтобы конструировать и формировать тип человека, предназначенного управлять страной. Именно это, а не учение является главным.

Вильгельм Дибелиус (Германия).
Англия. 1922





СОЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

— Для иностранца английская система образования поистине темный лес, — посетовал я как-то в беседе с одним парламентарием-либералом.

— Что лес — это верно, и никакой системы в нем не высмотришь, — усмехнулся он. — Но в Англии не любят сажать деревья в ряд и подстригать их на один манер. Иное дело во Франции, где министр просвещения точно знает, на какой странице открыты сегодня учебники на уроке истории в четвертом классе или на уроке физики в восьмом. Многим англичанам не по душе такая регламентация. Сначала единая государственная школа, потом единая государственная наука. А что в итоге? Единый государственный образ мыслей? Какая беда, если у нас, в Англии, множество разнородных школ (причем даже у однородных нет общих программ), что все они существуют сами по себе, как растут деревья в лесу? Зато хочешь — сядешь под дубом, хочешь — устроишься под сосной. Надо же оставить какой-то выбор и для родителей, и для учащихся...

Подобные рассуждения можно услышать в Британии довольно часто. Это отголоски политической борьбы, которая идет вокруг проблем образования все послевоенные годы. Восхваление «свободы выбора» — излюбленный аргумент противников демократизации и унификации системы народного просвещения.

Вплоть до 1944 года среднее образование существовало в Англии в форме



платных публичных школ (о которых речь уже шла) и бесплатных грамматических школ (эти школы, подобные гимназиям, носят такое название потому, что подготовка в университет требовала когда-то прежде всего изучения латинской и греческой грамматики).

По содержанию программ грамматические школы близки к публичным школам и конкурируют с ними по числу выпускников, поступающих в вузы. В чем они, разумеется, уступают питомцам Итона и Винчестера — это в «старом школьном галстуке», который играет столь важную роль в карьере.

После того как среднее образование было объявлено обязательным для всех, оно отнюдь не стало для всех одинаковым. Так называемые современные средние школы заведомо должны были стать учебными заведениями второго сорта, ибо в отличие от грамматических школ не давали выпускникам права на поступление в вузы. Для того чтобы рассортировать детей по этим двум типам школ, был учрежден пресловутый экзамен «одиннадцать плюс». Цель его — еще в одиннадцатилетнем возрасте отделить три четверти школьников как «менее одаренных» и сохранить перспективу высшего образования лишь для оставшейся четверти.

Английские дети начинают ходить в школу пятилетними. Первые шесть лет спрос с них невелик. Главный стимул к прилежанию — их собственный интерес к занятиям. И вот в 11 лет для школьников наступает нечто вроде Судного дня, когда их экзаменуют не на знание учебной программы, а на «одаренность». Практика отсекал «менее одаренные три четверти» посередине срока обучения, то есть еще в одиннадцатилетнем возрасте предопределять их дальнейшую судьбу — это система жестокая. Ведь у выходцев из трудовых семей куда меньше предпосылок выдержать экзамен



«одиннадцать плюс», чем у тех, кто имеет состоятельных родителей, возвращается в более образованной среде, имеет благоприятные условия для занятий, домашних репетиторов и так далее.

Резкие протесты общественности против экзамена «одиннадцать плюс» привели к тому, что был провозглашен курс на их постепенную отмену, чтобы перейти к системе общеобразовательных школ, где детей в зависимости от способностей лишь перемещали бы в соответствующий поток. Дело в том, что в отличие от других стран английская общеобразовательная школа не учит всех детей по общей программе и не ставит целью дать им одинаковый объем знаний. Она общеобразовательна лишь в том смысле, что объединяет под общей крышей разные типы средних школ. Одни классы занимаются там по расширенной программе, открывающей дорогу в вузы, другие — по сокращенной, не дающей права на это. Выпускник может получить аттестат «А» — свидетельство об общем образовании повышенного уровня или аттестат «О» — об общем образовании обычного уровня.

Пока кипят страсти по поводу реорганизации системы среднего образования, публичные школы как бы остаются в стороне от этих споров. Рассуждения о том, что они отжили свой век, что, с одной стороны, рост цен, а с другой — возможность учиться бесплатно обрекут эти дорогие школы на вымирание, оказались преждевременными. Хотя ежегодная плата за обучение в Итоне, Харроу, Марлборо выросла в несколько раз, пробиться туда стало еще труднее, чем прежде.

Готовность родителей идти на любые жертвы ради того, чтобы их отпрыск стал обладателем «старого школьного галстука», а затем непременно попал в Оксфорд или Кембридж, порождает-



ся не одним лишь снобизмом. Из года в год старые университеты снимают сливки с публичных школ. А те в свою очередь — с частных подготовительных школ, где вместо унижительного экзамена «одиннадцать плюс» подростков натаскивают для успешного перехода от начального образования к среднему вплоть до тринадцатилетнего возраста. Обладая престижем и к тому же располагая средствами, старые университеты в состоянии привлекать лучших профессоров, а публичные школы — нанимать лучших учителей. Можно ли ожидать после этого, что уровень преподавания, а главное — уровень подготовки выпускников во всех учебных заведениях будет одинаков?

В Оксфорде и Кембридже учится менее 20 тысяч человек. Среди полумиллиона английских студентов они составляют лишь 4 процента, то есть примерно такую же прослойку, как воспитанники публичных школ среди 11 миллионов учащихся. Однако именно «старый школьный галстук» или диплом Оксфорда или Кембриджа остаются самым надежным ключом к успешной карьере.

В Англии нынче в моде разговоры о том, что привилегированные учебные заведения уже не играют былой роли. Отрицать это было бы неверно. Однако куда ошибочнее было бы считать, что роль их сошла на нет. Пусть даже «краснокирпичные» университеты ушли вперед в точных науках — их все равно принято считать второразрядными провинциальными вузами (к каковым, сколь ни странно, относят и Лондонский университет).

На берегах Темзы любят подчеркивать, что перемещение людей из «низов» в «верхи» общества происходит в Британии главным образом через систему образования. Правящая элита готова пополнять свои ряды теми талантливыми выходцами



из других классов, кто сумел преобразить себя по ее образу и подобию, пройдя перековку на «фабриках джентльменов».

Теоретически все английские дети получают сейчас в той или иной форме среднее образование. В соответствии со своими способностями и склонностями они ходят либо в грамматические, общеобразовательные, либо в технические школы; и ничто не препятствует выпускникам любой из этих школ выдвинуться на высшие посты в государственном аппарате или в частном секторе, в политике или науке. Но практически просто никогда не случается, чтобы маршал авиации был выпускником технического училища, или чтобы управляющий Английским банком кончал общеобразовательную школу, или чтобы торговец обувью имел классическое образование.

Общеобразовательная школа получает наименее одаренных детей, которые просто остаются там до шестнадцатилетнего возраста, после чего идут на производство. Технические школы явно выпускают больше квалифицированных механиков, чем оксфордских профессоров. Что же касается классического образования, то публичные школы и грамматические школы делят между собой лучших учеников, лучших преподавателей и выращивают рассаду для высших постов в стране.

Именно так увековечиваются два вида сегрегации, происходящей параллельно: одна по качеству, другая по социальному происхождению. Они идут рука об руку, ибо самое лучшее образование является в Британии одновременно наиболее дорогим, что порождает два четко разграниченных класса.

Энн Лоренс (Франция).
Британия — не остров. 1964





ДВЕ НАЦИИ

В наш век никого не удивишь автомобильными пробками. Но эта многомильная очередь старомодно-тяжеловесных машин запомнится на всю жизнь. Огибая с юга Виндзорский парк, к Эскоту медленно двигалась бесконечная вереница «роллс-ройсов» с пассажирами в чрезвычайно консервативных серых цилиндрах и чрезвычайно эксцентричных дамских шляпках. Почему-то вспомнились полчища глубоководных черепах, которые, повинувшись неведомому инстинкту, в определенный день выползают на один из тихоокеанских пляжей откладывать яйца в приморском песке. Неужели в одном месте их может быть так много сразу? И какая загадочная сила отцедила эти сливки лондонского автомобильного потока, где «роллс-ройс» порой мелькает лишь как редкий образец исчезающей породы?

Неделя королевских скачек в Эскоте знаменует начало летнего светского сезона еще с тех пор, как королева Анна в 1711 году повелела соорудить ипподром близ Виндзорского замка.

Вообще-то «в высоком лондонском кругу» не принято выставлять напоказ ни свою знатность, ни свое богатство. Так что королевские скачки — это как бы повод разговестись от поста приличий, появиться на ярмарке тщеславия, что называется, при полном параде, чтобы продемонстрировать, а также ощутить собственную причастность к сливкам общества. (Не потому ли заветный жетон,



дающий право входа в «королевскую ограду», имеет светло-кремовый цвет?) Чтобы попасть на ипподром в дни королевских скачек, нужно иметь деньги. Но чтобы получить билет на привилегированную часть трибун — «в королевскую ограду» (внутри которой, в свою очередь, расположена «королевская ложа») — этого мало. Нужно заранее подать во дворец письменную просьбу о персональном приглашении. И, уже дождавшись такового, на свой выбор покупать либо места в общем ряду, либо отдельную ложу (если не жаль 1000 фунтов стерлингов).

Но что значат подобные заботы и расходы в сравнении с пьянящей атмосферой причастности к избранному кругу? Серые цилиндры, экзотические шляпки и конечно же клубника со сливками, без которой, как и без шампанского, нельзя представить себе королевских скачек в Эскоте. Пахнет конским потом, духами, сигарами. И еще, пожалуй, пахнет большими деньгами — как в вестибюле Английского банка, где служители почему-то носят такие же цилиндры и визитки, только не серого, а розоватого (как клубника со сливками) цвета.

Изящно изданная программа заездов позволяет судить о родословной каждой лошади, о ее цене. Что же касается родословной и состоятельности владельца, чье имя проставлено рядом, то это кому надо известно и без программы. Сливки Эскота — наиболее наглядная иллюстрация к докладу «Неравенство в современной Британии». Один процент населения держит в своих руках четверть личной собственности в стране, пять процентов владеют половиной ее. А восемьдесят процентов населения, составляющие подножие социальной пирамиды, имеют меньше, чем имеет один процент на ее вершине.

В «королевской ограде» Эскота принято, разумеется, говорить не о подобных



статистических выкладках, а о породах лошадей. Однако остается вопросом, в чем больше преуспел Эскот за два с лишним века своего существования: то ли в выведении чистокровных скакунов, то ли в воспитании стопроцентных снобов? Ни один профессиональный режиссер не сумел бы придать идее социальной разобщенности большую наглядность, чем это сделано на ипподроме в Эскоте.

Во времена королевы Виктории премьер-министр Дизраэли писал, что в Англии существуют две нации, которые управляются различными законами, следуют различным нормам поведения. Тогда страна была разделена на неимущих тружеников и титулованных землевладельцев. С тех пор, разумеется, многое изменилось. Сильно разросся «средний класс», который на континенте принято именовать буржуазией. Но старая земельная аристократия наложила столь глубокую печать на образ жизни правящей элиты, что сословная разобщенность донныне присуща Англии куда более, чем другим странам Запада.

Обостренное чувство своей классовой принадлежности — отличительная черта национальной психологии англичан. Утверждение Джона Б. Пристли, что 29 его соотечественников из 30 точно знают, к какому классу себя отнести, многие считали писательской метафорой. Но социологическое исследование Джеффри Горера убедительно подтвердило эти слова. Результаты проведенных им опросов показали, что 94 англичанина из 100 не испытывают колебаний в том, к какому слою общества себя причислить, 54 из них назвали себя рабочим классом, 30 — «средним классом», 7 — «нижесредним» и 2 — «верхнесредним классом», 1 человек заявил, что не верит в существование каких-либо классов, и лишь оставшиеся не знали, что ответить.



В Британии сохранилось множество сословных предрассудков. Например, лондонское такси имитирует карету прошлого века. Как когда-то кучер на козлах, шофер такси совершенно отделен от седоков (рядом с ним помешают только багаж). Если пассажиров четверо, два из них усаживаются на заднем сиденье, а два других — лицом к ним, на откидном.

Есть ли еще в мире страна, где сословные различия простирались бы вплоть до денежных единиц? На лондонском аукционе Сотсби, например, где идут с торгов предметы старины и произведения искусства, цены выражаются в гинеях, хотя при уплате их приходится тут же пересчитывать на фунты. Гинея — это некая условная денежная единица, которая равна 105 пенсам, в то время как фунт стерлингов — 100. Иначе говоря, это своеобразная форма социального снобизма. Вплоть до недавнего времени в гинеях принято было исчислять гонорары писателей, адвокатов, певцов. В гинеях же обозначалась цена драгоценностей, мехов, оперных лож, скаковых лошадей. Врач, сумевший открыть клинику на Уимпол-стрит или на Харлей-стрит, портной, обосновавшийся на Сэвил-роу, взимали со своих клиентов плату в аристократических гинеях, подчеркивая тем самым свое превосходство над менее удачливыми коллегами по профессии, которые вынуждены довольствоваться вульгарными фунтами.

Английского сноба особенно удручает равнодушие, с которым иностранец игнорирует оттенки социальных различий. Трудно представить себе, чтобы кто-нибудь у нас, говоря о литературе, назвал Льва Толстого графом Толстым. Здесь же не только в литературоведческой статье, но и в будничном диалоге собеседник обычно скажет: лорд Байрон, сэръ Вальтер Скотт. В один из первых месяцев жизни в Лондоне я совершил непро-



стителный грех — назвал писателя Чарльза Перси Сноу мистером Сноу вместо положенного обращения «лорд Сноу».

С одной стороны, правила поведения поощряют скрупулезное употребление титулов и других различий. Но, с другой стороны, открыто проявлять высокомерие к нижестоящим не принято: каковы бы ни были подлинные чувства, их надлежит скрывать внешне безупречной корректностью. Аристократия вращается в своем кругу. Травить лисиц, стрелять куропаток, удить лосося или форель уезжают в отдаленные поместья, так что эти традиционные аристократические развлечения не бросаются в глаза посторонним. Скачки в Эскоте — одно из немногих исключений, когда демонстрировать свою принадлежность к сливкам общества считается допустимым.

Когда-то о социальной принадлежности человека говорила прежде всего его одежда. В наши дни поначалу кажется, что даже Шерлок Холмс не сразу распознал бы теперь, кто продавец универмага, а кто профессор университета, кто страховой агент, а кто директор банка. А уж насчет женщин он и вовсе зашел бы в тупик, ибо все они следуют моделям и косметическим советам одних и тех же журналов. Хотя внешние признаки классовых различий в наши дни, казалось бы, свелись до минимума, англичане почти безошибочно определяют социальную принадлежность людей, с которыми встречаются впервые. Стремление перво-наперво классифицировать нового знакомого по социальной шкале возникает у них инстинктивно и опирается на изощренный набор примет и сведений, накопленных с детства. Внешность, походка, манера держаться, интонации и приемы речи — все здесь играет свою роль.

Самым бесспорным клеймом класса считается язык. Отношение к выгово-



ру человека как к указателю его социальной принадлежности является важной особенностью английского общества. Исключительную роль в данном случае играет обретенное произношение. Его не следует смешивать со стандартным, то есть, попросту говоря, правильным. Стандартное произношение свидетельствует о культуре человека, об определенном уровне полученного им образования. Обретенное же произношение указывает на принадлежность к избранному кругу. Этот особый выговор можно обрести лишь в раннем возрасте в публичных школах, а затем окончательно отполировать его в колледжах Оксфорда и Кембриджа. Откуда бы ни был родом обладатель «старого школьного галстука», его речь всегда носит отпечаток юго-востока страны, где расположено большинство публичных школ, а также старые университеты.

Однако обладать таким выговором вовсе не значит говорить по-английски безукоризненно правильно и тем более излагать свои мысли четко и ясно. В Британии, как ни парадоксально, некоторые дефекты речи и туманность выражений служат признаками принадлежности к высшему обществу. На взгляд лондонских снобов, абсолютно правильная речь неаристократична: человека могут принять за актера, за диктора Би-би-си или, чего доброго, за иностранца. Словом, речь человека доньше остается для англичан самым безошибочным указателем его социальной принадлежности. «Пигмалион» Бернарда Шоу посвящен прежде всего именно проблеме классовых различий и своеобразной «языковой» форме их проявления в британском обществе.

Почему у англичан столь обострено чувство общественной иерархии? Почему у них столь живучи сословные различия и предрассудки? Не приходится сомне-



ваться, что эти черты сознательно культивируются в народе теми, кто держит в своих руках бразды правления и потому заинтересован, чтобы каждый четко знал свое место на общественной лестнице и строго его придерживался. Но, формируя выгодные для себя традиции и нормы поведения, власть держащие апеллируют к некоторым конкретным особенностям национальной философии. В результате их усилий англичанам подчас свойственно понимать свободу прежде всего как «свободу выбора» или как «свободу от регламентации», а равенство — прежде всего как «равенство возможностей» или как «равенство людей перед законом».

Однажды мне удалось втянуть в разговор на эту тему нескольких членов парламента. Дело было за чаем на открытой террасе Вестминстерского дворца, выходящей на Темзу.

— Мы, англичане, вообще более привержены идеалу свободы, нежели идеалу равенства. При чем свобода для нас — это прежде всего невмешательство в естественный ход вещей, — сказал первый. — Би-би-си, если помните, провела как-то целый цикл передач, главный вывод которых сводился к словам: «Чем больше равенства, тем меньше свободы».

— Недаром говорят, — добавил второй депутат, — француз не любит иметь вышестоящих — он поднимает на них глаза с озабоченностью; англичанин же любит иметь нижестоящих — он опускает на них глаза с удовлетворением...

Трактую на безопасный для себя лад понятие свободы, британская элита и в прошлом, и в нынешнем веке упрямо отвергала два других лозунга Великой французской революции: равенство и братство.

На какие же стороны жизненной философии англичан опираются те, кто поощряет сословные различия и предрас-



судки? Ставка здесь — и надо сказать, небезуспешно — делается на сам подход к жизни.

Англичане инстинктивно чураются какой-либо регламентации, считая ее вторжением в естественный ход вещей. Идеалом их жизненной философии можно назвать беспрепятственное развитие индивидуального. Они исходят из того, что все живые существа — люди, растения, животные — не только принадлежат к разным видам, но и внутри каждого вида отличаются друг от друга индивидуально — в этом смысле природа не знает равенства. Причем только свободное, естественное развитие способно наиболее полно выявить черты индивидуального своеобразия.

Такова, стало быть, благодатная почва для представлений о том, что свобода от постороннего вмешательства и равенство возможностей вовсе не исключают определенного неравенства среди живых существ, которое налицо в природе, и потому, мол, естественно и в человеческом обществе. Англичанина, обладающего подобной жизненной философией, легче убедить в том, что всех людей нельзя ставить на одну доску, как нелепо равнять гончую с овчаркой или скаковую лошадь с ломовой.

Английская элита рассматривает себя как породистый класс, который под воздействием таких факторов, как наследственность, традиции, воспитание, лучше других подготовлен для управления страной, как особый сорт людей, специально предназначенный стоять у кормила власти. «Одни люди заведомо принадлежат к породе руководителей, другие — к породе руководимых». Не нужно думать, что подобный взгляд ушел в прошлое вместе с эпохой королевы Виктории. Он доныне бытует на Британских островах — и не только в темных закоулках человеческого сознания, но вполне открыто, на страницах газет.



Именно об этом, например, из года в год пишет в «Санди телеграф» ее ведущий публицист Перегрин Уорсторн. «Бесклассовая Британия не сработает» — гласит заголовок одного из его воскресных обзоров. Автор полемизирует с западногерманским журналом «Шпигель», по мнению которого в недугах Британии повинны ее классовая система, снобизм менеджеров, относящихся к рабочим как к существам низшей касты. Перегрин Уорсторн пытается доказать обратное. Проблемы современной Британии, утверждает он, порождены не недостатком, а избытком равенства. Беда в том, сетует он, что социальный разрыв, который разделял менеджеров и рабочих, — разное образование, разный выговор, разный культурный уровень — ныне значительно сузился. В прежние времена менеджер был не просто боссом. Он был членом класса, которому на роду написано отдавать приказы, и выглядел, одевался, говорил иначе, чем все. Подобным же образом рабочий был не просто рабочим. Он принадлежал к классу, предназначенному выполнять приказы, и выглядел, одевался, говорил соответственно. Иерархия шла на пользу авторитету одних и дисциплине других. Люди знали свое место. Именно это и гарантировала классовая система. Сегодня, вздыхает Перегрин Уорсторн, дело обстоит иначе. Но не из-за того, что Британия слишком медленно приближается к идеалу равенства, в чем ее часто упрекают иностранцы, а именно потому, что движение к этому идеалу оказалось «чересчур поспешным».



Еще более прямолинейно и откровенно высказала эту мысль Маргарет Тэтчер. Она назвала «неустанную погоню за равенством» первопричиной всех бед современной Британии. Сущность политической философии тори она сформулировала в своем изречении: «Равенство возможностей

становится бессмысленным, если оно не предполагает права на неравенство».

Итак, сословные различия оказались в Англии более стойкими, социальный апартеид — более глубоким, чем в других западноевропейских странах. Однако правящей элите удалось избежать превращения в замкнутую наследственную касту и тем самым продлить свою жизнеспособность. С развитием торговли и промышленности влияние старой земельной аристократии, казалось бы, должно было пойти на убыль. Но она сумела сохранить его, распахнув двери перед теми, кто был готов подкрепить своим богатством и влиянием позиции титулованной знати в обмен на желанную возможность смешаться с нею. Однако проникнуть в этот круг избранных всегда можно было лишь при одном неперемennom условии: приняв сложившиеся у элиты общества традиции и нормы поведения. Аристократия, таким образом, омолаживалась притоком свежей крови, оставаясь наследственной кастой лишь в смысле своего образа жизни.

Английское общество разделено перегородками, как ствол бамбука. Каждый стремится карабкаться вверх, проникнуть в класс выше собственного, и усилия этого класса направлены на то, чтобы помешать ему подняться.

Анри Стендаль (Франция).
Сувениры эголизма. 1892

Английский верхний класс умело избегал окопной войны. Когда давление снизу становилось слишком сильным, он совершал тактический отход. Верхний класс уступал спорную территорию добровольно, без кровопролития и слез, но, конечно, захватив с нее при отходе все, что имело какую-либо ценность.



Кроме того, покидая поле боя, верхний класс уводил с собой заложников. Для некоторых людей сама идея существования привилегированного класса, к которому они не могут принадлежать, столь невыносима и унизительна, что они готовы любой ценой сокрушить этот класс, на какие бы уступки он ни шел. К таким непреклонным существам, жаждущим крови, точнее говоря — голубой крови, применяются особые успокоительные средства. Когда, вырвавшись вперед и оставив позади толпы атакующих, они вплотную приближались к заветной крепости, перед ними вдруг распахивались ворота; и когда они, дрожа от негодования, останавливались на крепостном дворе, они получали именно то, что требовали: голубую кровь, кровь верхнего класса, и по уши насыщались ею.

В конечном счете такой лидер, первым ворвавшийся в ворота, сам просил, чтобы их закрыли за ним, так как шум толпы мешал ему слышать, что говорят его новые друзья.

Дэвид Фрост, Энтони Джей (Англия).
Англии — с любовью. 1967

Корнем английского себялюбия, относящего все к человеческому «я», служит пуританство. По представлениям пуритан, все мы не являемся одинаковыми грешниками перед Богом... По своим непостижимым причинам он выделяет определенных людей. Стало быть, перед Богом мы не равны. Избранных он благословляет, например, выигрышем на бирже или иными благами. Но на земле и в обществе все должны иметь равные возможности, чтобы каждый мог доказать, относится ли он к числу избранных, и чтобы тем, кто избран Богом, не мешали земные предрассудки и ограничения. Такова основа английской «свободы»; ее жестокий индивидуализм несет выгоду лишь тем, кто считается



Божьим избранником. И такова в то же самое время основа английского лицемерия. Теоретически каждый свободен, каждый имеет те же права, но в реальной действительности воспользоваться ими могут лишь избранные, лишь те, кого Бог наградил благами этого мира.

Оскар Шмитц (Германия).
Страна без музыки. 1918

Однажды в Лондоне я натолкнулась на два небольших строения, каждое из которых имело по две двери. На одном строении было написано: «Джентльмены — один пенс; мужчины — бесплатно». На другом: «Леди — один пенс, женщины — бесплатно». Я рассматривала эти надписи так долго, что полицейский почтительно подошел ко мне и вполголоса осведомился: не забыла ли я дома кошелек и не дать ли мне взаймы пенс?

Но я уже не могла вынести столько потрясений подряд и заплакала — то ли из благодарности к полицейскому, который с первого взгляда признал во мне леди; то ли от умиления перед сдержанностью и терпеливостью лондонской толпы, которая до сих пор не сожгла дотла эти строения с их оскорбительными надписями; то ли от того, что Англия настолько демократична, что не побоялась публично объявить разницу между джентльменом и мужчиной, между леди и женщиной, оценив ее всего-навсего в один пенс.

Одетта Кюн (Франция).
Я открываю англичан. 1934





ЧАЙ У КОРОЛЕВЫ

Однажды мы с женой были приглашены на чай в Букингемский дворец. Подобные приемы королева обычно устраивает летом на лужайке дворцового парка, обнесенного высокой стеной. В нижнем правом углу пригласительной карточки было написано: «Утренняя визитка, или мундир, или пиджак». На языке дипломатического протокола «утренняя визитка» означает тот самый туалет, в котором джентльмену положено появляться на королевских скачках в Эскоте (и который эксцентричный профессор Хиггинс не удосужился надеть, когда впервые повез туда Элизу). Это серый цилиндр, такого же цвета визитка, зонтик в виде трости и гвоздика в петлице. Все это можно, конечно, брать напрокат в специально предназначенных для этого заведениях. Поразмыслив, однако, я решил, что, прожив всю жизнь без серого цилиндра, обойдусь без него и на сей раз, благо сама королева предлагает в качестве альтернатив «или мундир, или пиджак».

Уже сама очередь, выстроившаяся перед воротами Букингемского дворца, напоминала массовую сцену для очередной экранизации «Саги о Форсайтах». Три четверти приглашенных пришли, разумеется, в серых цилиндрах, а почти все остальные — в военных или ведомственных мундирах. Ни единый человек — к моему облегчению — не бросил косога взгляда на мой прозаический пиджак, так же как никто — к огорчению жены — не обратил внимания на ее кружевную шляпу.



Переступив порог дворца, я, к своему удивлению, убедился, что все министры лейбористского правительства, демонстрируя собственный демократизм, явились к королеве в пиджаках.

На лужайке парка были разбиты шатры, где угощали чаем и печеньем. Елизавета II ходила от одной группы гостей к другой. Причем все присутствующие неукоснительно соблюдали правила дворцового приема: разговаривать с королевой полагается лишь тому из гостей, к кому она непосредственно обратилась. Я рассказываю об этом потому, что английская вежливость распространяет подобный принцип и на многие другие жизненные ситуации. Войдя в универмаг, контору или в пивную, англичанин терпеливо ждет, пока его заметят, пока к нему «обратятся непосредственно». Считается, что проситель не должен пытаться привлечь к себе внимание обслуживающего персонала каким-то восклицанием, жестом или иным способом. К тому же легко убедиться, что это бесполезно. Реально существующим лицом становишься после того, как к тебе обратились с вопросом: «Да, сэр. Чем могу помочь?»

Сколько бы людей ни толпилось у прилавка, продавец имеет дело лишь с одним покупателем. И если степенная домохозяйка набирает недельный запас продуктов для своей многочисленной семьи, не следует пытаться уловить минутную паузу, чтобы спросить, есть ли сегодня в продаже печенка. Не ради того, чтобы взять ее без очереди, а просто узнать, есть ли смысл стоять и ждать. На подобный вопрос ответа не последует. Зато когда наступит ваша очередь, можно неспешно выбирать себе печенку, попутно расспрашивать мясника о том, оценилась ли его такса, обсуждать с ним очередную перемену погоды и другие местные новости. Причем никто из стоящих позади не проявит



ни малейшего раздражения или нетерпения. Ведь каждый здесь дожидается очереди не только ради покупки, но и ради того, чтобы полностью завладеть вниманием продавца.

Когда после нескольких лет жизни в Лондоне попадаешь в Париж, поначалу с удивлением чувствуешь, что тебя нигде не замечают. Стоишь перед окошком на почте, или у вокзальной кассы, или у стойки бара и бесплодно ждешь, чтобы на тебя обратили внимание (пока не догадаешься, что французского официанта просто нужно окликнуть: «Два пива, месье!»).

Если толкнуть англичанина на улице, если наступить ему на ногу в автобусе или, раздеваясь в кино, задеть его полкой плаща, то он — то есть пострадавший — тут же инстинктивно извинится перед вами. Порой говорят, что такая доведенная до автоматизма вежливость безлична, даже неискренна. И все-таки, пожалуй, она лучше, чем инстинктивная грубость.

На собственном опыте могу утверждать, что по уровню сервиса Лондон значительно уступает Нью-Йорку или Токио. Причины тому, впрочем, различны. Если в Соединенных Штатах индустрия обслуживания шагнула значительно дальше, чем в других развитых странах, то в Японии она еще больше, чем в Англии, сохраняет традиции минувших времен, когда мелкий розничный торговец был в состоянии знать и учитывать запросы каждого постоянного покупателя.

В Лондоне нередко бывало так: приезжаешь в назначенное время за автомашиной, поставленной на ремонт, а она не готова к сроку. Являешься на следующий день и обнаруживаешь, что старые свечи в моторе так и не заменили. Или купишь в магазине книжные полки, но доставить их пообещают только через две недели, а там и вовсе забудут. Иной же раз раздражает, наоборот, догматическая склонность к очередям: нужно пот-



ратить полчаса, лишь чтобы узнать, что следовало обратиться в другое место. Зато постоянно убеждаешься, что англичанам почти неведомы такие черты современного быта, как грубая реплика, раздраженный вид или даже отчужденное безразличие со стороны продавца универмага, кондуктора автобуса или чиновника в конторе. Лондонец считает само собой разумеющимся, что люди, с которыми он вступит в контакт ради той или иной услуги, отнесутся к нему не только учтиво, но и приветливо. Торговец газетами на перекрестке, кассир в метро, клерк на почте умеют находить для каждого из сменяющихся перед ними незнакомых лиц дружелюбную улыбку.

Надо подчеркнуть, однако, что дух приветливости и доброжелательности, пронизывающий английский сервис, неотделим от взаимной вежливости тех, кто обслуживает, и тех, кого обслуживают. К клиентам положено относиться как к джентльменам и леди, имея в виду, что они действительно будут вести себя как таковые. Отсюда — полный отказ от повелительного наклонения в разговоре. «Могу ли я попросить вас...», «Не будете ли вы так любезны...» — вот общепринятые формы обращения покупателя к продавцу, посетителя кафе к официанту.

Насаждаемая в обществе мораль не случайно причисляет такого рода вежливость к основам подобающего поведения. Грубость по отношению к обслуживающему персоналу и вообще к тем, кто стоит ниже на социальной лестнице стала считаться непозволительно опасной с тех пор, как за Ламаншем прогремели революционные бури. Присущая британской элите корректность к нижестоящим порождена инстинктом самосохранения. Английские традиции вообще предписывают сдержанность в суждениях как знак уважения к собеседнику, который вправе придерживаться иного



мнения. Как и японцам, англичанам присуща склонность избегать категоричных утверждений или отрицаний, относиться к словам «да» или «нет» словно к неким непристойным понятиям, которые лучше выражать иносказательно.

Отсюда тяга к вставным оборотам вроде «мне кажется», «я думаю», «возможно, я не прав, но...», предназначенным выхолостить определенность и прямолинейность, способную привести к столкновению мнений. Когда англичанин говорит: «Боюсь, что у меня дома нет телефона», он сознательно ограничивает это утверждение рамками собственного опыта. А вдруг за время его отсутствия телефон мог неведомо откуда взяться? От англичанина вряд ли услышишь, что он прочел прекрасную книгу. Он скажет, что нашел ее небезынтересной или что автор ее, видимо, не лишен таланта. Вместо того чтобы обозвать кого-то дураком, он заметит, что человек этот не выглядит особенно умным. А выражение «по-моему, совсем неплохо» в устах англичанина означает «очень хорошо». Самыми распространенными эпитетами в разговорном языке служат слова «весьма» и «довольно-таки», смягчающие резкость любого утверждения или отрицания («погода показалась мне довольно-таки холодной»).

Иностранец, привыкший считать, что «молчание — знак согласия», часто ошибочно полагает, что убедил англичанина в своей правоте. Однако умение терпеливо выслушивать собеседника, не возражая ему, вовсе не значит в Британии разделять его мнение. Когда же пытаешься поставить перед молчаливым островитянином вопрос ребром: «Да или нет?», «За или против?» — он обычно принимается раскуривать свою трубку или переводит разговор на другую тему.

На взгляд англичан, обитатели континента чрезвычайно падки на преувеличения. Экспрессивные народы действительно



не бояться преувеличить, сгустить краски, чтобы яснее и четче выразить свою точку зрения. Англичане же склонны к недосказанности. Не только преувеличение, но даже определенность пугает их, как окончательный приговор, который нельзя оспаривать, не оскорбляя кого-нибудь или не ущемляя собственного достоинства. Недосказанность же предусмотрительна, поскольку она признает свой временный характер, допускает поправки, дополнения и даже переход к противоположному мнению. Подобно японцу, англичанин избегает раскрывать себя, и черта эта отражена в этике устного общения. Проявлять навязчивость, пытаться разговориться с незнакомым человеком, по английским представлениям, не только невежливо, но в определенных случаях даже преступно — за это могут привлечь к уголовной ответственности.

В Британии доныне смеются над анекдотом о двух англичанах, которые оказались на необитаемом острове, но, поскольку некому было представить их друг другу, двадцать лет не обменялись ни единым словом. Однако даже члены лондонских клубов кое в чем похожи на этих двух робинзонов. Когда джентльмен приходит обедать один, ему полагается садиться за общий стол, причем рядом с уже сидящими. Если сосед оказался незнакомым, с ним допустим обмен общими фразами. Однако называть свои имя, род занятий — что предполагает желание получить такие же сведения о собеседнике — считается бестактным.

Английские представления о подобающей форме беседы воплощены в разговорах о погоде. Она тут не столь плоха, как слывет, однако она дает достаточно поводов поговорить о себе, ибо часто оставляет желать лучшего, а главное — постоянно меняется. Поэтому, встречая на улице знакомого или соседа, кроме слов «доброе утро», принято отпустить какое-то замечание о погоде: обругать ее или,



наоборот, похвалить, добавив, что она, судя по всему, вот-вот изменится. Необходимо, однако, помнить, что разговор о погоде носит сугубо ритуальный характер, так что ни в коем случае не следует подвергать сомнению слова собеседника и тем более спорить с ним. Английская беседа полна запретов. Помимо слов «да» и «нет», четких утверждений и отрицаний, она старательно избегает личных моментов, всего того, что может показаться вторжением в чужую частную жизнь. Но если не вести речи ни о себе, ни о собеседнике, если не ставить прямых вопросов и не давать категоричных ответов, то о чем останется говорить, кроме как о погоде?

Английская беседа поначалу кажется иностранцу бессодержательной, постной, лишенной смысла. Однако считать, что это действительно так, было бы заблуждением. За внешней сдержанностью англичанина кроется эмоциональная, восприимчивая натура. А поскольку сложившиеся правила поведения не допускают, чтобы человек выражал свои чувства прямо, у англичан — как осязание у слепых — на редкость развита чуткость к намекам и недомолвкам.

Они умеют находить путь друг к другу сквозь ими же возведенные барьеры разговорной этики. Со временем убеждаешься, что в английской беседе первостепенную роль играет не сам по себе словесный обмен, а его подтекст, то есть круг общих интересов или общих воспоминаний, на которые разговор опирается. Посторонний зачастую считает его тривиальным именно потому, что как бы плавает по поверхности, не ощущая радости погружения к общим глубинам. Из этого, однако, следует и другой важный вывод. Язык намеков и недомолвок может быть уделом лишь определенного замкнутого круга, вне которого он теряет смысл.



шить поддерживать его. Если вы не откроете рта на протяжении трех лет, про вас подумают: «Этот француз производит приятное впечатление». Будьте скромными. Если вы чемпион мира по теннису, скажите: «Да, я играю с грехом пополам». Если вы в одиночку пересекли Атлантику на маленькой лодке, скажите: «Я немного занимаюсь парусным спортом».

Во время Первой мировой войны я шесть месяцев жил в одной палатке с англичанином. Он ни разу не спросил меня, женат ли я, что я делал до войны и что за книжки я читал перед его носом. Если вам захочется пооткровенничать, вас будут слушать с вежливым равнодушием. Но избегайте откровенничать насчет других. Здесь нет среднего пути между молчанием и скандалом. Так что лучше избрать молчание.

Андре Моруа (Франция).

Три письма об англичанах. 1938

Во многих отношениях англичане одновременно самый вежливый и самый неучтивый народ в мире. Их вежливость произрастает из уважения к человеческой личности и поощряется природной доброжелательностью.

Их неучтивость же — более сложное чувство, представляющее собой смесь подозрительности, равнодушия и неприязни. Объяснение этой неучтивости, как и многих других английских черт, может быть найдено в классовой структуре английского общества, в той опасности, которую представляет для этой структуры что-либо несовместимое или не гармонирующее с ней. Всякий, чье положение или чьи запросы угрожают структуре классового общества, получает резкий отпор, ибо до тех пор, пока он не представил приемлемые верительные грамоты, незнакомец подозревается в том, что он



просит больше, чем ему положено, хочет занять не то положение, которое ему подобает, или выдвигает требования, не имея на то оснований. Нигде не встретит такого гостеприимства человек, которого ждут; нигде не получит такого холодного отпора неожиданный незнакомец, тем более если его одежда или выговор выдают его сомнительное социальное положение.

Генри Стил Коммаджер (США).
Британия глазами американцев. 1974

Английская вежливость — это не просто учтивость, это непревзойденное искусство. Она всегда была в руках правителей безотказным оружием для одурачивания того класса, который эти правители считали нужным обманывать.

В Англии тоже умеют закручивать гайки. Но даже когда человека сгибают в бараний рог, весь этот процесс облачен в такую обходительную форму, что он как бы не догадывается о своей участи.

Одетта Кюн (Франция).
Я открываю англичан. 1934

Верхние классы в Британии не всегда были вежливы с теми, кто стоял ниже. Когда они обладали сильной властью, они позволяли себе быть резкими и надменными. Я подозреваю, что они стали более вежливыми, когда почувствовали, что власть начинает ускользать из их рук, и сделали это, чтобы выжить как класс, способный править и дальше — если не благодаря своей силе, то благодаря своему влиянию. В других странах, как, например, во Франции, России или Германии, где аристократия не сумела совершить подобную перемену в своем поведении, дворянство было сметено. В Британии же оно уцелело.

Уолтер Генри Нэлсон (США).
Лондонцы. 1975





«ЖЕСТКАЯ ВЕРХНЯЯ ГУБА»

«Петухи и бульдоги» — так назвал лондонский публицист Ричард Фабер одну из глав своей книги «Французы и англичане». Ведя речь о соседях за Ла-Маншем, англичане любят противопоставить задиристости галльского петуха свою бульдожьё хватку; эмоциональной подвижности — сдержанность и самообладание, способное в трудную минуту перерасти в упрямую одержимость.

Вряд ли есть смысл в попытках вывести для целого народа некий общий знаменатель, скажем, навешивать на испанцев ярлык «гордых» или на шведов ярлык «флегматичных». Тем не менее каждому народу присущи свои отличительные черты, уяснив которые легче переходить от поверхностных схем и стереотипных образов к более полному и объективному представлению. Есть народы, в характере которых доминирует экспрессивность, то есть склонность целиком подчиняться своим эмоциям и открыто выражать их. Любить или ненавидеть, радоваться или негодовать — значит в их представлении полностью отдаваться этим чувствам внутренне и внешне. Подавление же эмоций они считают чем-то противоестественным, отождествляя это с лицемерием.

К другой категории можно отнести народы, в характере которых преобладает уже не экспрессивность, а репрессивность, то есть самоконтроль, и которые рассматривают свободное, необузданное проявление чувств как нечто неподобающее, вуль-



гарное, антиобщественное. Англичане, считающие самообладание главным достоинством человеческого характера, пожалуй, относятся ко второй категории.

Слова «держи себя в руках» поистине можно назвать их первой заповедью. Чем лучше человек умеет владеть собой, тем, на их взгляд, он достойнее. В радости и в горе, при успехе и при неудаче он должен сохранять «жесткую верхнюю губу», то есть оставаться невозмутимым хотя бы внешне, а еще лучше — если и внутренне. С детских лет в англичанине воспитывают способность к самоконтролю. Его приучают спокойно сносить холод и голод, преодолевать боль и страх, обуздывать симпатии и привязанность. Ему внушают, что человек должен быть капитаном собственной души.

Считая открытое, раскованное проявление чувств признаком невоспитанности, англичане подчас превратно судят о поведении иностранцев, подобно тому как иностранцы нередко превратно судят об англичанах, принимая маску невозмутимости за само лицо или же не сознавая, зачем нужно скрывать свое подлинное душевное состояние под такой маской. Слов нет, способность человека чувствовать одно, а выражать на своем лице нечто другое может служить и нередко служит почвой, на которой произрастает лицемерие. Джон Голсуорси убедительно показал это в одном из своих ранних романов — «Остров фарисеев». Однако ставить во всех случаях знак равенства между самообладанием и лицемерием было бы неправомерно. Разве не культом самообладания порождена, к примеру, завидная способность англичан проявлять себя с самой лучшей стороны в самые худшие минуты жизни?

Недемонстративные в радости англичане, напротив, демонстративны в беде, точнее, в умении ее игнорировать. Именно тогда проявляется их окрашенный юмором оптимизм. Именно перед лицом трудностей их умение владеть собой перерастает



в упрямую одержимость. Англичане высоко ценят способность сохранять спокойствие и даже недооценивать степень опасности в критические моменты. Они особенно превозносят эти качества во время поражений, вроде гибели «Легкой бригады» под Балаклавой во время Крымской войны или эвакуации британской армии, окруженной гитлеровцами в Дюнкерке. Дюнкеркская эпопея была, разумеется, не победой, а дорогостоящим отступлением. Однако «дух Дюнкерка» сразу же вошел в отечественную мифологию как проявление лучшей, и притом наиболее существенной, черты британского характера.

Назидательные истории, которыми потчуют английских школьников, любят возвеличивать самообладание героев прошлого. Такова, например, притча о том, как Френсис Дрейк остался доигрывать партию в кегли даже после того, как ему доложили, что испанская армада приближается к английскому побережью. Способность хладнокровно реагировать на кризисные ситуации англичане считают самой привлекательной стороной своего характера.

Мне довелось дважды в жизни пережить неприятные минуты на борту самолетов, совершавших вынужденную посадку вслепую. И оба раза англичан было легко узнать среди других пассажиров, причем отличались они от остальных в лучшую сторону. Дремлющий в англичанах бульдожий нрав служит основой и их добродетелей, и их пороков. Одержимость эта противоборствует даже с присутствием им здравым смыслом и одерживает над ним победу. Это бульдожье упрямство дает о себе знать и в большом, и в малом. Достаточно, к примеру, подтолкнуть англичанина, чтобы он тут же сделал шаг в противоположном направлении. Причем такое инстинктивное сопротивление будет возрастать прямо пропорционально нажиму.



Попробуйте проявить нетерпение в лондонской закуской, лавке или поликлинике, и тут же убедитесь, что попытки привлечь к себе внимание приносят лишь противоположный результат, что куда лучше безмолвно и терпеливо ждать. Требовать, добиваться, негодовать — значит вести себя не по-английски. Это, впрочем, отнюдь не означает, что англичане вовсе не любят ворчать. Совсем наоборот: тут то и дело слышишь, что ворчание для них — своего рода национальный спорт. А коли так, то в данном пристрастии должны быть и свои неписанные правила. Основное из них, пожалуй, можно сформулировать как правило обратной пропорции: чем незначительнее повод, тем больше полагается по нему ворчать, и наоборот.

Неудивительно, что излюбленной англичанами темой для ворчания служит погода: во-первых, потому, что проблема эта не сходит с повестки дня круглый год, а во-вторых, потому, что погода, как и метеослужба, нечувствительна к критике. Англичанин с детства приучен считать, что любые жизненные испытания — от розог в школе до нетопленной спальни дома и карточной системы в годы войны — это не повод роптать, а дополнительный шанс закалить характер. Он умеет быть скептиком в радости и стойким в беде — не драматизируя ни улыбки, ни гримасы жизни. Правило обратной пропорции имеет у англичан еще одно применение: по мере того как та или иная тема становится все более неуместной для ворчания, она делается все более достойной темой для юмора. Парадоксально, но факт: как только люди перестают о чем-то ворчать и принимают на сей счет шутить, значит, дело плохо!

Способность сохранять чувство юмора в трудные минуты англичане ценят как первостепенное достоинство человеческого характера. Считается не только естественным, но чуть ли не обязательным



шутить в шахте, когда спасатели извлекают оттуда горняков, засыпанных обвалом. Английские санитары «Скорой помощи» держат в памяти целый набор хорошо подготовленных остроумных, достойных профессиональных комедиантов. Человек, которого пожарные только что вынесли из горящего здания, первоначально старается сосчитать что-нибудь насчет крема от загара. Английский школьник, путающий даты восшествия на престол прославленных монархов, наизусть помнит слова, которые Томас Мор сказал палачу у эшафота перед лондонским Тауэром:

— Вы уж помогите мне только подняться наверх, а уж вниз-то я как-нибудь спущусь сам...

В своей книге «Английский юмор» Джон Б. Пристли признает, что большинство зарубежных путешественников пишут об обитателях Туманного Альбиона как о людях угрюмых и мрачных, склонных к пессимизму и меланхолии. Фраза о том, что «англичанин приемлет наслаждения с печальным видом», повторяется на все лады, как и модное в прошлом веке выражение «английская тоска», или «английский сплин». По словам Пристли, гости из-за Ла-Манша заблуждаются, подходя к разным народам с одинаковой меркой. Жизнь во Франции, подчеркивает он, замешена на остроумии, тогда как жизнь в Англии замешена на юморе. Но французское остроумие расцветает в общественной атмосфере. Даже путешественник, не знающий языка, ощущает его искрометность на многолюдных бульварах, наблюдая оживленные группы за столиками кафе.

Английский юмор представляет собой нечто сокровенное, частное, не предназначенное для посторонних. Он проявляется в полужаметных намеках и усмешках, адресованных определенному кругу людей, способных оценить эти недомолвки как расплывчатые блики на хорошо зна-



комых предметах. Вот почему юмор этот поначалу чужд иностранцу. Его нельзя ощутить сразу или вместе с освоением языка. Его можно лишь отфильтровать как часть аромата страны, причем самую трудноуловимую его часть. Умение встречать трудности юмором и оптимизмом, бесспорно, источник силы англичан. Но склонность преуменьшать, даже игнорировать неприятности, выдавать желаемое за действительное подчас толкает их к самообману и становится источником их слабости.

Когда англичане говорят о «жесткой верхней губе», за этим, стало быть, стоят два понятия: во-первых, способность владеть собой — культ самоконтроля, и, во-вторых, умение подобающим образом реагировать на жизненные ситуации — культ предписанного поведения. Ни то, ни другое не было свойственно англичанам вплоть до XIX века. И природа этих черт — ключ к пониманию английского национального характера, считает Джеффри Горер, чье фундаментальное социологическое исследование уже упоминалось выше.

Невозмутимость и самообладание, сдержанность и обходительность отнюдь не были характерны для «веселой старой Англии», где верхи и низы общества, скорее, отличались буйным, вспыльчивым нравом; где для вызывающего поведения не существовало моральных запретов; где излюбленным зрелищем были публичные казни и порки розгами, медвежьи и петушиные бои; где даже юмор был замешен на жестокости. Почему же принципы «джентльменского поведения», возведенные в культ при королеве Виктории, возобладали над крутым нравом «веселой старой Англии»? Психолог, столкнувшийся с подобным явлением применительно к отдельной человеческой личности, пишет Горер, скорее всего, предположил бы, что агрессив-



ность просто изменила направление, что, вместо того чтобы проявляться в общественной жизни, она находит какие-то иные выходы или влияет на другие формы самовыражения.

Англичанину, считает Горер, приходится вести постоянную борьбу с самим собой, с естественными страстями своего темперамента, рвущимися наружу. И такой жесткий самоконтроль забирает чрезвычайно много душевных сил. Не этим ли можно объяснить, высказывает предположение Горер, что англичане тяжелы на подъем, склонны обходить острые углы, что им присуще желание быть вне посторонних взглядов, порождающее культ частной жизни. Достаточно наблюдать за английской толпой на народном празднике, на спортивном стадионе, чтобы почувствовать, как национальный темперамент рвется из-под узды самоконтроля. Когда-то отдушиной для бушующих страстей могли быть заморские владения: десять заповедей переставали существовать к востоку от Суэца, кодекс джентльмена предназначался для домашнего применения, а не для экспорта в колонию.

Ныне же роль громоотвода во многом перешла к телевизионному экрану. Не парадокс ли, что один из самых законопослушных народов проявляет поразительное пристрастие к преступному миру — правда, в роли зрителей или читателей; что страна, где, по выражению писателя Джорджа Оруэлла, правонарушение и зло — понятия тождественные, оказалась родиной Конан Дойла и Агаты Кристи, крупнейшим производителем и потребителем детективной литературы. Вместе с тем ореол уважения, окружающий фигуру полицейского, — одно из свидетельств того, что англичане одержимы идеей держать вещи под контролем. Им свойственно восхищаться теми, кто подчиняет себе бурные моря и дальние страны, кто покоряет снежные горы и подвод-



ные глубины, кто укрощает стихийные силы природы или побеждает опасные болезни. Причем объект, который должен быть покорен или приручен, всегда рассматривается в таких случаях как нечто потенциально агрессивное, как нечто такое, что необходимо взять под контроль.

В 30-х годах XIX века господство старой земельной аристократии оказалось под угрозой со стороны промышленной буржуазии. «Фабрики джентльменов» родились именно в ту пору, когда обрели вес и влияние владельцы «черных сатанинских мельниц». Бурно расплодившиеся публичные школы для совместного воспитания детей промышленников и детей аристократов, для воспроизводства правящей элиты в соответствии с традициями прошлого, а также с потребностями будущего (то есть нуждами разрастающейся империи) были воплощением исторического компромисса, на который пошел класс титулованных землевладельцев, став «аристократией с открытой дверью».

Основоположник публичных школ Томас Арнольд говорил, что «фабрики джентльменов» растят особый сорт людей, предназначенных держать в своих руках бразды правления, убежденных в своем призвании руководить другими. Отсюда — упор на воспитание характера, а не на развитие интеллекта, ибо просвещенность отнюдь не была в тогдашние времена первым из качеств, которые требовались для управления империей. Само понятие «джентльмен»

было неоднозначным в различные исторические эпохи. В Средние века джентльменом был благородный рыцарь, который своим мечом служил воинствующему богу. В XVIII столетии джентльменом считался землевладелец, который знал свои поля и своих овец, увлекался псовой охотой и в числе прочих досугов помогал управлять государством.



Лишь в 30-х годах XIX века, по мере распространения публичных школ, понятие «джентльмен» обрело свой нынешний смысл. Человек, отвечающий этому эталону, в представлении англичан бесстрастен, щепетилен, немногословен. Он при любых обстоятельствах сохраняет «жесткую верхнюю губу», верность данному слову, делает больше, чем обещает. Он избегает говорить что-либо хорошее о себе и что-либо плохое о других. Он служит воплощением самоконтроля, порядочности, честной игры.

Он совершает джентльменские поступки, но еще больше отличается от простых смертных тем, чего он не делает... Кодекс джентльмена предназначался для элиты. Но с середины викторианской эпохи культ самоконтроля и культ предписанного поведения были переняты у правящего класса другими слоями общества. Каждый год «фабрики джентльменов» выпускали все больше людей, которые олицетворяли собой новые стандарты поведения и нормы взаимоотношений между людьми. Многие из них выдвинулись на видные посты и оказали значительное влияние на своих современников.

Русское мое сердце любит изливаться в искренних, живых разговорах, любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений.

П. М. Карамзин (Россия).

Письма русского путешественника. 1790

Забудем о черных теньях, которые ночью бродят возле Темзы, забудем о горе и о гнили Поплара, забудем о шахтах, о прядильных станках, о дебатах в парламенте, о хронике самоубийств, посмотрим



на узаконенную достопримечательность острова, на давнюю его гордость — на образцового джентльмена. Не ему ли рабски подражали наши русские либералы, мечтая о конституции и о дерби, презирая «мещанскую Францию» и убаюкивая друг друга рассказами о прекрасном островитянине, который совмещает короля и свободу, торговлю и лирику, культ бокса и культ Толстого, доходы с Индии и теософию?

Если вы примете по ошибке немца за англичанина — немец самодовольно улыбнется: ну да, он джентльмен, на нем костюм из мохнатого шотландского сукна, он предпочитает гольф дурацкой рапире, он, наконец, гуманист; конечно, он за уничтожение коммунистов, но он против еврейских погромов. Поглядите на французского сноба — недаром он часами перед зеркалом упрятывал под зубы язык, — он научился произносить французские слова с английским акцентом, он старается курить трубку, хотя его и подташнивает, он старается, даже несмотря на прирожденную свою крикливость, говорить тихо и нехотя. Он, видите ли, не сын марсельского лавочника — он джентльмен. Можно без натяжки сказать, что любой цилиндр Пикадилли продолжает оставаться идеалом для среднего класса Европы. Деньги — в Нью-Йорке, бордели — в Париже, но идеалы — идеалы только в Лондоне.

Слов нет, английский джентльмен достоин изучения: это особая порода с загадочными нравами, с таинственным культом, со множеством мифов и суеверий. Почему только английские этнографы облюбовали глубь Африки и дебри Индостана, когда рядом с ними проживает столь любопытное и своеобразное племя?



Не скрою, английский джентльмен поразил меня. Я жалел, что со мной нет научной экспедиции. Мне хотелось заснять его, как он прогуливается в визитке по улицам Лондона. Мне хотелось запи-

сать его странные и лаконичные изречения, когда изредка, выходя из дремоты, он снисходит до общения с другим джентльменом.

Илья Эренбург (СССР).

Англия. 1930

Нельзя не признать, что скромный и податливый средний класс развил в себе ряд ценных добродетелей (самоконтроль, порядочность, честность, чувство собственного достоинства), которые на континенте даются лишь более высоким уровнем образования. Но уместно спросить: всегда ли дети, ведущие себя лучше всего, бывают наиболее одаренными? Легко обладать трезвостью, когда не хватает воображения. Имея холодную кровь, нетрудно осуждать порывы страстей. Самоконтроль не столь уже достоин восхищения, если не так уж много чего контролировать. Стало быть, открытым остается вопрос: не подобная ли посредственность позволяла имущим классам Англии с такой бесцеремонностью добиваться своекорыстных целей, которые в данном случае вряд ли были поняты этим политически «свободным» населением!

Оскар Шмитц (Германия).

Страна без музыки. 1918

Общественная мораль играет в Англии гораздо большую роль, чем во Франции. Возьмем, к примеру, две обиходные фразы, применяемые в аналогичных ситуациях. Когда англичанин попадает в беду, он стремится сохранить «жесткую верхнюю губу». Когда француз попадает в беду, его волнует иная область собственной анатомии — «как бы не наложить в штаны». Оба этих образа наглядно иллюстрируют особенности национальной психологии каждого из народов. Англичанина, по-



павшего в беду, больше всего беспокоит моральный аспект ситуации, мнение окружающих о его поведении. Француз же заботится о самоуважении прежде всего в личном контексте, а не о том, что думают о нем другие.

Жозеф Шиари (Франция).

Британия и Франция — непослушные близнецы. 1975

Все еще широко распространенный за рубежом образ англичанина, которому присущи такие черты, как невозмутимость, снобизм, практичность, бесстрастность, пуританская воздержанность, не был полностью карикатурой, когда он впервые получил хождение. Он был достаточно точным как описание среднего представителя правящего класса в середине и в конце викторианской эпохи. Хотя даже тогда существовали многочисленные исключения, совсем не совпадавшие с ним, это была модель, по которой большинство указанного класса строило свое поведение и по которой, как по некоему идеалу, оно воспитывало своих детей.

Более того, слой общества, который стоял ниже и стремился попасть в ряды господствующего класса или хотя бы послать туда своих детей, также старался уподобить себя этой модели. И подобным же образом класс, стоявший ступенью выше — старая жизнерадостная аристократия, — воспринял эту модель по соображениям политической выгоды или, во всяком случае, на словах превозносил ее. Но при всем этом тем не менее оставалось огромное большинство народа — рабочий класс, которому распространенный образ сдержанного, молчаливого, бесстрастного, пуританского англичанина подходил очень плохо.

Дж. Гуйдзинга (Голландия).

Англия. 1970





МАРШРУТ ЗОЛОЧЕНОЙ КАРЕТЫ

Так уж повелось, что хмурый ноябрьский день традиционно служит фоном для самой красочной и пышной из ежегодных лондонских церемоний: торжественного открытия парламента. Шестерка запряженных попарно белых коней выкатывает из ворот Букингемского дворца золоченую карету королевы. Ее сопровождает эскадрон конной гвардии в парадной форме времен битвы при Ватерлоо — драгуны в сверкающих кирасах и шлемах с плюмажами. Королевский экипаж с форейторами в средневековых камзолах и традиционным двигателем в шесть лошадиных сил вместе с почетным эскортом на вороных конях выезжает на Уайтхолл и затем спускается на Парламентскую площадь, к Вестминстерскому дворцу.

Под звуки фанфар в короне и белом платье с шестиметровым шлейфом королева появляется в палате лордов и занимает свое место на троне. Пэры королевства в пурпурных мантиях с белыми горностаевыми воротниками получают разрешение сесть, за депутатами нижней палаты посылают гонца.

И тут в расписанном минута за минутой ритуале наступает довольно-таки затяжная пауза. Гонцу, во-первых, приходится пересечь из конца в конец все здание. А во-вторых, буквально перед его носом дверь палаты общин наглухо захлопывается. Лишь после того как посланец монарха почтительно постучится три раза, ему позволяют



войти внутрь, поклониться спикеру и произнести заветную фразу:

— Королева повелевает палате Ее Величества сей же час прибыть в палату лордов.

Чтобы сделать это, нужно опять-таки пересечь весь Вестминстерский дворец. Депутаты следуют за гонцом попарно: глава правительства — с лидером оппозиции, министры — с соответствующими членами теневого кабинета. (Поневоле напрашивается сравнение с двумя футбольными командами, которые точно так же — вратарь с вратарем, нападающие с нападающими — выходят на поле стадиона.) Стучаться к лордам им не приходится, но и места для такой толпы в верхней палате тоже нет. Протиснуться в проход могут лишь два-три десятка депутатов из шестисот тридцати пяти. Так, стоя у двери или за дверью, слушают члены палаты общин тронную речь королевы.

Торжественное открытие парламента — отнюдь не просто колоритная туристская достопримечательность. Маршрут золоченой кареты символичен. Букингемский дворец, Вестминстер, Уайтхолл — все это для англичанина нарицательные понятия, воплощающие схему государственного устройства Великобритании: монархия — парламент — правительство.

Палата лордов, где произносится тронная речь, украшена статуями восемнадцати баронов, которые в 1215 году заставили короля Иоанна скрепить своей печатью Магна Карту — Великую хартию вольностей. Эта охранная грамота была первой успешной попыткой феодалов навязать королю правила игры, обязательные не только для его подданных, но и для него самого; говоря языком шахматистов, заставить его признать, что, хотя ферзь может ходить и как пешка, и как слон,



и как ладья, он не вправе ходить, как конь. Хотя на уме у авторов Магна Карты явно была лишь узкоклассовая корысть, а отнюдь не интересы нации в современном понимании этого слова, англичан со школьной скамьи учат, будто политическая демократия ведет свое начало с Великой хартии вольностей и само понятие гражданских прав родилось именно в их стране в 1215 году. А это утверждение в свою очередь порождает свойственную англичанам склонность понимать под борьбой за свободу прежде всего борьбу за суверенитет парламента в противовес абсолютизму королевской власти. Следы этого многовекового противоборства донныне окрашивают и описанный выше ритуал в Вестминстерском дворце.

Когда говорят о британском парламенте, обычно имеют в виду палату общин. Именно ее депутатов принято называть «эм-пи», то есть «член парламента»; именно переизбрание ее состава представляет собой парламентские выборы. В этом находит отражение главенствующая роль палаты общин, хотя, кроме нее, в Вестминстерском дворце заседает еще и верхняя палата, состав которой должен официально именоваться «лорды парламента». Однако с точки зрения конституционного права британская государственная пирамида имеет даже не двуглавую, а трехглавую вершину. Королева на троне, перед которой восседают пэры, а за ними толпятся члены палаты общин — вот три компонента, олицетворяющие собой законодательную власть.

То, о чем теперь напоминает лишь ежегодный ритуал открытия парламента, в свое время было повседневной практикой. Предложение ввести новый или изменить старый закон, пройдя обе палаты, представлялось как петиция «королю в парламенте». В случае его одобрения форму-



ла «король того желает» превращала билль в закон. Внешняя сторона этой процедуры дожила до наших дней. Строго говоря, верховным законодательным органом в стране является не палата общин и не обе палаты вместе, а триумвират, именуемый «королева в парламенте». Всякий парламентский акт должен получить (правда, теперь заочно) королевскую санкцию и доныне неизменно начинается словами: «Да станет законом, изданным Ее Величеством королевой, по совету и при согласии лордов духовных и светских, а также палаты общин в период созыва нынешнего парламента».

Существование монархии напоминает о себе многими подобными приметам. Портрет Елизаветы II красуется на денежных знаках и почтовых марках. Конверт любого официального учреждения помечен грифом «На службе Ее Величества» (даже если в нем содержится всего-навсего счет за телефон или налоговая повестка). Кульминацией любого официального обеда неизменно служит «тост верности». Он состоит всего из двух слов: «За королеву!» и одновременно служит сигналом, что желающие могут закурить. Название любого уголовного дела упоминает монарха рядом с именем преступника. Скажем, если какой-нибудь Джон Браун попадет при ограблении банка, судебный процесс над ним будет называться «Королева против Джона Брауна».

Есть ли за всем этим что-либо, кроме внешней стороны? Сохраняет ли какое-либо реальное влияние «милостью Божией королева Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и других подвластных ей владений и территорий, глава Содружества наций, хранительница веры, суверен британских рыцарских орденов»?



Мы привыкли слышать о том, что обладательница этого пространного ти-

тула «царствует, но не правит». Действительно, в условиях конституционной монархии королевские prerogatives носят скорее формальный, чем практический характер. Они сводятся к тому, чтобы созывать и распускать парламент, назначать и смещать премьер-министра, утверждать законы, принятые парламентом, возводить в пары королевства, жаловать награды и пользоваться правом помилования. Однако во всех этих случаях монарх действует по совету Уайтхолла или по решению Вестминстера. Если бы, скажем, парламент вздумал вынести королеве смертный приговор, он обязан был бы представить ей этот билль на утверждение, а она, в свою очередь, была бы обязана дать на него королевскую санкцию. Об этом писал еще в 1867 году, в расцвет викторианской эпохи, Уолтер Бэджет, автор книги «Английская конституция», донныне считающейся наиболее авторитетным трудом по британскому государственному праву.

С 1707 года не было случая, чтобы билль, принятый парламентом, не смог стать законом из-за того, что ему было отказано в королевской санкции. С 1783 года не было случая, чтобы монарх сместил премьер-министра. Право назначать главу кабинета также весьма условно: премьер-министр должен опираться на большинство в палате общин и быть в состоянии сформировать правительство из своих сторонников. Однако даже если королевские prerogatives не используются, это вовсе не означает, что они отменены. «Если в ходе дальнейшего развития английской политики нынешняя, по существу, двухпартийная система уступит место системе трех или более партий, при которой ни одна из них не будет обладать подавляющим большинством, право короля назначать премьер-министра может оказаться большим преимуществом



правлящего класса», — писал Джон Голлан в книге «Политическая система Великобритании». Можно добавить, что таким же важным резервным оружием остается и другая королевская prerogative — роспуск парламента.

Роль Букингемского дворца в государственном механизме может проявляться и иначе. В Англии широко известны слова Уолтера Бэджета о том, что за монархом сохраняется «право быть проинформированным, право поощрять и право предостерегать». Комментируя формулу Бэджета, будущий наследник престола герцог Йоркский (впоследствии Георг V) говорил, что права эти «открывают перед королем широкое поле деятельности и могут дать возможность существенно влиять на государственные дела».

Право быть проинформированным несомненно важный источник политического влияния. Красные кожаные портфели с государственными бумагами ежедневно доставляются королеве, где бы она ни находилась. Это позволяет ей быть в курсе всех решений кабинета и обсуждаемых им проблем, следить за перепиской с зарубежными правительствами и донесениями послов. К тому же премьер-министр еженедельно посещает Букингемский дворец. Словом, королева, а точнее, группирующийся возле нее дворцовый круг, имеет возможность видеть деятельность государственного механизма как бы из

нутри и к тому же знать людей, занимающих в нем ключевые посты. Все важные правительственные назначения должны быть заблаговременно одобрены Букингемским дворцом с правом «поощрить или предостеречь» в отношении предлагаемых кандидатур. Все это в сочетании с широкими возможностями для личных контактов с зарубежными государственными деятелями



позволяет монарху быть одним из наиболее информированных лиц. Королева, по существу, является членом кабинета и, более того, единственным постоянным его членом, не зависящим от смены партийных правительств и потому влиятельным уже в силу своей осведомленности. Проще говоря, монархия остается в Британии одним из элементов истеблишмента, то есть устоев власти. И то повседневное влияние, которое королева в состоянии оказывать на процесс принятия решений, может играть не меньшую, а подчас даже большую роль, чем официальные королевские прерогативы.

На содержание королевского двора парламент ежегодно отпускает по так называемому «цивильному листу» около 2 миллионов фунтов стерлингов. Причем специальным парламентским актом оговорено, что размер этих ассигнований автоматически увеличивается по мере роста дороговизны, то есть застрахован от инфляции. Однако «цивильный лист» составляет лишь примерно треть всех расходов. Правительство сверх того оплачивает содержание и обслуживание персонала Букингемского, Сент-Джеймского дворцов и Виндзорского замка. Военно-воздушные силы содержат за счет своего бюджета королевскую эскадрилью; военно-морской флот — так называемую королевскую яхту (в действительности — крупный океанский лайнер с экипажем 250 человек, который не без основания именуют плавучим дворцом).

Королеву считают вторым крупнейшим землевладельцем в стране. В ее личную собственность поступают доходы от герцогства Ланкастерского, а наследнику престола — доходы от герцогства Корнуоллского, причем налоги с них не взимаются. Лично королеве принадлежит замок Белморал в Шотландии и замок Сандрингэм в



графстве Норфолк, куда королевская семья выезжает на отдых. Что же касается остальных королевских земель, которые, даже по мнению британских юристов, давно уже следует считать достоянием государства, то доходы от них со времен Георга III сдаются в казну (при каждой вспышке критики, что блеск королевского двора стал стране не по карману, это используется как довод, будто монархия в немалой степени окупает себя).

Да, с точки зрения подлинных правителей Британии, монархия действительно окупает себя, причем в гораздо более широком смысле. Пусть содержание ее обходится в несколько миллионов фунтов стерлингов, это, в конце концов, лишь сумма, которая расходуется в Англии на рекламу стиральных порошков. А ведь речь тут идет не об отбеливании рубашек, а о том, чтобы обелить, сделать более привлекательной саму систему власти, укрепить веру в незыблемость ее устоев.

Золоченая карета, этот средневековый экипаж с двигателем в шесть лошадиных сил, донныне несет немалую идеологическую нагрузку. Прежде всего монархия апеллирует к чувству истории, глубоко заложенному в англичанах. Она превозносит преемственность и незыблемость традиций, укрепляя тем самым корни политического консерватизма в национальном характере. Пусть в этом меняющемся мире будет хоть что-то стабильное, неизменное, связывающее хмурый сегодняшний день со славным прошлым, — вот к чему прежде всего взывают сверкающие кирасы конногвардейцев и блеск золоченой кареты.



Монархия — это анахронизм, венчающий британское общество. В этой самой политической из западных стран, всегда бурлящей новыми идеями о путях и

средствах, с помощью которых люди могут управлять собой, продолжает существовать тысячелетняя монархия, которую кто почитает, кто уважает, кто терпит, но мало кто подвергает нападкам.

**Дрю Миддлтон (США).
Британцы. 1957**

Когда тот или иной политический институт в Британии перестает действовать, он не упраздняется. Его функции перерождаются в ритуалы, реальность заменяется мифом. Примером такого рода метаморфозы может служить монархия. Куда меньше людей, однако, осознано, что парламент — это вечный факел англофилов — последовал за монархией в блистательную импотенцию. Он сохранился как символ демократических прений, давно перестав обладать какой-либо реальной властью.

**Клайв Ирвинг (Англия).
Подлинный брит. 1974**





МЕШОК С ШЕРСТЬЮ

Около миллиона туристов проходят ежегодно под сводами Вестминстерского дворца. Они задирают головы и рассеянно слушают гидов, ошеломленные обилием статуй и портретов, фресок и гобеленов. Под ливнем имен и фактов новичок чувствует, что у него голова идет кругом, как у студента, который пытается перед экзаменом наспех перелистать многотомный учебник истории.

Туристы узнают, что хорошо знакомое им по открыткам готическое здание на Темзе с башней Большого Бена вовсе не являет собой памятник Средневековья в отличие от соседствующего с ним Вестминстерского аббатства. Удачно имитируя позднеготический стиль, архитектор Чарльз Бэрри возвел его не далее как в 1850 году на месте почти целиком сгоревшего одноименного дворца. И лишь знаменитый Вестминстер-холл (тронный зал, где при Генрихе VIII судили Томаса Мора, а при Кромвеле — Карла I) существует целых шесть веков, донныне поражая двадцатипятиметровым пролетом арочного перекрытия, опирающегося на систему дубовых стропил.

Хотя нынешний Вестминстерский дворец выстроен специально для парламента, он по сей день считается королевским, то есть формально лишь предоставленным в распоряжение палаты лордов и палаты общин.

Ежегодное появление монарха учитывается в его планировке анфиладой парадных лестниц и залов.



После пышной помпезности Королевской галереи — главного дворцового зала, где среди портретов монархов выделяются две огромные картины, изображающие смерть Нельсона в Трафальгарском бою и встречу Веллингтона с Блюхером во время битвы при Ватерлоо, убранство палаты лордов кажется более сдержанным и строгим. Ажурной резьбой своих дубовых панелей, тусклым золотом трона, цветными витражами в готических окнах она напоминает средневековую часовню.

Самая колоритная достопримечательность палаты лордов — «мешок с шерстью». Так называется обитый красной тканью пуф, сидя на котором лорд-канцлер ведет заседания. Еще шестьсот с лишним лет назад Эдуард III повелел положить мешок с шерстью на самом видном месте в палате лордов, дабы он всегда напоминал о значении этого товара для королевства. В XIV веке Англию постигло страшное бедствие: из-за Ла-Манша пришла чума. «Черная смерть» скосила население страны почти наполовину — выжило меньше 3 миллионов человек. Опустели целые деревни, и нехватка рабочих рук вынудила землевладельцев заняться разведением овец. Шерсть их стала главной статьей торговли, ознаменовала переход от натурального хозяйства к товарному производству. Как раз в ту же пору в Восточную Англию хлынул поток беженцев из Фландрии, спасавшихся от испанской тирании. Они-то и передали англичанам неведомое тем дотоле мастерство сукноделия.

Эдуард III оценил эти новые возможности. Он запретил ввозить в страну сукна и вывозить за море шерсть. Это послужило толчком для отечественного текстильного производства и, более того, зародышем перемен, в итоге которых Англия стала владычицей морей, промышленной



мастерской мира. Она впервые по-настоящему обрела экономическую заинтересованность в связях с другими странами. Ей стали нужны заморские рынки. Ей потребовался торговый флот, чтобы вывозить туда свои товары, и военный флот для защиты этих водных путей. Словом, мешок с шерстью поставил Англию на путь превращения в морскую державу, на путь колониальных захватов. Удивительно ли, что целых шесть веков мешок этот почитался как символ благополучия страны!

Палата лордов сравнительно невелика: примерно 30 метров в длину, 15 — в ширину. Это, в сущности, малый тронный зал. «Мешок с шерстью» помещен в передней его части, как бы у подножия трона. А справа и слева от него вдоль зала тянутся красные кожаные диваны: по четыре ряда, поднимающихся ярусами с каждой стороны; по три шестиместных дивана в каждом из рядов. Право восседать на них имеют 1139 пэров королевства.

Не следует ломать голову, как они там размещаются. В голосованиях, которые бывают по вечерам, обычно участвует лишь десятая часть общего состава палаты. Для кворума же достаточно трех человек. Зато, взяв слово, пэр может говорить сколько заблагорассудится, и никто не вправе его остановить.

Есть старый английский анекдот о том, как одному титулованному лицу однажды приснился сон, будто он произносит речь в палате лордов.

Проснувшись, оратор, к своему удивлению, обнаружил, что действительно произносит речь в палате лордов. Эта едкая шутка приходит на память, когда смотришь с галереи на пустующие красные диваны, бродишь по коридорам, курительным, читальням. Всюду царит тот же дух отрешенности от времени, дух умиротворенной старости, который присущ прославленным лондонским



клубам на Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс. Палату лордов неспроста называют лучшим из клубов королевства. Где еще можно понежиться на склоне лет в столь изысканной компании? Причем если в клубах взимают членские взносы, то пэру, наоборот, выплачивают суточные за каждую явку в палату — даже если он просто зайдет на полчаса в бар.

Порой думаешь, что обитателей Вестминстерского дворца можно было бы разделить на три категории. Во-первых, это 130 государственных деятелей минувших времен, увековеченных в бронзе и мраморе и расставленных на каждом шагу. Во-вторых, это 635 современных политиков, заседающих в палате общин. И наконец, в-третьих, где-то на полпути между настоящим и прошлым — это неопределенное и непредсказуемое число пэров в палате лордов. Почтенные, великовозрастные фигуры. Присматриваясь к ним, порой испытываешь ощущение, будто листаешь газетный фотоархив: перед глазами сменяются полузабытые лица знаменитостей, вроде бы давно сошедших со сцены.

В последнее время палата лордов все заметнее обретает новую функцию: быть в политической жизни Великобритании чем-то вроде стоянки для отслуживших свой срок автомашин или чердака, куда можно складывать распатавшуюся мебель, которую неудобно использовать, но жаль выбрасывать. Как консерваторы, так и лейбористы сплавляют в палату лордов тех, кого еще преждевременно «списывать в тираж», но уже нецелесообразно держать в палате общин. Опасаясь требований полностью упразднить верхнюю палату, официальные круги пожертвовали наследственным принципом ее формирования.

Члены верхней палаты, занимающие в ней места, так сказать, по должности, существовали и прежде. Это 26 духов-



ных пэров, представляющих англиканскую церковь (архиепископы Кентерберийский, Йоркский и 24 епископа), а также 9 лордов высшего апелляционного суда. Теперь к ним добавилось еще около 300 пожизненных пэров, примерно половину из которых составляют бывшие члены палаты общин, а остальные — это промышленники, банкиры, дипломаты, ученые, писатели, профсоюзные деятели. Однако почти три четверти состава палаты лордов по-прежнему образуют 818 наследственных пэров. Среди них пять принцев королевской крови, 27 герцогов, 38 маркизов, 203 графа, 138 виконтов, а остальные — бароны. (Рыцари и баронеты не считаются лордами, имея лишь право на приставку «сэр». Например, когда актер Лоуренс Оливье получил рыцарское звание, он стал сэром Лоуренсом, а после возведения в пэры — лордом Оливье.)

Два столетия назад палата лордов сплошь состояла из титулованных землевладельцев. Лорду Каррингтону как-то напомнили, что, когда его предок был возведен в пэры Георгом III, лорды возмущенно покинули зал, ибо новичок был банкиром. Крупные землевладельцы заседают в палате лордов и поныне. Но теперь их там вдвое меньше, чем банкиров, и вдесятеро меньше, чем пэров, чьи имена значатся в указателе директоров компаний. В палате лордов представлена половина крупнейших промышленных фирм (перед войной это были прежде всего владельцы шахт, судоверфей, железных дорог, а теперь — директора нефтяных и химических концернов).



В сущности, нынешняя практика возводить в пэры пожизненно явилась не чем иным, как продолжением давней традиции. Ведь, как уже отмечалось выше, британский правящий класс еще со времен промышленной революции старался

быть «аристократией с открытой дверью», вбирать в себя не только влиятельных представителей буржуазии, но и всех тех, кто в глазах общественного мнения олицетворял успех на каком-либо поприще. Помимо всего прочего, это, как известно, весьма эффективный метод обезвреживать и приручать опасных бунтарей. Наглядное напоминание — профсоюзная прослойка в палате лордов, бывшие лидеры тред-юнионов, чья многолетняя борьба против сословных различий, против почестей и привилегий в итоге вознаграждена алыми мантиями пэров королевства.

Вплоть до 1911 года лорды могли вообще отвергнуть любой законопроект, принятый палатой общин. Впоследствии за ними было сохранено лишь право отлагательного вето: двухлетней отсрочки, а по бюджетным биллям, касающимся денежных ассигнований, — до месяца. Однако даже в своем нынешнем виде право отлагательного вето остается важным козырем в руках истеблишмента, дает ему дополнительные шансы для маневрирования. Возможность заблокировать негодный законопроект хотя бы на год практически нередко означает похоронить его. Ведь в следующей парламентской сессии может сложиться совсем иная, неблагоприятная для данного билля политическая ситуация, а уж если на горизонте замаячат новые всеобщие выборы, о нем и подавно приходится забыть. Примерами подобного саботажа со стороны пэров королевства пестрит британская история последнего времени. Перед Первой мировой войной лорды сорвали принятие билля о самоуправлении Ирландии, что привело к ее расчленению, трагические последствия которого дают себя знать по сей день.

В послевоенные годы лорды чинили всяческие помехи политике национали-



зации ключевых отраслей экономики. Вновь и вновь проявляется примечательная тенденция: пока у власти находятся консерваторы, палата пэров не напоминает о себе, даже если парламент сталкивается с крутыми поворотами во внешней и внутренней политике (например, вступление Англии в Общий рынок или попытка сковать забастовочное движение «законом об отношениях в промышленности»). Но стоит прийти к власти лейбористам, как лорды тут же активизируют свою тактику саботажа, стремясь затянуть принятие правительственных законопроектов либо выхолостить их содержание.

Следует помнить, что политическое объединение представителей низших классов, созданное в их собственных интересах, является злом первой величины, что постоянный характер такого объединения обеспечил бы низшим классам преобладающую роль в стране и что их господство означало бы власть невежества над просвещением и численного превосходства над знанием. Пока они не научились действовать сообща, еще есть возможность предотвратить эту опасность, и она может быть предотвращена только величайшей мудростью и дальновидностью верхних классов... Они должны добровольно уступить, пока это еще не опасно, чтобы не пришлось впоследствии уступить по принуждению.

Уолтер Бэджет (Англия).

Английская конституция. 1867





ЗАДНЕСКАМЕЕЧНИКИ И КНУТЫ

«Посторонние, шапки долой!» — этот средневековый клич разносится по гулким коридорам Вестминстерского дворца, возвещая, что процессия спикера с булавой шествует в палату общин. И пестрая толпа иностранных туристов, школьников с экскурсоводами и пенсионеров из провинции почтительно замирает, чувствуя себя свидетелями и участниками некоего священнодействия. К тому же центральное лобби, где толпится больше всего посетителей, и впрямь напоминает собор своими мозаиками на сводах. Эти четыре панно изображают святых-покровителей и национальные эмблемы каждой из составных частей Соединенного Королевства. Святой Георг и роза символизируют Англию, святой Андрей и чертополох — Шотландию, святой Давид и лук-порей — Уэльс, святой Патрик и клевер-трилистник — Ирландию.

После величавой готики центрального лобби сама палата общин производит неожиданное впечатление. Она прежде всего поражает своими малыми размерами: всего около двадцати метров в длину. Скамьи, обитые зеленой кожей, тут подлиннее, чем в палате лордов, и размещены они в пять рядов по каждую сторону от прохода. Но даже при большем числе посадочных мест, чем у пэров, палата общин все-таки скорее напоминает клубную гостиную, чем зал конгресса. Здесь нет



ораторской трибуны. Депутаты выступают с места. И такая камерная атмосфера придает своеобразный характер дебатам: их участники ведут спор, что называется, лицом к лицу. Члены правительства на передней скамье отделены от скамьи теневого кабинета лишь проходом шириной в две шпаги.

Черта, проведенная по ковру перед каждой из скамей, напоминает о времени, когда требовались меры предосторожности, чтобы словесные поединки в палате не переходили в вооруженные. Существующее доныне правило гласит, что если кто-либо из депутатов переступит черту у его ног, то есть «шагнет в аут», заседание считается прерванным.

Думается, что склонность англичан относиться к политике, как к спорту, то есть видеть в ней состязание двух соперничающих команд, была умело использована творцами британской избирательной системы. Она благоприятствует чередованию у власти двух главных политических партий (в ущерб остальным) и делает парламентские дебаты чаще всего похожими на футбольный матч между правительством и оппозицией. Страна поделена на избирательные округа, каждый из которых посылает в палату общин по одному депутату. Причем при существующей системе для победы не требуется большинства голосов. Нужно лишь, чтобы их было больше, чем у кого-либо из соперников. Скажем, если из 30 тысяч бюллетеней за одного кандидата подано 11 тысяч, за второго — 10 тысяч и за третьего — 9 тысяч, первый из них получает мандат, а голоса остальных 19 тысяч избирателей (то есть большинства в данном округе) пропадают впустую.



При подобной системе распределение мест в палате общин отнюдь не соответствует доле голосов, поданных за каждую из политических партий. Например,

либералы, которые обычно собирают в три—три с половиной раза меньше бюллетеней, чем консерваторы и лейбористы, получают в тридцать раз меньше мест в палате общин. Удивительно ли, что главные партии не проявляют охоты отказываться от существующей системы.

Памятуя о ее парадоксах, видишь, сколь относительны, даже обманчивы газетные штампы вроде «Страна проголосовала за лейбористов» или «Избиратели повернулись лицом к консерваторам». На деле маятник двухпартийной системы качается отнюдь не с такой широкой амплитудой. В Великобритании насчитывается, округленно говоря, 40 миллионов избирателей. Около 30 миллионов из них обычно участвуют в голосовании. Как лейбористы, так и консерваторы имеют примерно по 10 миллионов постоянных сторонников. Располагая только половиной этого, либералы лишены шансов на первенство, остальные партии — и подавно. Так что исход парламентских выборов зависит от перемещения двух-трех миллионов «текучих голосов», а точнее, от баланса сил в весьма ограниченном числе спорных округов. (Промышленные районы Шотландии, Северной Англии, Южного Уэльса обычно голосуют за лейбористов, тогда как юго-восток страны, за исключением Лондона, считается вотчиной консерваторов.)

Принцип «победителю все, а остальным ничего» способствует мерному чередованию у власти тори и вигов, а теперь — консерваторов и лейбористов, сковывая тенденции к многопартийности с ее неустойчивыми коалициями. Сам термин «оппозиция Ее Величества» является собой хитроумное изобретение британских правящих кругов. Этот оборот подчеркивает, что партия, отстраненная от власти, сохраняет полную лояльность госу-



дарственным устоям и будет добиваться возврата к кормилу правления, лишь свято соблюдая «правила игры». Лидер оппозиции, например, считается официальным лицом и наряду с членами правительства получает жалованье из государственной казны.

В своем нынешнем виде палата общин столь же приспособлена к двухпартийной системе, как футбольное поле для двух команд. Их основные составы — непосредственные участники матча — сидят друг перед другом на передних скамьях, тогда как всем остальным приходится довольствоваться участью запасных игроков, тщетно дожидаясь возможности ударить по мячу. От новичка в парламентской фракции меньше всего ждут ораторского блеска, оригинальных законодательных инициатив. Даже само его участие в заседаниях палаты мало кого волнует. От рядового депутата, или, как тут говорят, заднескамеечника, прежде всего требуется лишь одно: он должен слушаться кнута. Это выражение, заимствованное из конного спорта, прочно вошло в обиход «праматери парламентов».

Как ни парадоксально, эталон западной демократии функционирует на основе военной дисциплины. «Главный кнут правительства», «главный кнут оппозиции» — это не газетные эпитеты, не жаргонные словечки, а общепринятые наименования должностных лиц — парламентских организаторов каждой из партийных фракций. Их обязанность вполне соответствует их названию: в нужный момент прогнать свою паству через нужную дверь.



В британском парламенте голосуют не руками, а ногами. При каждом разделении палаты (как называют подсчет голосов) депутаты, голосующие «за», выходят в западные двери, а голосующие «против» — в восточные. Причем на всю эту процедуру отпущается несколько минут

с момента включения сигнального звонка. Свыше ста таких звонков установлено в различных помещениях Вестминстерского дворца и еще несколько десятков — в расположенных поблизости министерствах и ведомствах, клубах и ресторанах, на частных квартирах видных политических деятелей. Заседания палаты общин по традиции начинаются во второй половине дня. Так что, заслышав сигнал около десяти вечера, когда обычно голосуют важные резолюции, депутаты должны сломя голову мчаться в палату, нередко из дома или из гостей.

Обладатели «старого школьного галстука», каких полным-полно в Вестминстере, любят ворчать, что дворец этот — такая же бурса, как Итон или Винчестер: вся жизнь заднескамеечника проходит по звонку и под кнутом. Причем главный парламентский организатор олицетворяет собой не только кнут, но и пряник. Именно он является советником премьер-министра по правительственным назначениям и награждениям. Главный кнут имеет официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 12, — через дом от премьер-министра — и встречается с ним с глазу на глаз чаще, чем кто-либо другой. Формально говоря, парламентская процедура игнорирует партийную принадлежность. К любому депутату положено адресоваться лишь как к достопочтенному члену от округа такого-то. Лет сто назад подобное обращение имело смысл, ибо значительная часть законопроектов вносилась отдельными членами парламента.

Ныне же инициатива в большинстве случаев исходит от правительства. Принятие частного законопроекта стало большой редкостью. Завладев большинством мест в палате общин и дав тем самым лидеру своей партии возможность сформировать правительство, рядовые парламентарии должны смириться с тем, что их главная миссия



окончена и что впредь им остается лишь утверждать решения, принятые за пределами палаты, то есть послушно превращать правительственные билли в законы.

Теоретически депутаты считаются такими же полновластными хозяевами парламента, как акционеры — хозяевами своей компании. На практике же они, как и владельцы акций, узнают суть дела, лишь когда их ставят перед совершившимся фактом. Для члена палаты общин есть одна лишь возможность получить реальную власть — стать обладателем министерского портфеля. А неременное условие такого назначения всем известно: депутат должен слушаться кнута. Существует целая система приемов, предназначенных блокировать попытки заднескамеечников выступать против шагов правительства, которые им не нравятся. Одна из радикальных мер — объявить высказанное возражение «важным вопросом, требующим голосования доверия правительству». Это чревато роспуском парламента, досрочными выборами, то есть ставит под вопрос не только пребывание данной партии у власти, но и парламентский мандат депутата-бунтаря, которого окружная партийная организация может в другой раз даже не выдвинуть в кандидаты... Вот почему единственная отдушина для заднескамеечника, когда он может забыть о звонках и кнутах, когда он может как-то проявить себя, — это «час запросов».

Ежедневно, кроме пятницы, с половины третьего до половины четвертого члены правительства, а по вторникам и четвергам и сам премьер-министр обязаны отвечать на поданные заранее письменные запросы депутатов.



«...Известно ли достопочтенному члену такому-то, что... Не сделает ли он заявление по данному вопросу?» «Да», — невозмутимо отвечает министр (читая по бу-

мажке текст, искусно составленный его чиновниками), затронутый вопрос ему, разумеется, известен; правительство постоянно держит его в поле зрения; необходимые меры принимаются; об их результатах палата будет проинформирована...

Депутат усаживается на место с чувством выполненного долга, а точнее говоря, с надеждой, что несколько газетных строк о его запросе и ответе министра будут замечены в его избирательном округе. На большее он редко претендует.

В наши дни вестминстерская политическая кухня немыслима без средств массовой информации. Однако «праматерь парламентов» пришла к этому через цепь мучительных и отнюдь не всегда последовательных компромиссов. Вплоть до 1738 года писать о ходе дебатов в газетах считалось грубейшим посягательством на привилегии парламента. Потом скрепя сердце согласились открыть Вестминстерский дворец для репортеров. Однако вплоть до наших дней на галерею прессы не допускают фотографов. Целые поколения художников доньше иллюстрируют рисунками газетные парламентские отчеты.

В конце 70-х годов дебаты в Вестминстере начали транслировать по радио. Что же касается телевидения, то его пока держат за порогом палаты общин, а для палаты лордов делают исключение лишь раз в год — в день торжественного открытия парламентской сессии и тронной речи королевы. Этот запрет, впрочем, весьма относителен. Ибо, выйдя из палаты, любой оратор может тут же пересказать суть своего выступления перед телекамерами, как это делает канцлер казначейства после бюджетной речи.

Каждый день, который начинается в половине третьего с «часа запросов», в палате общин произносится около



40 тысяч слов. Это, как острят на Флит-стрит, целых две многоактные пьесы. Лишь малая толика вестминстерского красноречия попадает в эфир и прессу. Большая часть стенограмм остается лишь на страницах «Гансарда» — парламентского бюллетеня, экземпляры которого брошюруются и складываются в хранилищах башни Виктории.

Маститые лондонские политики любят говорить о палате общин как о живом существе: «Палата не любит, чтобы ее держали в неведении...», «Палата не потерпит подобного безразличия...». В действительности же «праматерь парламентов» терпит многое, и прежде всего упадок своего влияния. Она по-прежнему остается центром политической жизни, но в значительной мере утратила былую роль в осуществлении политической власти.

Показательный симптом — состав посетителей в центральном лобби. Для большинства из них Вестминстерский дворец — такая же туристская достопримечательность, как, скажем, Тауэр. Подлинное лоббирование по важным вопросам, вроде налоговых уступок, торговых субсидий или размещения государственных заказов, давно перекочевало из Вестминстера на Уайтхолл. Деловой мир предпочитает иметь дело не с политиками, а с чиновниками, которые определяют содержание правительственных биллей еще задолго до того, как они появятся в парламенте. Парламентская процедура призвана создать впечатление, будто все важные вопросы решаются именно под сводами Вестминстерского дворца, по инициативе членов парламента и в результате гласных дебатов. На практике же суверенитет парламента теряется в запутанных коридорах власти, которые его окружают. Палата общин служит лишь авансценой для спектакля, который режиссируется из-за кулис.



Палата общин подобна паровой машине, которая выпускает пар, шипит и свистит, но втайне приводится в движение электричеством.

*Энтони Сэмпсон (Англия).
Новая анатомия Британии. 1971*

Почтительно и смиренно поднимается посетитель на парламентскую галерею для публики. И что же он видит? Несколько полууснувших депутатов, пытающихся внимать речи полубодрствующего оратора, который время от времени замолкает, дабы люди в бриджах, кружевных оборках и париках могли совершать некий непостижимый ритуал, внося и вынося символические жезлы и побрякушки.

Парламент относится к числу тех английских установлений, вроде королевского смотра с выносом знамен, смены дворцового караула или ежегодной процессии лорда-мэра, которые сохранили форму в церемониях, традициях или ритуалах, хотя уже давно почти целиком утратили свое содержание.

Девять десятых того, что происходит в Вестминстере, это хорошо отрепетированный спектакль. Большинство речей произносится там не с намерением повлиять на чьи-то мнения или действия, а с целью довести до сведения избирателей через местную печать, что если их депутат и не всемогущ, то, по крайней мере, еще жив. Даже хваленый «час запросов» представляет собой «бокс теней», правила которого тщательно продуманы так, чтобы никто в поединке не пострадал. Это пантомима, во время которой депутат бьет министра бычьим пузырем на палке, а министр в ответ шлепает депутата связкой сосисок.

Члены палаты разминают мускулы во время «часа запросов», но стоит звонку возвестить о голосовании, как им приходится забыть приятное ощущение силы,



порожденное этим упражнением, и, вытерев со лба воображаемый пот, дружно маршировать за своим лидером в соответствующую дверь. Им приходится выбирать не между разумным и глупым решением, не между хорошим и плохим законом. Выбирать они могут только между своей и чужой партией.

Все вышесказанное отнюдь не означает, что парламент не служит никакой цели. Просто цель эта — не служение народу, а служение его правителям. Он весьма полезен как барьер между народом и Уайтхоллом. Он служит местом, где люди могут выговориться, метать громы и молнии, от которых мало толку.

Дэвид Фрост и Энтони Джей (Англия).
Англии — с любовью. 1967

Вестминстер нужен британским правящим классам по многим причинам. Потому что им нужен традиционный институт буржуазной демократии как наиболее приемлемой в условиях данной страны формы правления, гибкой и надежной, отточенной, проверенной временем и в конечном счете наименее хлопотной. Вестминстер нужен им как постоянный и пока безотказно действующий предохранительный клапан для отвода опасных идей, как русло, по которому удобнее всего направлять вспыхивающие время от времени политические дискуссии в стране, и как омут, в котором при необходимости можно утопить в словопрениях неугодную будоражащую мысль.



Вестминстер нужен тем, кто имеет реальную власть и деньги в Британии, а еще потому, что дает отличную возможность «проветрировать» тот или иной шаг, тот или иной законопроект, прежде чем сделать его законом. Невелика, с их позиции, беда, если сотня-другая депутатов голосу-

ет «за» или «против» финансового билля — более двухсот страниц убористого текста, — не ведая, хорош или плох он. В конце концов этот билль составляется «их» экспертами при участии или консультации лучших умов Сити. Есть ведь еще и обширнейшая область политики — внутренней, внешней, военной, экономической, политики по отношению к тред-юнионам, к рабочему движению в целом, в области культуры, образования — да всего и не перечтешь. И здесь бывает крайне важно вовремя прощупать возможную реакцию, выявить собственные слабые и уязвимые места, подправить законопроект по принципу: и волки сыты, и овцы целы — словом, сделать все возможное, чтобы обезопасить себя против неосторожного, необдуманного шага.

В. Осипов (СССР).

Британия. 60-е годы. 1967





КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Британскую двухпартийную систему часто сравнивают с маятником. Когда этот маятник совершает свое очередное качание, то есть когда оппозиция Ее Величества одерживает победу над правительством Ее Величества, смена власти в Лондоне напоминает по своей стремительности государственный переворот — правда, вместо танков к министерским особнякам на рассвете стягиваются багажные автофургоны. Результаты парламентских выборов, которые по традиции происходят в четверг, становятся известными утром в пятницу. В тот же самый день премьер-министр извещает королеву об отставке правительства; лидер победившей партии приглашается в Букингемский дворец и после ритуала «целования рук» переселяется на Даунинг-стрит, 10, откуда грузчики еще выносят ящики со скарбом его предшественника.

Тот факт, что большинство членов кабинета селятся в правительственных особняках, делает смену власти особенно драматичной: министр разом теряет не только пост, но и кров. Сосед премьера — канцлер казначейства, живущий на Даунинг-стрит, 11, имеет дом с одной-единственной дверью. Так что любители драматических сцен могут наблюдать с тротуара напротив, как через эту дверь происходит выселение прежнего обитателя и вселение нового.



торое затрагивает многие тысячи людей и тянется два месяца — с ноябрьских выборов до январского вступления в должность. Поражение правящей партии в Британии означает массовое переселение лишь в Вестминстере. Две главные фракции в палате общин меняются местами, словно танцоры во время кадрили. Что же касается Уайтхолла, то новые таблички появляются лишь на немногих дверях. Весь аппарат каждого из министерств вплоть до его руководящего ядра во главе с постоянным секретарем остается на своих местах.

Когда вразгар Потсдамской конференции 1945 года лейбористы одержали победу над консерваторами и на смену Черчиллю в Потсдам прибыл Эттли, новый премьер не заменил в британской делегации ни единого человека, что, по его словам, «вызвало большое удивление наших американских союзников».

Если двухпартийную систему в Лондоне любят сравнивать с маятником, то гражданской службе или чиновничеству принято отводить роль махового колеса, предназначенного сглаживать момент перехода власти из одних рук в другие. В следующий же понедельник после выборов новый министр уже подписывает бумаги, подготовленные тем же штатом сотрудников, что служили преждему. Он наследует все, кроме одного. В отличие от постоянного секретаря новый министр не имеет доступа к документам своего предшественника. Секреты предыдущего правительства не должны становиться достоянием соперничающей партии. Существующее на сей счет «джентльменское соглашение» имеет важные последствия. Чиновники знают больше, чем их сменяющиеся шефы-политики, и это накладывает свой отпечаток на их взаимоотношения.

Избрание в палату общин дает политику не только мандат в Вестминстер, но и шанс на путевку в Уайтхолл.



В отличие от законодательных органов ряда других стран Запада британский парламент, подобно японскому, имеет монополию на правительственные посты. Их обладателями становятся около ста человек, то есть примерно четверть депутатов победившей партии. Остальные три четверти остаются заднескамеечниками и «слушаются кнута» в надежде когда-нибудь получить министерский портфель.

Лидер правящей партии поселяется в старинном особняке на Даунинг-стрит, 10. Табличка на его двери гласит: «Первый лорд казначейства». Именно таков официальный титул главы британского правительства, по которому ему выписывается жалование. Дважды в неделю здесь собираются члены кабинета. Они обсуждают повестку дня за длинным овальным столом, адресуясь лишь к премьер-министру и именуя друг друга только по должности: «Я не разделяю мнения министра внутренних дел», «Что думает по поводу внесенного предложения министр транспорта?». Эта безличная форма обращения должна напоминать участникам дискуссии, что, хотя премьер-министр формально считается лишь «первым среди равных», именно он назначил присутствующих на занимаемые ими посты, и он же вправе в любое время сместить каждого из них.

Помимо раздачи министерских портфелей, лидер правящей партии держит в своих руках и другие важные рычаги политического влияния, в частности награды и почести. Он представляет к присвоению почетных званий, титулов, включая возведение в пэры. Если роль палаты общин в политической жизни Британии на протяжении последнего столетия неуклонно шла на убыль, власть премьер-министра, наоборот, росла, став во многих отношениях президентской.



До середины XIX века государственная служба была безраздельной вотчиной земельной аристократии. Подбор чиновников целиком основывался на принципе личного покровительства. Члены парламента и кабинета заполняли вакантные должности своими протеже — чаще всего младшими сыновьями знатных лиц, которых требовалось вознаградить или задобрить. Уайтхолл находился, таким образом, в политической зависимости от Вестминстера. Карьера чиновников, их шансы на продвижение по службе в немалой степени предопределялись составом палаты общин. Смена партий у власти сопровождалась сменой верхушки государственного аппарата.

В своем нынешнем виде гражданская служба существует со времен реформы 1870 года, когда правительство Гладстона заменило практику личных рекомендаций системой конкурсных экзаменов. Одни британские историки превозносят этот шаг как торжество либерализма над консерватизмом. Другие рассматривают его как составную часть исторического компромисса между земельной аристократией и промышленной буржуазией. Вторая точка зрения содержит, бесспорно, большую долю истины, хотя и не исчерпывает ее.

Главная цель реформы гражданской службы состояла в том, чтобы сделать государственный аппарат независимым от сменяющихся у власти политических партий, вывести его из-под влияния парламентского большинства. Принципы реформы были сформулированы в «Докладе Норткота-Тревельяна», авторы которого, по их словам, были потрясены громовыми раскатами революции 1848 года, доносившимися до Британских островов из-за Ла-Манша.

Политические амбиции промышленной буржуазии и рост требований всеобщего избирательного права — вот что побу-



дило титулованную знать стать «аристократией с открытой дверью», пожертвовать своей былой монополией в Вестминстере и Уайтхолле. Однако, сделав уступку времени, земельная аристократия позаботилась о том, чтобы бразды правления оставались в руках людей с угодным ей мировоззрением.

Рекомендации «Доклада Норткота-Тревелияна» не случайно совпали с распространением публичных школ, когда эти «фабрики джентльменов» стали формой приобщения детей промышленников и банкиров к традициям и образу жизни земельной аристократии. Став союзниками, недавние соперники оказались перед вопросом: раз уж пришлось дать черни избирательное право, как застраховаться на случай, если она вдруг завладеет парламентом?

По предложению Чарлза Тревелияна, который четырнадцать лет служил в Индии, в основу реформы гражданской службы был положен опыт колониальной администрации. Чтобы искоренить взяточничество и семейственность, процветавшие во времена ост-индской компании, и обеспечить условия для выгодного помещения английских капиталов, для колониальных чиновников была введена система конкурсных экзаменов— отдельных для руководящего состава (для англичан) и технических работников (индийских клерков). С точки зрения имперских интересов такая система вполне себя оправдала.

Реформа 1870 года подобным же образом разделила гражданскую службу надвое, возвела барьер между руководителями и исполнителями. Чтобы попасть в «административный класс», открывающий доступ на руководящие посты, стало необходимым сдавать экзамены по классическим дисциплинам в том объеме, как они изучаются в публичных школах и университетах



Оксфорда и Кембриджа. Ясно, что такой образовательный ценз — нечто вроде экзаменов «одиннадцать плюс» для взрослых — был задуман как социальный фильтр.

«Доклад Норткота-Тревельяна» являет собой пример того, как британский господствующий класс использовал опыт, приобретенный в колониях, для усиления государственного механизма в метрополии. Примечательно также, что опыт реформы 1870 года — создание государственного аппарата, не зависящего от волеизъявления избирателей, но тесно связанного с господствующим классом, — оказался столь ценным для Лондона, что эту идею постарались внедрить в конституции почти всех бывших британских колоний. Как только местное население добивалось права избирать свой собственный законодательный орган, контроль над гражданской службой тут же ограждался от влияния парламента и возлагался на губернатора.

Выведа Уайтхолл из-под зависимости Вестминстера, британские правящие круги продемонстрировали свое умение всякий раз застраховываться от последствий тех уступок, которые они порой вынуждены делать народным массам, чтобы удержаться в седле. Внешне власть отдана в руки избирателей: парламент формируется на основе всеобщего избирательного права; правительство формируется из членов палаты общин лидером партии парламентского большинства. Практически же страной правят не избранные народом, а чиновники, которых не выбирают, а подбирают.

Коридоры власти, которым посвятил свою одноименную книгу писатель Чарлз Сноу, воплощают собой, разумеется, не всю 750-тысячную армию государственных служащих, а лишь ее элиту;



лишь те полпроцента, что образуют так называемый «административный класс» — тесно сплоченную, замкнутую касту обладателей «старых школьных галстуков». Эти три с лишним тысячи чиновников значат в механизме власти больше, чем полсотни министров и шесть сотен депутатов. Будучи заднескамеечником, депутат чувствует, что он бессилен перед мандаринами гражданской службы, что самые каверзные парламентские запросы — не более чем булавочные уколы для этой многоглавой гидры. Министерский портфель представляется ему единственной предпосылкой обрести реальную власть. Однако те его коллеги, кому посчастливилось перебраться на переднюю, правительственную скамью, вынуждены убедиться в иллюзорности обывательского мифа о том, будто «чиновники советуют, а министры решают».

Постоянный секретарь не только лучше оплачивается, чем его сменяющиеся шефы. Он больше знает и больше может. Он неизмеримо превосходит своего начальника компетентностью в отношении проблем и людей, ошибок прошлого и возможностей на будущее. Может ли министр, пришедший в департамент на два-три года, войти в курс дела так же глубоко, как постоянный секретарь? Ведь ему, как говорят в «коридорах власти», приходится носить сразу три шляпы: во-первых, возглавлять свое ведомство и в данном качестве представлять его перед общественностью, отвечать на парламентские запросы в палате общин, во-вторых, выполнять депутатские обязанности, регулярно бывать в своем округе, встречаться и переписываться с избирателями и, наконец, в-третьих, заслышав вечером звук парламентского звонка, мчаться в



те с другими членами своей партийной фракции слушаться главного кнута правительства.

Если новый министр, не вдаваясь в суть дел, вздумает ознаменовать свой приход какими-то радикальными новшествами, постоянный секретарь почтительно, но твердо докажет, что часть предложенного уже делается, другая — планируется, а все остальное практически неосуществимо. На Уайтхолле шутят, что дело министра — держать ружье, а куда целиться и когда спускать курок — дело постоянного секретаря. Именно чиновники готовят решения, именно они претворяют их в жизнь.

Если присмотреться внимательнее, становится очевидным, кто управляет страной. Это верхушка гражданской службы. Они делают вид, будто являются лить старшими клерками, администрацией, смиренно и безымянно выполняющей приказы, проводящей в жизнь решения, принятые другими. Они действительно безымянны — они не подотчетны общественности. Возможно, они и вправду смиренны. Но так или иначе они и есть наше правительство. Ибо сама система построена так, что именно они принимают решения по долгосрочным проблемам и определяют политику на будущее, даже если под документом стоит подпись политика, а на телевизионном экране появляется его улыбка.

Возникает вопрос: если государством управляют чиновники, чем же тогда занимаются политические деятели? Подобную деятельность вряд ли можно назвать искусством управления, скорее искусством рекламы. Да, политики занимаются именно этим. Они служат рекламными агентами нашего подлинного, скрытого правительства — чиновничества.

Дэвид Фрост и Энтони Джей (Англия).

Англии — с любовью. 1967 489





ПЭЛЛ-МЭЛЛ И СЕНТ-ДЖЕЙМС

Трехэтажный особняк на Пэлл-Мэлл. Подъезд с номером 104 на высоком цоколе. Кроме номера дома, тщетно искать тут какую-либо другую надпись. Считается, что те, кому надо, и так знают, где расположен Реформ-клуб, один из прославленных лондонских клубов, сосредоточенных на улицах Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс; тот самый Реформ-клуб, откуда начал и где закончил свое путешествие вокруг света за 80 дней знакомый читателям Жюля Верна английский джентльмен по имени Филеас Фогг.

Нажав бронзовую рукоятку, я потянул на себя резную дубовую дверь, переступил порог и оказался перед величавой фигурой швейцара со взглядом главы государства, принимающего верительные грамоты.

— Сэр?..

Трудно описать словами сложную эмоциональную гамму, которая окрашивала это единственное слово. Была в нем и предупредительность, и подспудное высокомерие к постороннему, и та подчеркнутая учтивость, которая принята здесь обитателями высших сфер в общении с простыми смертными. Стараясь избежать суетливости, в которую порой впадаешь, когда приходится предъявлять водительские права инспектору ГАИ, я достал визитную карточку и как можно небрежнее произнес:



— Меня ожидает мистер такой-то. С тем же выражением вежливой невозмутимости швейцар слегка наклонил голову:

— Гардероб налево вниз, сэр. А мистер такой-то ждет вас в холле.

Холл Реформ-клуба — это поистине дворцовый зал, обрамленный двухъярусной колоннадой и перекрытый застекленным куполом. Мраморный мозаичный пол, темное золото коринфских колонн, обитые шелком стены. Архитектор Чарлз Бэрри, удачно воссоздавший традиции готики в своем проекте нынешнего Вестминстерского дворца, выстроил дом номер 104 на Пэлл-Мэлл в стиле Палладио. Реформ-клуб был предназначен стать оплотом английских либералов. Именно здесь обсуждались планы политического противоборства, которое когда-то вели между собой за власть виги и тори; именно здесь встречались со своими единомышленниками лидеры либеральной партии от Гладстона до Ллойд Джорджа.

В холле слышится приглушенный гул голосов. Несколько десятков человек степенно переговариваются, держа в руках бокалы с шерри. Что связывает их с именитыми вигами викторианской эпохи, чьи бюсты расставлены в нишах между колонн, чьи портреты развешаны на стенах?

До сих пор каждый вступающий в Реформ-клуб обязан торжественно заявить, что он, во-первых, поддерживает реформы 1832 года и что, во-вторых, он не банкрот. В остальном же его членство практически не связано с партийной принадлежностью (хотя ревностный тори, скорее всего, предпочтет Карлтон-клуб).

Само слово «Реформ-клуб» должно было воплощать идею бунта против консерватизма. Но до чего своеобразны эти английские бунтари-реформаторы! «Членов клуба просят соблюдать правило о том, что дамы, являющиеся их гостями, не имеют доступа на галерею» — гласит надпись



на парадной лестнице. Проявив в XX веке неслыханный для улиц Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс либерализм, Реформ-клуб решился открыть для женщин двери этой обители поборников женского равноправия. Однако подобная уступка времени была сделана с оговорками. Женщины вправе находиться только в одной из гостиных и обедать лишь в отдаленном конце зала за последней парой колонн.

За высокими окнами столовой зеленеет безукоризненно ухоженный газон. Великовозрастные официанты с бакенбардами вельмож XIX века разносят графинчики кларета. Что же касается самого обеда, то его подают женщины. Их первое появление здесь в качестве официанток в 1914 году было со стороны джентльменов демонстративной жертвой на алтарь патриотизма, пока шла Первая мировая война. То же самое вновь повторилось в 1939 году, однако на сей раз женщины остались тут навсегда, уже как вынужденная жертва на алтарь экономии.

Другую уступку времени олицетворяет собой электрическая кофеварка на галерее. Джентльмены сами наливают себе кофе, прежде чем идти дремать в библиотеку.

— Считается, что это лучшая клубная библиотека в Лондоне, — полушепотом говорит мой спутник, оставляя меня наедине с книжными полками и старыми кожаными креслами.

Пока он курит послеобеденную сигару где-то по соседству, с любопытством оглядываюсь по сторонам. «Тишина!» — возвещает плакат со стены. В библиотеке действительно царит молчание, нарушаемое лишь шелестом газетных страниц, звяканьем чашек о блюдца да посапы-ванием дремлющих джентльменов. Самая зачитанная из всех книг на ближайших полках — это справочник о титулах. В нем можно прочесть, ка-



кую школу и какой колледж окончил лорд такой-то, в каком полку он служил, за кого вышли замуж его дочери. Такова, стало быть, изнанка английской щепетильности: не решаясь задавать собеседникам личные вопросы, члены клуба вынуждены черпать сведения друг о друге из таких вот официальных справочников. Портреты на стенах, бюсты в нишах, дремлющие фигуры в глубоких креслах — все это неподвижное безмолвие словно переносит в музей восковых фигур, заставляет вспоминать услышанный от хозяина за столом старый каламбур: «Клуб — это место, где можно молчать или дремать в компании интереснейших людей, платя за эту привилегию сто фунтов стерлингов в год».

Можно ли принимать эту шутку всерьез? Почему столь живучи лондонские клубы? Каким целям они служат? В последнее время много говорят и пишут о закате этих джентльменских святынь, о том, что для них наступили трудные времена. Действительно, из ста двадцати клубов, процветавших в британской столице до Второй мировой войны, до наших дней дожили лишь около сорока. Остальные либо вовсе прекратили свое существование, либо слились с другими. Содержать помещение, нанимать рабочую силу становится все труднее. А повышать членские взносы — значит терять клиентуру, что, в свою очередь, ведет к новому увеличению взносов и новым потерям. Как выразился один из менеджеров на Пэлл-Мэлл, «клубам в наши дни приходится тратить больше, а джентльмены стараются тратить меньше».

Дело не только в том, что джентльмен XIX века был более свободен в средствах. Сам его день складывался иначе — и во времени, и в пространстве. Чаще всего он жил в непосредственной близости от Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс, так что



клуб служил ему вторым домом. Ныне же, когда состоятельные люди переселились в предместья, подальше от тесноты, шума и копоти большого города, мало кому охота оставаться в центре города после рабочего дня. Потомки былых завсегдатаев клубных гостиных, бильярдных и курительных комнат разъезжаются по домам, к своим семьям, палисадникам и телевизорам. Так что обычай коротать вечера на Пэлл-Мэлл или Сент-Джеймс поддерживают теперь разве что провинциалы, приезжающие по делам в Лондон (клубы предоставляют своим членам комнаты для ночлега по гораздо более умеренным ценам, чем в гостиницах), да мужья, дожидаящиеся развода.

Однако даже если разговоры о закате лондонских клубов не лишены оснований, вряд ли можно утверждать, что дни их сочтены. Ибо любой из особняков на Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс — это не просто «место, где можно молчать в компании людей, объединенных общностью интересов». При всех переменах послевоенных лет клубы сохранили свою главную функцию: быть местом, где стыкуются, более того — исподволь приводятся к общему знаменателю интересы различных кругов, составляющих верхушку британского общества.

Британия, подчеркивает английский публицист Клайв Ирвинг, управляется через разветвленную сеть личных контактов и связей — самую скрытую систему правления в западном мире. Британцы изобрели джентльменский клуб, и различные вариации клубных принципов являются неотъемлемой чертой потайного механизма власти. В то время как более разительные атрибуты классовой системы исчезли, клуб попросту перенес их в подполье. Вряд ли можно придумать более благовидное прикрытие для дискриминации, более



удобную форму для отсеивания элиты общества, чем лондонские клубы, каждый из которых вправе сам определять условия для членства в нем.

Между особняками на улицах Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс существует негласная, но строгая градация. Каждая ступень этой лестницы имеет как бы свое решето, которое отсеивает все более и более узкий круг избранных. Того, кто удостоен членства в наиболее старых и почитаемых клубах «Уайтс» (1693), «Буддлз» (1762) или «Брукс» (1764), охотно примут в «Этенеум» (1829), «Карлтон» (1832), «Реформ» (1836) — словом, в любой из трех дюжин других клубов. Перемещение же снизу вверх куда труднее. Меняется решето — меняется и калибр личностей, общающихся под одной крышей, а стало быть — кругозор их интересов, масштабность проблем, которые они обсуждают.

Термин «истеблишмент», трактуемый ныне как устой власти, как совокупность очевидных рычагов и скрытых пружин механизма управления, вошел в политический лексикон Лондона сравнительно недавно. (Прежде, в течение четырех веков после того, как Генрих VIII в 1534 году порвал с римским папой, под «истеблишментом» понималась англиканская государственная церковь, тогда как тех, кто не желал примыкать к ней, именовали «диссидентами».)

Правящие круги Великобритании — понятие отнюдь не однозначное. Тут родовые кланы старой земельной аристократии и тесно связанная с ними чиновничья элита; тут финансовая олигархия и большой бизнес; тут профессиональные политики и газетные магнаты. У каждой из таких групп могут быть и свои, частные интересы, свои, отнюдь не во всем совпадающие взгляды на проблемы дня, свой подход к ним. Британский



истеблишмент основан на принципе разделения труда. При сложном переплетении приводов власти они освобождены от жесткого взаимоподчинения, и каждый из них в своей сфере в значительной степени автономен. Общая политическая линия правящих кругов — это как бы равнодействующая, которая вырисовывается из подчас несовпадающих интересов различных полюсов власти на основе взаимных компромиссов. Этот процесс «выявления политики» складывается в основном из частных рекомендаций, отнюдь не имеющих обязательной силы, но в конечном счете весьма результативных.

Обедая в клубе с редакторами двух воскресных газет и директором телевизионной компании, управляющий Английским банком может посетовать, что легкомысленная сенсационность, с которой пресса расписывает очередной приступ валютной лихорадки, наносит большой урон финансовым интересам Британии. Это, разумеется, не директива, а лишь частное мнение. Оно вряд ли разом изменит тон комментариев, но, по всей вероятности, приведет к постепенному перемещению акцентов.

— Люди часто забывают, — говорит лорд Чандос, — что за словом «истеблишмент» кроется гигантский обмен информацией. К примеру, кто-то подходит ко мне в клубе и говорит: «Как насчет назначения такого-то председателем того-то?» А я отвечаю: «М-м, пожалуй». «Спасибо, старина, — кивает он. — Это все, что я хотел узнать».

Хотя на Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс вроде бы и не полагается говорить о делах, именно в таких мимолетно брошенных фразах подчас предрешаются многие политические и деловые вопросы, обговариваются важные назначения и перемещения.

— Нет ничего, что не могло бы быть решено в течение часа за бокалом шерри



в клубе «Уайтс», — говорят в британских коридорах власти.

Как удобный и отлаженный канал для сведения многих точек зрения, из которых вырисовывается некая равнодействующая, клубы играют весьма существенную, хотя и не поддающуюся точному учету роль в политической системе Великобритании. В неофициальной, но надежно огражденной от посторонних атмосфере клубных гостиных, среди потертых кожаных кресел и старинных портретов вступают в соприкосновение друг с другом разнородные силы, образующие сложную молекулу истеблишмента. Именно в клубах вплоть до главного из них — палаты лордов — аристократы общаются с банкирами, промышленники — с министрами, владельцы газет — с парламентариями. Разумеется, подобные контакты происходят и в других местах, но клубы предоставляют для этого самый удобный, проверенный, традиционный канал. Где бы ни принимались окончательные решения, они чаще всего предварительно обговариваются, согласовываются и шлифуются именно здесь.

Вот почему Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс служат в британской политической системе столь же нарицательными понятиями, как Вестминстер и Уайтхолл, как Сити и Флит-стрит.

В стране, которая считается образцом демократии, бразды правления находятся отнюдь не в руках людей, избранных для этого. Власть парламента неуклонно размывается: подлинная власть находится вне его, в руках других сил, которые пронизывают своим влиянием всю страну, но как бы не имеют определенной формы. Их взаимодействие является загадкой: они сливаются, разделяются и снова сливаются. Единственно осязае-



мым звеном этих контактов служат аристократические клубы «Этенеум», «Карлтон», «Брукс», «Уайтс» на улицах Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс. Именно там расположен пульт управления, от которого исходят сигналы.

Клайв Ирвинг (Англия).
Подлинный брит. 1974

В клубах на обедах при свечах завершает полный оборот спираль «разделения труда» в управлении Британией; здесь вновь синтезируется то, что расходуется по отдельным каналам власти: решенное в «Уайтсе», подтвержденное в зале заседания кабинета в особняке на Даунинг-стрит, одобренное Вестминстером и исполненное Уайтхоллом снова возвращается потом в «истеблишмент» Сити, в клубы — в виде новых проблем, снова обговаривается и принимает форму политического курса.

Разумеется, все это происходит совсем не так примитивно и гладко, как то выглядит на схеме (схемы общественных отношений вообще очень примитивны и приблизительны). Единым и монолитным классом власть предержащие выступают только в борьбе против другого класса — класса рабочих. Внутри же интересы группировок различны и часто противоречивы, и процесс их согласования — это процесс выявления каких-то общеприемлемых для этих группировок компромиссов, а он извилист и сложен, и прихотлив, как русло равнинной реки, которая круто петляет, и возвращается назад, и оставляет с годами на своем пути старицы, мелеющие и зарастающие осокой, но иногда вдруг снова на какой-то отрезок становящиеся основным руслом и снова набирающие силу.





ФЛИТ-СТРИТ И СКОТЛЕНД-ЯРД

Флит-стрит — это не просто название лондонской улицы, которая идет от цитадели британского капитала, Сити, в западную часть столицы, где расположены центры политической власти Вестминстер и Уайтхолл. Когда упоминают Флит-стрит, имеют в виду большую прессу Британии, хотя многие ведущие газеты давно уже перекочевали оттуда — кто на улицу Грэйз-инн, кто на южный берег Темзы. Англичане — заядлые любители читать газеты. Без них они не могут прожить и дня, а уж тем более — воскресенья. По тиражам на душу населения Британия наряду с Японией занимает одно из первых мест в мире. Флит-стрит, стало быть, олицетворяет важную сторону британской действительности.

Раскроем официальный справочник. «Британская пресса, — говорится в нем, — апеллирует к разнообразным политическим взглядам, разным уровням образования, широкому кругу интересов. В стране выходит свыше 130 ежедневных и воскресных газет, владение которыми сосредоточено в руках сравнительно небольшого числа крупных издательских групп». При всей туманной расплывчатости этих слов за ними сквозит хотя бы одна очевидная и бесспорная истина: идет неумолимый процесс монополизации британской прессы. О степени ее можно судить по тому факту, что пять ведущих концернов составляют 85 процентов общего газетного тиража.



Издание газет традиционно было в Англии делом семейным. Томсоны, к примеру, выпускали «Таймс», Бивербруки — «Дейли мейл», Асторы — «Обсервер». За последние десятилетия у многих газет не только сменились хозяева. Современные бароны Флит-стрит перестали быть исключительно или даже преимущественно газетными магнатами. Теперь каждый из них чаще всего крупный монополист, который контролирует обширную империю, охватывающую не только издательское дело, но и бумажную промышленность, телевидение, радио, электронику, а также области, вовсе не связанные со средствами массовой информации.

Группа «Ассошиэйтед ньюспейперс» (которую контролируют лорд Ротермир и семья Хармсуорт) не только выпускает «Дейли мейл» и «Лондон ивнинг ньюс», но и участвует в добыче нефти Северного моря, торгует земельными участками и стройматериалами, владеет двумя столичными театрами. Вотчина Руперта Мердока, группа «Ньюс интернэшнл», издающая «Сан» и «Ньюс оф де уорлд», имеет коммерческие интересы в горнодобывающей промышленности, транспорте, телевидении, радио, грамзаписи. Концерн «Графальгар хауз» (перекупивший у наследников лорда Бивербрука газеты «Дейли экспресс» и «Санди экспресс») занимается судоходством, строительством, торговлей недвижимостью. А старейшая английская воскресная газета «Обсервер» перешла в собственность американской нефтяной компании «Атлантик ричфилд».



Некоторые владельцы утверждают, будто они не вмешиваются в редакционные дела. Но если именно они назначают и смещают редакторов, подбирая, разумеется, именно таких людей, которые разделяют их политические взгляды, то это озна-

чает, что решающее слово в направлении газеты в конечном счете принадлежит им. Владелец «Дейли экспресс» и «Санди экспресс» Виктор Мэтьюз выразился на сей счет вполне недвусмысленно.

— Редакторы, — сказал он, — имеют полную свободу, пока они согласны с намеченным мною политическим курсом.

Предшественник Мэтьюза — лорд Бивербрук говорил в свое время:

— Я издаю газету исключительно ради пропаганды, и ни для чего больше!

Его конкурент — лорд Томсон предпочел сделать упор на другом:

— Деньги мне нужны, чтобы скупать еще больше газет, а новые газеты нужны для того, чтобы делать еще больше денег...

Откровения баронов Флит-стрит вряд ли следует считать противоречивыми. Они, скорее, дополняют друг друга. Пресса стала большим бизнесом. Поскольку продажная цена британских газет не покрывает расходов на их выпуск, они фактически содержатся на деньги поставщиков рекламы. Тем самым к первичной зависимости от владельцев добавляется еще и вторичная зависимость от рекламодателей.

«Тот, кто контролирует господствующие позиции в экономике и финансах Британии, тот держит в своих руках и контроль над средствами массовой информации — прессой, телевидением, радио, книгоиздательством, кинематографией. Трудящиеся, члены профсоюзов не могут рассчитывать, что такое положение вещей будет служить их интересам, тем более содействовать приходу к власти подлинно широкого демократического движения народных масс. Вот почему средства массовой информации в Британии являются на сто



процентов антисоциалистическими и прокапиталистическими», — пишет лорд Бригиншоу, в прошлом печатник, который стал видным профсоюзным деятелем и даже был возведен в пэры.

Право собственности на газеты, телекомпании и радиостанции, разумеется, только видимая верхушка айсберга, лишь часть тайных струн, которыми клавиатура Флит-стрит соединена с британским истеблишментом. Но хотя многие другие подспудные пружины скрыты от посторонних взоров, конечный результат налицо. При кажущейся на первый взгляд разногласии Флит-стрит представляет собой слаженный оркестр, где каждый исполняет свою партию и лишь интерпретирует на свой лад некий общий лейтмотив.

Кто же дирижирует этим оркестром? Кто и как приводит в движение механизм, предназначенный манипулировать общественным мнением? Тщетно искать ответ в беседах с теми, кто заправляет в Лондоне прессой и эфиром. С видом оскорбленной невинности они изобразят изумление самой постановкой вопроса и примутся снисходительно-назидательным тоном пояснять, что британская пресса потому, мол, и именуется себя свободной, что каждый журналист волен писать, что ему вздумается, и что каждая газета знать не знает никаких рекомендаций со стороны.

На Флит-стрит, да и вообще «в высоком лондонском кругу», избегают говорить об идеологии. Ее стараются изобразить понятием чужеродным, несвойственным английской натуре: идеология, мол, потворствует предвзятости и препятствует объективности.

«В Англии не любят идеологию, — пишет американский социолог Дэвид Коллио в книге “Будущее Британии”. — Англичанам из поколения в поколение вну-



шали, что политический строй их страны основан на прочном английском прагматизме, превосходящем все, что есть у несчастных обитателей континента, которые погрязли в поисках рациональных систем и опасных заблуждениях философского идеализма».

Как и сама страна, британские газеты придерживаются классовых различий. Вы есть то, что вы читаете. Наверху читают «Таймс» или — при склонности мыслить социальными категориями — «Гардиан». Буржуазия читает «Дейли телеграф», которая, как и ее подписчики, занимается наивным лицемерием, скрывая под сдержанной внешностью пристальный интерес к пикантным придворным подробностям. Простонародье берет или «Дейли миррор», или «Сан» — неприглядное творение австралийца Руперта Мердока. Где-то посередине, вдоль нечетких рубежей мелкой буржуазии дрейфуют «Дейли мейл» и «Дейли экспресс» (самая беззастенчиво расистская газета в Британии). Действительно серьезная журналистика появляется лишь по воскресеньям в «Обсервер», «Санди таймс» и иногда — в «Санди телеграф».

Разнокалиберная артиллерия Флит-стрит производит не столько выстрелы, сколько хныканье. Ей не по плечу мериться силами с засекретившимся правительством. Там, где больше всего требуется зоркость, британские редакторы слепы. Они все еще держат своих репортеров там, где должна быть власть — в Вестминстере, а не там, где она есть — в Уайтхолле. Это лишь на пару кварталов дальше, но порой равнозначно тысячам миль.

*Клайв Ирвинг (Англия).
Подлинный брит. 1974*



Средства массовой информации сосредоточены в руках людей, которые 503

разделяют взгляды правящего класса. В результате способность британской печати действительно ставить под вопрос, разоблачать слова и дела тех, кто занимает руководящие посты, более ограничена, чем в Америке, причем не столько политической и юридической цензурой, сколько самоцензурой, порожденной общностью взглядов и представлений. Поэтому британская правящая элита может действовать в условиях секретности, не подвергаясь непрошеным вторжениям и обмениваясь информацией лишь с другими избранными членами узкого и доверенного круга.

Даниэл Сноумэн (Англия).

Лобызавующиеся кузины.

Сравнительная интерпретация британской и американской культур. 1977

Британская пресса содержит кое-что из лучшего и многое из худшего, что есть в журналистике. Присущая ей тенденция скорее развлекать, чем просвещать, огорчит всякого, кто считает, что демократия может успешно функционировать на основе хорошо информированного общественного мнения.

Дрю Миддлтон (США).

Британцы. 1957

На пути от Виндзорского замка ко дворцу Хэмптон-корт экскурсионные автобусы обычно сворачивают к Темзе, чтобы иностранные туристы смогли увидеть луг, где в 1215 году восемнадцать баронов заставили короля Иоанна скрепить своей печатью Великую хартию вольностей — ту самую Магна Карту, от которой, как говорится в здешних путеводителях, ведет свою родословную британская демократия. Гиды не преминут



подчеркнуть, что именно из Магна Карты, как дуб из желудя, выросли свобода личности, неприкосновенность частной жизни, терпимость к инакомыслию.

Возле конной статуи Карла I на Трафальгарской площади гиды напоминают о назидательной судьбе этого короля, который был обезглавлен за то, что, вопреки Великой хартии вольностей, своевольничал с парламентом. Иностранцам расскажут, что и сама Трафальгарская площадь служит как бы олицетворением британской демократии, ибо здесь вправе проводить свои митинги (заручившись разрешением полиции) представители любых политических течений. Впору спросить экскурсовода, с какой же целью на крышах зданий, обрамляющих этот «оазис свободомыслия», установлены полицейские телекамеры? И как совместить свободу личности, неприкосновенность частной жизни, политическую терпимость с негласной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров, составлением черных списков «неблагонадежных элементов», на основе которых люди подвергаются репрессиям не только в своей общественной, но и трудовой деятельности?

О Магна Карте средний англичанин знает куда больше, чем о мультикартотеке, где на него заведено досье, в которое непрошенные биографы тайно заносят факты о его взглядах и поведении. Как-то промелькнуло сообщение о том, что служба контрразведки МИ-5 при содействии Особого отдела Скотленд-Ярда регулярно представляет правительству доклады о деятельности руководителей Британского конгресса тред-юнионов. По словам видного лейбориста Робина Кука, в Особом отделе Скотленд-Ярда заведены дела на три с лишним миллиона «политически неблагонадежных лиц».

Подобные факты объясняют интерес читателей к книге прогрессивного жур-



налиста Тони Баньяна «Политическая полиция в Британии». Уже само ее заглавие развенчивает идеал, о котором веками мечтательно вздыхали либеральные интеллигенты Европы, — образ «колыбели демократии», где как пример терпимости к вольнодумству заморским туристам демонстрируют уголок ораторов в Гайд-парке.

В книге приводится обширный фактический материал о роли полиции в британской политической жизни, о расширении ее сотрудничества с армией и разведывательными службами. Хотя деятельность этих органов обычно рассматривается изолированно, они представляют собой взаимосвязанные части единого механизма, подчеркивает автор. К рычагам этого механизма относится использование уголовного законодательства против политической оппозиции, применение различных методов слежки, включая прослушивание телефонных разговоров, вскрытие писем, использование доносчиков и провокаторов.

Автор подробно показывает роль Особого отдела Скотленд-Ярда как политического органа полиции, ведущего постоянное наблюдение за составом и деятельностью общественных организаций и профсоюзов. Полицейский компьютерный центр в Гендоне позволяет вести досье на 36 миллионов имен, то есть практически на все взрослое население страны.

Британское государство, напоминает Тони Баньян, издавна применяет уголовное законодательство против политической оппозиции.

Инакомыслящих можно обвинить в «подстрекательстве к мятежу» («попытка вызвать недовольство, внушить ненависть или неуважение к правительству или конституции, посеять рознь и вражду между различными группами подданных Ее Величества») или в «преступном сговоре» по закону 1875 года.



В случае беспорядков, говорится в книге, правительство может ввести в действие закон 1920 года «О чрезвычайных полномочиях». Он предусматривает разделение страны на округа, вся полнота власти в которых перейдет «тройкам» в составе гражданского комиссара, начальника полиции и командующего войсками. Созданный в середине 70-х годов Комитет национальной безопасности (куда входят представители вооруженных сил, разведывательных служб, полиции, ключевых хозяйственных ведомств) занимается подготовкой автономных систем энергоснабжения, планами использования войск для содействия полиции, а также для того, чтобы предотвратить паралич наиболее важных звеньев промышленности и транспорта в случае всеобщей забастовки.

Итак, каждый рычаг в британском истеблишменте предназначен для определенной роли. Для убеждения, для того, чтобы не дать инакомыслящим «выиграть бой за умы людей», существует Флит-стрит. А для тех, на кого не действует гипноз средств массовой информации, припасены средства принуждения в лице Скотленд-Ярда с его разведывательными и карательными службами.





ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Запах сена и запах водорослей. Мычание коров и крики чаек. Узкие, извилистые, непривычно пустынные дороги. Вместо чадающих грузовиков — только повозки с молочными бидонами да гурты скота. И каждый встречный приветливо машет кепкой. Чувствуется, что увидеть человека в этих местах — радостное событие. Западная окраина Европы встречается тут с Атлантикой. Это Ирландия, где чувствуешь себя после Англии в совершенно другом мире, где даже само время течет по-иному. В отличие от умеренности и упорядоченности английской природы все вокруг изобилует чрезмерностями и в то же время хранит в себе какую-то доисторическую первозданность.

Если не считать моря и неба, в портрете Ирландии преобладают две краски: свежесть травы спорит с сединой камня. Даже изгороди из серых камней, разделяющие пастбища на склонах, кажутся такими же неподдельно древними, как развалины средневековых крепостей и сторожевых башен. Ирландская природа поражает тем, что донныне выглядит почти такой же нетронутой и необитаемой, как в те далекие века, когда последователи святого Патрика строили монастыри и воздвигали на взгорьях каменные кельтские кресты. И в этом безлюдье, как и в том, что лишь в отдаленных селениях Атлантического побережья сохранил свои последние корни местный язык, отражена трагическая судьба ирландского народа.



Ирландия была для Англии не только близким соседом, но и серьезным соперником. Накануне промышленной революции, когда население Великобритании составляло 13 миллионов человек, в Ирландии оно приближалось к 10 миллионам. Попросту не укладывается в голове, что лишь за два столетия соотношение это могло измениться столь разительно: 58 миллионов в Соединенном Королевстве и около 4 миллионов в Ирландской Республике. Даже если добавить к ним 1,5 миллиона жителей Северной Ирландии, получается, что, если население Великобритании выросло более чем вчетверо, на Зеленом острове оно за это же время сократилось вдвое.

Примечательно, что начало заморским завоеваниям будущей Британской империи было положено как раз в пору пребывания на ватиканском престоле первого и единственного за всю историю англичанина — папы Адриана IV. Именно с его благословения Генрих II Плантагенет снарядил в 1171 году 400 кораблей и вторгся на Зеленый остров. В том, что мечи рыцарей-крестоносцев разили христиан, папа не усматривал греха. В Западной Европе только ирландская католическая церковь была тогда независимой от Рима. Так что найти повод для кровопускания было нетрудно.

По заказу Адриана IV и Генриха II угодливый богослов Гиралдус Камбрэнсис состряпал «Историю завоевания Ирландии». Он изобразил ее жителей дикарями и язычниками, которые лишь притворялись христианами; людьми коварными и невежественными, необузданными и суеверными. Сие писание стало на последующие века некой индульгенцией для палачей Ирландии, создало стереотип предубеждений, нужный колонизаторам для оправдания своих действий. Стереотип



оказался универсальным. Он одинаково исправно служил и завоевателям-католикам, ссылавшимся на волю папы, и тем воинствующим протестантам, которые усматривали потом в любом выступлении против английского ига «длинную руку Рима».

Подобно тому, как Ирландия стала первой британской колонией, стереотип предубеждений в отношении ирландцев явился зародышем имперской идеологии. Именно отсюда берет свое начало представление о народах колоний как о существах иного сорта; именно из этого стереотипа выросла впоследствии идея о том, что «десять заповедей не имеют силы к востоку от Суэца».

Лондонские либералы брезгливо отмежевывались от южноафриканских расистов. А между тем именно система апартеида была излюбленным оружием завоевателей с первых же веков их господства в Ирландии. Полоса восточного побережья, прилегающая к Дублину, и сейчас заметно отличается от остальной части острова, всем своим обликом напоминая английское графство. Эта донныне зримая географическая граница совпадает с цепью крепостей и сторожевых башен, которые начали возводить для защиты первых английских поселенцев еще во времена Генриха II. Этой оградой («Пейл») для ирландцев была очерчена запретная зона. В «ограде» ирландцы могли лишь работать, но не жить. Они не имели права говорить на родном языке и носить национальный костюм. Строжайше запрещались смешанные браки между ирландцами и англичанами.



510 Именно на ирландской земле аграрный термин «плантация» впервые обрел новый, социально-экономический смысл, став символом колониального рабства. После неудачи одного из очередных восстаний в эпоху Елизаветы I земли северо-вос-

точных графств были провозглашены собственностью британской короны и проданы англо-шотландским колонистам.

Массовое изгнание коренного населения с наиболее плодородных земель северо-востока, начатое именем британской короны, было с еще большей жестокостью продолжено противником монархии — Кромвелем. Его политика в отношении ирландцев сводилась к словам: «К чертям в пекло или в Коннот!» Эта западная провинция с бесплодными каменистыми взгорьями, обращенными к Атлантике, должна была стать для изгнанников либо голодным гетто, либо дорогой еще дальше — на чужбину.

Англо-шотландские поселения создавались на ирландской земле точно теми же методами, что и первые табачные или хлопковые плантации в Америке. В Лондоне не любят вспоминать, что английские работорговцы (чьи барыши во многом помогли Британии стать владычицей морей и промышленной мастерской мира) начали поставлять живой товар плантаторам Нового Света отнюдь не из Африки, а из Ирландии. Оттуда было вывезено в Вест-Индию более 100 тысяч мужчин, женщин и детей.

Топор пресловутых «карательных законов» подрубил корни ирландской экономики, разорил ее земледельцев и скотоводов, ремесленников и торговцев. Ирландских крестьян лишили не только наделов, но и вообще права покупать землю и даже арендовать ее на длительный срок. Не зная, когда их сгонят с участка, они теряли заинтересованность в повышении плодородия полей. Ирландским ремесленникам было запрещено иметь более двух подмастерьев, передавать свое имущество по наследству.

Та самая Англия, которую принято считать поборницей свободы морепла-



вания, бесцеремонно отрезала Ирландию от экономических связей с внешним миром. Несмотря на обилие удобных портов для торговли с Европой и Америкой, прямой товарообмен с другими странами, и в частности вывоз ирландской шерсти на континент, был запрещен в угоду английским купцам.

Та самая Англия, которая привыкла кичиться незыблемостью гражданских свобод, похвалиться терпимостью к инакомыслию, не позволяла жителям завоеванного острова говорить на ирландском языке, обучать детей родной речи. За голову подпольного учителя в XVII веке выплачивалось вознаграждение, как за убитого волка.

«Карательные законы» были нацелены на то, чтобы обескровить страну, лишит коренное население не только политических прав, но и доступа к знаниям и к какой-либо профессиональной карьере. Вплоть до «эмансипации» католиков в XIX веке ирландец не мог стать ни учителем, ни врачом, ни юристом, ни чиновником. Ему оставалось быть лишь временным арендатором клочка земли, мелким ремесленником или... эмигрировать на чужбину.

Эмиграция на века стала для Ирландии кровоточащей раной. Причем поистине массовый характер придали ей Великий голод 1845–1847 годов. С тех пор как из Нового Света на Британские острова был завезен картофель, он стал единственным спасением для многосемейных ирландских крестьян. Ни овес,

ни ячмень не могли бы прокормить мелких арендаторов, согнанных с плодородных земель своих предков на каменистые взгорья западной части острова. Поэтому картофельный неурожай, постигавший Ирландию три года подряд, стал для нее поистине национальной трагедией. В результате бедствия население острова за несколько лет сократилось вдвое. Причем, хотя от голода вымира-



ли целые селения, все это время продолжался вывоз зерна и скота в Англию: землевладельцы требовали причитавшуюся им ренту. Поток беженцев за океан достиг четверти миллиона человек в год, хотя смерть от истощения и эпидемий косила тысячи людей и на судах, прозванных «плавучими фобами».

Последствия Великого голода поныне дают о себе знать. Ирландия представляет собой единственную страну в Европе, население которой с середины XIX века не возросло, а сократилось. До Великого голода большинство жителей острова говорили на ирландском языке. Вопреки репрессиям колонизаторов родная речь оставалась для них главным средством устного общения. К 1900 году число говорящих на ирландском языке сократилось до 600 тысяч, а ныне составляет менее одной трети этой цифры. Язык, задушенный поработителями, не удастся возродить и после обретения независимости. Хотя преподавание его введено в школах, им пользуются как разговорной речью лишь в отдаленных селениях Атлантического побережья, главным образом в провинции Коннот, которая по воле Кромвеля должна была стать зоной сегрегации, ирландским гетто.

Эта же западная часть острова наиболее обескровлена эмиграцией. Серые камни развалин остаются столь же характерной чертой портрета Ирландии, как и ее зеленые луга. Чем-то роковым веет от этого безлюдья — словно ходишь по древнему погосту или полю брани. Тут и там среди кустов боярышника и пышного многотравья проглядывает каменная кладка навсегда оставленных человеческих гнезд. Давно сгнили и солома крыши, и дерево стропил. Но прямоугольник стен по-прежнему возвышается над зеленью, словно памятник исчезнувшим обитателям. «Дюжина развалин, дюжина заколоченных домов, полдюжины



пивных — вот что такое ирландская деревня», — с горькой иронией говорят в народе.

История завоевания и порабощения Ирландии беззастенчиво отмечает те либеральные идеалы, которыми благонамеренная Англия привыкла кичиться как своим вкладом в цивилизацию. Чтобы оправдать эту вопиющую несовместимость, вот уже целых восемь веков используется тот самый стереотип предубеждений об ирландцах, который был создан еще во времена Генриха II Плантагенета.

«Живя в нищете из поколения в поколение, ирландцы стали во многом нечувствительны к ней», — утверждала «Таймс» 8 декабря 1843 года. Даже в годы Великого голода в лондонских гостиных не хотели верить, что сотням тысяч семей действительно грозит смерть от истощения: слишком много говорилось, что ирландцы бедны потому, что они ленивы. Законопослушному английскому обывателю изо дня в день внушали, будто ирландцам органически присуща склонность к насилию, будто каждый из них потенциальный правонарушитель. (Хотя присущее ирландцам презрение к законам было, разумеется, наследием веков колониального ига, когда законы олицетворяли для них тиранию.)

«Ирландцы ненавидят наш процветающий остров. Они ненавидят наш порядок, нашу цивилизованность, нашу предприимчивость, нашу свободу, нашу религию. Этот дикий, безрассудный, непредсказуемый, праздный, суеверный народ не может питать симпатий к английскому характеру», — писал в «Таймс» полтора века назад будущий английский премьер-министр Бенджамин Дизраэли.

Разумеется, в Лондоне, в том числе и в палате общин, во все века находились люди, которые видели подлинные причины бед Ирландии в британском иге и открыто говорили об этом. Но их одинокие голоса



не могли воздействовать на политику и даже существенно повлиять на предвзято настроенное общественное мнение.

Все, что выходит за рамки конституции, кажется англичанам неправомерным. Ведь полномочия, предоставляемые законом, обычно оказывались достаточными, чтобы справиться с любой чрезвычайной ситуацией. И может показаться жестоким и несправедливым рекомендовать в отношении ирландцев то, что мы сочли бы неприемлемым для самих себя. Но будем руководствоваться обстоятельствами. Если преступления оказываются не английскими и если английские средства пресечения их не срабатывают, почему бы не применить другие, не английские меры там, где насилие не удается поставить под контроль?

Газета «Таймс» (Англия),
2 декабря 1846 года

Мы держим ирландцев в темноте и невежестве, а потом удивляемся, как они могут быть столь суеверными; мы обрекаем их на бедность и невзгоды, а потом удивляемся, откуда у них склонность к смуте и беспорядкам; мы связываем им руки, лишая их доступа к предпринимательской деятельности, а потом удивляемся, почему они так ленивы и праздны.

Томас Кэмпбелл (Англия).
Философские исследования
юга Ирландии. 1778

Я прибыл из Ирландии, милорды,
Вам сообщить: мятежники восстали,
Подняв оружие на англичан.

Эти слова произносит гонец в трагедии Шекспира. Вряд ли во всем творчестве великого драматурга найдется репли-



ка, которая столь часто обретала бы злободневное политическое звучание с английских театральных подмостков. Национально-освободительная борьба принимала то одну, то другую форму, но не утихала никогда.

Ирландия — наглядное воплощение империалистической политики «разделяй и властвуй». Когда английское господство зашаталось под ударами национально-освободительной борьбы, Ирландия была в 1921 году расчленена Лондоном с таким расчетом, чтобы потомки англо-шотландских поселенцев, составляющие на острове меньшинство населения, оказались на отторгнутой его части в положении большинства.

В результате раздела около 4 миллионов человек стали гражданами независимой Ирландской Республики, а 1,5 миллиона остались подданными Соединенного Королевства. Этот вероломный маневр не только расколол страну надвое, но и обрек на обострение межобщинной вражды население ее северной части.

«Северная Ирландия насчитывает примерно полтора миллиона жителей. Большинство из них — около миллиона человек — это потомки англо-шотландских колонистов, поселившихся там в начале XVII века. Они традиционно являются юнионистами, то есть сторонниками сохранения унии с Великобританией. Как правило, они принадлежат к протестантской религии. Меньшинство — примерно полмиллиона человек — являются ирландцами по происхождению, католиками по вероисповеданию и чаще всего республиканцами по политическим взглядам, то есть в той или иной степени поборниками воссоединения с Ирландской Республикой». Как много недоговорено в этой официальной исторической справке! Именно с целью



обеспечить за протестантской общиной двукратный численный перевес под властью британской короны была оставлена не вся северо-восточная провинция Ольстер, а лишь шесть ее графств из девяти (на берегах Темзы опасались, что, если отторгнуть Ольстер целиком, из-за многодетности ирландских семей численность обеих общин со временем сравняется). Северную Ирландию в обиходе часто называют Ольстером, хотя это неточно как географически, так и политически. Термин «Ольстер» скорее употребит юнионист, тогда как республиканец предпочтет сказать «шесть графств», давая тем самым понять, что не признает раздела Ирландии.

Когда лондонскому политику приходится растолковывать сложности североирландской проблемы иностранному журналисту, он назидательно поднимает палец:

— Раз протестантов в Северной Ирландии больше, чем католиков, им и держать бразды правления. Другое дело, если они в чем-то злоупотребили своим большинством. Но в ответе за это Белфаст, а вовсе не Лондон. Наша цель — прекратить кровопролитие, прийти к справедливому разделению власти между общинами. Для этого и находится в Ольстере британская армия...

Угрюмые остовы взорванных домов, которые давно перестали восстанавливать. Заколоченные витрины. Бетонные надолбы на проезжей части. Как в городе, занятом противником, движется патруль парашютистов. Одни крадутся вдоль стен с автоматами на изготовку. Другие страхуют их из укрытий, совершая короткие перебежки. А на середине улицы, словно не замечая их, судачат женщины с хозяйственными сумками, возятся шумные ватаги ребятишек. Таким предстает глазам Белфаст. Кажется, будто некий кинорепортер за-



снял на одну и ту же пленку и фронт, и тыл. Грохнул за углом взрыв, промчались санитарные машины. Дымящиеся развалины привычно огородили оранжевой ленточкой. И опять своим чередом идет жизнь. Жизнь на грани смерти.

Где начало и где конец этой необъявленной войны? Не может же религиозный фанатизм так раскалять межобщинную вражду, чтобы католики и протестанты в наш век стреляли друг в друга лишь из-за споров о том, надо ли осенять себя крестным знаменем или кого почитать главой церкви — папу римского или английскую королеву.

Обгорелые кирпичные стены Белфаста вдоль и поперек исписаны лозунгами враждующих сторон. Протестанты сулят смерть католикам, католики — протестантам. Поэтому целительной повязкой на застарелой ране выглядит каждая из листовок, пестреющих тут и там: «Гражданские права, а не гражданская война!» Это голос Ассоциации борьбы за гражданские права Северной Ирландии. «Мы, — говорится в листовке, — осуждаем насилие полувоенных организаций обеих общин и насилие британских сил безопасности, ибо считаем, что самым главным из всех гражданских прав является право на жизнь».

5 октября 1968 года королевская полиция Ольстера учинила расправу над мирным шествием в Дерри. Чего же требовали участники этого первого массового выступления борцов за гражданские права? Чтобы местные выборы проводились по принципу «один человек — один голос». Чтобы был положен конец махинациям при разграничении избирательных округов. Чтобы был отменен закон 1922 года о чрезвычайных полномочиях и распущена военизированная полиция — «специальные силы Б».



Вздыхая по злосчастной судьбе Северной Ирландии, английский либерал не преминет посетовать, что движение за гражданские права лишь подлило де масла в огонь, породило тот порочный круг насилия, который никто не может разорвать. Не уместнее ли задуматься: что же породило само движение за гражданские права на территории, которая с 1921 года считается составной частью Соединенного Королевства? Лондонские политики любят вставать в позу противников насилия и произвола, ревнителей свободы и справедливости в любой части света. Как же они не заметили, что сотни тысяч их соотечественников подвергаются дискриминации, ущемлению гражданских прав? Как на территории страны, которая не прочь выдавать себя за образец демократии, могло возникнуть требование «Один человек — один голос»?

Да, под сенью британской короны, в автономной провинции Северная Ирландия до второй половины XX века дожил имущественный ценз, который лишал участия в голосовании четверть избирателей (в большинстве католиков), давая по несколько голосов крупным владельцам недвижимости и капиталов (как правило, протестантам). Даже в тех городах и графствах, где преобладает католическое население, в местных органах власти оно зачастую оказывалось в меньшинстве. За всю историю существования автономной провинции полумиллионная католическая (то есть ирландская) община ни разу не была представлена в местных органах власти пропорционально ее доле в полутора-миллионном населении Северной Ирландии. Со времени раздела Ирландии управление Севером неизменно основывалось на репрессивных законах. В августе 1969 года в автономную провинцию были введены британские войска. В августе 1971 года



была начата практика интернирования, то есть произвольных арестов и заключения людей в концлагерь без суда. Однако подобные меры не только еще больше накалили обстановку, но и вызвали международный скандал. На судебном процессе в Страсбурге Великобритания была признана виновной в нарушении Европейской конвенции о правах человека, запрещающей пытки, бесчеловечное и унижительное обращение с заключенными.

Ольстерский нарыв открылся взорам мировой общественности во всей своей неприглядности. Он напомнил, что под носом у ревнителей свободы с берегов Темзы, не где-нибудь, а в Соединенном Королевстве, более полувека существует колониальный режим с присущими ему методами подавления.

Вмешательство военных в гражданские дела издавна было распространенной практикой в колониях. Однако именно в Северной Ирландии британской армии впервые довелось взять на себя жандармские функции в условиях европейской страны, на территории Соединенного Королевства.

В свое время в армиях некоторых государств были сторонники раздавать на маневрах по одному боевому патрону на тысячу холостых, чтобы заставить солдат относиться к учениям серьезно. В «автономной провинции» такой необходимости нет. Звуковых эффектов здесь меньше, чем на маневрах. Зато каждый выстрел или взрыв предназначен нести смерть. Не

случайно «школу Ольстера» поочередно проходят все боевые части. Параллельно с этим идет разработка новых видов военной техники, специально предназначенных для различных стадий борьбы против «подрывной и повстанческой деятельности». Именно в Северной Ирландии испытаны в боевых условиях более трехсот технических новинок. Наконец, помимо роли полигона



для обучения войск и испытания карательной техники, Северная Ирландия служит для Лондона лабораторией репрессивных законов. Под предлогом борьбы с терроризмом армия, полиция и суды создали целый комплекс жестких репрессивных мер, которые дают правящим кругам новые возможности для подавления политической оппозиции. «Закон о предотвращении терроризма», действующий на всей территории Соединенного Королевства, позволяет держать семь суток под арестом любого подозреваемого. Именно в Северной Ирландии положено начало новым методам судебного разбирательства — на закрытых заседаниях, без участия присяжных, без выступления свидетелей обвинения в присутствии подсудимого.

Порой кажется, что излюбленное занятие англичан — разглядывать соломинку в чужом глазу, не замечая бревна в своем собственном. Они полны весьма добродетельного негодования по поводу того, что в Америке продолжает существовать рабство (хотя именно они его там насадили), и в то же время без всякого труда не замечают рабства сотен миллионов индийцев. Они читают другим нравоучения о добродетели и долге миролюбия, но без колебания спускают с цепи своих военных псов всюду, где возникают какие-то помехи для их сукон и их ситцев.

Уильям Уэйр (США).

Зарисовки о европейских столицах. 1851

Британцы искренне осуждают порабощение в других частях мира, оставаясь слепыми к его существованию на собственном заднем дворе. Страдания алжирских феллахов, польских батраков или жертв еврейских погромов в России пробуждали в британцах сочувствие, но они оставались сравнительно равнодушными к стонам ирландцев.



Революции в Греции, Польше, Венгрии, Италии привлекали их поддержку и разжигали их воображение, однако восстания ирландцев вызывали у них лишь непонимание и гнев.

**Ричард Лебоу (США).
Белая Британия и черная Ирландия. 1976**

Писать книгу об Англии и англичанах без главы, посвященной Ирландии, — значит пропустить фазу в английской социальной и политической истории, которая проливает много света на английский характер.

Полная невосприимчивость, полная слепота ко всем другим качествам, кроме собственных; холодное упрямство и полная неспособность изменить свои методы или приспособиться к другому темпераменту — все это бросается в глаза в отношениях Англии с Ирландией.

Самое поразительное в англо-ирландских отношениях — это то, что англичане воспринимают их как должное. «Разве мы не самый богобоязненный, самый справедливый, самый христианский народ? — спрашивают они себя. — А раз так, возможно ли, чтобы мы убивали, грабили, обрекали на голод и изгнание нашего брата ирландца?»

Ничто, судя по всему, не может затушевать черты британского характера, проявляющие себя в отношении Ирландии: преклонение перед успехом и владычеством и холодное безразличие ко всему, что оказывается для англичанина помехой к их достижению.

**Прайс Кольер (США).
Англия и англичане — с американской
точки зрения. 1912**





ШОТЛАНДИЯ И УЭЛЬС

Рассказывая об Англии и англичанах, пора, пожалуй, оговориться, что когда эти слова произносят жители Британских островов, они вкладывают в них несколько иной смысл, чем мы.

Если на первых страницах лондонских газет замелькают заголовки «Англия вырвалась вперед», «Соперники Англии остались позади», «Англия снова побеждает», не следует думать, что родина промышленной революции вернула себе утраченное положение «мастерской мира». Можно не сомневаться, что речь в подобных случаях идет либо о футболе (зимой), либо о крикете (летом). Слово «Англия» как таковое чаще всего употребляется в этой стране лишь в спортивном контексте.

На наш взгляд, слова «Англия», «Великобритания», «Соединенное Королевство» различаются лишь тем, что первое из них наиболее обиходное, а последнее — наиболее официально. Мы привыкли называть жителей Соединенного Королевства англичанами, так же как мы привыкли называть жителей Соединенных Штатов американцами.

Однако, пожив в Лондоне и тем более побывав в Эдинбурге, Кардиффе или Белфасте, начинаешь понимать, что каждый из трех приведенных выше терминов имеет свой, отнюдь не равнозначный двум другим смысл, свои географические, экономические, наконец, статистические рамки.



Скажем, корреспонденция из Лондона начинается с фразы: «По только что опубликованным официальным данным, уровень безработицы в Соединенном Королевстве достиг 12 процентов рабочей силы».

— При чем тут королевство? — поморщится дежурный редактор, готовя материал в набор. — Не проще ли сказать — в Англии?

Однако, если внести подобное исправление, станет непонятной следующая фраза: «Как явствует из той же сводки министерства занятости, аналогичный показатель для Великобритании составляет 11, а для Англии — 10 процентов». Для лондонца, однако, такая градация вполне привычна и ясна. Великобритания — это Соединенное Королевство без Северной Ирландии (где процент безработных, как правило, наиболее высок); Англия — это Великобритания без Шотландии и Уэльса (то есть юго-востока страны, где проблема занятости обычно наименее остра).

Все эти нюансы мне довелось испытать на себе. Из Москвы я уезжал как корреспондент «Правды» в Англии. В Лондоне коллеги тут же предостерегли, что такое удостоверение сгодится отнюдь не везде. Если предъявить его, скажем, в Эдинбурге, может последовать саркастический вопрос:

— Корреспондент «Правды» в Англии? Что же вы тогда делаете в Шотландии?

Дабы застраховать себя на сей счет, я решил заказать визитные карточки как корреспондент «Правды» в Великобритании.

— А разве вы не собираетесь бывать в Северной Ирландии? — спросили меня в пресс-клубе.

— Разумеется, собираюсь!

— Тогда, — вновь поправили меня, — аттестуйтесь как корреспондент «Правды» в Соединенном Королевстве.



Привычка говорить об Англии и англичанах, имея в виду Британию и британцев, присуща отнюдь не нам одним. В любой из зарубежных столиц лондонцу куда труднее, чем парижанину или вашингтонцу, найти в телефонном справочнике номер своего консульства. Он даже не представляет себе, на какую букву искать собственную страну: то ли на «А» — как Англию; то ли на «В» — как Великобританию: то ли на «С» — как Соединенное Королевство. Несмотря на островное положение Великобритании, к ее историческому развитию приложили руки многие народы.

— Встретить англичанина в центре Лондона становится нелегко, а уж на страницах английской истории, среди королевских имен, это всегда было трудным делом, — шутит французский сатирик Пьер Данинос. — Плантагенеты, — напоминает он, — были французы, Тюдоры — уэльсцы, Стюарты — шотландцы...

Коренными жителями Британских островов принято считать кельтов. Когда-то одна их ветвь осела в Ирландии и Шотландии, а другая — в Корнуолле и Уэльсе. Кельтское начало дает себя знать в мечтательности и мистицизме ирландцев, в музыкальности жителей Уэльса, этого края народных певческих праздников, в поэтическом воображении обитателей Корнуолла с их суевериями и легендами. Наиболее полным воплощением кельтских черт можно считать натуру ирландца с ее богатством фантазии и пренебрежением к логике, с ее художественной одаренностью и недостатком делового инстинкта, с ее фанатической одержимостью и неспособностью к компромиссам. Однако кельтское начало подспудно заложено и в английском характере, порождая некоторые вроде бы и не свойственные ему черты. Например, склонность ставить интуицию выше разума, умышленно скрывать дымкой неопределенности четкую грань между



сознательным и бессознательным. Представление об англичанах лишь как о людях рассудочных, прозаических, холодных неполно и неверно хотя бы потому, что в каждом из них сидит что-то от кельта.

После кельтов на берега Туманного Альбиона накатилась новая волна завоевателей. Это были римляне. Они, впрочем, держались особняком от местных жителей, требуя от них лишь беспрекословного повиновения. Видимо, поэтому римское владычество не оставило после себя заметного следа. На кельтский фундамент легла не римская, а англосаксонская надстройка. Вслед за уходом римских легионов на английское побережье стали совершать набеги племена германского и датского происхождения: англы, саксы, юты. Они постепенно завладели юго-востоком острова, оттеснив кельтов на взгорья.

Отвоеванные земли активнее всего заселяли саксы. Это был народ земледельцев. В противоположность фантазерам и мечтателям кельтам они отличались трезвым, практическим умом. Именно от крестьянской природы саксов английский характер наследует свою склонность ко всему естественному, простому, незамысловатому в противовес всему искусственному, показному, вычурному; свою прозаическую деловитость, ставящую материальную сторону жизни выше духовных ценностей; свою приверженность традициям при недоверии ко всему непривычному, тем более иностранному; свое пристрастие к домашнему очагу как символу личной независимости.

Пока англы, саксы и юты, сменившие римлян, продолжали оттеснять кельтов на север и на запад, у восточного побережья появилась новая волна завоевателей — скандинавские викинги. Эти профессиональные мореходы внесли в английский характер еще одну существенную черту — страсть к приключениям.



кой, зеленые луга, разделенные живыми изгородями, мирно пасущиеся стада. Но в душе этого домолюбивого сельского жителя есть окно, открытое морю.

Англичанин всегда чувствует его манящий зов, романтическую тягу к дальним берегам, что лежат за горизонтом. Вся история Англии, ее торговля, политика, искусство пронизаны морем, насквозь просолены им.

Наконец, последней волной завоевателей, достигших английских берегов, были норманны. Вильгельм Завоеватель поделил страну между своими баронами и создал аристократию, основанную на крупном землевладении. Рыцарский кодекс чести и владение землей стали отличительными приметами правящей элиты.

Норманны были приверженцами строгой феодальной иерархии. Они были людьми действия, которые презирали показной экстаз и считали одной из главных добродетелей способность держать свои чувства в узде. Описанная в романе Вальтера Скотта «Айвенго» борьба норманнского и саксонского течений в английской жизни продолжалась в последующие века с переменным успехом. Верх одерживало то норманнское течение, основанное на идеалах феодального рыцарства и аристократического либерализма, то саксонское течение с его крестьянской практичностью, узкой прямолинейностью и строгой моралью.

Именно саксонские черты нашли свое воплощение в стереотипном образе Джона Булля — фигуры рассудочной и деловитой, незатейливой и прозаической. И все-таки Джон Булль олицетворяет собой лишь одну сторону английского характера — пусть даже более заметную, чем другие.



*Чтобы понять английский характер,
нужно прежде всего иметь в виду его* 527

первоначальные составные части: кельтскую, саксонскую и норманнскую. Это единственный путь, чтобы понять бесконечные противоречия, которые встречаются на каждом шагу; чтобы уяснить, как может эта страна одновременно быть столь аристократической и столь демократической; почему Джон Бульль превыше всего ценит джентльмена; как противостоят друг другу средневековое рыцарство и коммерческий дух; как английский обыватель уравнивается английским мечтателем, а лавочник — завоевателем; как романтизм Байрона и фанатический гений Тернера могли вырасти на столь прозаической почве; как приверженность традициям и практический расчет могут уживаться друг с другом. Короче говоря, как эта нация, столь трудная для понимания, столь полная противоречий и сложностей, стала таковой, какой мы видим ее сегодня.

Пауль Кохен-Портхайм (Австрия).
Англия — неведомый остров. 1930

Каждая волна завоевателей вложила свой капитал в английский банк. Все они перемешались. Ни одна из них не исчезла. Ни одна из них не сдалась безоговорочно. Все они остались живыми по сей день, сосуществуя и борясь друг с другом.

Вот почему английская натура столь полна противоречивых импульсов: ей присуща практичность и мечтательность; любовь к комфорту и любовь к приключениям; страстность и застенчивость.

Англия видит свое лицо в Шекспире, потому что ее прославленный сын в совершенстве воплощает в себе ее характерные черты: англосаксонскую практичность и кельтскую мечтательность, пиратскую храбрость викингов и дисциплину норманнов.

Никос Казандзакис (Греция).
Англия. 1965



При всем своем консерватизме и флегматичности англичане — самый авантюристичный из народов. Какая страна может похвастать таким созвездием первооткрывателей, мореплавателей, землепроходцев? Со времен Дрейка англичане прокладывали пути в неведомое, неся во все уголки земли свой образ жизни, даже свой послеобеденный чай, ибо, будучи восприимчивы в крупном, они делают мало уступок в мелочах.

Хотя англичане прославились как исследователи и колонизаторы и хотя они распространили английский язык и английское право по всему свету, они самый провинциальный из народов.

Генри Стил Коммаджер (США).
Британия глазами американцев. 1974

Считается, что слово «британец» первым употребил Шекспир в своей трагедии «Король Лир». Произведение это было создано вскоре после знаменательного для англичан и шотландцев события: объединения двух престолов.

В марте 1603 года королевский гонец сэр Роберт Кэрей проскакал, меняя лошадей, 400 миль от Лондона до Эдинбурга за 62 часа. Этот конный марафон был совершен, дабы известить Якова VI, что после смерти бездетной Елизаветы он унаследовал английский престол. Шотландец из династии Стюартов был наречен королем Великобритании Яковом I. Еще столетие спустя — в 1707 году — при королеве Анне произошло объединение парламентов двух стран. Новым государственным флагом Великобритании стал «Юнион Джек», объединивший английский флаг святого Георга (белое полотнище, пересеченное прямым красным крестом) и шотландский флаг святого Андрея (синее полотнище, пересеченное наискось белым крестом).



Акт об унии 1707 года подвел черту под почти девятивековой историей Шотландии как независимого государства. Однако, как не преминут подчеркнуть в Эдинбурге, Шотландия не была завоевана. Она сохранила свою собственную церковь, свой свод законов и судебную систему (так что термин «английское право» является точным, тогда как вместо «английская внешняя политика» правильнее говорить «британская»).

За Шотландией сохранено и право выпускать собственные денежные знаки, которые имеют хождение «к северу от границы» наряду с обычными фунтами и пенсами, а также свои почтовые марки. Этот типичный для Лондона компромисс служил достаточной отдушиной для национального самодлюбия вплоть до одной непредвиденной вспышки страстей.

К 25-летию восшествия королевы на престол была задумана единая для всей страны юбилейная серия марок в честь Елизаветы II. Однако шотландцы решительно воспротивились тому, чтобы имя монарха сопровождалось на марке римской цифрой: «Елизавета времен Шекспира была королевой лишь для англичан, а раз так, нынешняя королева не может быть для шотландцев Елизаветой II». Чтобы предотвратить нежелательный накал эмоций, спорная цифра была снята с королевского вензеля на территории Шотландии — причем не только с марок, но и с оформления юбилейных торжеств вообще.

Последний сеанс в лондонских кинотеатрах, последняя передача по телевидению и радио изо дня в день завершаются государственным гимном «Боже, храни королеву». В четвертом куплете его, который ныне деликатно пропускается, идет речь об усмирении непокорных шотландцев. (Гимн сочиняли в разгар борьбы против яко-



битов — поборников независимости.) Подобным же образом перед закрытием любой шотландской пивной по традиции звучит народная песня, зовущая на бой против английских завоевателей.

Межнациональная рознь — не новость на Британских островах. Достаточно вспомнить о Северной Ирландии. Однако все более серьезной проблемой для Лондона становится вздобок неуклонный рост шотландского и уэльского национализма. Гамлетовский вопрос наших дней «Великая Британия или Малая Англия?» отражает не только потерю заморских владений, но и обострение националистических тенденций в самой бывшей метрополии. Лишившись империи, Лондон вынужден с тревогой оглядываться на королевство.

Штаб-квартира Шотландской национальной партии в Эдинбурге увешана плакатами с цветком чертополоха. Напомню, что, как роза у англичан, цветок этот считается у шотландцев национальной эмблемой.

— Подъем шотландского национализма, — говорят в штабе этой партии, — порожден многими причинами, и прежде всего упадком британского империализма. Одно дело — править четвертой частью мира, и другое дело — быть пасынком «больного человека Европы». Пришла пора вспомнить, что акт унии 1707 года был своего рода браком по расчету. Шотландия хотела получить доступ к заморским владениям Англии. Имперские горизонты действительно открыли шотландцам простор для применения сил и способностей. Но не стало империи, и они вновь почувствовали себя прежде всего не британцами, а шотландцами. Тем более, что чертополоху теперь достаётся куда меньше ухода, чем розе...

По площади Шотландия составляет две трети Англии. По населению же —



немногим больше одной десятой. Причем большинство жителей — почти пять миллионов — сосредоточено в Низинах, то есть в юго-восточной половине Шотландии, и лишь четверть миллиона человек приходится на ее северо-западную половину, которую называют Взорья.

Между Взорьями и Низинами всегда существовал разительный — причем не только географический — контраст. Горцы, эти бедуины Шотландии, скотоводы и воины, привыкли свысока смотреть на более зажиточных обитателей долин — земледельцев, ремесленников, торговцев. Именно Взорья с их клановой системой были средоточием шотландского национального духа, именно они послужили оплотом якобитов, именно они же в наибольшей степени пострадали от карательных походов англичан, в особенности от жестокой расправы, которую учинил над непокорными кланами герцог Камберлендский.

Подобно обезлюдевшему западу Ирландии, пустыньность шотландских Взорий напоминает об участи народов, ставших первыми жертвами английской экспансии.

Население современной Шотландии сосредоточено главным образом в Глазго и долине реки Клайд. Там, как и в прилегающих районах Северной Англии, у месторождений антрацита и железной руды, возле морских заливов, удобных для строительства верфей, родились традиционные отрасли британской индустрии: угольная промышленность, черная металлургия, судостроение. Однако именно

эти отрасли переживают в послевоенные годы наибольший упадок. Развитие новых, перспективных отраслей явно тяготеет к юго-востоку страны, к Лондону. Шотландии же выпала участь периферии, которая особенно болезненно ощущает свою чрезмерную зависимость от шахт, домен и



верфей. По критическому состоянию жилого фонда, или, проще говоря, по количеству трущоб, Глазго не имеет себе равных среди городов Западной Европы. Средний доход на семью в Шотландии почти на одну треть ниже, чем в Юго-Восточной Англии. Жизненный уровень одного миллиона человек, то есть каждого пятого жителя, вплотную соприкасается с официальным рубежом бедности. Еще один миллион шотландцев за послевоенные годы эмигрировал на чужбину (за пределами родины проживает более 20 миллионов шотландцев).

Все эти социально-экономические трудности Шотландии, помноженные на общие для всей Британии последствия распада колониальной империи, давно уже подогревали националистические чувства, рождали толки о том, что лондонские власти слишком далеки от шотландских проблем и решение их способны найти лишь сами шотландцы. Но когда разговоры о какой бы то ни было самостоятельности доходили до «коридоров власти» в Лондоне, там лишь скептически кривили губы:

— На чем же думают прожить без нас эти шотландцы? На экспорте виски?

И вот 70-е годы вдруг влили в шотландский национализм совершенно новую струю: началось освоение нефтяных богатств Северного моря. Причем большинство месторождений в его британском секторе оказалось именно у берегов Шотландии. Само собой разумеется, что поток «черного золота» породил в Лондоне и Эдинбурге весьма различные планы и намерения.

— Прежде англичане твердили нам, что для независимости мы слишком бедны. Теперь же оказалось, что мы для этого слишком богаты, — иронизируют шотландцы.

Националисты ратуют за создание конфедерации британских госу-



дарств наподобие Северного союза, объединяющего Скандинавские страны. Шотландцы тогда остались бы британцами в такой же мере, в какой норвежцы считаются скандинавами. Итак, «твидовый занавес», как окрестила пресса амбиции шотландских сепаратистов, стал настораживающим видением на британском политическом горизонте.

Надписи «Англичане, убирайтесь домой!» можно увидеть и в Уэльсе. Но там рост националистических настроений имеет не столько политическую, сколько культурную окраску. Он проявляется, в частности, как движение за распространение родного языка (на котором говорит четверть жителей Уэльса), за сохранение народной песни и других форм самобытной национальной культуры.

Уэльс стал частью Англии еще в Средние века. Чтобы закрепить свою власть над завоеванным горным краем, английские короли возвели там немало замков. Но местные вожди то и дело проявляли непокорность. И в 1281 году Эдуард I решил, по преданию, перехитрить их. «Если вы присягнете на верность английской короне, — сказал он, — обещаю, что княжить вами будет человек, который родился на земле Уэльса и не знает ни слова по-английски». А когда местные вожди клятвенно признали власть Англии, Эдуард I показал на своего младенца, родившегося накануне в Орлиной башне замка Карнарвон. (С тех пор наследник британского престола по традиции носит титул принца Уэльского.)

Уэльс был когда-то британским Руром. В его индустрии доминируют сталь и уголь. Но сейчас именно эти отрасли переживают упадок, который, как и в Шотландии, сказывается там особенно болезненно. Уэльс, правда, богат водой, снабжая ею главные города и промышленные центры Англии. Но хотя местные националисты стараются ус-



мотреть в этом некую аналогию с шотландской нефтью, для сепаратизма в Уэльсе попросту нет экономической почвы.

Чтобы приглушить националистические и тем более сепаратистские тенденции, решено предоставить Шотландии и Уэльсу больше самоуправления, в частности создать там нечто вроде местных парламентов — выборные ассамблеи: в Шотландии — из 150, в Уэльса — из 70 депутатов. В ведение таких ассамблей передана деятельность местных органов власти, вопросы здравоохранения, народного образования, жилищного строительства, местного транспорта, им позволено по своему усмотрению распределять средства, которые выделяются данным районам из государственного бюджета.

При этом верховная законодательная власть целиком осталась за Вестминстером. Парламент в Лондоне сохранил полный контроль над вопросами обороны, иностранными делами, финансовой и экономической политикой, а значит, и доходами от североморской нефти, поступающими в британскую казну. Способно ли расширение местной автономии разрядить накал националистических страстей? Или же выборная ассамблея, наоборот, окажется желанной трибуной для сепаратистов, позволит им приписывать себе каждый успех, а каждую неудачу объяснять недостатком переданных на места прав и требовать их расширения?

— Мы — сторонники самоуправления, но противники сепаратизма, — заявляет Шотландский конгресс тред-юнионов. — Интересам трудящихся, как шотландцев, так и англичан, отвечает укрепление сплоченности британского рабочего движения, а не подмена классового единства национальной рознью.

«Разъединенное королевство» — это пока лишь хлесткий заголовок, кочу-



ющий по газетным и журнальным страницам: из французской «Нувель обсерватер» в американский «Тайм», а оттуда в британскую «Санди телеграф». Но это и напоминание о проблеме — политической, экономической, социальной, эмоциональной, которую не сбросишь со счетов.

Итак, не будем забывать, что на Британских островах обитает не один, а четыре народа, что, кроме англичан, там есть шотландцы, ирландцы и уэльсцы, национальное самосознание которых весьма обострено. Так что, оказавшись на родине Роберта Бернса, не следует называть его своим любимым английским поэтом или, спустившись в шахту Южного Уэльса, выражать радость по поводу встречи с английскими горняками...

Англия, Шотландия и Ирландия объединяются, чтобы держать в повиновении колонии. Англия и Шотландия объединяются, чтобы держать в повиновении Ирландию. Англия объединяется, чтобы держать в повиновении Шотландию. В самой Англии верхи общества объединяются, чтобы держать в повиновении низы.

Ральф Эмерсон (США).
Английские черты. 1856

Англичанам подчас трудно понять, почему народы Шотландии и Уэльса не хотят мириться с положением бедных родственников, хотя их признают членами семьи. Для английского обывателя Британия — это Англия. Он бывает озадачен, когда ему указывают, что «Юнион Джек» — это британский, а не английский флаг, так что английским болельщикам вряд ли уместно размахивать им, когда команда Англии играет против Шотландии или Уэльса.



Уэльс существуют. Но для него они представляют собой лишь как бы оттенки общего колорита английской жизни.

Даниэл Дженкинс (Англия).
Британцы. 1978

Когда люди говорят «Англия», они иногда имеют в виду Великобританию, иногда Соединенное Королевство, иногда Британские острова — но редко Англию как таковую.

Джордж Микеш (Англия).
Как быть иностранцем. 1946





ЦВЕТНЫЕ СРЕДИ БЕЛЫХ

Фильм сделан так, чтобы с первых же кадров внушать тревогу. Человеческие толпы, сжатые телеобъективом, создают ощущение, будто город перенаселен до предела. «Это Брэдфорд, английский город. Но тут есть улицы, где почти не увидишь белых лиц», — вещает голос за кадром. Затем камера долго шарит по замусоренным задворкам ветхих строений. «Так выглядят районы с азиатским населением. Эти люди нечистоплотны. Живут чуть ли не по десять человек в комнате. У всех уйма детей. Сколько же их будет через десять лет при такой рождаемости?» На экране — негодующее лицо женщины: «Пока наших парней шлют проливать кровь в Северной Ирландии, сама Англия подвергается вторжению». И снова массовая сцена — невозмутимо-беспристрастные полицейские сопровождают уличное шествие с плакатами «Сохраним Британию белой!».

Под таким девизом в Англии прошла политическая кампания, от имени которой и был создан этот кинофильм. На берегах Темзы всерьез заговорили о расовой проблеме. Открыто стращать обывателя нашествием «цветных орд» на Британские острова до недавних пор решались лишь правые экстремисты из «национального фронта» да такой одиозный поборник расовой чистоты, как Энок Пауэлл. По его словам, наблюдать приток цветных иммигрантов на Британские острова — все равно что



смотреть на нацию, которая насыпает свой могильный курган. Английским городам, пугает Пауэлл, грозит перспектива стать на одну треть цветными. Расовые конфликты в них неизбежны, и положить им конец может-де лишь репатриация цветного населения с Британских островов. Итак, в дополнение к кровавой североирландской ране страна может стать и ареной расовых конфликтов.

Подобно многим недугам современной Британии, расовая проблема в немалой степени связана с имперским прошлым. После Второй мировой войны и распада империи английские предприниматели, привыкшие наживаться на дешевизне заморской рабочей силы, принялись вербовать в бывших колониях людей, готовых за бесценок выполнять в Англии черную работу.

Первую волну цветных иммигрантов составили вест-индские негры Ямайки, Тринидада, Гайаны — потомки чернокожих африканцев, которых английские работорговцы продали в свое время плантаторам Нового Света. В Британии ныне насчитывается около шестисот тысяч этих выходцев из стран Карибского бассейна.

Обострение религиозной розни в бывшей Британской Индии, болезненный раздел Бенгалии и Пенджаба послужили толчком для второй волны иммигрантов. Эти выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш составляют самую значительную прослойку цветного населения Британии — свыше миллиона человек. И наконец, третьей волной (около двухсот тысяч человек) стали торговцы и чиновники индийского происхождения из бывших британских колоний в Африке.

«Закон о британском гражданстве» 1948 года давал право беспрепятственного въезда в Англию любому из 950 миллионов бывших подданных британской



короны. Но как только послевоенный бум пошел на убыль, а вместе с ним сократился и спрос на рабочую силу, распахнутые было двери принялись поспешно затворять. С 1962 года для уроженцев бывших колоний, формально обладающих британскими паспортами, были введены ограничения, которые стали еще жестче по «Закону об иммигрантах из Содружества», действующему с 1971 года.

В основе этого закона лежит понятие «патриальности», связанное с наличием предков. Правом жительства в Англии ныне обладает тот, кто родился, или получил британское гражданство в этой стране, или у кого там родился или получил гражданство хотя бы один из родителей или один из родителей его родителей.

Эта нарочито запутанная формулировка таит в себе расистский смысл. Она преграждает дорогу цветным обладателям британских паспортов (раз они получили гражданство не в метрополии, а в колониях), оставляя дверь открытой для белых переселенцев из Канады или Австралии, из Южной Африки. Ведь почти у каждого белого жителя ЮАР то ли отец, то ли дед был выходцем из Англии...

Чтобы не навлекать на себя обвинений в расизме, лондонские либералы даже изобрели и пустили в ход особый термин — «Новое Содружество». Им обозначаются бывшие британские колонии с цветным населением в отличие от «белых» доминионов:

Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки. Если понятие «патриальности» практически освобождает их уроженцев от иммиграционных барьеров, то въезд из «Нового Содружества» ограничен ежегодной квотой в 5 тысяч человек. Кроме них, право это получают лишь члены семей иммигрантов, поселившихся в Британии до вступления в силу закона 1971 года. Да и им



приходится порой долгие годы ждать возможности воссоединиться со своими близкими.

Какова же в действительности прослойка цветных переселенцев, из-за которых, как утверждают расисты, коренным англичанам не хватает рабочих мест, жилищ, школ и больниц? По официальным данным, в Британии проживает около двух миллионов выходцев из «Нового Содружества». Причем 800 тысяч из них родились на Британских островах и, стало быть, должны считаться уже не переселенцами, а национальным меньшинством. Небелое население составляет, таким образом, примерно 4 процента общего числа жителей. К тому же число британцев, переселяющихся на жительство в другие страны, неизменно превышает число въезжающих. Стало быть, разглагольствования о вторжении «бесчисленных темнокожих орд на перенаселенные острова» нельзя назвать иначе как спекуляцией.

Наконец, хотя цветное население прозябает где-то на задворках общества, нельзя забывать о его трудовом вкладе в жизнь страны. Уборка мусора, общественный транспорт, работа у конвейеров автомобильных заводов Средней Англии, в цехах текстильных и пищевых предприятий Ланкашира и Йоркшира, самый тяжелый, самый монотонный труд или труд в так называемые несоциальные часы, то есть вечерами, ночами, по воскресеньям, — чаще всего удел рук с темной кожей.

Когда едешь по Лондону, всякий раз поражаешься тому, насколько рубежи цветных гетто совпадают с зонами безработицы и нищеты. Брикстон или Ньюишэм на южном берегу Темзы удивительно напоминают нью-йоркский Гарлем не только темнокожими лицами, но и печатью упадка, безысходности, а также какой-то тягостно-тревожной предгрозовой атмосферой.



Из поколения в поколение цветная молодежь как бы вращается в заколдованном круге. Бремя нужды не дает ей возможности получить образование, квалификацию. А малоквалифицированным рабочим труднее всего найти работу, легче всего оказаться жертвами увольнений. Их неумолимо влечет на социальное дно, так что зоны «гарлемизации» совпадают с наиболее болезненными язвами британского общества.

Снова встают перед глазами кадры телефильма, созданного запевалами кампании «Сохраним Британию белой!». Степенная женщина рассуждает перед камерой: «Я, например, предпочитаю бекон, а не колбасу. Почему же я должна любить цветных так же, как белых? Я англичанка, и мне больше нравятся англичане. По какому же праву меня хотят лишить свободы выбора?»

Корни подобной идеологии убедительно вскрыл в своем выступлении по Лондонскому телевидению уроженец Индии профессор Бхику Парек. Одна нация, отметил он, не может властвовать над другими, не убеждая себя, что она имеет право на это, что она одарена качествами, отсутствующими у других. Британцы всегда проводили четкое различие между собой и подчиненными им народами. Они приписывали себе качества, которых жителям колоний не хватало, и объявляли себя свободными от тех качеств, которыми эти последние обладали в избытке. Скажем, туземцы эмоциональны, как женщины и дети; британцы же, в противоположность им, невозмутимы. Туземцы порывисты, тогда как британцы, напротив, хладнокровны. Если туземцы стадны, привыкли полагаться друг на друга, то британцы склонны стоять на собственных ногах.



Из подобных предвзятых представлений, которые формировались в ходе колониальных захватов, продолжал

профессор Бхику Парек, складывался некий человеческий эталон, по которому британцы оценивали себя и других. Поскольку такой стандарт исходил из их собственного образа мыслей и образа жизни, британцы, естественно, считали себя наиболее близкими к нему и потому ставили себя на вершину человеческой пирамиды. Европейцы за Ла-Маншем, среди которых тоже существовала градация, оказались на ступень ниже англичан. Далее были помещены азиаты, а ниже всех — африканцы.

Расизм, развившийся на протяжении колониальной эры, подчеркнул Бхику Парек, не исчез, когда бывшие подданные колоний начали прибывать на Британские острова.

Таковы выводы профессора-индийца, читающего лекции в одном из британских университетов. Многие из английских телезрителей, видимо, разделяют его взгляды, но многие думают иначе. Ведь пословица «туземцы начинаются с Кале» столь же стара, сколь и живуча.

Англичанам присуща самая суть снобизма: в глубине души считать, что есть по крайней мере один слой ниже их, хотя бы одна группа, которую можно считать нижестоящей.

Эта группа более низкая, чем низы, должна представлять собой неких изгоев. На протяжении столетий снобизм англичанина из низов поддерживался и питался тем фактом, что повсюду в мире, повсюду в прославленной империи люди преклоняли перед ним колени как перед белым и затем склоняли перед ним голову как перед англичанином. Он был вышестоящим для кого-то. И он был доволен собой.

Но когда империя рухнула, низы с неудовольствием почувствовали, что они оказались на самом дне. И тут сотнями



и тысячами начали прибывать люди, на которых они могут смотреть свысока в своей собственной стране. Они берутся за самую непривлекательную работу. Они селятся в самых худших домах. Они даже имеют иной цвет кожи, так что никто, поистине никто не может принять англичанина из низов за одного из них. Все они без различия встречают отношение, традиционно предназначенное для изгоев общества: они, дескать, грязны, ленивы, нечистоплотны, дерзки (то есть ведут себя так, будто других классов не существует). Так империя исполняет свою последнюю величайшую услугу для метрополий с Тринидада и Барбадоса, из Индии и из Африки она шлет своих сынов спасать английскую классовую систему.

Дэвид Фрост и Энтони Джей (Англия).

К Англии — с любовью. 1967

Немногие из нас любят их, немногие из нас ненавидят их, но почти каждый хочет, чтобы их тут не было, и показывает это с помощью той корректной индифферентности, секрет которой знают лишь англичане.

Колин Макиннес (Англия).

Полуанглийская Англия. 1961





ДЫМНЫЙ СЕВЕР

Издавна считается, что от Лондона ведут две главные дороги. Самая короткая — это дорога на юг, а самая длинная — дорога на север. Южнее столицы ехать особенно некуда. Там только Дувр с паромными переправами на континент. На север же больше тысячи километров пути. Конечно, где-нибудь на американском Дальнем Западе или на российском Дальнем Востоке это не посчитали бы за расстояние. Но для лондонца просидеть за рулем с раннего утра и до позднего вечера — значит забраться чуть ли не на край света. Дело, впрочем, не в расстоянии. И не только в том, что Большой северный тракт уходит за границу (под словом этим англичанин всегда понимает реку Твид, исторически разделяющую Англию и Шотландию). Дело прежде всего в том, что самая длинная из дорог страны пересекает еще один рубеж, официально не обозначенный, но реально ощутимый, — рубеж не столько географический или административный, сколько социально-экономический. Этот водораздел расчленяет Англию на два полюса: Север и Юг.

Север для англичанина — это край «черных сатанинских мельниц». Это лес заводских труб и прокопченный, как торфяной брикет, пласт спрессованных нуждой рабочих жилищ. Это текстильные фабрики и угольные копи, сталеплавильные цехи и судостроительные верфи. Это Манчестер и Ньюкасл, Ланкашир и Йоркшир — индустриальное сердце Англии, где названия горо-



дов и графств напоминают о былой славе «промышленной мастерской мира».

«Где копоть — там и деньги», — говаривали когда-то хозяева «черных сатанинских мельниц». Но хотя именно Северу издавна выпало быть главным созидателем материальных ценностей, средоточием богатства и власти оставался Юг. В этом корень их взаимной неприязни.

В английских пивных потешаются анекдотами об ирландцах. В столичных клубах излюбленным персонажем для этого служит уроженец Ливерпуля или Манчестера.

На взгляд лондонского сноба, человек с ланкаширским или йоркширским выговором при любом положении и достатке остается простолудином. (Поскольку крестьянства в Англии практически нет, где еще искать «чернь», как не на дымном Севере!) А ведь Юг мог чураться больших городов, возвеличивать сельскую жизнь как поэзию человеческого существования, превозносить любительский подход к делу во многом благодаря тому, что черную работу за него делал Север!

Тем, кто смотрит на них свысока, северяне платят той же монетой. Им присуще обостренное чувство трудовой гордости и презрительное отношение к тем, кто ничего не создает сам, а спекулирует плодами чужого труда. У них в почете сильные мозолистые руки со следами копоты и машинного масла, а наиболее достойным делом для мужчины считается тяжелая промышленность.



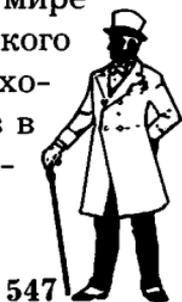
Ньюкасл, например, славится машиностроением и судостроением. Одна американская фирма построила там парфюмерную фабрику. С набором женской рабочей силы хлопот у нее не возникло. Но вот найти людей вроде бы самого распространенного в городе профиля — наладчиков

станков — оказалось трудно. Даже повышенная зарплата привлекла мало охотников заниматься таким «несерьезным» делом, в котором стыдно было бы признаться друзьям и знакомым...

Север по праву слывет родиной промышленной революции. Колыбелью же ее был Манчестер. Почему именно этот хмурый город, где, как говорят его жители, «за окном всегда ноябрь», стал мировым центром текстильного производства? Причин тому было несколько. Тут паровая машина Уатта. Тут и предшественники железных дорог — мелководные каналы, по которым было удобно и дешево доставлять из Ливерпуля американский хлопок, а из Йоркшира — каменный уголь. Тут, наконец, и вечно морозящий дождь — он сделал Манчестер городом ревматиков, но кое в чем способствовал его промышленной славе. Ведь благодаря постоянной сырости прочнее и тоньше скручивается нить в прядильных цехах. Так что под манчестерским дождем трубы текстильных фабрик росли как грибы.

Таким впервые увидел Манчестер в 1842 году 22-летний Фридрих Энгельс. Сын немецкого фабриканта-текстильщика был послан за Ла-Манш, чтобы приобрести опыт коммерческой деятельности. У Фридриха были иные устремления. Он уже участвовал в философской дискуссии на страницах «Рейнской газеты», встречался с ее редактором — Карлом Марксом. Но возможность поездки в Манчестер привлекала и волновала молодого Энгельса. Ведь этот город был первым в мире средоточием крупного капиталистического производства, где пролетариат уже выходил на арену классовой борьбы. (Как раз в 1842 году Манчестер стал центром всеобщей стачки текстильщиков Ланкашира.)

Фабрика «Виктория миллз», где Энгельс должен был набираться опыта,



существует и поныне; она выпускает холст для переплетного дела. Молодой немец познакомился там с 19-летней ирландкой — прядильщицей Мэри Бернс. Они быстро нашли общий язык. И не только потому, что немцу было легче понимать ирландский выговор девушки, чем местный ланкаширский диалект. Мэри стала для Фридриха лучшим проводником по рабочим окраинам Манчестера, бесценным помощником в его исследованиях.

Вместе с 15-летней сестрой Мэри работала в прядильном цехе по 12 часов в день (за 10 шиллингов, то есть за половину фунта стерлингов в неделю), да еще добрых три часа ежедневно тратила на то, чтобы пешком добраться на фабрику и вернуться домой, на Коттон-стрит, 18. Бывая там, Энгельс всякий раз дивился, как у девушки хватало после этого сил водить его по манчестерским трущобам, посещать рабочие кружки, слушать воскресные лекции в «Доме знания» — одной из первых в городе библиотек для трудящихся.

Словом, прядильщица с «Виктории миллз» была не только незаменимым проводником. Ее личная судьба послужила частицей собранного в Манчестере материала, опираясь на который Энгельс написал свою первую книгу «Положение рабочего класса в Англии». Мэри Бернс до конца своих дней осталась его верной подругой.

Манчестер больше чем какой-либо другой город Англии подвергся перестройкам. Так что мест, связанных с пребыванием Энгельса, почти не осталось. Напротив глазной больницы, на одном из университетских общежитий голубеет круг мемориальной доски. «Фридрих Энгельс (1820–1895), социолог, философ, писатель. Жил в доме № 6 на Торнклиффгроув, который стоял на этом месте».

«За мостом открывается вид на мусорные кучи, нечистоты, грязь и раз-



валины во дворах на левом высоком берегу; дома высятся один над другим, и вследствие крутизны склона видно по кусочку от каждого из них; все они закопченные, ветхие, старые, с разбитыми стеклами и расшатанными оконными рамами; на заднем плане стоят старые казарменного вида фабричные здания». Это описание, сделанное в 40-х годах прошлого века, во многом можно отнести и к Манчестеру наших дней, в частности к улочке Коттон-стрит, где когда-то жили сестры Бернс. Вдоль заросшего тиной канала нескончаемой чередой тянутся заброшенные цехи, черные от копоти кирпичные баракки с выбитыми окнами и заколоченными дверьми. Кажется, все тут покинуто, все ожидает сноса. Но, присмотревшись, с удивлением убеждаешься, что мертвые дома обитаемы. То тут, то там замечаешь человеческие фигуры.

Безработные. Их, разумеется, можно встретить не только в Манчестере. Но и на Севере, где старые традиционные отрасли индустрии преобладают, где труд издавна имеет особую моральную ценность в глазах людей, безработица переживается болезненнее, чем где-либо.

«На левой стороне Медлока лежит Гульм, который представляет собой, собственно говоря, сплошной рабочий квартал... В более густо застроенной части дома хуже и близки к разрушению, в менее населенной — постройки новее, но большей частью утопают в грязи. И там и тут дома расположены в сырой местности, и там и тут — заселенные подвалы».

— Энгельс писал эти строки всего в миле отсюда, в Альберт-клубе, — рассказывает мне Питер Томсон, один из основателей Центра защиты прав жителей Гульма. Нынешние власти Манчестера гордятся тем, что в нашем городе сделано для



расчистки трущоб больше, чем где-либо в Англии. Трущобы Гульма снесли в числе первых и возвели на их месте многоэтажные жилые дома. И тут, — продолжает Питер Томсон, — произошло нечто похожее на страшную сказку, на кошмарный сон. Трагедия Гульма не ушла в прошлое, а как бы возродилась в новом облике и с новой остротой.

В конце 60-х годов Гульм был отстроен заново. Издали это современный жилой массив, который отнюдь не назовешь трущобами. Но первое впечатление обманчиво. Гульм остался тем же, чем был: клоакой Манчестера, его социальным дном. Нанимаясь на работу, люди оттуда, как и прежде, избегают говорить, где они живут. Всякий, кто может выбраться из Гульма, делает это при первой же возможности. Остаются лишь те, у кого нет иного выхода. И в многоэтажных домах, построенных на месте лачуг, неуклонно растет концентрация «семей с проблемами», оседает человеческий шлак из ненасытной печи промышленного города.

Никакой мистики тут, впрочем, нет. У нового Гульма было, что называется, на роду написано стать социальным дном. Его застроили домами, предназначенными для покомнатного заселения. Иначе говоря — для самых неимущих семей. Сюда перемещали обитателей манчестерских трущоб, которые пошли на снос позже, чем Гульм. Как уже говорилось, желающих ехать туда добровольно не было. К тому же дома, оказавшиеся последним прибежищем «семей с проблемами», имеют так называемую палубную систему. Жильцы попадают к себе домой не из внутренних коридоров, а с «палуб», которые ярусами тянутся вдоль наружных стен. Стало быть, все ходят под окнами друг у друга, каждая житейская драма болезненно задевает всех.



До того как снести трущобы, в Гульме тоже жили тесно, на виду друг у друга. Но тогда людей объединяли общинные, родственные связи. Соседи привыкли всю жизнь мыкать горе бок о бок, сыновья жили поблизости от отцов. Все эти узы были порваны при расселении, привнеся в трагедию Гульма еще одну беду — отчужденность. Мне показывали корпуса, где свыше сорока процентов обитателей — это матери-одиночки и одинокие пенсионеры, где около шестидесяти процентов жильцов живут на пособие по бедности.

При своем 15-тысячном населении Гульм не имеет равных в Манчестере по преступности, алкоголизму. Среди обитателей Гульма в 7 раз больше самоубийц и в 43 раза больше жертв поножовщины, чем приходится на каждую тысячу жителей в целом по стране.

Когда-то здесь, в Гульме, в крохотной ремонтной мастерской начинали свое дело два удачливых компаньона Роллс и Ройс — впоследствии основатели всемирно известной автомобильной фирмы. Здешние дети ходят в школу по улицам, носящим их имена. Это, видимо, должно вселять в них веру в чудо, в счастливый лотерейный билет, которым судьба подчас может одарить своих пасынков.

Общеобразовательная школа в Гульме во всех отношениях заурядна, типична для рабочих окраин. Обшарпанные стены, переполненные классы, среди учащихся и преподавателей много темнокожих лиц. Она, впрочем, неценима как объект для изучения системы образования, а в сущности — классовой системы в Англии. Здесь учатся 1700 человек. Причем за время существования школы в вуз пока не поступил ни один из ее выпускников. Это, пожалуй, самое страшное из всего, чем потрясает Гульм. Оседающие здесь горе, нуж-



да, невзгоды, словно генетический код, передаются следующим поколениям, заранее обрекают их на судьбу изгоев общества.

Да, в сегодняшнем Манчестере то и дело вспоминаешь автора книги «Положение рабочего класса в Англии». Корни социально-политических проблем, определяющих сегодняшний день британских тружеников, более всего обнажены на Севере.

Здесь хорошо видны особенности британского рабочего движения: давность его традиций и его массовость. Профсоюзы ведут родословную с прошлого века и объединяют в своих рядах свыше половины тружеников, работающих по найму. По этому показателю Британия опережает США и Японию.

Давность традиций в целом служит источником силы британского рабочего движения, однако подчас оказывается и источником его слабости. Это, в частности, относится к устаревшей организационной структуре профсоюзов, которая нередко разобщает коллектив предприятия на изолированные отряды.

Дело не только в том, что среди примерно пяти-сот существующих в стране профсоюзов около половины насчитывают в своем составе меньше чем по тысяче человек и представляют собой остатки ремесленных цехов и гильдий (вроде 875 закройщиков фетровых шляп или 114 изготовителей медных труб для военных оркестров). Дело прежде всего в том, что с течением времени меняются формы и методы труда, усложняя первоначальное разграничение профессий.



И вот вместо того чтобы целиком посвящать себя противоборству труда и капитала, три тысячи освобожденных профсоюзных работников и двести тысяч цеховых старост вынуждены уделять немало времени и сил так называемой «демаркации», то есть спорам о том, к какой профессии, а

значит, к какому профсоюзу надлежит отнести выполнение той или иной трудовой операции. Скажем, если у англичанина вышел из строя газовый бойлер, то вызванный на дом мастер проверит трубы, краны и горелки, но будет не вправе соединить порвавшиеся провода электрического выключателя (так как по соглашению с профсоюзом котельщиков это может делать только член профсоюза электриков). Коллектив любого из британских металлургических заводов разделен на десяток профсоюзов, что не только мешает маневрировать рабочей силой при модернизации производства, но и ослабляет общий нажим трудящихся на позиции капитала.

Принцип «разделяй и властвуй» издавна служил правящим классам Великобритании. Его применяли и к народам колоний, и к пролетариату метрополии. Имперские сверхприбыли позволяли умиротворять подачками наиболее квалифицированную часть британских трудящихся, формировать из них «рабочую аристократию», склонную к соглашательству.

В начале 70-х годов консервативное правительство Эдварда Хита попыталось сковать забастовочное движение с помощью «закона об отношениях в промышленности». Он запрещал стачки по инициативе снизу, без санкции профсоюзных боссов. Так оказались за решеткой в Пентовильской тюрьме пятеро лондонских докеров. Но расправа над «пентовильской пятеркой» вызвала в стране бурный взрыв негодования. Разразился политический кризис, который закончился падением кабинета Хита. Бразды правления пришлось уступить лейбористам.

Вернувшись к власти на рубеже 80-х годов, тори вновь принялись за свое. «Закон о занятости», внесенный в парламент Маргарет Тэтчер, предназначен подрезать крылья рабочему движению. Он



запретил участвовать в пикетах тем, кто не работает на данном предприятии. Стало быть, пикеты солидарности, когда на помощь шахтерам приходят железнодорожники, а металлургам — машиностроители, были объявлены вне закона. Это дает возможность привлекать профсоюзных активистов к уголовной ответственности, оказывать на тредюнионы финансовый нажим с помощью исков и штрафов, то есть переводить противоборство труда и капитала в судебную сферу, где особенно много обладателей «старых школьных галстуков», воспитанников Оксфорда и Кембриджа, то есть где позиции правящих классов наиболее сильны.

Профсоюзам навязано также правило о том, что важные решения — например, о начале забастовки — должны приниматься не коллективно, а индивидуально: не открытым голосованием, а в виде письменного заявления по почте. Это — прямая ставка на разобщение коллектива: ставка на то, что если труженики будут принимать решение о стачке не сообща, а поодиночке, каждого из них будет легче запугать или сбить с толку, а активистам будет труднее увлечь за собой массы.





НЕФТЬ ПРОТИВ УГЛЯ

Заброшенные шахтные дворы. Бурьян на ржавых рельсах и отвалах, где копошатся чумазные ребяташки. Тесно сдвинутые шеренги убогих домиков — если бы не гирлянды выстиранного белья, они слились бы перед глазами в сплошное серое пятно. Несколько заколоченных витрин. Неподвижные мужские фигуры на крылечках. И на всем — печать запустения и безысходности.

Как поразительно они оказались похожи — традиционные шахтерские районы севера Великобритании и юга Японии! Естественно, что у горняков сходен труд, сходен быт. Но до чего сходной явилась и их судьба! Обе островные страны живут прежде всего переработкой привозного сырья. Для каждой из них добыча угля была главной, если не сказать единственной, отраслью их собственной добывающей промышленности.

Вскоре после войны угольная промышленность Великобритании была национализирована. Переход шахт в собственность государства горняки восприняли с воодушевлением, с чувством высокой ответственности и пониманием своего долга перед страной. Правящие круги не скупались тогда на похвалы в адрес шахтеров. И немудрено: в самые трудные для Англии годы они внесли решающий вклад в послевоенное восстановление, помогли оживить экономику, рассосать безработицу.



К середине 50-х годов 700 с лишним тысяч британских шахтеров довели годовую добычу угля до 220 миллионов тонн. Если бы угольной промышленности позволили нормально развиваться и дальше (для чего имелись и разведанные запасы, и квалифицированная рабочая сила), то энергетические потребности Англии по-прежнему могли бы в основном покрываться за счет отечественных ресурсов. И вздорожание нефти в начале 70-х годов отнюдь не нанесло бы британской экономике столь болезненного удара.

Но прежде чем вести речь об этом, нужно отметить еще и другое: английский капитал сумел использовать к своей выгоде и национализацию, и патриотический порыв горняков в первые послевоенные годы. Владельцы шахт получили завышенную компенсацию и охотно переложили на государственный бюджет бремя неизбежных расходов по модернизации угледобычи. Государство же обеспечило снабжение частных предприятий дешевым углем в самое трудное для них время. Все это, однако, не помешало власти имущим приговорить английскую угольную промышленность к принудительному умерщвлению, как только против нее ополчились международные нефтяные концерны.

В 1950 году доля нефти в топливном балансе Великобритании составляла 10 процентов. В 1960-м она увеличилась до 25, а в 1970-м — до 45 процентов. Причем рост потребления нефти шел, разумеется, за счет угля. Нефтеперегонные мощности выросли почти втрое, а добыча угля упала в два раза. Были закрыты две трети шахт, и почти в три раза сократилось число горняков. Около полумиллиона шахтерских семей лишились средств к существованию. Целые промышленные районы были обречены на вымирание, словно после средневековой эпидемии чумы.



Как много во всем этом схожего с тем, что мне довелось воочию видеть на Японских островах! После войны именно горняки начали поднимать японскую экономику из разрухи. А с начала 60-х годов шахтерские районы стали с горечью называть «страной заходящего солнца».

Примерно в ту же пору и в той же пропорции, что и в Великобритании, было сокращено в Японии число горняков, упал уровень угледобычи. А официальные круги Токио лишь сокрушенно разводили руками: ничего не поделаешь! Угольная промышленность оказалась, мол, жертвой научно-технического прогресса. Уголь больше не выдерживает конкуренции с нефтью. А раз жидкое топливо, даже привезенное издалека, обходится дешевле отечественного твердого, надо принудительно свертывать угольную промышленность и переводить предприятия на нефть.

Шахтеры предостерегали правительство и предпринимателей, что Япония не так уж богата природными ресурсами, чтобы сплеча расправляться со своей единственной отраслью добывающей промышленности. Рост потребления нефти, разумеется, неизбежен, но при этом вовсе не обязательно губить угольную промышленность.

Когда съехавшиеся в столицу горняки вели в знак протеста массовую голодовку перед зданием министерства, комментарии токийских газет и телевидения сводились примерно к следующему:

«Противясь энергетической революции, навязывая стране топливо вчерашнего дня, японские шахтеры поступают так же эгоистично и неразумно, как английские луддиты, которые ломали станки, чтобы помешать промышленной революции». Эти рассуждения вспомнились потом, когда мне довелось увидеть Токио в разгар «энерге-



тического кризиса». Уязвимость японской экономики вдруг проявила себя с грозной силой.

Страна с тревогой ощутила, что жизнеспособность ее бурно разросшейся индустрии, словно от тонкой пуповины, зависит от морского пути из бассейна Персидского залива. При огромном потреблении нефти — около 300 миллионов тонн в год — запастись ее стало возможно лишь на считанные дни. И токийская печать обсуждала проекты чрезвычайных правительственных мер на случай внезапного прекращения подвоза. В числе их предлагалось, в частности, использовать воинские части для разработки заброшенных шахт, чтобы снабжать отечественным углем хотя бы аварийные электростанции.

Так опьянение «энергетической революцией» обернулось горьким похмельем «энергетического кризиса». Ощутить его последствия пришлось и Великобритании. Хотя, может быть, и не в столь крайних формах.

Избавить отечественную энергетику от произвола международных нефтяных концернов, от их спекулятивных махинаций оказалось куда труднее, чем попасть в эту кабалу. Жертвами однобокой ориентации на привозное жидкое топливо стали не только вымершие угольные бассейны, не только полмиллиона уволенных британских горняков. От этого пострадала экономика страны в целом. Непомерно взвинченные цены на импортное топливо резко подхлестнули общий рост дороговизны.

Правда, после «энергетического кризиса» доля нефти в энергетическом балансе Великобритании пошла на убыль, а спрос на отечественный уголь стал расти, к началу 80-х годов почти сравнявшись с нефтью. Однако за четкую перспективу развития своей отрасли английским горнякам по-прежнему приходится вести борьбу.



Открытие нефтяных месторождений в Северном море не умаляет роли угля как одного из важнейших для Великобритании источников энергии. К тому же в отличие от добычи нефти, где доминирует иностранный капитал, угольная промышленность целиком находится под контролем британского правительства, использует отечественное оборудование и технологию.

Важно, однако, подчеркнуть и другое. В отличие от нефти, снабжение углем нельзя прекращать и возобновлять поворотом крана. Мало иметь разведанные запасы, нужна еще и кадровая армия горняков, которая регулярно пополняла бы свои ряды молодежью. Даже при нынешнем уровне механизации угледобычи работа в забоях в решающей степени зависит от людей, от их профессиональной спайки, которая обретается годами. Чтобы привлечь на шахты молодое пополнение, перед британской угольной промышленностью должна быть открыта гарантированная перспектива развития — нелегкий труд горняков должен оплачиваться с учетом его важности для страны. Именно в этом национальный профсоюз шахтеров и видит главные цели своей борьбы.

Да, сходен труд, сходен быт британских и японских горняков; сходны цели их борьбы, сходны даже нападки их классовых противников, обвиняющих шахтеров в попытках остановить научно-технический прогресс и даже в недостатке патриотизма.

Пошлите в Лондон философа, но не поэта. Пошлите сюда философа и поставьте его на Чипсайде; он узнает тут больше, чем из всех книг последней Лейпцигской ярмарки. Пока эти человеческие волны будут бушевать вокруг него, в нем поднимается океан новых мыслей. Вечный дух, витающий здесь, осенит его; самые пота-



енные секреты общественного порядка откроются ему; его рука будет лежать на пульсе мира; ибо если Лондон — это правая рука мира, подвижная и сильная правая рука, то улица, ведущая от Биржи к Даунинг-стрит, может считаться ее артерией.

Но не посылайте в Лондон поэта. Угрюмая серьезность, удручающее однообразие, механический ритм движения, ущербность даже самой радости — этот вечно спешащий Лондон подавляет воображение и разрывает сердце на части.

Генрих Гейне (Германия).

Автобиография. 1888





ГОРОД — ПРИТЧА

Если согласиться с тем, что Англия начинается с Лондона, то еще более верно считать, что Лондон начинается с Лондонского моста. Город вырос у первой постоянной переправы через Темзу, наведенной еще для римских колесниц.

До прихода легионов Юлия Цезаря на берегах Темзы обитали кельтские племена. Они занимались ловом лосося и ставили в вековых дубравах капканы на лесную дичь.

Как раз там, где впоследствии выросла британская столица, Темза широко разливается. Скромная сельская речка, змеящаяся среди роц и лугов, образует полноводное, подверженное морским приливам устье, напоминающее Рейн или Шельду в нижнем течении. Римлян это место привлекло как точка пересечения водного пути с востока на запад, в глубь страны, с магистральной дорогой, которую они начали прокладывать с юга, от Дувра, на север, к Йорку. Тут, в низовьях, где через Темзу практически невозможно навести переправу, но в то же время поближе к выходу в море, и был основан город.

Самолет пробивает гряды облаков, и под крылом открываются серебристые излучины реки, петляющей по застроенному пространству. Можно различить средневековые стены Тауэра, монументальный купол собора Святого Павла, готические контуры Вестминстерского дворца с циферблатом Большого Бена на башне. А вок-



руг от горизонта до горизонта раскинулся безбрежный город.

Трудно представить себе, что всего три с половиной столетия назад, во времена Шекспира, приезжему ничего не стоило обойти столицу вокруг, чтобы полюбоваться на нее со всех сторон. Лондон представлял собой тогда ту квадратную милю территории, что именуется ныне лондонским Сити. Стена с шестью воротами, построенными еще римлянами в I веке нашей эры, надолго закрепила естественные границы города. А потомок римской переправы — средневековый мост с домами, лавками и головами казненных на пиках — был свидетелем превращения Лондона в крупнейший центр торговли шерстью, в хранилище накоплений, которые впоследствии помогли Англии стать родиной промышленной революции.

Квадратная миля у Лондонского моста оказалась своего рода историческим заповедником, сохранив до наших дней многие черты средневекового города-государства. Привилегии, пожалованные Сити еще Вильгельмом Завоевателем и закреплённые Великой хартией вольностей, скрупулезно сохраняются по сей день. На государственных церемониях британскую столицу представляет не глава совета Большого Лондона, а лорд-мэр Сити, донныне сохраняющий права средневекового барона.

Лондонская организация лейбористской партии поставила как-то вопрос о том, что положение государства в государстве, которым Сити пользуется с XI века, давно стало анахронизмом и наносит ущерб британской столице. Она предложила упразднить корпорацию Сити, имеющую отдельный бюджет и даже свою полицию, и передать ее обязанности совету Большого Лондона. Посягательства на вековые традиции встретили бурю



возражений: как быть со старейшинами и шерифами, с ежегодными банкетами в Гилдхолле и церемониальными функциями лорда-мэра Сити при королевском дворе?

Впрочем, вряд ли именно это прежде всего встревожило магнатов Сити. На квадратной миле, где сосредоточены банки, фондовые и товарные биржи, фрахтовые конторы и страховые компании — словом, на этом сгустке мировой финансовой мощи ставки местных налогов куда ниже, чем в соседних районах Лондона. Вот почему «подкоп под стены Сити» был обречен на неудачу. Ведь могущественные обитатели квадратной мили дорожат средневековыми привилегиями не только ради права лорда-мэра вручать королеве символический «жемчужный меч» перед тем, как она переступит границу Сити; не только ради церемонии, учрежденной, дабы показать, что злато банкиров отдает себя на милость булату королевской власти.

Если Сити послужил историческим ядром британской столицы, то собственно Лондоном принято считать бывшее Лондонское графство. Оно занимает территорию в 300 квадратных километров и в административном отношении подразделяется на Сити и 28 столичных округов. А вокруг на площади, впятеро более обширной (то есть на 1500 квадратных километрах), раскинулось внешнее кольцо Большого Лондона.

Город этот необозрим. Он поистине необъятен для воображения, потому что не только безграничен, но и «бесскелетен». При своих немыслимых размерах Лондон лишен какой-либо четкой градостроительной структуры.

Его хочется сравнить с громоздкой молекулой сложного органического соединения: трудно определить, что служит тут центром или осью, трудно выявить ка-



кую-то логику или закономерность в том, как связаны в одно целое многочисленные составные части.

Семимиллионный Лондон по площади вдвое превышает Нью-Йорк и почти втрое — Токио, хотя по населению сейчас уступает обоим этим городам. Причем характерной чертой его застройки является не только разбросанность, но и аморфность. Лондон не знает ни радиально-кольцевой планировки Парижа, ни линейной планировки Нью-Йорка. При этом хаотичность его отличается от хаотичности Токио. Это город-созвездие, образовавшийся в результате срастания множества отдельных населенных пунктов, которые полностью так и не слились воедино. Это город-архипелаг, каждая составная часть которого во многом живет самостоятельной жизнью, оставаясь островом среди островов.

Если Париж впечатляет размахом градостроительного замысла, гармонией архитектурных ансамблей, то Лондон можно назвать красивым городом лишь в том смысле, в каком может быть красивым лицо старика на портрете Рембрандта. Неподдельная ретушь веков, как бы патина времени, лежащая на памятниках прошлого, — вот чем волнуют камни британской столицы.

Выразительна и торжественна черно-белая графика старых лондонских фасадов. Они как бы отретушированы извечным противоборством копти и дождя. Десятилетиями дым бесчисленных каминов темнил эти камни, а дождевая вода где могла смывала с них сажу. Так само время, словно кисть художника, усилило рельефность архитектурных деталей, прочернив каждое углубление и выбелив каждый выступ.



Туманным зимним утром, когда оголенные кроны деревьев кажутся отли-

тыми из чугуна, как и кружевные решетки парков, Лондон особенно графичен, будто создан для рисунка углем. Яркими вкраплениями в его черно-белую гамму служат лишь красные двухэтажные автобусы, красные почтовые тумбы и телефонные будки, да еще, пожалуй, часовые у Букингемского дворца, форма которых соединяет три главные краски в портрете Лондона: черные медвежьи шапки, белые портупей, красные мундиры.

О Лондоне изданы бесчисленные путеводители, где перечисляются достопримечательности, анализируются особенности творческого почерка таких его зодчих, как Кристофер Рэн, Джон Нэш, Иниго Джонс. Но история британской столицы не знает градостроителя, который внес бы в ее облик какие-то кардинальные перемены. Во все века Лондон знал лишь одного главного архитектора — Время. Может быть, терпимость к следам времени и составляет его своеобразную прелесть.

Лондон во многом олицетворяет такую черту английского характера, как нежелание отказываться от чего-то принятого, устоявшегося, от привычных удобств и даже неудобств. Лондон возмужал еще в век конных экипажей и не пожелал подвергнуться хирургическим операциям с приходом века автомашин. Сохраняя в своем облике напластования многих эпох, город на Темзе местами напоминает тесную квартиру, через меру заставленную антикварной мебелью.

Знакомясь с Лондоном, нужно перво-наперво отбросить привычное представление о столичном городе как об упорядоченном наборе архитектурных достопримечательностей. Неприязнь к перепланировкам тоже относится здесь к числу традиций.

В 1666 году Лондон пережил большой пожар. Сгорело 13 200 домов, 87 церк-



вей. Исторический центр города — нынешний лондонский Сити — был превращен в огромное пепелище. Стихийное бедствие открывало редкую возможность целиком перепланировать и отстроить столицу заново. Как раз незадолго до пожара архитектор Кристофер Рэн побывал в Париже, познакомился с веерной планировкой его улиц, любовался регулярной разбивкой Версальского парка. Буквально за считанные дни Рэн создал смелый, логически обоснованный план генеральной реконструкции сгоревшего города. На месте средневекового лабиринта узких, запутанных улиц он прочертил прямые магистрали, радиально расходящиеся от пяти площадей. Причалы, склады, верфи, товарные биржи предлагалось вынести за пределы городских стен. Все это должно было придать Лондону черты удобного, современного по тем временам города. Однако владельцы земельных участков столь ревностно защищали право отстраиваться на старых фундаментах, что улицы Сити доньше остались такими же узкими и запутанными, как до пожара.

Порой думаешь, что деревьям в Лондоне живется просторнее, чем домам. Причем именно то священное право частной собственности, которое помешало Рэну осуществить свой замысел, пожалуй, в единственном случае пошло лондонцам на пользу.

В самом центре необозримой британской столицы обширным зеленым пятном площадью 400 гектаров протянулась цепочка королевских парков: Гайд-парк, Грин-парк, Сент-Джеймс-парк. Более четырех столетий территория нынешнего Гайд-парка принадлежала Вестминстерскому аббатству. Монахи занимались рыбной ловлей на озере, а луга использовали для выпаса овец. Когда Генрих VIII порвал с Римской католической церковью и объявил монастырские владения конфискован-



ными, Гайд-парк стал королевским охотничьим угодьем. Благодаря тому, что двор развлекался там соколиной и псовой охотой, посреди столичного города сохранился в неприкосновенности огромный зеленый массив, который оказался благом для грядущих поколений лондонцев. Вскоре после того, как Карл I был обезглавлен и Англия на несколько лет стала республикой, правительство Кромвеля решило продать королевские парки в частную собственность. В 1652 году Гайд-парк был продан с аукциона тремя частями. Владелец одной из них — богатый судостроитель — тут же ввел входную плату с каждого пешехода, всадника и экипажа. Это, разумеется, вызвало большое недовольство лондонцев. Поэтому как только монархия была восстановлена, одним из первых актов парламента после возвращения Карла II на престол была отмена сделки на продажу Гайд-парка, а также платы за вход в него.

Большинство зеленых массивов, которыми по праву славится Лондон, — это не регулярные, а пейзажные парки, где можно бродить по лужайкам, загорать — словом, чувствовать себя среди привольной сельской природы. Как и в хаотичности лондонской застройки, здесь отражено присущее англичанам представление, что город должен расти по тем же законам, что и лес. Вместе с тем Лондон представляет собой город-созвездие, город-архипелаг не только из-за традиционной неприязни к перепланировкам. В этом проявляется одна из наиболее характерных черт британской столицы: высокая мера социальной разобщенности, классовой сегрегации. Семимиллионный гигант поражает отъединенностью своих составных частей, каждая из которых подобна изолированному острову. Речь идет не просто о контрастах бедности и богатства (есть немало городов, где они обозначены



ны куда резче), а о четких, почти осязаемых социальных перегородках, расчленяющих Лондон. Он все вмещает, этот огромный город, но ничего не совмещает.

Только в Лондоне можно полностью оценить реализм Чарльза Диккенса, даже тех его страниц, которые порой кажутся зарубежному читателю сентиментальными. Немногие из современников писателя отваживались, как он, посещать трущобы Ист-Энда, где в ту пору насчитывалось 300 тысяч голодающих, 30 тысяч бездомных, свыше 50 тысяч прозябали в описанных им рабочих домах. Но тогда, столетие назад, это была клоака города, не знавшего себе равных по населению, это была накипь в гигантском котле, куда стекались богатства со всей колониальной империи. Много воды утекло с тех пор под Лондонским мостом. Мир стал иным, иным стал и город на Темзе. Однако бедность не исчезла. Она лишь изменила облик. Нужда, в которой бьется современная лондонская семья, может не походить на нищету времен Диккенса. Но разрыв между бедностью и богатством не сократился, а возрос, как расширились рубежи той зоны безысходности и отчаяния, какой для современников Диккенса был Ист-Энд.

Утрата былой роли крупнейшего порта мира, усугубляемая упадком британской индустрии, сделала социальные контрасты Лондона еще более острыми и мучительными. Вплоть до послевоенных лет Темза оставалась аортой Лондона, служила стержнем его экономики. С распадом империи британская столица постепенно лишилась положения главного перевалочного пункта в мировой торговле. Поток традиционных грузов пошел на убыль. А при развитии торговых связей со странами Общего рынка предпочтение было отдано молодым портам, что выросли на восточ-



ном и южном побережьях. Из-за кардинальных перемен в методах погрузочно-разгрузочных работ, и прежде всего перехода к системе контейнеров, оказалось более выгодным оборудовать причалы заново, чем реконструировать старое портовое хозяйство. Тилбери, выросший у самого устья Темзы, перехватил у Лондона значительную часть его грузопотока. В результате лондонский порт оказался обреченным.

К числу эксцентричных английских хобби относится «индустриальная археология». Любители-энтузиасты, возводящие это пристрастие в ранг науки, выискивают открывающиеся вручную шлюзы на заброшенных каналах, старинные водокачки, поворотные круги и семафоры на давно закрытых железных дорогах и добиваются для них статуса исторических памятников. Но зачем отправляться в далекие поиски, если буквально под боком находится не то что памятник, а крупнейшее в Западной Европе индустриальное кладбище. Это Доклэнд — Край доков, тянущийся вдоль Темзы на восток от Лондонского моста чуть ли не до Тилбери.

Печальную участь лондонского порта в немалой степени разделяет промышленность столицы в целом. Помимо Доклэнда густым скоплением экспонатов для любителей «индустриальной археологии» стал южный берег Темзы — Саутуорк, Льюишэм, Гринвич.

Парадокс состоит в том, что помимо объективных причин упадок промышленности Лондона был ускорен сознательной политикой правительства и местных властей. После войны они осуществили ряд мер с целью, с одной стороны, ограничить создание новых производственных мощностей в городской черте, а с другой стороны, поощрить на-



перевод промышленных предприятий из столицы в другие районы страны.

На определенном этапе политика эта, видимо, была оправданной: благодаря ей удалось снизить загрязненность окружающей среды. Воздух над Лондоном стал чище, вода в Темзе тоже. Однако к началу 80-х годов пришлось думать уже не о том, как предотвратить чрезмерную концентрацию индустрии в Лондоне, а о том, как пресечь утечку рабочих мест из столицы. Традиционный контраст окраин и центра теперь как бы вывернут наизнанку. С одной стороны, все шире становится кольцо богатых предместий, куда из-за ухудшения условий городской жизни предпочитают переселяться наиболее состоятельные слои, а с другой — происходит экономический упадок и социальная деградация внутренних, прилегающих к центру районов.

Этот «эффект бублика», как его окрестили американцы, исподволь приводит к болезненным и необратимым последствиям. Переезд наиболее зажиточных горожан, а вслед за ними многих предприятий торговли и обслуживания в предместья снижает налоговые поступления в бюджет прилегающих к центру районов. Расходы же на социальные нужды там, наоборот, растут, так как все значительнее становится прослойка неимущих, неквалифицированных, нетрудоспособных, престарелых. Местным властям приходится повышать налоги, а это, в свою

очередь, побуждает оставшихся предпринимателей быстрее перебираться в другие места и подхлестывает безработицу. В сердце города отмирают участки живой ткани. Население Лондона давно уже не растет. В предвоенные годы город на Темзе насчитывал 8,6 миллиона жителей. Это был мировой рекорд, превзойденный потом Нью-Йорком и Токио. Теперь число обитателей Лон-



дона снизилось до 7 миллионов. Особенно существенно — более чем на четверть — сократилось население внутренних городских районов, бывшего Лондонского графства. Как показывают опросы общественного мнения, свыше половины жителей Большого Лондона хотели бы покинуть столицу.

«Лондон — дар Темзы» — принято было прежде говорить про город у моста. Надо признать, что в ту пору, когда над владениями британской короны никогда не заходило солнце, то был действительно щедрый дар. Румяные джентльмены в клубах любили повторять крылатую фразу доктора Сэмюэля Джонсона: «Если вам надоел Лондон, значит, вам надоела жизнь». Лондонский мост, построенный в первой половине XIX века на месте средневекового, видел, как проплывали по Темзе и оседали в сейфах Сити богатства со всех концов величайшей колониальной империи. Когда Англия слыла «промышленной мастерской мира», владычицей морей, немалая доля ее индустрии, и в частности судостроения, размещалась на берегах Темзы, а налоги на товары, проходившие через лондонский порт, служили существенным источником доходов для казны, важным дополнительным фактором процветания британской экономики.

Но вот утрачена империя. Промышленность «мастерской мира» переживает упадок. Распилен на куски и продан куда-то в Америку даже сам старый Лондонский мост — немой свидетель лучших времен. Утренний поток банковских клерков по новому мосту напоминает, что Сити еще сохраняет свое значение мирового финансового центра. Но это — последний бастион былого величия. То, что прежде способствовало процветанию города у моста, обернулось ныне против него. И жители британской столицы с горькой иронией перефра-



зируют афоризм доктора Джонсона: «Если вам надоела жизнь, значит, вам опостылело быть лондонцем».

В Восточном Лондоне страшно не то, что можно видеть и обонять, а то, что всего этого так неизмеримо, непоправимо много. В других местах безобразная нищета существует, как помойная яма в грязном закоулке между двумя домами, как нарыв или омерзительные отбросы; а здесь миля за милей тянутся ряды темных домов, безотрадные улицы, еврейские лавочки, всюду переизбыток детей, кабаков, благотворительных ночлежек.

В таком потрясающем количестве эти бараки теряют характер человеческого жилья и приобретают вид геологического напластования; это — черная лава, извергнутая фабриками; это — осадок, оставляемый торговлей, проплывающей по Темзе на белых пароходах.

Карел Чапек (Чехословакия).
Письма из Англии. 1924

Этот город родился из болот, тумана и воды. Волны вторжений и завоеваний прокатывались по нему. Каждое из них оставляло свой след, не стирая до конца следов других. Эти признаки столь многих и столь разных веков — ни один из которых нельзя назвать преобладающим — переплелись, как нити, в сложной ткани города. Здесь нельзя идти шаг за шагом через столетия. Эти столетия соединились в один широкий и глубокий слой — сам Лондон.



Можно почувствовать его старину, его хмурость, его степенный тяжелый ритм; медлительную и громоздкую силу, кроющуюся за его полутонами; его порядок, мудрость, безрассудство; его

обыденность и романтичность, его великолепие и достоинство; достигнутое им необъяснимое сочетание земли и воды, традиций и современности, обычаев и авантюры, опыта и мечтаний, индивидуализма и терпимости.

Одетта Кюн (Франция).
Я открываю англичан. 1934

Когда американский поселок превращается в город, событие это бывает отмечено постройкой небоскреба. Нет нужды доказывать, что небоскреб, экономически оправданный в тесном Манхэттене, выглядит смешно на нетронутых просторах Техаса. Тем не менее стальная башня — это, так сказать, марка, это стиль городской Америки. Естественное, обычное и знакомое представление о городе связано у американцев с вертикалями: чем выше здания, тем крупнее и важнее город. Американец чувствует себя неуютно там, где нет лифтов.

С другой стороны, перед вами Лондон. Он не вертикален, то есть для американского горожанина плосок и уныл. Он не имеет геометрической планировки, прочерченных по линейке проспектов. Недосказанность — это не тот стиль города, который мы приучены уважать с первого взгляда. До тех пор пока я не полюбила Лондон, эта недосказанность казалась мне парадоксом.

Рут Маккини (США).
Вот она, Англия. 1961

Кому неизвестно, что Венеция — сказка для влюбленных или для англосаксов; что Вена — томик новелл, незыскательных и старомодных; что Париж сложен и запутан, как классический роман, — тянется, тянется через узкие улицы паутина корысти, ревности, скупости.



Что же сказать о Лондоне, который столь велик, что человеку мало одного дня, чтобы перейти его от заставы до заставы; который столь мощен, что к его дыханию прислушивается и Париж, и Берлин; в котором традиции, монументы, Макдоналд, золотые джунгли Сити и который все же прост, как новорожденный или как выживший из ума старик; что сказать об этом средоточии, в котором свыше 7 миллионов душ и содержание которого может уместиться на одной коротенькой страничке? Это не роман, не трактат, не фельетон, это самый устаревший и в то же время самый неотвязный из всех литературных жанров. Это не город, а притча...

Дивен Лондон, и тот, кто однажды прошел по его набережным, никогда не забудет этого испуга и отрешенности. Откуда он взялся, город-титан, на острове хмеля и вереска, в стороне от жизни, среди сырости и постоянной печали? Как властвовал и как угнетал? Как поколебался, дрогнул, смутился... Как живет он, еще храня парики, огни Пикадилли, великодержавность дипломатических нот, сигары, еще путая карты, блефуя, улыбаясь, но уже томясь неожиданностью любого рассвета?

Илья Эренбург (Россия).

Англия. 1930





ЧАСЫ БЕЗ СРЕЛОК

«Наследники общества, которое слишком много вложило в империю; люди, окруженные обветшалыми остатками тающего наследства, они не могли заставить себя в момент кризиса отказаться от воспоминаний о прошлом и изменить свой устарелый образ жизни. Пока лицо Европы менялось быстрее, чем когда-либо прежде, у страны, которая была когда-то ведущей европейской державой, не достало самого нужного качества — готовности к переменам». Публицист Энтони Сэмпсон сделал эти слова из книги Джорджа Эллиота «Имперская Испания» эпиграфом к своему известному труду «Новая анатомия Британии».

Статистика неумолимо свидетельствует, что ослабление позиций Англии в мире отнюдь не кончилось с потерей империи. Все послевоенные годы Англия весьма заметно отстает по темпам развития от своих западноевропейских соперников. Ее доля в мировом промышленном производстве и экспорте неуклонно сокращается. В 50-х годах уровень жизни в Великобритании был самым высоким в Западной Европе, исключая лишь Швецию. Теперь по этому показателю она входит лишь во вторую десятку.

Словом, Англии пришлось не только отступить вместе с другими колониальными державами под натиском национально-освободительного движения, но и уступить дорогу своим капиталистическим



соперникам, вести борьбу против них с неуклонно слабеющих позиций.

Когда американский журнал «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» впервые назвал Англию «больным человеком Европы», пресса на Британских островах прореагировала на это с раздражением и обидой. Однако термин «английская болезнь», который прежде служил для обозначения рахита, мало-помалу вошел в обиход применительно к социально-экономическим недугам.

Дебаты о вирусах «английской болезни» стали модной темой на берегах Темзы. Газета «Санди телеграф», например, посвятила ей серию статей, которые вышли потом отдельной книгой под заголовком «Что же стряслось с Британией?».

Автор первой статьи, историк Корелли Барнетт, думает, что «английскую болезнь» отнюдь не следует считать порождением послевоенных десятилетий. По его мнению, болезнь эта развивается уже со второй половины XIX века, с тех пор, как Англия утратила монопольное положение «промышленной мастерской мира» (продолжая, однако, считать, что преимущества, которые она однажды обрела как родина промышленной революции, сохраняются за ней навсегда).

Кажущаяся незыблемость этой мировой промышленной монополии, отмечает английский историк, породила надменность и беспечность. Викторианское представление о том, что лучшей школой служит практика и что любому делу лучше всего учиться на рабочем месте — в директорском кабинете или у станка, — привело к недооценке научно-технического образования, которое получило развитие в странах континента.



ке квалифицированных и целеустремленных руководителей промышленности, а в воспитании джентльменов, предназначенных управлять империей. Эти школы, подчеркивает Корелли Барнетт, воспитали правящий класс, кичащийся «джентльменским презрением к профессионализму». В верхах общества целое столетие преобладала неприязнь к индустриальной карьере, пренебрежение к научно-техническому прогрессу.

В начале XX столетия историк Рамсей Ньюир подсчитал, что по числу людей, оканчивающих университеты, Англия пропорционально своему населению находится позади всех стран Европы, кроме Турции. Доклад ЮНЕСКО, опубликованный полвека спустя, свидетельствует, что положение мало изменилось. Англия остается по данному показателю в хвосте европейских государств, опережая лишь Ирландию, Турцию и Норвегию. На вузовский диплом в Англии до недавних пор было принято смотреть как на излишнюю роскошь. Не говоря уже о немущих классах (для которых он был несбыточной мечтой), даже многие представители английской буржуазии, особенно мелкие предприниматели, относились к высшему образованию не только скептически, но и враждебно, считая, что университет — пустая трата времени.

Привычка косо смотреть на специалистов с дипломами укоренилась прежде всего в коридорах власти. Но настало время, когда консерватизм верхушки гражданской службы, весь ее комплекс мышления, больше обращенный в прошлое, чем в будущее, стал помехой для приспособления к новым условиям, в которых Британия оказалась после утраты колониальных владений.

Неспособность государственного аппарата приспособиться к новым потреб-



ностям настолько встревожила правящие классы, что было решено вновь изучить вопрос о реформе гражданской службы. В конце 60-х годов комиссия под председательством лорда Фултона опубликовала свои предложения на этот счет. «Доклад Фултона» открывался формулировкой, которая доныне бросает в дрожь элиту Уайтхолла. «Гражданская служба, — подчеркивалось в нем, — все еще главным образом основывается на философии любительства. Ныне эта концепция имеет губительные последствия. Культ любителя устарел на всех уровнях и во всех частях гражданской службы».

По мнению авторов доклада, жизнь обнажила органические недостатки государственного аппарата, прежде всего культ руководителя-джентльмена, то есть просвещенного дилетанта с классическим образованием, доступным лишь узкому социальному слою. Одной из самых радикальных рекомендаций доклада было предложение открыть доступ на ключевые посты специалистам-профессионалам, лучше вооруженным для решения современных экономических и научно-технических проблем. Однако дальше благих пожеланий дело не пошло. В 70-х годах один из авторов доклада, Кроутер Хант, констатировал: «Гражданская служба выполнила лишь те рекомендации доклада Фултона, которые ей нравились и которые умножали ее власть, и уклонилась от осуществления тех идей, которые сделали бы ее более профессиональной, а также более подотчетной парламенту и общественности».

«Доклад Фултона» рекомендовал, к примеру, сократить преобладание людей с гуманитарным образованием на руководящих должностях. Но статистика свидетельствует, что выпускники Оксфорда и Кембриджа по-прежнему занимают две трети этих постов. Администратор общего профи-



ля (то есть все тот же джентльмен-дилетант) имеет в пять раз больше шансов вырасти до помощника постоянного секретаря, чем ученый, и в восемь раз больше, чем инженер или экономист. Британский истеблишмент как бы запрограммировал себя на империю, а лишившись ее, оказался не в состоянии приспособиться к новым условиям. Система воспроизводства правящей элиты пришла в противоречие с потребностями жизни. Просвещенный дилетант не только изжил себя на Уайтхолле — он тем более не годится на роль современного менеджера. Нетрудно проследить, что многие слабые стороны английского предпринимателя имеют прямую связь с характерными чертами или с предрассудками джентльмена. Это консерватизм, инертность, привычка свысока смотреть на инженеров.

Научно-техническая революция неизмеримо усложнила дело управления экономикой. Однако в советах директоров английских фирм значительно меньше обладателей инженерных дипломов, чем в американских, японских или западногерманских компаниях. И если британскому деловому миру подчас не хватает чувства нового, то здесь сказывается все тот же недостаток профессионализма, любительский подход к делу, имеющий глубокие корни.

После Второй мировой войны, когда автомобильные заводы западноевропейских конкурентов были разрушены, Британия обрела главенствующее положение на мировом рынке легковых автомашин и мотоциклов. В 1950 году она экспортировала больше автомашин, чем США. Но вместо того чтобы попытаться сохранить позиции, например путем создания более крупных и конкурентоспособных концернов, английские фирмы возмнили себя монопольными законодателями мод, продолжая ориентироваться на «престижные» и



спортивные модели довоенных лет. В результате Британия уже не открывает, а замыкает список ведущих автоэкспортеров. А ее конкуренты из США, ФРГ, Японии, Франции, Италии перехватили добрую половину автомобильного рынка в самой Англии.

Еще более разительный пример — нефть Северного моря. Для британских предпринимателей она явилась поистине подарком судьбы. Освоение североморских нефтяных месторождений — это новый обширный рынок заказов, способный стимулировать модернизацию таких традиционных отраслей, как металлургия, машиностроение, судостроение. Как же сумела британская индустрия использовать этот золотой шанс? К сожалению, отнюдь не лучшим образом. От половины до двух третей заказов для нефтепромыслов британского сектора Северного моря достались зарубежным фирмам. В этой пассивности и нерасторопности отчетливо проявился один из характерных симптомов «английской болезни» — нежелание предпринимателей идти на какой-либо риск, сворачивать с проторенных путей. Пусть добыча нефти с морского дна обещает быть перспективной отраслью — находить капиталам более привычное применение все-таки спокойнее.

Гарантированные рынки сбыта в заморских владениях лишили британскую промышленность гибкости, стимула к обновлению, совершенствованию ее структуры. Упор делался на развитие традиционных отраслей, выпускавших товары для колоний. Огромные накопления шли не на модернизацию производственной базы, а в сферу финансовых и торговых спекуляций. По доходам от так называемого невидимого экспорта, то есть от всякого рода банковских,



страховых и других посреднических операций, Британия превосходит все развитые страны, кроме США.

Придя к власти на рубеже 80-х годов, консервативное правительство Маргарет Тэтчер провозгласило свой рецепт лечения «английской болезни». Сделать упор на личную выгоду в противовес общественному благу — таков, на взгляд тори, путь к исцелению британской экономики от хронического худосочия. Этот застарелый недуг был, по мнению консерваторов, усугублен такими мерами послевоенных лейбористских правительств, как национализация ряда ключевых отраслей народного хозяйства, создание государственной системы здравоохранения, социального обеспечения, народного образования. Все это, мол, оказалось для казны непосильным грузом, задавило частную инициативу и ускорило общий упадок британской индустрии.

Отказ от какого-либо государственного регулирования экономики — вот в чем видят тори целительную панацею. Любые формы вмешательства в хозяйственную жизнь они считают оковами для частной инициативы. Тем, кто обогащается, государство, мол, не вправе мешать, а тем, кто разоряется, оно не обязано приходить на помощь. Под видом возвращения к «классическим догмам капитализма» британских трудящихся намерены лишить даже тех ограниченных социальных завоеваний, которых они по крупицам добились в ходе многолетней борьбы. Однако попытка стимулировать частное предпринимательство за счет общественных нужд не сработала. Чуда исцеления не произошло. Стратегия тори по сути своей предназначена расчистить место для сильных, способствуя разорению и гибели слабых. Но для обескровленной бри-



танской экономики прописанное ей зелье оказалось скорее ядом, чем панацеей. Разумно ли было вновь сводить функции государства к роли «ночного сторожа», которую оно выполняло во времена королевы Виктории? Ведь бывшая «промышленная мастерская мира» вынуждена даже на отечественном рынке сдавать позиции иностранным конкурентам. Они-то в первую очередь и выгадали от «свободы рыночной стихии». Эта же пресловутая «свобода» разбередила старую рану — утечку капиталов за рубеж.

Английские предприниматели издавна предпочитают вкладывать деньги не на Британских островах, а в бывших колониях. Уступая Японии, ФРГ, Франции почти по всем экономическим показателям, Англия пока опережает их по величине помещенных за пределами страны капиталов. Подобная же инерция имперских времен воплотилась и в политике официальных кругов. В течение послевоенных десятилетий они не столько поощряли вложения в отечественную индустрию, сколько блюли за морские интересы Сити, не скупившись ни на какие жертвы ради спасения фунта стерлингов.

В лондонских коридорах власти любят повторять слова лорда Пальмерстона: «У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных противников — у нас есть лишь вечные интересы». Слов нет, будучи «промышленной мастерской мира» и крупнейшей колониальной империей, Британия эпохи Пальмерстона действительно могла позволить себе политику «блистательной изоляции» и в полной мере извлекать выгоду из свободы рук в политической игре, из своеобразия своего географического положения.

В наш век, однако, размеры и положение Англии на географической карте требуют иной трактовки этой фразы. Оставшиеся в наследие от прошлого имперские за-



машки, словно шоры, ограничивают политический, экономический и социальный кругозор правящих классов Великобритании. На обложке книги английского публициста Клайва Ирвинга «Подлинный брит» изображена рука джентльмена, вынудившего из жилета карманные часы без стрелок. Потеря чувства времени — вот, по мнению многих трезвомыслящих лондонцев, черта, порождающая пресловутую «английскую болезнь».

В течение целого столетия после промышленной революции ведущее положение Англии в мировой торговле никем не оспаривалось. Государству не приходилось решать серьезных экономических или внешнеполитических проблем, которые требовали бы особой дальновидности или квалифицированной экспертизы. Страна могла тогда позволить себе иметь «правительство джентльменов», доверить кормило власти просвещенным любителям.

От джентльмена требуется не так уж много. Он не должен знать ничего о политической экономии и еще меньше о том, как управляются зарубежные страны.

Он должен быть терпимым к взглядам других (не считая, разумеется, ирландцев, социалистов, профсоюзных организаторов и браконьеров), но придерживаться мнения, что только сильная рука способна сохранить британские интересы к востоку от Суэца. Будучи директором компании, он не должен слишком хорошо разбираться в ее делах, а возвращаясь из путешествия — ощущать расширение кругозора.

В широком смысле философия джентльмена представляет собой отказ мыслить принципиальными категориями: не заглядывай вперед; встречай проблемы дня по мере того, как они возникают; старайся



решать их без лишних усилий разума, без неподобающего пыла страстей. Всюду, где требуются специальные знания, живое воображение, настойчивость и целеустремленность, организаторский дар, характеристики джентльмена становятся не только бесполезными, но и опасными.

Гарольд Ласки (Англия).

Почему опасно быть джентльменом. 1934

Легко ли убедить себя в том, что проходит век полковников, которые извечно воплощали собой образ триумфального викторианства, империи, послеобеденного чая, игры в крикет на зеленых лужайках. Когда-то эти полковники — строители империи в 30-х годах прошлого века — уходили в отставку и поселялись в живописных поселках Дорсета и Корнуолла. Они читали воскресные проповеди в приходских церквях. Они имели самые ухоженные сады и получали призы на сельскохозяйственных выставках, выращивая огурцы величиной с тыкву.

Эти полковники олицетворяли собой Британию, которая никогда не менялась: консервативную, уверенную в себе и замкнутую. Если вы не говорили с ними о распаде империи, о безработице, о лейбористской партии, о Бернарде Шоу, о механизации армии — обо всех этих проклятых новшествах, пришедших с континента, — они были бы милейшими людьми.

Полковники почувствовали, что получили смертельный удар даже не при распаде империи, а уже при механизации армии. Как только начали расформировывать кавалерийские полки, они стали требовать, чтобы офицерам, пересаженным на танки, сохранили хотя бы шпоры.



Но техника, пришедшая в армию, нанесла удар по самому главному: по взаимоотношениям любителей и профессионалов.

И вот, по мере того как нарастают волны критики в их адрес, джентльмены и полковники чувствуют, что движутся к вымиранию. Не только длинноволосые интеллигенты, читающие Марселя Пруста и Зигмунта Фрейда, уничижительно высказываются о детищах публичных школ, но все громче раздаются голоса, что «эти вещи гораздо лучше делаются за границей». А под «этими вещами» имеется в виду как раз то, что прежде всего оставляли джентльменам: управление людьми и делами, проблемы политики и администрации, войны и мира.

Энн Лоренс (Франция).
Британия — не остров. 1964





СЛАГАЕМЫЕ И СУММА

«Что, собственно, знаем мы глубоко об Англии, как представляем себе ее лицо, казалось бы, совершенно открытое чужому взгляду? Мне думается, нет маски более загадочной, чем это открытое лицо. И нет более интересной задачи сейчас для журналиста-международника, нежели разгадать эту загадку Англии, разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее». Эти слова Мариэтты Шагинян уже приводились в первой главе впечатлений и размышлений об Англии и англичанах. К ним же хочется вновь вернуться, берясь за завершающую главу.

Спору нет, мы в целом знаем об англичанах гораздо больше, чем, скажем, о японцах. Сказывается давнее знакомство наших народов с культурным наследием друг друга, и прежде всего с литературой, способной раскрывать в художественных образах черты национального характера. Но чем дольше находишься среди англичан, тем глубже убеждаешься, что, лишь уяснив их национальную психологию, можно почувствовать своеобразие человеческих взаимоотношений и общественных процессов в этой стране. Для этого нужно разобраться в специфике английского характера, особенно тех его черт, которые в виде обычаев и традиций, моральных норм и правил поведения насаждались преднамеренно.



ших колониях к востоку от Суэца. Но после четырех прожитых в Лондоне лет приходишь к выводу, что по-настоящему узнать англичан можно только в Англии. Выше говорилось, что в палисаднике перед своими окнами англичанин становится другим, чем в уличной толпе. Подобное же сопоставление примерно и в более широком смысле. Многие привлекательные стороны своей натуры англичане раскрывают лишь на родине, тогда как их отрицательные черты, как бы предназначенные не для «своих», а для «чужих», становятся особенно заметными именно за рубежом. Думается, что подобная двойственность тоже порождена представлением о том, что «туземцы начинаются с Кале». Находясь среди соотечественников, англичанин может поднять забрало. Он не сомневается, что все вокруг знают правила игры и будут следовать им. Но, попав в чуждое окружение, оказавшись среди неведомых и непредсказуемых иностранцев, англичанин как бы разворачивается в боевой порядок, жестко реагируя на все непривычное. И эта настороженно-оборонительная поза часто дает повод отрицательно судить о нем.

«Чопорные англичане» — вот привычное словосочетание, которое давно стало стереотипом. А между тем куда уместнее, пожалуй, говорить не о чопорности, а о щепетильности. Основой ее служит привитое англичанам представление о глухих стенах, которые должны ограждать от посторонних взоров неприкосновенное царство частной жизни. Разумеется, эта же щепетильность заставляет англичан быть замкнутыми и необщительными — особенно с незнакомыми людьми.

Сталкиваясь с подобной чертой, поначалу сетуешь, что она делает процесс вживания в британскую действительность долгим и мучительным. Затем убеждаешься, что наряду со сдержанностью англичанам



присуща не только вежливость, но и взаимная приветливость — правда, приветливость без назойливости. И, наконец, приходишь к самому важному выводу: замкнутого англичанина, к которому вроде бы нельзя подступиться, не так уж трудно «раскрыть» с помощью простой и безотказной отмычки. Нужно обратиться к нему за помощью или хотя бы косвенно показать, что нуждаешься в ней.

Попытка разговориться с незнакомыми людьми в поезде Лондон-Эдинбург, скорее всего, окажется бесплодной (особенно если по привычке начинать разговор с вопроса, куда и зачем случайные спутники едут, есть ли у них дети и сколько они зарабатывают).

Опыт свидетельствует, однако, что разбить лед отчужденности не так уж сложно. Нужно перво-наперво декларировать свою беспомощность, как бы передать сигнал бедствия, на который английская натура не может не откликнуться.

— Прошу простить меня, но я иностранец и плохо разбираюсь в британских делах. Не смогли бы вы объяснить мне, почему в Шотландии пошли разговоры об отделении от Англии и насколько серьезны такие настроения?

После такого обращения от молчаливых вагонных спутников можно услышать не то что реплику, а двухчасовую лекцию. Причем отличительной чертой ее будет достоверность фактов и серьезность аргументов, непредвзятое, сбалансированное изложение различных взглядов на эту проблему.

«Я иностранец. Не поможете ли вы мне...»

Этой фразой можно остановить на улице первого встречного и быть уверенным, что он окажет любую посильную услугу. Этими же словами можно вызвать на дискуссию по какой угодно теме соседа в пабе.

Нужно, впрочем, иметь в виду, что при своей приветливости и доброже-



лательности, готовности помочь, пойти навстречу, выручить из беды англичане остаются абсолютно непоколебимыми во всем, что касается соблюдения каких-то правил, а тем более законов. Здесь они не допускают снисхождения ни к себе, ни к другим. Сколько бы турист ни пытался разжалобить контролера лондонского метро, сколько бы он ни ссылаясь на то, что у него на родине нет нужды сохранять билет до конца поездки, ибо его проверяют только при входе, его все равно не выпустят на улицу, пока он вторично не оплатит проезд, и любые просьбы сделать для него исключение ни к чему не приведут. Это, разумеется, не умаляет сказанного. Сочетание щепетильности с отзывчивостью бесспорно хочется отнести к привлекательным чертам англичан.

Другим их достоинством можно считать уравновешенный, уживчивый характер. В повседневном быту они умело избегают болезненных столкновений, принаравливаются и приспособляются друг к другу, проявляя взаимную предупредительность, сдержанность и терпимость. Они способны сохранять самообладание в споре, оставаться объективными и к себе, и к другим, признавая, что, поскольку любая истина имеет много сторон, о ней может быть много различных суждений.

Бережливость — вот качество, которое англичане проявляют и к деньгам, и к словам, и к эмоциям. Они не только предпочитают недомолвку преувеличению, но и неприязненно относятся к любому открытому выражению чувств, будь то любовь или ненависть, восторг или гнев.

Их врожденная недемонстративность к тому же подкрепляется боязнью вторжения в чужую частную жизнь. Близкие друзья человека, которых он знает по школе или университету, по спортивному клубу или по военной службе, могут быть совер-



шенно незнакомы его жене. Пожалуй, даже само понятие «друг» имеет здесь своеобразную трактовку, более близкую к тому, что мы понимаем под словом «знакомый». Людей сближает определенный круг общих интересов. Личная же жизнь чаще всего остается за пределами этого круга.

Англичанин приветлив, человечен, выдержан, честен. Он обладает чувством долга, общественного порядка и готов идти на практические жертвы ради того и другого.

Но вы должны уважать его темп. Если вы не будете торопить его; если вы найдете к нему должный подход, апеллируя к его доброй воле, а не к его эмоциям; если вы будете подносить ему факты, которые он может разжевывать медленно и старательно, вместо того чтобы вдруг осыпать его каскадом страстных идей, вы почувствуете, что его немалым достоинством является рассудительность; он становится вполне способным поворачиваться в вашу сторону, причем не только ради того, чтобы понять вас, но и чтобы пройти полпути вам навстречу. Глубоко врожденный инстинкт предписывает ему брать и давать, жить и давать жить другим. Он обладает природным чувством справедливости (жаль лишь, что он так редко проявляет его при управлении своими колониями!).

Одетта Кюн (Франция).
Я открываю англичан. 1934



Их хваленому общественному духу противоречит их безразличный индивидуализм. Их врожденной отзывчивости противоречит золотое правило не вмешиваться не в свои дела. С одной стороны, эксцентричность у них в почете; с другой стороны, все необычное или незнакомое встречает на-

стороженность и неприязнь. Либерализм и консерватизм в равной степени считаются их национальными чертами — так же как нелюбовь к регламентации и пристрастие к очередям.

Страна, которая создала, возможно, лучшие стили в архитектуре жилища, известна несравненной убожеством своих трущоб.

Эдит Симон (Англия).

Английский вклад в цивилизацию. 1972

Англичанин говорит о себе, о своём положении со скромностью, но он говорит о своей стране с гордостью, даже с энтузиазмом. Это высокое мнение, которое англичане имеют о своей нации, объясняет, почему они так упорно цепляются за свои старые обычаи и привычки. Именно поэтому англичанин в самую холодную погоду скорее будет дрожать возле камина, который поглощает уйму угля, наполняет комнату дымом и копотью, чем перейдет на более удобные виды отопления, используемые в других странах.

Фридрих Вендерборн (Германия).

Путешествия по Англии. 1791

В Лондоне часто дивишься тому, как англичане переделывают старые дома. От первоначальной постройки не остается решительно ничего, кроме фасада. Но фасад этот с превеликими хлопотами и дополнительными затратами заботливо сохраняют в неприкосновенности, хотя здание от фундамента до крыши возводится заново. В этом суть английского подхода к жизни. Вместо того чтобы до основания сломать старое и на его месте воздвигнуть нечто совершенно новое, англичанин, как правило, старается многократно перестраивать, подновлять, приспособлять к новым



условиям то, что уже есть. Любой старый дом носит тут следы многочисленных перестроек, отнюдь не делающих его планировку разумной и удобной.

Подобный же метод лежал в основе восстановления британской экономики после Второй мировой войны: возвращали к жизни разрушенные предприятия, возрождали старую промышленную структуру, вместо того чтобы создавать новые перспективные отрасли индустрии, как это сделала, например, Япония. Послевоенная реформа английского народного образования не ставила целью отменить явно отжившую систему, а была направлена лишь на то, чтобы частично ее подправить.

Если англичанин скажет о своем доме: «Пусть неудобный, зато старый», в его словах не будет и тени той иронии, которую мы вкладываем в шутливый каламбур «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Само понятие «старый» воспринимается им как достоинство, способное компенсировать сопутствующие недостатки. Сказать о фирме, что она самая старая в своем деле, — значит одарить ее высшим комплиментом. Нелепый обычай, причиняющий уйму неудобств, остается незыблемым лишь потому, что существует с незапамятных времен. Англичанин подчас мирится с раздражающими его житейскими неурядицами именно потому, что они воплощают в себе наследие прошлого, нечто исконно английское, а коль так — волей-неволей достойное уважения.

У англичан даже само слово «консерватор» наряду с негативным несет в себе и позитивный смысл: это не только противник перемен, но и тот, кто консервирует, то есть оберегает наследие прошлого. Среди превеликого множества различных добровольных обществ немалым уважением пользуются общества сторонников сохранения



чего-то или противников разрушения чего-то. Они появились еще задолго до того, как защита окружающей среды стала модной и актуальной проблемой. Даже будучи родиной промышленной революции, Англия все же сумела в большей степени уберечь свою природу от побочных отрицательных последствий индустриализации, чем это удалось, скажем, послевоенной Японии.

Английский консерватизм произрастает на почве уважения традиций. Именно они скрепляют брак настоящего с прошлым, столь присущий английскому образу жизни.

Где еще питают такое пристрастие к старине — к вековым деревьям и дедовским креслам, старинным церемониям и костюмам? Стражники в Тауэре доныне одеты так же, как и во времена Тюдоров; студенты и профессора в Оксфорде и Кембридже носят мантии XVII века, а судьи и адвокаты — парики XVIII века.

Иногда какой-то случайный эпизод служит началом тщательно сохраняемой традиции. Однажды Елизавете I представили список кандидатов в шерифы. Поскольку королеве не хотелось отрываться от рукоделия и брать перо, она просто проколола спицей дырочки против нескольких имен. С тех пор назначение шерифов производится в Англии именно таким образом.

Англия явилась родиной почтовой кареты, почтового ящика и почтовой марки. Стало быть, к числу ее изобретений относится и современный письмоносец. Однако лондонский почтальон выглядит иначе, чем ожидаешь его увидеть по стихам Маршака. Он до сих пор ходит не с сумкой, а с большим холщовым мешком на спине.

Примечательный штрих! Он свидетельствует, что с архаичными предметами и явлениями в Англии можно встре-



таться всюду — даже там, где ей по праву принадлежит честь новатора и первооткрывателя. Другие страны, которые переняли и усовершенствовали английскую систему почтовой службы, давно уже снабдили письмоношцев более удобными сумками. А тут, можно сказать у истоков, в силу традиции сохраняется мешок из дерюжной ткани.

Английская мораль не просто культивирует пристрастие к старине. Прошлое, проповедует она, должно служить как бы справочной книгой, чтобы ориентироваться в настоящем. Сталкиваясь с чем-то непривычным и незнакомым, англичане прежде всего инстинктивно оглядываются на прецедент, стараются выяснить: как в подобных случаях люди поступали прежде? Если новое приводит англичан в смятение, то пример прошлого дает им чувство опоры. Поэтому поиск прецедентов можно назвать их излюбленным национальным спортом.

Живя в Лондоне, нетрудно подметить своеобразную склонность англичан ходить на концерты ветеранов сцены, чтобы аплодировать артистам, давно прошедшим зенит своей славы. Эти поклонники бывших знаменитостей отнюдь не лишены художественного вкуса. Они отлично сознают, что потускневший талант их любимцев уступает блеску только что взошедших звезд. Но их аплодисменты искренни, ибо выражают присущее англичанам чувство привязанности, верность чему-то уже сложившемуся и потому прочному.

Когда новое светило мирового тенниса встречается в Уимблдоне с некогда прославленным игроком, чьи силы, однако, уже не первый год идут на убыль, можно не сомневаться, что симпатии зрителей будут на стороне ветерана. Это, пожалуй, единственный случай, когда здесь можно столкнуться с предвзятостью в спорте.



Англичане уважают возраст — в том числе и возраст собственных чувств. Убеждения у них вызревают медленно. Но когда они уже сложились, их нелегко поколебать и еще труднее изменить силой. Приверженность традициям старины, любовь к семейным реликвиям, настороженное отношение к переменам (если только они не происходят постепенно и незаметно) — во всем этом проявляется дух консерватизма, свойственный английскому характеру.

Английский обыватель желает перемен к лучшему. Однако при этом он интуитивно следует словам своего соотечественника Бэкона, который учил, что Время — лучший реформатор. Рискованным броскам он предпочитает осторожное продвижение вперед шаг за шагом при безусловном сохранении того, что уже достигнуто. Инерция былых, лучших времен сказывается в его неторопливости и неповоротливости, в его неспособности к быстрым решениям, в его самоуверенной нелюбознательности и привычке оглядываться на прецедент.

Англичане не доверяют крайностям. Еще в прошлом веке говорили, что их консерваторы — либеральны, а либералы — консервативны. По словам немецкого социолога Оскара Шмитца, англичане питают пристрастие к тому, что является средним и, хочешь не хочешь, посредственным. Не на подобной ли почве произрастает искусство компромисса, издавна свойственное британским правящим кругам? Именно этот постоянный поиск примиряющего, осуществимого, — удобного, именно эта туманность мышления, позволяющая пренебрегать принципами, логикой и одновременно придерживаться двух противоположных мнений, создали Англии репутацию «коварного Альбиона», столь часто давали повод обвинять ее в лицемерии.



Эта черта английского характера имеет много корней. Помимо воспитанной в народе склонности к компромиссам, она поощряется двойственностью английской жизни. Культ старины, стремление увековечить прошлое в настоящем создает смешение теней и реальности, потворствует самообману. «Иностранцам трудно понять, — утверждает писатель Гарольд Никольсон, — что наше лицемерие проистекает не от намерения обмануть других, а от страстного желания успокоить самих себя».

В консерватизме англичан многое смыкается с практичностью. Они не доверяют умственной акробатике, предпочитая твердо стоять ногами на почве здравого смысла. Их больше привлекают не абстрактные идеи, а утилитарная сторона вещей, не теоретические обобщения, а руководство к действию, которое непосредственно вело бы к конкретному результату.

Однако так ли уж англичане рассудочны? И так ли безраздельно господствует в их мировоззрении здравый смысл? По мнению Джона Б. Пристли, суть английского характера, путеводная нить в его лабиринте, ключ к его загадкам кроется в том, что барьер между сознательным и бессознательным в нем четко не обозначен. Англичане настороженно относятся ко всему чисто рациональному. Они отрицают все силы логики и деспотическую власть рассудка. Они считают, что разум не должен доминировать всегда

и во всем, что на каком-то смутно обозначенном рубеже он должен уступить дорогу интуиции.

Подозрительная к новшествам и чурающаяся крайностей английская натура склонна к выжиданию и неторопливым поискам компромисса между сомнением и верой.

Англичане предпочитают истину «с открытым концом», то есть нечто недосказанное, невыраженное, оставляю-



щее простор для домысливания. Смещение сознательного и бессознательного, приверженность к инстинктивному и интуитивному нередко толкает их к самообману, а через него — к лицемерию.

Что же управляет англичанином? Безусловно — не разум; редко — страсть; вряд ли — своекорыстие. Если сказать, что англичанином управляют обычаи, возникнет вопрос: как может тогда Англия быть краем индивидуализма, эксцентричности, ереси, юмора и причуд?

Англичанином управляет его внутренняя атмосфера, погода его души. Когда он пьет пиво и раскуривает свою трубку; когда он усаживается в удобное кресло у себя в саду или у камина; когда он, умытый и причесанный, поет в церкви, отнюдь не задумываясь над тем, верит ли он хотя бы слову в этих псалмах; когда он слушает сентиментальные песни, которые его не трогают, но и не раздражают; когда он решает, кто его лучший друг и кто его любимый поэт; когда он выбирает политическую партию или невесту; когда он стреляет дичь или шагает по полям — им всегда руководит не какой-то точный довод разума, не какая-то цель, не какой-то внешний факт, а всегда атмосфера его внутреннего мира.

Джордж Сантаяна (Испания).
Монологи в Англии. 1922

Другие европейские земли похожи на регулярные сады, в которых видите ровные деревья, прямые дорожки и все единообразное; англичане же в нравственном смысле растут, как дикие дубы, по воле судьбы, и хотя все одного рода, но все различны...

Н. М. Карамзин (Россия).

Письма русского путешественника. 1790 597



Английскую душу можно уподобить не саду, где природа подчинена геометрии, и не первобытному лесу, а парку, где природа сохраняет свои права настолько, насколько это совместимо с удобствами для человека; она, по существу, является таким же компромиссом между естественным и искусственным, как английский парк.

Пауль Кохен-Партхайм (Австрия).
Англия — неведомый остров. 1930

Одна из самых привилегированных публичных школ Англии однажды пригласила на кафедру французского языка профессора из Парижа. Ему отвели лучший коттедж со старинным садом, которым гордились многие поколения прежних обитателей. Это был, в сущности, английский парк, распланированный так умело, что выглядел вовсе не распланированным. Это был уголок природы, возделанный столь искусно, что казался вовсе не возделанным.

Французу, однако, такая «запущенность» пришлась не по вкусу. Наняв садовников, он принялся выкорчевывать вековые деревья, прокладывать дорожки, разбивать клумбы, подстригать кусты — словом, создавать геометрически расчерченный французский сад. Вся школа — как преподаватели, так и воспитанники — следили за этими переменами безмолвно. Но парижанин тем не менее чувствовал, что со стороны окружающих к нему растет какая-то необъяснимая неприязнь. Когда француз с немалым трудом допытался наконец до причины подобного отчуждения, он был немало удивлен: «Но я ведь старался, чтобы сад стал красивее!»



Лейтмотивом популярной в Лондоне книги Ричарда Фабера «Французы и англичане» служит мысль о том, что многие различия между этими двумя народа-

ми коренятся в их отношении к природе. Если французский садовник, как и французский повар, демонстрирует свою власть над ней, то англичане, наоборот, отдают предпочтение естественному перед искусственным. В этом контрасте между англичанами и французами нельзя не усмотреть тождества с главной чертой, разделяющей японцев и китайцев. В отличие от своих континентальных соседей, оба островных народа в своем мироощущении ставят природу выше искусства.

Как японский, так и английский садовник видят свою цель не в том, чтобы навязать природе свою волю, а лишь в том, чтобы подчеркнуть ее естественную красоту. Как японский, так и английский повар стремятся выявить натуральный вкус продукта в отличие от изобретательности и изоциренности мастеров французской и китайской кухни. Уважение к материалу, к тому, что создано природой, — общая черта прикладного искусства двух островных народов.

Хаотичность Лондона и Токио в сопоставлении с четкой планировкой Парижа и Пекина воплощает общий подход к жизни, свойственный двум островным народам, — представление о том, что человеку следует как можно меньше вмешиваться в естественный ход вещей. На взгляд англичан и японцев, город должен расти так, как растет лес. И роль градостроителя, стало быть, не должна превышать роли садовника в английском парке или японском саду. Его дело лишь подправлять и облагораживать то, что сложилось само собой, а не вторгаться в разросшуюся ткань города со своими планами.

Эта общая черта пронизывает многие стороны жизни двух островных народов — вплоть до подхода к воспитанию детей. Английские родители стараются



как можно меньше одергивать ребенка, не вмешиваться без нужды в его поведение, не препятствовать, а способствовать формированию его индивидуальности. Они относятся к детям так же, как японский резчик по дереву относится к материалу.

Англичане и японцы. Казалось бы, трудно представить себе два народа, более непохожие друг на друга! Англичане возвеличивают индивидуализм, японцы отождествляют его с эгоизмом. Английский быт ограждает частную жизнь, японский быт практически не оставляет для нее места. Однако эти противоположности, как ни странно, смыкаются в нечто общее. Оба народа, как уже говорилось, ставят естественное превыше искусственного. Но этот кардинальный принцип их подхода к жизни не распространяется на область человеческого поведения. Хотя англичане превозносят индивидуализм, а японцы осуждают его, как тем, так и другим в одинаковой степени присущ культ самоконтроля и предписанного поведения.

Олицетворением этой общей черты в характере двух островных народов могут служить японский самурай и английский джентльмен. Каждый из этих нравственных эталонов воплотил собой социальный заказ правящей элиты на определенном историческом рубеже. У японцев такой кодекс поведения сложился в эпоху Токугава, когда страна была наглухо заперта от внешнего мира; у англичан, наоборот, в эпоху расширения заморских владений. Однако и тут, и там он имел сходную цель: упрочение социальной стабильности.



Помимо очевидных параллелей, которые можно провести между кодексом самурая с его идеалом верности и кодексом джентльмена с его идеалом порядочности, судьба их схожа еще и в том, что они перешагнули за пределы своего класса и своего

времени. Можно считать самураев давно вымершей породой. Можно спорить о том, много ли истинных джентльменов дожило до наших дней. Но трудно отрицать то воздействие, которое каждый из этих эталонов оказывает на национальную психологию вообще и нормы человеческих взаимоотношений в особенности.

Англичане, как и японцы, постоянно ощущают натянутые вожжи: человек должен вести себя не как ему хочется, не как подсказывают ему чувства, а как предписано поступать в подобных случаях. Англичане, как и японцы, проходят свой жизненный путь так, словно каждый из этих шагов — часть некоего священного ритуала. Они приучены произносить определенные слова и совершать определенные поступки, положенные в определенных обстоятельствах.

Эта ритуалистическая концепция жизни подавляет непринужденность и непосредственность. Культ самообладания, способность чувствовать одно, а выражать на своем лице нечто другое — словом, «загадочная восточная улыбка самурая» и «жесткая верхняя губа» джентльмена в обоих случаях служат поводом для сходных упреков в коварстве и лицемерии.

Уже отмечалось, что англичан и японцев сближает склонность ставить естественное превыше искусственного. Однако в рамках этого сходства заключено и различие. Две островные нации возвеличивают как бы две противоположные черты природы, ее диалектики. Если японцы поэтизируют переменчивость, то англичане — преемственность. С одной стороны, сакура с ее внезапным, буйным, но недолговечным цветением; с другой — вековой дуб, равнодушный к бегу времени и недоверчивый даже к приходу весны. Вот



излюбленные этими народами поэтические образы, воплощающие различия между ними.

Здесь же кроются корни их отношений к традиционному и к новому. Оба островных народа сохранили в своем характере и образе жизни много традиционных черт. Но, оберегая их от внешних влияний, японцы часто пользуются как бы приемом борьбы дзюдо: уступать нажиму, чтобы устоять; приспособливаться внешне, чтобы остаться самобытными внутренне. У англичан же приверженность традициям подчас более догматична, стойкость реже дополняется гибкостью.

Переменчивость и недолговечность для японцев — закон природы, воплощенный даже в быту: палочки для еды используют один раз и выбрасывают, оконные рамы, оклеенные бумагой, и полы из соломенных матов периодически заменяют. Вот почему, оказавшись на пепелище, японцы лучше, чем англичане, подготовлены к тому, чтобы смотреть не в прошлое, а в будущее.

Словно развесистый вековой дуб, английский национальный характер глубоко уходит корнями традиций в почву прошлого. Чтобы познать современную Англию, важно понять, что за люди англичане, как сложились отличительные черты их национальной психологии, как они проявляются в обычаях и привычках, в моральных нормах и правилах поведения.

Сложившиеся под воздействием определенных социальных факторов представления англичан о частной жизни и воспитании детей, о труде и досуге; та своеобразная роль, которую играет у них понятие честной игры, прав в рамках правил; то значение, которое они придают самоконтролю и канонам предписанного поведения, — все это немаловажные ориентиры для путеводителя по современной Великобритании.



Без этих ориентиров трудно уяснить сложившуюся здесь систему воспроизводства правящей элиты. А система эта, в свою очередь, во многом предопределяет почерк британского истеблишмента: политиков в Вестминстере и чиновников на Уайтхолле, финансистов в Сити и журналистов на Флит-стрит. Эти ориентиры нужны и для всестороннего понимания тех своеобразных условий, в которых развивается на Британских островах борьба нового со старым.





«КОРНИ ДУБА» В АНГЛИИ

На обложке английского издания книги «Корни дуба» редактор «Пергамон пресс» пишет, что Всеволод Овчинников попытался раскрыть загадку Англии. Мне остается добавить, что автор стремился при этом быть точным и объективным.

За последнее время на Западе вышло много книг о жизни, нравах и обычаях в Советском Союзе. Однако об Англии и англичанах подобных книг почти не было. Так что нужно поблагодарить издательство «Пергамон пресс» за предоставленную нам возможность взглянуть на самих себя глазами советского публициста.

Что же это за взгляд? Овчинников очень внимательно и доброжелательно наблюдает за нашей жизнью, нравами, обычаями, традициями. На первых же страницах он ставит перед собой задачу: переходить от вопросов «как?» к вопросам «почему?».

Именно это делает книгу особенно интересной для нас. Это не просто впечатления русского об англичанах. Это честная попытка глубоко разобраться в особенностях нашего поведения. Даже сами названия глав служат ключами к пониманию авторского замысла: «Страна зеленых лугов», «Взгляд за изгородь», «Любители и профессионалы», «Собаки, кошки и... дети», «Законопослушные индивидуалисты», «Жесткая верхняя губа» и так далее.

В краткой рецензии невозможно проиллюстрировать умный и тонкий ана-



лиз нашей жизни. Эта книга может быть прочитана всеми британцами и как содержательное исследование наших общественных институтов, нашей политической системы.

Вот, по-моему, лучший комплимент, который я мог бы сделать этой книге: я часто забывал, что писал ее не англичанин. Я вчитывался в нее, чтобы побольше узнать об обществе, в котором я живу. Если в России будут выходить такие книги, у их читателей появятся симпатии к нам, а возможно, они будут знать нас даже лучше, чем мы сами.

Джеймс Олдридж, газета «Санди Таймс». 1981



СОДЕРЖАНИЕ

САКУРА И ДУБ

От автора

ВЕТКА САКУРЫ.

Рассказ о том, что за люди японцы

Страницы из дневника

Капли с копья Идзанаги

Религия или эстетика?

Керамисты и кулинары

Четыре меры прекрасного

Обучение красоте

Цветы и чай

Гейша в кимоно

Рождение жемчужины

В тени под навесом

Шесть татами

Всему свое место

Жажда зависимости

Значок на лацкане

Человек с флажком

Ограничения и послабления

Красноречие без слов

Культ поклонов и извинений

Давка у эскалатора

Наняты пожизненно

Утесы и песчинки

Девичьи руки

53 станции Токайдо

Устойчивость велосипеда

Прогресс за счет гармонии

Потерянное десятилетие

«Серебряная революция» и пустые колыбели

Горожанин из пригорода

Восхождение на Фудзи

108 ударов колокола	287
Долг перед вишнями	296
«Ветка сакуры» в Японии	301

КОРНИ ДУБА

Впечатления и размышления об Англии и англичанах

Умывальник без пробки и ванна без душа	305
Капли на плаще	311
Страна зеленых лугов	325
Взгляд за изгородь	335
Любители и профессионалы	347
Собаки, кошки и... дети	355
Одинокие деревья	369
Законопослушные индивидуалисты	380
«Туземцы начинаются с Кале»	390
Старый школьный галстук	399
«Фабрики джентльменов»	408
Социальный фильтр	417
Две нации	422
Чай у королевы	434
«Жесткая верхняя губа»	443
Маршрут золоченой кареты	455
Мешок с шерстью	464
Заднескамеечники и кнуты	471
Коридоры власти	482
Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс	490
Флит-стрит и Скотленд-ярд	499
Исключение из правил	508
Шотландия и Уэльс	523
Цветные среди белых	538
Дымный север	545
Нефть против угля	555
Город-притча	561
Часы без стрелок	575
Слагаемые и сумма	586
«Корни дуба» в Англии	604

Серия: «Овчинников:
Впечатления и размышления о Востоке и Западе»

16+

Овчинников Всеволод Владимирович



САКУРА И ДУБ

Редакционно-издательская группа «Жанровая литература»

Зав. группой *М.С. Сергеева*

Руководитель направления *И.Н. Архарова*

Ответственный редактор *Н.П. Ткачева*

Корректор *И.Н. Мокина*

Компьютерная верстка *Г.А. Сениной*

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5

Наш электронный адрес: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООО

129085, г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92

Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



shop.ast.ru

shop.ast.ru

A C T

ISBN 978-5-17-085048-8



9 785170 850488 >



«Ветка сакуры» и «Корни дуба» – были и остаются поистине шедевром отечественной публицистики. Поражающая яркость и образность языка, удивительная глубина проникновения в самобытный мир японской и английской национальной культуры увлекают читателя и служат ключом к пониманию зарубежной действительности.

В Японии «Ветка сакуры» стала бестселлером, и англичане, скептически относящиеся к попыткам иностранцев разобраться в их национальном характере, встретили «Корни дуба» весьма благосклонно.



ВСЕВОЛОД

ОВЧИННИКОВ

Всеволод Владимирович Овчинников – журналист-международник, писатель, много лет проработавший в Китае, Японии, Англии. С его именем связано новое направление в отечественной журналистике – создание психологического портрета зарубежного общества.

Творческое кредо автора: «Убедить читателя, что нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка».

В 1985 году за эти произведения автор был удостоен Государственной премии СССР. В 2010 году Президент РФ Дмитрий Медведев вручил Всеволоду Овчинникову орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

www.ast.ru

ISBN 978-5-17-085048-8



9 785170 850488 >